

М
О
С
К
В
А

Москва

10
1973

10
1973

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ

Москва

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
М. Н. АЛЕКСЕЕВ



■
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

В. С. АНДРЕЕВ,
И. Б. БУГАЕВ,
Ю. Н. ВЕРЧЕНКО,
М. М. ГОДЕНКО (заместитель главного редактора),
М. Н. ГОРБУНОВ (ответственный секретарь),
Б. С. ЕВГЕНЬЕВ,
А. С. ЕЛКИН (заместитель главного редактора),
В. И. КОЧЕТКОВ,
С. А. КРУТИЛИН,
Л. М. ЛЕОНОВ,
Г. А. СЕМЕНИХИН,
С. В. СМИРНОВ,
П. Ф. СУДАКОВ,
В. А. СУРГАНОВ,
В. Д. ШАПОШНИКОВА,
М. А. ШОЛОХОВ

10
1973



ГОД ИЗДАНИЯ СЕМНАДЦАТЫЙ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 121918, МОСКВА, ГСП,
АРБАТ, 20. Т Е Л Е Ф О Н Ы: 291-71-10, 291-72-30



РС.

ОСЕНЬ

Рис. Е. СПИРИДОНОВА

МОСКВА СОВЕТСКАЯ

ИЗ ХРОНИКИ

Январь — март. Директор «Красного богатыря» Александр Яковлевич Фролов сообщает в новогоднем номере «Иллюстрированной газеты», что в 1939 году завод даст на миллион пар резиновой обуви больше, чем в предыдущем, увеличит выпуск товаров широкого потребления. Шахтеры, метростроевцы и землекопы получают цельные формовые сапоги. Порадуют краснобогатырцы и самых маленьких граждан. Тысячу резиновых игрушек в день будет выпускать завод.

В целях упорядочения учета рабочих и служащих решением правительства на предприятиях и в учреждениях вводятся Трудовые книжки. Началось их заполнение на Московском металлургическом заводе «Серп и молот». Богат этот коллектив чудесными людьми!

Старейший рабочий завода, токарь канатного цеха Иван Сафонович Сафонов, трудится уже 60 лет, из них 52 года он работает на одном заводе, сперва в гвоздильном, а потом в канатном цехе.

«В графе «Поощрения и награждения» имеется запись о присвоении И. С. Сафонову звания Героя Труда,— пишет газета «Индустрия».— В графе, на основании чего внесена запись, указано: на основании постановления Президиума ВЦИК и телеграммы за личной подписью М. И. Калинина».

Кремлевские куранты уже пробили полночь, когда помещение Большого театра заполнили работники искусств столицы. Побывать на этом собрании захотели актеры, занятые 9 января в спектаклях и эстрадных концертах. Поэтому и пришлось назначить собрание на такой поздний час.

Тема — овладение марксистско-ленинской теорией. Выступают известные в стране представители театрального и изобразительного искусства. Затем слово берет Михаил Иванович Калинин.

— Передо мною работники искусств — один из значительных отрядов советской интеллигенции,— говорит Всесоюзный староста.— Прежняя интеллигенция мнила себя солью земли. Советская интеллигенция действительно становится солью земли. Она уже занимает такое место в нашей общественной жизни, какого не занимала интеллигенция никогда в истории и не занимает теперь ни в одном капиталистическом государстве...

17 января — день Всесоюзной переписи населения СССР. Когда Государственной плановой Комиссией Союза ССР были опубликованы ее итоги, появилась возможность получить масштабное представление о советской столице и ее населении. За годы

Хронику «Москва советская» ведет лигегатор Юрий Юров.

революции столица нашей великой социалистической родины превратилась в один из красивейших городов мира. В ней живет свыше четырех миллионов ста тысяч человек. В 1920 году Москву по численности населения превосходили пятьдесят столиц мира. Теперь наша столица выдвинулась на четвертое место. Среди крупнейших городов мира Москва по рождаемости стоит на первом месте.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин в передаче по радио шлет искренний привет от советского народа дружественному американскому народу.

Советский президент говорит о том, что взаимное понимание и взаимное уважение народов, укрепление международного сотрудничества имеет большое значение для обеспечения мира. Во имя этой цели СССР примет участие и в предстоящей Всемирной выставке в Нью-Йорке, чтобы дать возможность миллионам американских граждан ознакомиться с жизнью народов нашей страны, понять их устремления и оценить планы их созидательного труда. Это будет содействовать укреплению дружественных связей между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки...

В концертной программе радиопередачи для Соединенных Штатов Америки приняли участие хор имени Пятницкого, народная артистка СССР В. В. Барсова, лауреат Международного конкурса пианистов в Брюсселе Эмиль Гилельс. Заклучает программу Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски под управлением Александра Александрова.

В Москву из США пришли многочисленные отклики на передачу.

Перед слушателями Высшей школы пропагандистов имени Свердлова при Центральном Комитете партии выступает Крупская. Лекция посвящена теме — В. И. Ленин как пропагандист и агитатор. По окончании лекции Надежда Константиновна долго беседует с группой товарищей, рассказывает им, что в стенах школы имени Свердлова читал лекции Ленин.

Большое воодушевление у коммунистов столицы вызывает подготовка к Восемнадцатому съезду партии. Активно, заинтересованно обсуждаются опубликованные в печати тезисы будущих докладов.

Коммунисты машиностроительного завода имени Калинина обсуждают планы третьей пятилетки. Партией намечены грандиозные работы по орошению Заволжья — следовательно, туда потребуются насосы, выпускаемые предприятием. Будет ощущаться острая нужда в продукции завода и на строящихся водопроводах. Больше передовой техники народному хозяйству страны — таково стремление калининцев.

Требовательно подходит к выполнению

своего долга в третьей пятилетке и партийная организация завода полиграфического машиностроения имени Компартии Германии. Предприятие выпускает печатные машины. Коммунисты выступают застрельщиками освоения новых полиграфических машин, досрочного выполнения планов их выпуска.

На партийном собрании Краснохолмского комбината выступает начальник ткацкого цеха Иван Игнатьевич Сметанкин. Биография этого человека может служить иллюстрацией к тезису доклада о третьей пятилетке, касающемуся роста рабочего класса, роста интеллигенции. Об этом пишет в «Правде» очеркист и публицист Иван Рябов. «Он был на «Краснохолмке» рабочим-смазчиком. Потом подмастером. Потом фабрика направила его в текстильный институт. Он вернулся из института инженером. Второй год он работает начальником основного цеха комбината. От рабочего до инженера, до руководителя предприятия — в этой биографии сказались яркие перемены в рабочем классе, в стране, те чудесные перемены, о которых шла речь на партийном собрании».

С высоким творческим накалом, деловитостью проходят в преддверии Восемнадцатого съезда партии и районные партийные конференции. На одной из них в числе делегатов присутствует знатный рабочий страны, депутат Верховного Совета СССР Иван Иванович Гудов. На этот раз он представляет партийную организацию высшего учебного заведения — Промакадемию, в которой учится.

Двадцать первая годовщина легендарной Красной Армии. Отныне военная присяга будет приниматься каждым военнослужащим в индивидуальном порядке.

Первым ее принимает Народный Комиссар, Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов. Вслед за Ворошиловым на верность Родине присягают С. М. Буденный и другие видные советские полководцы.

За выдающиеся успехи в развитии советской художественной литературы писатели и поэты удостоены высоких правительственных наград. Ордена принимают из рук М. И. Калинина Новиков-Прибой, Паустовский, Лебедев-Кумач и другие. От имени награжденных выступает Константин Тренев.

— Мы все сознаем и всем сердцем чувствуем, какие исключительно высокие обязанности налагает эта награда на нас, на советскую литературу, и все силы и способности обещаем отдать на выполнение этих обязанностей, — говорит он.

В Московском доме кино идет обсуждение кинотрилогии «Юность Максима», «Возвращение Максима» и «Выборгская сторона», организованное отделом пропаганды и агитации Московского городского комитета ВКП(б) и редакцией журнала «Спутник агитатора».

Создатель мужественного образа большевика Максима актер-орденоносец Борис Чирков рассказывает о своей работе над ролью. Выступают зрители.

— Максима знают и любят во всех концах нашей страны — от Москвы до далекой Арктики, — говорит мастер Данилов с Первого государственного подшипникового завода. — Кинотрилогия о Максиме — замечательное произведение искусства, воплотившее в себе силой социалистического реализма героические страницы борьбы большевистской партии...

В конце февраля в Колонном зале Дома союзов приступает к работе Московская седьмая областная и шестая городская партийные конференции. На повестке дня — обсуждение тезисов докладов на предстоящем Восемнадцатом съезде партии. Выбираются делегаты на съезд.

Скорбная весть облетела страну: скончался старейший член партии, жена, друг и ближайший помощник Владимира Ильича Ленина, член Центрального Комитета партии, депутат Верховного Совета СССР Надежда Константиновна Крупская. Полмиллиона человек прошло за два дня через Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с беззаветным борцом за торжество ленинских идей, идей партии большевиков.

Москвичи — герои третьей пятилетки... Очеркист Евгений Кригер в ежемесячном журнале «Индустрия социализма» рисует образы металлургов «Серпа и молота». Вот Кирилл Чирков.

«Молодой сталевар, подобно десяткам и сотням стахановцев металлургии, борется с боязнью высоких температур, а боязнью этой были недавно заражены не только рядовые сталевары, не только рядовые инженеры, но видные ученые-металлурги. ...Вместе с Чирковым когда-то учился в заводской школе Черепанов. Ныне сталевар первого класса, Черепанов перешел на большую работу в Народный комиссариат черной металлургии.

Вместе с Черепановым и Чирковым учился Козеев. Ныне Козеев перешел на четвертый курс металлургического института. В той же школе учился Николаев. Ныне Николаев ведет научную работу в центральной заводской лаборатории: плавит сталь новых марок...»

Самородки на «Серпе и молоте» не только среди сталеваров. А прокатчики! Покоряет своим трудолюбием и скромностью мастер стана «700» Иван Ильич Туртанов. Разве не характерно, что он в числе делегатов Восемнадцатого съезда партии, представляющих столичную партийную организацию. Минута — слиток! Двенадцать слитков за десять минут — небывалые рекорды дают сортопрокатчики туртановской смены.

Открытие и работу Восемнадцатого съезда партии (10—21 марта) москвичи

ознаменовали новыми трудовыми успехами. Первые образцы электроламп в пятьдесят тысяч свечей изготовлены на Московском электроламповом заводе. Шестнадцать тысяч метров ткани сверх плана дали текстильщики фабрики «Освобожденный труд». Досрочно закончена разработка высокопроизводительной стационарной пневматической установки для Новосибирского речного порта. С ее помощью портовики будут быстрее выгружать зерно из судов и барж. Позаботились об этом работники Всесоюзного научно-исследовательского института транспортного строительства.

На Восемнадцатом съезде партии были заслушаны и обсуждены отчеты руководящих партийных органов, рассмотрен и утвержден третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР, принята резолюция об изменениях в уставе ВКП(б) и утвержден Устав в новой редакции.

С трибуны съезда приводятся примеры бурного развития столицы советского социалистического государства. За годы второй пятилетки резко выросли ее основные промышленные фонды. Гигантская реконструкция автозавода столицы позволила увеличить выработку на одного рабочего в два раза. Растет жилой фонд — по существу, построена новая каменная Москва...

Вместе со всей партией московские коммунисты настойчиво проводят в жизнь директиву Восемнадцатого съезда — всемерно крепить боевую мощь Красной Армии и Военно-Морского Флота. В марте проходит собрание московского партийного актива, где подчеркивается «особая ответственность большевиков Москвы и Московской области в деле укрепления обороны нашей страны». Большое внимание столичная партийная организация уделяет работе предприятий оборонной промышленности.

Вступили в строй новые сооружения станции, питающей питьевой водой восточные районы столицы. Теперь она подает Москве каждые сутки до пятидесяти миллионов ведер чистой волжской воды. По своей мощности эта водопроводная станция — первая в Европе, а по качеству очистки воды — наиболее совершенная из всех существующих в мире.

Апрель — июнь. С большой нагрузкой работают научные организации и учреждения столицы. Государственный институт по проектированию металлургических заводов решает проблему реконструкции «Серпа и молота».

В радиевом институте Академии наук СССР пущен в эксплуатацию первый в стране циклотрон — прибор для расщепления атомного ядра. На фотоснимке, помещенном в «Иллюстрированной газете»,

можно увидеть за работой руководителя лаборатории, профессора И. В. Курчатова, и аспиранта института, бывшего токаря М. Г. Мещерякова.

Пять тысяч инженерно-технических работников насчитывается в рядах столичных автомобилестроителей. Без отрыва от производства приобретают технические знания тысячи наладчиков, бригадиров, стахановцев-рабочих. На предприятии все создано для формирования и воспитания новой советской трудовой интеллигенции. Кроме существующих учебных заведений открывается и автомеханический институт на четыреста человек. Тысячи людей слушают лекции, получают консультации по вопросам политики, науки, литературы и искусства во Дворце культуры. Перед автомобилестроителями выступают выдающиеся мастера искусства, лауреаты международных конкурсов.

Депутат Верховного Совета СССР, народный артист СССР Иван Михайлович Москвин руководит обучением нашей молодежи драматическому искусству, актерскому мастерству, — рассказывает секретарь парткома. — Народная артистка Держинская помогает нашим вокалистам. Лауреат международных конкурсов профессор скрипач Давид Ойстрах консультирует нашу музыкальную самодеятельность. Заслуженный деятель искусств художник Герасимов общается к мастерству изобразительного искусства наших самодеятельных художников. Писатели Алексей Толстой, Всеволод Вишневский, Илья Эренбург, Алексей Сурков, Янка Купала, Якуб Колас принимали участие во встречах с читателями.

Многотиражка автозавода выходит тиражом пятнадцать тысяч экземпляров. Фонд библиотеки Дворца культуры — сто тысяч экземпляров, постоянных читателей — тридцать тысяч.

Группа ветеранов завода имени Владимира Ильича просмотрела новый кинофильм «Ленин в 1918 году». «Правда» публикует их отклики на картину, которая по праву входит в золотой фонд советского киноискусства.

«Вот и опять, словно не в кинозале сидим, а вместе со всеми старыми, заводскими, смотрим, как подымается на трибуну живой Ильич, — пишут люди, видевшие и слышавшие Ленина у себя на заводе. — До самого сердца доходят слова Ильича о трудностях, о беспощадной борьбе с врагами, с предателями. Забываешь, что это артист Щукин перед тобой. Все, все, — и голос, и лицо, и фигура — настоящий живой Ильич!»

30 апреля Международная выставка в Нью-Йорке «Строительство мира завтрашнего дня» приняла первые тысячи посетителей. Москва на ней представлена в зале советского павильона, посвященного градостроительству. Макеты, панорамы, карты

отражают громадные работы по реконструкции столицы.

«Посетитель входит в просторный зал, выполненный в строгих формах с преобладанием нержавеющей стали и белого мрамора», — читаем в газетной корреспонденции.

Напротив главного входа в зал — на мраморной стене — карта Москвы. Она сделана из хрустального стекла и нержавеющей стали. Линии шлифованного стекла изображают старую Москву со всеми неприглядными тупиками и кривыми переулками. Нержавеющая сталь показывает широкие магистрали новой Москвы.

Часть станции метро «Площадь Маяковского» представлена в натуральную величину.

На Международной выставке экспонируется самолет, на котором отважные советские летчики совершили перелет в Соединенные Штаты Америки, книга «Конституция СССР», напечатанная полиграфистами «Красного пролетария», номер ежедневной стенной газеты «Автомат», издающейся в автоматном-токарном цехе Первого государственного подшипникового завода.

Первому коммунистическому субботнику в депо Москва — Сортировочная — двадцать лет. Славная дата ознаменована выпуском из промывочного ремонта исторического паровоза «У-530», который был отремонтирован во время коммунистического субботника весной 1919 года.

Первомайский праздник. Среди демонстрантов, вступающих на Красную площадь, немало рабочих, которым довелось два десятилетия назад видеть здесь Владимира Ильича и слышать вещие ленинские слова: «...Теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества — не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети...»

Слышал это и бывший токарь, а ныне технолог механического цеха завода имени Владимира Ильича Г. Буданов. Он вспоминает:

«...Сколько сделано, как много достигнуто за годы, отделяющие нас от памятного выступления на Красной площади. После долгого перерыва я отправился недавно к своим старым друзьям в Ленинскую слободу и не узнал ее. Ничего не осталось от старой, захолустной Симоновки. А вся наша Москва с ее новыми проспектами и красавцами домами! 20 лет назад завод Михельсона, оставшийся нам в наследство от старой России, напоминал жалкую кустарную мастерскую. Теперь он вырос, как и все другие предприятия Москвы и всей страны, в большой и совершенный завод. Его украшают замечательные советские станки...»

Первомайские транспаранты и плакаты рассказывают о трудовых делах москвичей: двадцать пять лимузинов и семьдесят пять грузовых машин сверх плана — подорок

автомобилестроителей. Более пяти миллионов метров ткани дополнительно выработали текстильщики «Трехгорки»; награжденный орденом Ленина завод «Красный пролетарий» увеличивает выпуск своей продукции на сто пятьдесят станков.

На полках книжных магазинов и библиотек появилась новинка — «Путь стахановца». Автор книги — известный московский новатор Иван Гудов.

«Я вошел в Верховный Совет СССР, как беспартийный рабочий, формально это было так, — пишет он. — Фактически моя судьба, как и судьба любого человека из народа, давно была тесно связана с партией, с ее успехами и достижениями. В конце прошлого года я подал заявление о приеме меня в партию. В этом заявлении я писал, что, будучи сыном и воспитанником партии, я считаю своим долгом и обязанностью вступить в ряды этой партии, стать ее солдатом».

Построен еще один московский завод. Его продукция — шины и синтетический каучук. Впервые в Союзе освоена опытная партия шин, сделанных целиком из синтетического каучука. Московские шинники налаживают производство покрышек и камер для советских малолитражных автомобилей.

Нарастает угроза военной опасности. Массовая оборонная работа на предприятиях и учреждениях Москвы становится повседневной заботой столичной партийной организации.

«Известия» публикуют репортаж своего корреспондента Константина Тараданкина со станкозавода имени Серго Орджоникидзе.

«Оборонная работа стала общим делом, — пишет автор репортажа. — На заводе есть стрелковый тир. Он никогда не пустует. Каждый день с 6 до 8 утра в тире занимается партийный актив завода. Это — железное правило для всех активистов. Вечерами искусство меткого огня постигают стрелковые команды цехов.

Есть снайперские семьи. Взять, к примеру, начальника ремонтно-строительного цеха тов. Блескина: он, жена и сын — ворошиловские стрелки. Есть два пулеметных кружка. Только что организовался третий. В нем восемь девушек... Кавалерийский кружок. Охотники изучать автомобиль. Можно изучить и работу двигателя внутреннего сгорания, и боевые действия торпедных катеров...»

5 июня заводской коллектив выдержал ответственный экзамен. В этот день проводились массовые учения по противовоздушной и химической обороне. В течение часа тысячи людей работали в противогазах. Пятьсот человек должны были оставить свои станки, чтобы занять боевые посты в специальных отрядах. Это, однако, не отра-

зилось на выполнении дневного плана, он был даже перевыполнен.

Во Всероссийском театральном обществе проходит научно-творческая конференция на тему «Образ Ленина в театре, драматургии и кино». Открывает ее Алексей Толстой. Вступительное слово произнес Емельян Ярославский.

После докладов участники конференции посетили Институт Маркса-Энгельса-Ленина при Центральном Комитете партии и посмотрели в театре имени Евг. Вахтангова спектакль «Путь к победе», поставленный по пьесе А. Толстого. Николай Погодин читал отрывок из пьесы «Кремлевские куранты», а поэт Илья Сельвинский отрывок из поэмы о Ленине.

Сердечно приняли москвичи участников Декады киргизского искусства. Гости показали первую киргизскую оперу «Айчурек», исполнили национальные песни и танцы, читали свои стихи, экспонировали картины.

«Мы покидаем Москву с большими творческими замыслами, — писали в «Известиях» мастера искусств братской республики. — Опыт Декады поможет нам в подготовке уже намеченных постановок: «Евгений Онегин», киргизской оперы «Токтогул», балетов на исторические и современные темы».

Дом № 6 по Малой Дмитровке (ныне улица Чехова). Здесь в октябре 1920 года с речью перед делегатами Третьего Всероссийского съезда комсомола выступал Ленин. Теперь это помещение предоставлено партийному кабинету МК и МКГ ВКП(б). 25 июля 1939 года он открыл свои двери. Созданы все условия для глубокого изучения марксистско-ленинской теории. Фундаментальная библиотека насчитывает свыше ста тысяч книг.

Июль — сентябрь. Москва, Фили. Здесь сохранилась изба, в которой 13 сентября 1812 года заседал Военный совет русской армии. Кутузовская изба в Филях стала музеем и после реставрации вновь открылась для экскурсантов.

«Здесь сохранились скамьи, на которых сидели Кутузов и участники Военного совета, медали, ордена и трубка, принадлежавшая Кутузову, — сообщает «Московский большевик». — В избе представлены также гравюры эпохи войны 1812 года, посмертная маска Кутузова, знамена и оружие».

Известный датский революционный писатель Мартин Андерсен Нексе, направляясь со своей семьей на отдых в Крым, останавливается в советской столице.

«У кого не бьется сердце, когда он издали видит башни Москвы — столицы

мира в политическом и гуманитарном смысле этого слова,— рассказывает писатель в газете.— Мы полны радости и ожидания. Мы с нетерпением ждем увидеть все то новое, что есть в Москве. Скорее на улицу, скорее увидеть прекрасную, новую Москву. Большой привет населению Москвы — столицы мира».

Составляются «паспорта» двухсот двадцати крупнейших городов страны. Первый получила столица. Вот некоторые данные, приведенные в паспорте.

«После революции площадь города увеличилась на 11758,6 гектара. Общая длина московских улиц 1223,4 километра. Почти все улицы асфальтированы. Москва — гигантский комбинат культуры. В ней 82 высших учебных заведения с 95 тысячами студентов. В Москве 40 театров, 55 кинотеатров, 629 школ, 261 клуб, 921 библиотека, 58 музеев. В Москве как в зеркале отражается жизнь и развитие всей нашей страны».

Москвичам-донорам посвящена на страницах «Комсомольской правды» корреспонденция «Люди, дающие кровь». Газета рассказывает о собрании столичных доноров в помещении одного из московских театров. Там были рабочие, инженеры, врачи, артисты, домашние хозяйки. Старейший донор Москвы диспетчер Круинский за двадцать с лишним лет отдал 33 литра крови. Он вернул к жизни около ста человек.

Большой день в истории социалистического строительства, всенародное торжество: 1 августа в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.

Тысячи участников и гостей выставки заполняют главную «Колхозную площадь». Оркестр исполняет «Интернационал». На флагштоке Главного павильона взвизывает государственный флаг СССР. Одновременно поднялись флаги на всех павильонах. Забили фонтаны.

Побывав в одном из павильонов выставки, Мартин Андерсен Нексе сказал: «Я был в волшебном замке».

В канун Международного юношеского дня тридцать тысяч комсомольцев и молодежи столицы выступают в военизированный поход.

«По шоссе Энтузиастов двинулся полк Красногвардейского района, по Калужскому — Фрунзенский, по Богородской проселочной дороге — Бауманский», — писала «Комсомольская правда».

Командиры полков, батальонов и рот — опытные командиры Красной Армии — передавали молодежи свои знания, свои боевые навыки, учили ее отражать налеты конницы, танков, авиации «противника». Орденосцы-хасановцы Демин, Кудрявцев и другие рассказывали участникам похода о разгроме японских интервентов.

В походе участвовали двадцать три полка, кавалерийские школы и аэроклуб Осоавиахима, самокатное и мотоциклетное соединения.

Первые дни сентября. Радостные вести поступают из цехов столичных заводов и фабрик, из шахт Метростроя: автомобилестроители выпустили восьмимысячный лимузин, а строители третьей очереди метрополюса 1 сентября в девятом часу утра в штольне, прокладываемой под Москвой-рекой со стороны Замоскворечья, встретились со щитом, движущимся от площади Свердлова. Сбойка тоннеля со штольной произведена точно.

На заводе шлифовальных станков ширится движение за многостаночное обслуживание. Привычным явлением становится и овладение передовыми рабочими двумя-тремя смежными профессиями.

Новой бесценной коллекцией документов из архива дочерей Маркса Женни Лонге и Лауры Лафарг обогатился Институт Маркса — Энгельса — Ленина. Передал эти реликвии ИМЭЛ через полномочного представителя СССР в Англии И. М. Майского правнук Карла Маркса Жан Роберт Лонге.

— Всем рабочим занять свои места!
— Включить домкраты!

Команды отдают руководители работ по передвижке здания Московского Совета в глубь двора на четырнадцать метров.

Все «путешествие» дома весом в двадцать тысяч тонн продолжается сорок одну минуту. И вот уже рупоры разносят новую команду — стоп!

«Огонек» рассказывает:

«...Работа в Моссовете в это время ни на минуту не прекращалась. Как и в обычные дни работали телефоны, водопровод и канализация... Передвинутое вглубь монументальное здание Московского Совета надстраивается на два этажа. Работы по надстройке будут производиться под руководством академика архитектуры И. Жолтовского. Надстроенный дом полностью сохранит архитектурный стиль великого зодчего Казакова.

В старом здании реставрируются залы. Академику Жолтовскому удалось разыскать эскизы этого здания, сделанные Казаковым. Из них видно, что по плану знаменитого зодчего в доме должно быть два больших зала — Красный и Белый. По замыслу Казакова оба зала должны быть прекрасно оформлены, с хорошей акустикой, красивой скульптурой и живописью на потолках. То, что не мог выполнить Казаков, будет выполнено сейчас. Это уже четвертый большой дом, передвинутый в Москве советскими специалистами».

Октябрь — декабрь. В Москву прибыли посланцы братских народов Западной Украины и Западной Белоруссии. На Пятой вне-

очередной сессии Верховного Совета СССР они от имени всех своих братьев и сестер выступают с ходатайством о принятии в Союз Советских Социалистических Республик. Сессия удовлетворяет эту просьбу. Заветная мечта украинского и белорусского народов о воссоединении становится явью.

Московская осень 1939 года изобилует интереснейшими событиями в культурной жизни: празднуется 125-летие со дня рождения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. Лермонтовский Комитет Союза писателей СССР и Академии наук СССР проводят в Колонном зале Дома союзов торжественный вечер, посвященный этой юбилейной дате.

Государственный музей А. С. Пушкина неожиданно становится обладателем давно разыскиваемого автографа поэта «Пир во время чумы» — пьесы, написанной им в период болдинской осени 1830 года.

«Вчера комиссия установила подлинность исключительно уникального пушкинского автографа, — сообщали «Известия». — Рукопись — на шести листах, пожелтевших от времени. Бумага имеет водяной знак «1827» и тождественна с той бумагой, на которой написана Пушкиным часть текста «Каменного гостя». На рукописи дата — 8 ноября.

Обнаруженная рукопись «Пира» является единственной и закрывает в себе ряд неопубликованных весьма значительных черновых вариантов.

Считавшаяся почти 140 лет бесследно исчезнувшей драгоценной рукопись «Пир во время чумы» вчера приобретена музеем Пушкина и будет тщательно изучена советскими учеными.

В Москве проходит Декада армянского искусства. Москвичи восторженно отозвались об оперном спектакле «Алмаст». Глубокое впечатление оставил заключительный концерт в Большом театре.

В Кремле состоялся прием участников Декады.

— Оценка, данная нашему искусству, окрыляет нас на новые творческие взлеты, — сказал в своем выступлении народный художник Армянской ССР М. С. Сарьян. — Я счастлив, что мне выпала честь выступать здесь в Кремле, куда устремлены мысли и взоры трудового народа всего мира, куда устремлено также и сердце, полное горячей любви и благодарности, сердце армянского народа, нашедшего свое счастье спокойно жить, работать и творить вместе с братьями народами могучего Советского Союза.

В стенах индустриального гиганта столицы — завода «Шарикоподшипник» проходит обсуждение репертуара театра Ленинского комсомола. Руководитель театра И. Н. Берсенев познакомил собравшихся с

творческими планами коллектива, а заводские театральные критики в свою очередь высказали свои суждения о спектаклях «Нора», «Мой сын».

В канун двадцать второй годовщины Великой Октябрьской социалистической революции на кремлевских башнях появились верхолазы: сначала на Спасской, потом — на Никольской, Троицкой, Боровицкой и Водовзводной. Они осматривают состояние рубиновых звезд после двухлетней эксплуатации, промывают их водой и очищают от копоти. Электролампы на всех звездах заменены более мощными. Кремлевские звезды будут светить еще ярче.

Полтора миллиона москвичей проходят в праздничных октябрьских колоннах через Красную площадь. Шествие трудящихся Ленинского района столицы открывают станкостроители «Красного пролетария». Инициаторы Всесоюзного социалистического соревнования за досрочное выполнение плана третьей пятилетки, они по праву гордятся орденом Ленина, завоеванным самоотверженным трудом.

«Трехгорка» досрочно выполнила программу одиннадцати месяцев.

Строители московского метро пронесли через Красную площадь панно, на котором изображены Замоскворецкий и Покровский радиусы.

Разгорается зловещее пламя второй мировой войны. Получив срочный правительственный заказ, Москва на двенадцать дней раньше установленного срока выполняет план выпуска станков для производства снарядов.

Множатся ряды добровольных общественных организаций. Москвичи овладевают военными знаниями, совершенствуют свою боевую подготовку. Первым в стране удостоивается поощрения за коллективную готовность к защите от воздушного и химического нападения Московский кожевенный комбинат.

Москва называет своих кандидатов в депутаты местных советов. Коллектив завода шлифовальных станков кандидатом в депутаты Московского областного совета выдвинул авиаконструктор Александра Сергеевича Яковлева.

Год 1939-й на исходе.

Москва вместе со всей страной вступает в тот этап исторического пути, о котором великий русский критик Виссарион Григорьевич Белинский писал:

«Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году — стоящую во главе образованного мира, дающего законы и науке и искусству, и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества».

ГЕОРГИЙ ГУЛИА

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА

КНИГА-РОМАН

Проза

Лермонтов писал: «Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь: оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики».

Из головы нейдут эти слова, когда меня спрашивают мои товарищи: романы об Эхнатоне, Перикле и Сулле, и вдруг — Лермонтов?!

Но надо ли объяснять что-либо? Надо ли говорить, что «вдруг» в литературе ничего не бывает? И надо ли что-либо говорить в свое оправдание вообще? Если стихи поэта ты впитал, что называется, с молоком матери, если никогда не проходит щемящая боль в сердце, вызванная трагическим образом поэта, если тебя всю жизнь тянет ко всем уголкам, где он бывал, то спрашивается: можно ли не братья за перо?

Это — книга про жизнь и про смерть Лермонтова так, как они могут быть объяснены документально, без особых домыслов. Про жизнь и про смерть его так, как понимаю я, как представляю себе. Следовательно, это не монография и не литературоведческое исследование, а скорее — роман. Но и не совсем роман в обычном понимании. Читатель, разумеется, может предъявить к ней самые различные требования с самых различных точек зрения. По своему вкусу. А я бы назвал ее «книга-роман».

Мне могут сказать: а не слишком ли мало разбора самих произведений Лермонтова? Что на это можно ответить? Я пишу не школьное пособие, и нет лучшего «разбора» произведений поэта, чем чтение его книг.

Следует помнить, что о Лермонтове написано много. Попутно написано немало и о его многочисленных друзьях и родственниках — известных, полузабытых и вовсе неизвестных. О Лермонтове, я уверен, будут еще писать и писать. Ибо жизнь шагает вперед и поэт — словно бы рядом с нами, как живой. И, наверное, каждая новая книга будет ином, чем предыдущие. Было бы очень грустно, если бы они повторяли друг друга. Самое утешительное в этой ситуации то, что каждый может взять в руки перо, чистые листы бумаги и попытаться написать о поэте, сообразуясь со своим вкусом и познаниями. Все это пойдет в нашу общую литературную копилку.

Ночь у Красных ворот

В мире творилось что-то странное: в эту ночь над московским домом у Красных ворот позабыли зажечь звезду. И волхвы не искали сюда дороги. Может быть, потому, что в небе не оказалось путеводной звезды. Но скорее всего другое: вот уже восемнадцать веков тому, как мир не видел чудес и позабылись времена, когда «солнце останавливали словом, словом разрушали города».

Это странное явление станет ощутимей, когда сын человеческий — спустя двадцать семь без малого лет — почует вечным сном на кавказской земле. Но и тогда не содрогнутся горы, и великое землетрясение не потревожит людей, и не разверзнутся могилы на горах и в долинах. И это несправедливо!

Но мир привык к несправедливости. С той самой поры, когда человек нашел в себе силы встать на ноги и гордо запрокинуть голову. Именно с той поры несправедливость, кажется, преследует его. Вполне возможно, что человек сам породил ее. Что она — его родное детище. Но все-таки следует отдать и должное человеку: он никогда не примирится с несправедливостью, и он ее первый, неумолимый враг. Ясно одно: наш мир далек от совершенства. С одной стороны, грустно произносить эти слова. Но с другой, — я уверен — этот непреложный факт направляет энергию рода человеческого на совершенствование жизни...

Итак, над Красными воротами не видно было библейской звезды. Зато почти всю ночь в самом доме горел свет и суетились люди. Спали только хозяева дома — семья генерал-майора Федора Толя, сдавшего несколько комнат отставному капитану Юрию Петровичу Лермонтову.

Поздней ночью доктор сообщил капитану, что родился мальчик.

— Душевно поздравляю, — произнес доктор без той особенной приподнятости, которая сама собою приходит с появлением здорового, ревущего во всю глотку ребенка. Мальчик был крохотный, и опытный глаз доктора мигмом приметил болезненные формы рук и ног.

Очень плохо чувствовала себя мать. Роды вконец измучили ее. И о ней смело можно было сказать: еле-еле душа в теле.

Юрий Петрович был бледен. От забот, вдруг нахлынувших, и от бессонной ночи. Для своих двадцати семи лет он выглядел неважно. Что-то тайное, нездоровое проступало на его лице. Может, это был тот самый недуг, из-за которого пришлось ему оставить военную службу в 1811 году. И тот самый недуг, который, в конце концов, свел его в могилу семнадцать лет спустя после этой ночи.

Но была в этом доме женщина, которая в трудные часы сохраняла — по крайней мере внешне — спокойствие и твердую решимость оказать помощь тому, кому она потребуется. Из уст ее не срывались пустые слова утешения. Она негромко советовала, молча подавала воду или лекарство. Без суетливости. Не теряя присутствия духа, что было не так-то просто в эту тревожную ночь.

Нынче, в ночь со второго на третье октября, в доме у Красных ворот мы находим главных действующих лиц той семейной драмы, перипетии которой окажут сильнейшее влияние на характер, на душу, может быть, и на судьбу одного из величайших поэтов России и всего мира — Михаила Юрьевича Лермонтова.

Ему дали жизнь Мария Михайловна и Юрий Петрович. Да, это так. И мы это знаем доподлинно. Но та невысокая, статная пожилая женщина, готовая оказать любую помощь любому в этом доме, воспитает его, поставит на ноги и окружит такой несказанной любовью и заботой, на которую способна только поздняя бабушкина любовь. Я говорю о Елизавете Алексеевне Арсеньевой, урожденной Столыпиной.

Тугой узел семейной драмы завязался именно в ту пору, когда Юрий Петрович попросил руки Марии Михайловны, когда Маша сказала «да», а мать ее, Елизавета Алексеевна, произнесла слово «нет». «Нет», — повторила вслед за нею вся родня. Потому что, дескать, они не пара: он — беден, она — невеста богатая. Пусть он рода дворянского. Но ведь обедневшего. Одно только название: дворянин!

Но Маша сказала «да» и настаивала на своем. Мать ее в конце концов сдалась. И он вошел в дом к жене. В дом к теще. Юрий Петрович явно поступился самолюбием.

Маша любила его горячо. В этом — никакого сомнения! Молод он, красив, воспитан, учтив.

А он? Любил ли он Машу, хрупкую, милую Машу? Тоже — несомненно! Нет никаких указаний на то, что Юрий Петрович в данном случае действовал из чистой корысти. Это соответствовало искреннему желанию и невесты, и жениха. И Юрий Петрович оказался в Тарханах на правах молодого хозяина.

Елизавета Алексеевна, казалось, тоже пошла на уступки ради своей дочери. Однако неприязнь в ней к зятю нарастала не по дням, а по часам; теща не могла бороться против своих чувств.

А со временем заговорит и ревность — едва сдерживаемая ревность в больной жене. По-видимому, были для этого основания. А легкомысленный муж все будет гнать от себя мысль о драматической развязке.

Логическое развитие семейной драмы, не правда ли? «Бог нашей драмой коротает вечность — сам сочиняет, ставит и глядит». Так сказал поэт и мудрец Омар Хайям. Бог, судьба, жизнь — не все ли равно, как называть все это?.. В несокрушимом триединстве сочиняются и ставятся миллионы и миллионы драм. И редко повторяется до мелочей одна и та же ситуация. Она «повторяется» только для непосвященных, ибо жизнь в каждое свое мгновение несет с собой все новое и новое. Подобно горной речке, бегущей по каменистому ложу. И похожа она на себя и не похожа! А жизнь — неистощима в своей фантазии, и сюжеты ее — один острее другого...

А этот маленький мальчик, не подозревающий, куда, к кому и зачем явился?

Все, кажется, предельно ясно в завязке этой драмы, кроме самого главного: кто этот пришелец, этот только что народившийся человек? Великие библейские времена, метившие особой метой людей необыкновенных, безвозвратно канули в вечность. От той старины осталась только любовь. Своим теплом спасающая человека для грядущих дел. Источником такой любви стала для мальчика строгая бабушка, сердце которой мгновенно размягчалось под его взглядом и при одном звуке его голоса.

Дворянский род Лермонтовых появился в России в начале семнадцатого века. Следуя московскому говору, фамилия эта писалась через «а»: Лермантов. Это продолжалось вплоть до того времени, когда молодой Лермонтов-поэт начал правильно писать свою фамилию — через «о».

Предок поэта Георг Лермонт — возможно, один из потомков шотландского барда Лермонта, будто бы жившего в одиннадцатом веке близ Эдинбурга, — оставил родину и выехал в Польшу. При одном из столкновений поляков с московскими войсками перешел к русскому царю. Вместе с несколькими десятками шотландцев и ирландцев. Потом жил в Галиче, в собственном поместье. Умер под Смоленском в звании ротмистра рейтар.

В справочной справке Брокгауза и Ефрона говорится, что продолжатель довольно многочисленного рода Лермонтовах — сын Георга (Юрия)

Петр. В Саранске он был воеводою, а сыновья его — Евтихий и Петр — стольниками. У Евтихия был праправнук Юрий Петрович, отец поэта.

Мужчины рода Лермонтовых носили, как правило, имена Юрий или Петр. Михаил составляет редкое исключение. Это отступление от фамильной традиции проливает свет на расстановку семейных сил, когда появился на свет Михаил Юрьевич. А полагалось бы, будь на то воля отца, называться ему Петром Юрьевичем.

Шотландское происхождение Лермонтовых имеет, разумеется, узкогенеалогическое значение. Два века пролегли между Георгом Лермонтом и Михаилом Лермонтовым. И тем не менее, ступив на лондонскую землю, я уже думал о Шотландии. Замыслив книгу о Лермонтове, я, естественно, мечтал побывать во всех уголках, связанных с именем Лермонтова.

И в один прекрасный вечер я отправился на поезде в Эдинбург. Мое волнение все возрастало по мере того, как приближался к столице Шотландии.

Сошел я на эдинбургский асфальт ранним январским утром. И долго бродил по улицам города. Любовался средневековым замком, маячившим в утренней дымке. И вволю глядел на небо.

Как журналиста меня всегда влечет в редакцию, словно голодного коня в конюшню. Мне нужен был ответ на интересовавший меня вопрос, и я его быстро мог получить в стенах редакции.

Словом, я оказался в кабинете мистера Алистера Даннета, редактора газеты «Скотсмэн». Он встретил меня радушно. Сказал, что совсем недавно был в Сочи и в Абхазии. Охотно взялся ответить на мой вопрос.

— Мистер Даннет,— сказал я,— мне бы хотелось узнать, живы ли потомки вашего знаменитого певца древности Лермонта? Если да, то можно ли выдать кого-либо по фамилии Лермонт?

Через минуту на столе перед ним лежало несколько телефонных книг.

— Вот номера телефонов эдинбургских Лермонтов,— сказал он.— А вот список Лермонтов из Глазго. Вернее, их телефонов. А вот Лермонты в Данди, Абердине... Вам нужно еще?

Лермонтов оказалось так много, что я вынужден был довольствоваться копиями списков.

Вскоре я стоял на стене замка и любовался видом Эдинбурга и его окрестностей, которые оттуда — словно на ладони.

Семнадцатилетним юношей Михаил Лермонт писал в стихотворении «Желание»: «Зачем я не птица, не ворон степной... На запад, на запад помчался бы я, где цветут моих предков поля, где в замке пустом, на туманных горах, их забвенный покоится прах... И арфы шотландской струну бы задел, и по сводам бы звук полетел...»

Так писал Михаил. Но сам Юрий Петрович Лермонтов, как видно, не очень-то хорошо был осведомлен о своем генеалогическом древе. И мы знаем немного о самом Юрии Петровиче. Павел Висковатов признает, что «сведений об Юрии Петровиче очень немного». Известно, что умер он 1 октября 1831 года. Похоронен в родном селе Кроптово, или Кропотово, недалеко от города Ефремова Тульской области. Но могила его, насколько понимаю, затеряна. А может быть, отыскана в самое последнее время. Во всяком случае, знатоки из Пушкинского Дома в Ленинграде говорили мне об этом не очень-то уверенно.

Родился Юрий Петрович Лермонтов в 1787 году. Воспитывался в кадетском корпусе, служил прапорщиком в Кексгольмском пехотном полку. Снова вернулся в кадетский корпус. Служил Юрий Петрович недолго (семь лет), числился на хорошем счету у начальства и уволился по болезни в чине капитана, двадцати четырех лет от роду (7 ноября 1811 года).

По всем сведениям, это был красивый, со столичными манерами че-

ловек. Дворянское происхождение обеспечивало ему некоторое положение в свете. Но всего лишь — некоторое, ибо род его обеднел. По тем временам — ужасный порок.

Судя по всему, Юрий Петрович пользовался успехом у дам. Совершенно определенно. Вспомним, что им увлеклась почти с первого взгляда старстачивая Мария Арсеньева, которой едва минуло восемнадцать лет.

Мария Михайловна была единственной дочерью в семье Арсеньевых, имение которых находилось в селе Тарханы Пензенской губернии. Это очень близко от Чембар. Она потеряла отца в пятнадцать лет, жила с матерью.

Путь в Москву из Тархан лежал обычно через Рязань или же Тулу. В Москве проживала многочисленная родня Арсеньевых, и девушку приходилось вывозить туда, особенно с шестнадцати лет. В эту пору она считалась на выданье. Была хрупка здоровьем, а по нраву — добрая, большая мечтательница. И, на мой взгляд, была женщиной «с характером». Вообще говоря, со стороны столыпинской почти все женщины были «с характером». Я уж не говорю о Елизавете Алексеевне. Взять хотя бы ее младшую сестру Екатерину Алексеевну. Она влюбилась в генерала Хастатова, армянина по происхождению. Жил Хастатов далеко-далеко, в своем имении в Шелковом, что близ Кизляра, по существу, в «прифронтной полосе». Здесь, можно сказать, проходила граница кавказской войны. В Шелковом — постоянные тревоги, набеги горцев, боровшихся не на жизнь, а на смерть против царских войск. Тут, меж двух огней, и жил бравый Хастатов. Екатерина Алексеевна твердо решила идти за него замуж, и уговоры многочисленной родни не возымели никакого действия: она уехала в Шелковое. И вскоре удостоилась прозвища «передовой» помещицы, то есть помещицы, живущей на передовой линии огня.

Нечто подобное произошло и с хрупкой Машенькой: она влюбилась в отставного капитана Юрия Петровича Лермонтова. И чем больше убеждали ее забыть Лермонтова, тем больше росло в ней сопротивление «добрым» советам. Поначалу слово д о б р о е я хотел написать без кавычек. Возможно, лично для Машеньки советы эти явились бы добрыми. Возможно, она была бы счастливей с каким-нибудь пензенским помещиком или московским баринном «на покое». Кто знает, как бы сложилась судьба этой глубоко несчастной женщины, не дожившей до двадцати двух лет, со скорбью покинувшей этот свет! Самое дорогое существо, которое оставляла она на земле, был ее сын Мишель. Ему только минуло два с половиной года. Рос он хилым... Вот все, что могла знать о нем Машенька. Могла ли она предположить, что этот самый болезненный Мишель, локоны которого нежно гладила, что прозрачно-восковой ладонью перед смертью своей, прославит в веках имя ее и, «смертью смерть поправ», дарует живот всем близким своим: суровой бабушке, больной матери, отцу и многим, многим еще. Даже своему убийце.

Таковы, как говорили в старину, неисповедимые пути господни.

Но так или иначе, мечтательная, музицирующая на фортепьянах девушка стала женою Юрия Петровича. Наперекор всем!

Мать и отец дают ребенку жизнь. Но что же дает ему тот, кто воспитывает его?

Несомненно, гены играют большую роль в нашей судьбе. Я помню годы, когда их откровенно презирали мало компетентные в науке журналисты. В наше время, когда наука принялась решать на практике даже «парадоксы», пренебрежение генами или наследственностью кажется просто смешным. Но как бы то ни было, воспитание есть воспитание. И труд, который человек кладет на воспитание своего потомства, не знает себе равного по душевной и физической трудоемкости.

На примере короткой, но ярчайшей жизни Михаила Лермонтова мы увидим, что есть воспитание. Мы увидим, что может сделать одна бабушка, если даже она своенравна и сурова. Русская литература так многим обязана Елизавете Алексеевне Арсеньевой, что память о ней никогда не померкнет. Я бы сказал так: она будет вечно рядом с памятью о внуке ее. И не может быть иначе, ибо стояла Елизавета Алексеевна в ту октябрьскую ночь у Красных ворот над священными яслями Мишеля. Это она ласкала старческой рукой свинцовый гроб, в котором доставили Михаила с Кавказа в Тарханы — на место последнего успокоения. Возможно, не всегда угождала она окружающим. Не всегда нравилась им. Возможно, не всё в жизни делала она лучшим образом. А кто же все делал или делает самым лучшим образом? Говорят, Магомет и тот порой ошибался. Я это к тому, что Елизавета Алексеевна Арсеньева, утверждают, была слишком требовательна к своему зятю. И даже не в меру придирчива.

Человеческие отношения умирают вместе с людьми. Самые горячие страсти окаменевают вместе с остановившимся сердцем. Только документы проливают истинный свет. Да и то не всякий документ. Не все же доверишь бумаге! Тут бывают разные причины: от заблуждений вольных или невольных до прямой фальсификации из самых банальных, эгоистических побуждений. Одно остается непровержимым: отношения между Юрием Лермонтовым и бабушкой Арсеньевой были не лучшими.

Столыпины — исконные и богатые дворяне. Симбирская вотчина Алексея Емельяновича Столыпина славилась хлебосольством. Пожить он любил. Говорят, охоч был до кулачных боев. Его дети не могли пожаловаться на свое здоровье или дурное воспитание.

Особенное пристрастие питал Алексей Емельянович к театру. Содержал его. Даже привозил в Москву на потеху и удивление друзьям. Как обычно в ту пору, играли в театре крепостные и часто домочадцы.

У Арсеньевой было три сестры и пятеро братьев. Елизавета Алексеевна вышла замуж не рано. Муж ее, Михаил Васильевич Арсеньев, был моложе ее лет на восемь. Проживал у себя в Тульской губернии, Ефремовского уезда. Вскоре молодожены переехали в село Тарханы. Машенька была их единственной дочерью.

Нельзя сказать, что судьба баловала Елизавету Алексеевну. Замужество, хотя это тщательно скрывала Арсеньева, не было счастливым. Муж ее, как видно, был человеком не то чтобы любвеобильным, но, несомненно, увлекающимся. В крепостнической России не очень-то обращали внимание на эту сторону помещичьих повадок. Но кое-кто и обращал. Елизавета Алексеевна не могла, например, простить мужу того, что он чрезмерно внимателен к одной из соседних помещиц. Возможно даже, что Арсеньев ставил спектакли в своем самостоятельном домашнем театре и часто играл в них ради этой самой соседки. Во всяком случае, Арсеньева приняла свои меры: однажды не пустила соседку на спектакль. И дело окончилось трагически: Арсеньев принял яд и умер. Именно таким способом свел счеты с жизнью незаурядный характером Михаил Васильевич. В возрасте сорока двух лет.

Со свойственной Столыпиным стойкостью Елизавета Алексеевна снесла этот удар. И мир интересов ее сошелся на дочери.

Итак, в ту ночь у Красных ворот у колыбели Мишеля находились три близких ему человека: Мария Михайловна, Юрий Петрович и Елизавета Алексеевна. Разве не достаточно этих четырех действующих лиц, чтобы разыграть любую трагедию или любую комедию, мыслимую в нашей жизни? «Бог нашей драмой коротает вечность...» Мы еще увидим, насколько справедлив был бог, пославший своего сына на Голгофу и ни-

чего не сделавший для того, чтобы спасти, для того, чтобы оградить его от издевательств центурионов. И мы увидим еще, сколь несправедлив оказался он к тому смуглому, большеглазому ребёнку, которого приняли священные ясли на осеннюю ночь у Красных ворот.

Мы увидим с вами еще одну драму, которой «бог коротает вечность». Мы ничего в ней не изменим при всем нашем желании. А хотелось бы, очень хотелось бы изменить. И прежде всего — конец ее.

Но наше счастье — великое человеческое счастье — заключается в том, что, бессильные изменить что-либо в уже сыгранной трагедии, мы можем изменить кое-что в своей собственной душе. Изменить к лучшему.

И эта возможность — большая награда для нас.

День второй

Великим желанием жить и наслаждаться жизнью обуреваем человек с первой же минуты своего появления на свет. Он не имеет никакого представления о том, куда и зачем явился. Его не тревожит ничто, он целеустремлен: жить во что бы то ни стало! Вот и вся его забота.

Но если бы новорожденный мог осмотреться и попытаться понять окружающее — неизвестно еще, пожелал бы он так неистово бороться за свое существование. Во всяком случае, наверняка призадумался бы кое над чем. И тогда, может быть, скепсис пришел бы к нему значительно раньше. Все возможно... Но не будем гадать, тем более что новое существо, народившееся у Красных ворот, спало блаженным сном, в то время как огромная его родина просыпалась уже ото сна в этот октябрьский четверг. Весьма знаменательный для наследника четы Лермонтовых — это был день первый!

Я уже говорил о том, что мир наш далек от совершенства. Разумеется, в этом утверждении нет ничего нового. В самой различной форме это повторяли мудрецы и поэты разных времен и народов. Страна, в которой родился Лермонтов, в этом отношении давала большую пищу для размышлений.

Всего два года тому назад пережила она великое наполеоновское нашествие. Бородино и пожар Москвы — все это словно бы вчера. Не было большей угрозы для государства российского со времен Батыея. Но Россия выдюжила. И на этот раз храбро сражались ее солдаты, большинство из которых были крепостные. Вот вам парадокс: забитый, до предела угнетенный крестьянский сын горою встает на защиту того самого государства, в котором сам он ценится не дороже простого, обиходного инвентаря. Парадокс этот покажется еще более удивительным, если представить себе на минуту, что на поле боя крестьянским сыном командовал тот же самый помещик, который снимал шкуру с него где-нибудь в Пензенской или Тамбовской губернии. В чем тут было дело? В глубоком ли национальном самосознании, которое заставляет забыть обо всех муках, или в организационной структуре развитого государства, когда человек значит не больше маленького винтика в машинном механизме? В отличие от некоторых кандидатов наук у меня нет готовой формулировки, которая исчерпывающе ответила бы на этот сложный вопрос. Особенная сложность, по-моему, заключается в том, что помимо социальных, чисто государственных, военных и прочих проблем здесь замешана и человеческая душа, психология человека, связанного с определенной землей, имя которой Родина. Чего только не перетерпишь во имя родной земли, будь она большая или малая, если ей грозит опасность!

Наполеон не учел всего этого. Его походы, будоражившие Европу, его на первых порах революционизирующие идеи с годами приобрели черты обычных имперских завоеваний. Какая же роль отводилась другим народам в «великой наполеоновской империи»? Вассальная? А какая же еще? Но ведь и это не было новшеством в Европе, которую Наполеон именовал «кротовой норой». Европа видела-перевидела подобные «чудеса».

Допустим на одну минуту, что Наполеону удалось бы покорить Россию. Что он мог в этом случае предложить ее великому народу? Может быть, республиканский строй, который он растоптал в своем же доме? Или избавление от царя, с которым он не раз лобызался?

Наполеон мог позволить себе бесцеремонно схватить и расстрелять в Венсенском рву герцога Энгиенского. И потрясти этим расстрелом малых и больших европейских правителей. А русский мужик? Он даже понятия не имел о каком-то несчастном герцоге. Зато он воочию увидел за своей околицей угрожающие ряды иноземной армии. Как ни угнетали его помещики, как ни глумились над ним царские чиновники, — мужик оказался и умнее, и патриотичнее многих помещиков и чиновников. Поэтому не мог он спокойно воспринять иноземное нашествие, не мог не встать на защиту России в рядах армий Кутузова и Барклая де Толли, не мог не уйти к партизанам Дениса Давыдова. Потому-то так худо пришлось армиям Наполеона, потому-то многие из них не вернулись с поля брани. Чувство родной земли, чувство родины оказалось превыше обид мужика. В этом один из уроков войны Наполеона против России. Русский мужик, которого так третировал царский трон, в трудную минуту оказался на высоте национального самосознания, на высоте общенародных интересов.

В 1814 году в Париже появились русские воины-бородачи, до конца преследовавшие Наполеона вместе с союзными армиями. Русское слово «быстро!» настолько укоренилось во французской столице, что этим словом станут называть небольшие кафе — «бистро». Хотя до Ватерлоо остается еще целый год, но звезда Наполеона, можно сказать, уже закатилась. Это был приговор истории.

Стоя на высоком холме в Ватерлоо, я думал о превратностях наполеоновской судьбы. Много зла причинил Европе этот неистовый корсиканец.

В Париже мне рассказывали о том, что акцент у Наполеона был ужасен. Он даже самое распространенное «кес-кесэ» произносил будто как «кешь-кешье». И до самой смерти не выучился «правильному» произношению. Может быть, император и шокировал своим говором рафинированных парижан, но несомненно одно: он был единодержавным правителем Франции и сделал немало для ее возвеличения, для ее мировой славы. Другое дело — какой ценою и какой постиг конец его самого и его империю...

В Доме инвалидов я наблюдал туристов, приехавших из различных европейских стран, некогда покоренных Наполеоном. Они шумно восхищались гробницей императора. Это я могу понять. Но не только гробницей, но и подвигами его! Впрочем, что удивительного в этом, если предки их, испытавшие на себе жесткую руку Наполеона, очень скоро «забыли» обо всем и с подобострастием рассказывали своим потомкам о «великом пленнике острова св. Елены». Каким бы привлекательным ни казался современникам кодекс Наполеона, не совсем понятно это преклонение перед чистой водой завоевателем. Для меня безразлично, например, в каком обличье предстает завоеватель: с раскосыми очами Чингисхана или в белых перчатках парижанина, жарит он барана в минуты отдыха или же подписывает декрет об учреждении оперного театра. Завоеватель есть завоеватель!

Не успел отполыхать московский пожар, а образ Наполеона уж стал покрываться неким романтическим флёром. Портреты и статуэтки его появляются чуть ли не в каждом русском доме. Поэты наперебой будут посвящать ему стихи, в которых нет-нет да и проскользнут неприкрито-сочувственные строки.

Пушкин в 1821 году скажет о нем так: «Чудесный жребий совершился; угас великий человек... Народов ненависть почилла, и луч бессмертия горит...»

В Доме инвалидов высоко вознеслась огромная каменная чаша над могилой Наполеона. Если разглядывать ее с близкого расстояния — приходится задирать голову. Я спросил одного туриста из Бельгии, нравится ли эта могила? «О, да!» — сказал он восхищенно. А я невольно подумал о другой могиле на зеленой лужайке. О скромной могиле, обложенной дёрном, покрытой травой. О яснополянской могиле великого старца Толстого. Насколько та зелень величественней этого камня! Насколько та слава выше этой славы!

Однако факт остается фактом: наполеоновская треуголка и «серый походный сюртук» пожинали посмертную славу своего владельца на бескрайних просторах России. Может быть, это было выражением великодушия победителей?.. И наш поэт напишет: «Да тень твою никто не порицает, муж рока!.. Великое ж ничто не изменяет». И только после этого появится его замечательное «Бородино», с более высокой политической и человеческой точки зрения оценивающее нашествие Наполеона. И более реалистической.

Но, говоря откровенно, какая беда могла бы сравниться с тою, что творилась в русской деревне? Ничтожное меньшинство — помещики — правило гигантским крестьянством. Позор крепостничества черной тенью ложился на всю Россию, отравляя жизнь всем мыслящим людям того времени. Если крестьянин был низведен до состояния живого инвентаря, то о каком его человеческом праве можно было говорить? Порка, повседневное унижение, существование безо всякой надежды на справедливость — вот что ожидало миллионы и миллионы крестьянских детей. И это в крестьянской-то стране!

В городах, разумеется, тоже жилось не сладко. Здесь полноправно хозяйничали царское чиновничество и оголтелая военщина. Правда, при всем при этом здесь нельзя было продать человека, какого бы он ни был состояния, словно вещь. Но и только.

Да, пожалуй, не было в Европе страны, где бесправие царило бы столь безнаказанно и полновластно, как в России. И все, о чем писал Радищев, еще бытовало долгие-долгие годы после него.

Но вот удивительно: если на одну секунду отвлечься от всей этой социальной несправедливости, калечившей людей и убивавшей душу человеческую, если увлечься внешней стороной цивилизованного технического прогресса, то никогда не скажешь, что жизнь в России того времени была столь мрачной. Не скажешь, что она была адом. Ибо в аду, как известно, полностью исключается какая-либо прогрессивная деятельность. А в крепостнической России «чудеса» техники того времени появлялись тогда же, когда и в Англии, Франции, Германии, то есть в наиболее развитых в социальном и техническом отношении странах. Правда, в России не было еще своего Шекспира, Данте, Вольтера или Гёте. Это обстоятельство вдруг наводит на нелепую мысль: значит, Черепанов или Артамонов могли обойтись и без них? Или еще того нелепее: стало быть, пароход может ходить по реке, на берегах которой процветает рабство, или паровоз бегать мимо деревень, изнывающих под гнетом крепостничества? Нет, жизнь полна противоречий. Так же, как нельзя ее живописать каким-нибудь одним цветом, так же трудно представить ее одноцветной. В этом главный секрет ее сложности, в этом и

главное объяснение тех или иных достижений. Разные силы действуют в мире: одни тянут назад, другие — вперед, третьи — топчутся на месте. Последние пять тысячелетий человеческой цивилизации принесли несомненное доказательство того, что слагающая всех этих сил неизменно направлена вперед. Она может быть большей по величине или меньшей. Это не столь важно. Важнее то, что она всегда направлена вперед. В биологическом плане это сохраняет жизнь на земле, а в философском и нравственном — дает человеку и всему человечеству силы, чтобы жить. В этом смысле мы далеки от бога Омара Хайяма, который «ни во что не верит» и где-то берет силы, «чтобы жить». «Сила» заложена в самом человеке. В его душе — красивой и могучей, любящей жизнь и верящей в нее.

Тот, который родился вчера у Красных ворот, не понимал еще всего этого. Однако природа заложила в его маленькую грудь все, что необходимо для любви и ненависти на земле, все, чем дышит и живет взрослый человек. Можно обижаться на природу, можно опять же сетовать на ее несовершенство. Но есть великое оправдание для появления каждого нового человека: ему дано многое, и прежде всего возможность улучшать, совершенствоваться без предела себя и саму природу, создавшую его.

Стоит появляться на свет хотя бы ради этого. Стоит!

Из Тархан в Москву загодя были вызваны две крестьянки с грудными детьми. Кормилицы для новорожденного. Буде в них появится нужда. Врачи из двух выбрали одну — Лукерью Алексеевну Шубенину. Действительно, нужда в ней вскоре появилась. И Лукерья Алексеевна кормила Лермонтова своей грудью. Павел Висковатов говорит, что потомки Шубениной получили прозвище Кормилицыных. Могила ее в Тарханах. На старинном погосте. Это по дороге из Тархан на Михайловку. Говорят, что одна из безымянных могил, как назвал ее Сергей Андреев-Кривич, «без племени, без роду и имени», и есть могила Лукерьи Шубениной. Возможно. А может быть, и она затерялась так же, как могила Арины Родионовны в Петербурге, а народная молва да Кормилицыны окрестили бугорок именем Лукерьи? Впрочем, что в этом удивительного! Напрасно я пытался найти могилы фараона Эхнатона и великого Перикла. Человечество многим обязано им, но оно не сумело сохранить их последнего пристанища...

Ребенка по православному обычаю полагалось крестить. Этот обряд был совершен спустя неделю после его рождения, то есть 11 октября. Метрическое свидетельство было обнародовано в ноябре 1881 года в «Русской мысли».

Доподлинно известно, что на крещение Лермонтова были приглашены из церкви Трех Святителей протоиерей Петров, дьякон Петр Федоров, дьячок Яков Федоров и пономарь Алексей Никифоров. Протоиерей Петров был известен в церковных кругах, его потомки занимали долгое время священническое место при церкви Трех Святителей.

Как полагается, у крещеного были восприемники: бабушка Елизавета Алексеевна и коллежский ассесор Фома Хотяинцев. Был ли младенец крещен в церкви или дома? Об этом нет точных данных. Но, по-видимому, дома; едва ли недельного ребенка понесли бы в церковь, учитывая состояние его здоровья, здоровье его матери и октябрьскую погоду. В прежнее время довольно часто крестили дома...

У купели, недалеко от Красных ворот, получил свое завершение небольшой семейный конфликт. По традиции Лермонтовых — я уж говорил об этом — сына полагалось бы назвать Петром. То есть по имени деда Петра. Но в дело, по всей видимости, вмешалась бабушка. Прямо

или через посредство своей дочери. Было внесено другое предложение: назвать мальчика Михаилом по имени отца его матери.

Была ли при этом борьба? Несомненно! Ведь Юрий Петрович шел к купели с готовым именем, уже освященным семейной традицией. Во имя чего надо было нарушать ее? Да потому, что настаивала бабушка. Сдался ли Юрий Петрович мгновенно? Едва ли! Значит, был нажим.

Я хочу, чтобы на этот казалось бы незначительный случай было обращено особое внимание. Следует учесть — я уже говорил, — что Елизавета Алексеевна очень неохотно согласилась на брак своей дочери. Знал ли обо всем этом Юрий Петрович? Разумеется, да. Теперь ко всему прибавились крестины, где Юрий Петрович как глава семьи потерпел явное поражение.

Или надо было очень любить Марию Михайловну и ни в чем не перечить ни ей, ни ее матери, или же надо было обладать очень мягким, покладистым характером. Последнее, кажется, не подтверждается. Может быть, тут сыграла свою роль чисто мужская снисходительность к напору женщин? Ведь бывает такое в жизни.

Так или иначе, верх взяла Елизавета Алексеевна. Это она пожелала увидеть в своем внуке продолжение рода Михаила Арсеньева.

Поражение, которое потерпел у купели своего сына Юрий Петрович, несомненно, не прошло для него бесследно. И, наверное, позабылось бы неприятное, возможно, даже не осталось бы в душе горького осадка, если бы дальше все сложилось более или менее сносно. Если бы совместная жизнь не осложнилась еще больше.

Семейная жизнь не всегда протекает гладко. Это банальная истина. Я помню, как, будучи мальчиком и не очень-то разбираясь в том, что есть семейная жизнь, улавливал обрывки речей: «семья — это тюрьма для человеческих страстей», «семья — болото, в котором погрязают и женщина и мужчина», «да здравствует свободная любовь без семьи, без брака!» Это было в двадцатые годы, когда имели хождение всяческие архиреволюционные теории, и насчет брака тоже. А мудрые люди, покачивая головами, говорили, может быть повторяя чьи-то слова: «Семья не самое совершенное изобретение, но пока что не выдуманно ничего лучше нее».

Неизвестно, что думал Юрий Петрович о своей семейной жизни. Не оставил он на этот счет никаких письменных свидетельств. Мы можем судить об этом только по различным косвенным данным. Как бы то ни было, отношения между молодыми становились день ото дня все более натянутыми.

Вскоре Лермонтовы, разумеется, вместе с Елизаветой Алексеевной, вернулись в Тарханы. У всех троих, независимо от их отношений, была одна великая забота: уберечь от любой — большой или малой — беды слабенького Мишеля. Что бы ни случилось в семье — надо всем царствовало недреманное око бабушки, и око это всецело было направлено на Мишеля. При всех обстоятельствах Мишель для бабушки был дороже всего на свете.

Юрий Петрович редко, говорят, в это время выезжал из Тархан: только по самым неотложным делам в Москву или в свое Тульское имение. Нет никаких указаний на то, что отец хоть чуточку пренебрег интересами сына. По-видимому, он был любящим отцом — добрым и внимательным.

Что же говорить о Марии Михайловне?

Она обратила всю свою нежность на Мишеля. Целые дни проводила она с маленьким ребенком. Сама больная, не жалела она своих последних сил ради Мишеля. Мальчик требовал к себе полного внимания. Он отвлекал мать почти от всех дел. Но только почти... Ибо ее любящее

сердце раскалывалось надвое: одна половина тянулась к Мишелю, другая — к Юрию Петровичу, который все дальше и дальше отдалялся от нее. Вопреки ее желанию.

В таких случаях близкому человеку очень трудно соблюсти хотя бы видимость нейтралитета. Речь идет о бабушке. Самое мудрое, разумеется, нейтралитет. Но возможен ли он, если под боком любимое существо, которое незаслуженно страдает? Елизавета Алексеевна не могла соблюдать нейтралитет. Не такого была она склада. С ее точки зрения, недостойный ее дочери муж вел себя к тому же и в супружестве недостойно: не раз обижал жену, а иногда и грубил ей. А однажды будто даже посмел поднять на нее руку. В минуту сильнейшего раздражения...

Довольно легко придумать любой диалог или монолог, из которых можно было бы заключить, что не все ладно в семье Лермонтовых. Нет ничего унижительнее подобной беллетризации, когда и «ложь на волосок от правды». А документов на этот счет нет никаких. Есть события, есть жизнь и отчасти молва, которую из первых рук в свое время получили Хохряков и Висковатов. Некоторые литературоведы не согласны с «традиционной» трактовкой семейного конфликта Висковатовым и пытаются почерпнуть из поэм Лермонтова больше автобиографического материала, чем это полагалось бы. Висковатову можно и должно верить, пока не получены иные, более достоверные документы.

Обычно даже самые мелкие семейные неурядицы, если они не пресекаются в самом зародыше, ведут к охлаждению. Теряется чувство. Говорят, уходит любовь.

Как должна была вести себя в этих условиях Елизавета Алексеевна? Наверное, всячески отвращать любящую дочь от мужа. Так она и поступала.

Над колыбелью Мишеля-несмышленища пела грустные песни Мария Михайловна. Может быть, заодно оплакивала она и свою молодость? Поэт когда-нибудь напишет: «Я видел женский лик, он хладен был как лед, и очи — этот взор в груди моей живет; как совесть душу он хранит от преступлений; он след единственный младенческих видений...» Не о ней ли, не о ней ли эти строки?

Жизнь в тарханском барском доме делалась для его взрослых обитателей все невыносимее...

Итак, позади день второй.

Развязка

Любое жизнеописание Михаила Лермонтова не сможет обойтись без книги Павла Висковатова. А до него был Владимир Хохряков.

Ираклий Андроников пишет о Хохрякове: «Он первый, по живым следам, начал собирать рукописи Лермонтова и материалы для его биографии. Как много вложил он в это дело благородной и бескорыстной любви!» Его начинания с большим успехом продолжал Висковатов. Оба они еще застали в живых кое-кого из жителей Тархан, лично знавших Лермонтова, и донесли до нас их бесценные рассказы. К сожалению, многое из того, что происходило в барском доме, так и остается тайною до сих пор.

Неурядицы в семье Лермонтовых со временем приняли такой характер, что скрывать их уже было невозможно. По всем данным, Мария Михайловна переживала все это крайне тяжело. Но с достоинством. Она нянчила свое дитя, в свободное время играла на фортепьяно или ходила по крестьянским избам, чтобы утешить немощных и помочь лекарствами.

Ребенок выравнивался очень медленно. А мать его худела с каждым днем, и слезы на глазах ее не просыхали.

Елизавета Алексеевна, которой приходилось наблюдать это, несомненно, делала все, чтобы отвлечь свою дочь от «непутевого мужа».

Юрий Петрович вступил в ополчение. Но его кратковременное отсутствие не поправило семейных дел, все оставалось по-прежнему: неприязнь, переходящая во враждебность, мелкие дразги, доходящие до крупных ссор.

Лермонтовы приехали из Москвы в тарханскую усадьбу зимою 1814/15 года. По-видимому, когда ребенку было полгода. Во всяком случае, именно этот возраст записан в Вероисповедной книге. Прежде, до того как Елизавета Алексеевна купила тарханское имение у Нарышкина, село называлось «Никольское, Яковлевское тож».

Долго я ходил по комнатам барского дома и внушал себе, что именно здесь, — в углу ли, у окна ли, — сидел юный Лермонтов. А того дома, где на суконных коврах ползал Мишель и в котором умерла Мария Михайловна, уже нет. Он был снесен Елизаветой Алексеевной, а на его месте воздвигли домовую церковь. Можно понять Елизавету Алексеевну: ей было тяжело среди стен, в которых умерли ее муж и дочь.

О внешнем виде тарханского дома, — как он выглядел в прошлом веке, — мы можем судить по рисунку Павла Висковатова. Думаю, что сад, пруд, дорожки не очень изменились более чем за столетие: все это сберегли окрестные крестьяне.

Бродя по селу, я невольно вспоминал стихи поэта: «Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой... И прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка...» — и мне казалось, что это писалось вчера, что все остается так, как тогда, при Лермонтове.

Я бродил по роще, по берегу пруда и сравнивал со стихами поэта то, что видел: «Родные все места: высокий барский дом и сад с разрушенной теплицей; зеленой сетью трав подернут спящий пруд, а за прудом село дымится — и встают вдали туманы над полями». И прихожу к выводу: как мало здесь перемен за сто с лишним лет! И оттого, что все почти, как прежде, при Лермонтове, ты испытываешь особое чувство благоговения перед окружающим...

Чем могла бы закончиться семейная драма Лермонтовых, если бы не смерть Марии Михайловны? Жестокая болезнь — чахотка, которую только в наше время смогли победить, подкосила ее. И она ушла из жизни, не подозревая, кем будет ее мальчик! И что напишет он много лет спустя: «...он был дитя, когда в тесовый гроб его родную с пенем уложили. Он помнил, что над нею черный поп читал большую книгу, что кадили...» и что, «закрыв весь лоб большим платком, отец стоял в молчанье. И что когда последнее лобзание ему велели матери отдать, то стал он громко плакать и кричать...»

Так распорядилась судьба, и тугой узел семейной драмы вдруг оказался распутанным. Для взрослых. Но не для того мальчика, который громко плакал и кричал. Для него начались новые муки — на сей раз настоящие, ибо сознание его понемногу прояснилось и он стал день ото дня понимать все больше, мир начал открываться его глазам и во всей прелесть, и в неприглядной наготе.

Похоронили Марию Михайловну рядом с могилой ее отца.

С каким чувством возвращались взрослые домой? О чем думал Юрий Петрович? О том, что больше не жить ему в этом доме под одной крышей с Елизаветой Алексеевной? По-видимому, да. Но что делать с ребенком, к которому питал самые горячие чувства Юрий Петрович? Разумеется, увезти с собою в свое тульское имение Кропотово. Ведь это же естест-

венно! Было бы непонятно, если бы Юрий Петрович думал иначе. Нет, иначе он все-таки не думал: он решил забрать Мишеля...

А Елизавета Алексеевна? Неужели она готовила себя к тому, что Мишеля вот-вот увезут и она останется одна в целом свете? Разве жалела она силы и средства, чтобы выходить Мишеля? Разве не бодрствовала она ночами, когда болел Мишель? Вместе с Марией Михайловной, разумеется, и вместе с Христиной Осиповной, которая со дня рождения Мишеля к нему была приставлена. Разлука с внуком исключалась. За полной ее невозможностью для Елизаветы Алексеевны...

Но ведь и права отцовства никто не лишал Юрия Петровича. Да и невозможно было лишить его этого!..

Вот вам еще одна, уже новая коллизия развивающейся семейной драмы. Как быть? — этот вопрос не давал покоя ни Елизавете Алексеевне, ни Юрию Петровичу.

Но не думайте, что трехлетний Мишель совсем в стороне. Нет, его роль пока просто пассивна. Но в его душе все эти перипетии оставляют глубокий, так и не заживший до самой его смерти след.

Ошибается тот, кто думает, что трехлетний ребенок — сущий несмышлениш. Это совсем не так! Все — хорошее и плохое, радостное и горестное — когда-нибудь скажется. Когда-нибудь «прорежется». Хорошей или недоброй гранью...

...Словом, детская память чрезвычайно обострена. Это мы по себе знаем. На ней отпечатывается все, словно на воске. А что сказать о детской душе? Она слишком хрупка и поэтому слишком ко всему восприимчива. Мишель же был вдесятеро чувствительней любого обычного ребенка.

Когда семья снова собралась под общей кровлей, то окончательно выяснилось, что двое в ней совершенно непримиримы — это Юрий Петрович и Елизавета Алексеевна. Не было ничего, что бы объединяло их теперь, кроме Мишеля. Мальчик играл на полу, казалось, не замечал ничего. Но слух его был чуток, и он ловил все, что говорилось и как говорилось его отцом и бабушкой. Наверное, принимались меры, чтобы уберечь ребенка от ненужных ему разговоров. Наверное, Христина Осиповна не оставалась безучастной. Но не все же скроешь. Тем более когда родственные отношения переходят во враждебные. В полном смысле этого слова.

Девять дней и ночей провел Юрий Петрович в тарханском доме. Девять мучительных дней и ночей. Это тот минимальный срок, когда, по обычаю, необходимо «побыть» с покойным. На девятый день — поминальный обед...

Наступил день десятый... И теперь уже ничто не может удержать Юрия Петровича в этом постылом для него доме. И он уезжает к себе в Кропотово. Покуда оставляя сына. На попечение его бабки.

И в этом случае обнаруживается решительность и настойчивость Елизаветы Алексеевны.

Словом, Юрий Петрович уступил.

Что же все-таки произошло?

На этот счет не имеется доподлинных документов. Однако картина поддается описанию и исследованию.

Аргументы Юрия Петровича: он не может долее жить в этом доме. Он вынужден уехать к себе, в Кропотово. Сын есть сын, он любит сына, а по-сему забирает его с собою. Верно, недостаток будет не тот, но что поделаешь, придется напрячь все силы и возможности. Ради сына.

Аргументы Елизаветы Алексеевны: верно, жить Юрию Петровичу здесь, должно быть, нелегко. А сын есть сын. Это можно понять. Но ведь надо понять и Елизавету Алексеевну: это ее внук! Не может она без

него. Достаток для ребенка, тем более болезненного, очень важен. Нельзя подвергать Мишеля риску. Елизавета Алексеевна сделает для него все, она отдаст ему все свое немалое имущество. Она позаботится о нем. Отец может наезжать, может видаться и даже иногда брать сына с собою.

Утверждают, что была обещана «помощь» и Юрию Петровичу. И она воспоследовала. Что именно эта «помощь» в значительной степени повлияла на его уступчивость в вопросе о сыне.

Юрий Петрович уехал к себе после мучительных девятидневных разговоров с тещей. И Мишель навсегда лишился и матери, и отца. Хотя время от времени Мишель и виделся с отцом. Хотя время от времени Юрий Петрович требовал сына к себе. Но одно дело — видаться, а другое — жить с отцом и чувствовать его локоть каждодневно.

Достаточно ли было для мальчика бабушкиной любви — безотчетной, всепоглощающей, слепой? Наверное, да. И тем не менее недоставало родительской. Одна любовь в семье не заменяет полностью другую. Это давно известно.

Елизавета Алексеевна дала обет: она поклялась сделать для внука все возможное и даже невозможное.

И она это сделала. И это было подвигом ее. Трудным и радостным. Поэтому никогда не померкнет имя Елизаветы Алексеевны Арсеньевой.

Итак, завершился первый акт семейной драмы. Со смертью Марии Михайловны. Ее возраст точно определен в надписи на надгробии: 21 год, 11 месяцев и 7 дней.

Над прудом среди дубравы

Помещичьи усадьбы редко обходились без обширного сада, без зеленой рощи и большого пруда. В этом смысле Тарханы не представляли исключения.

Здесь, на лоне природы, в стенах просторного барского дома, протекали детские годы Мишеля Лермонтова. Бабушка делала все, чтобы внук ее рос в полнейшем достатке. Ни в чем ему не было отказа. Забавы его не ограничивались. Летом — пруд, прохлада в тени деревьев, зеленые лужайки, а зимою — ледяная гора, санки, игры в теплых покоях. Бабушка звала к себе плясуньи и певиц. Приходили ряженые, которых на это время освобождали от повседневных работ. (Разумеется, устроить сыну такую жизнь Юрий Петрович не смог бы.) И, можно сказать, ни единой минуты без бабушкиного глаза. Она спала с ним в одной комнате, прислушивалась с тревогой к его дыханию по ночам, когда Мишель болел. И хозяйственными делами занималась теперь Елизавета Алексеевна только ради своего внука. Ибо он был для нее всей жизнью, всем миром, светом ее очей. Желание Мишеля — закон для бабушки, для всех, кто жил в Тарханах. Баловень, скажете вы. И не ошибетесь: да, баловень!

И неизбежно встает вопрос: как мог избалованный в детстве человек, выросший в неге и холе, возненавидеть политический и социальный строй, взрастивший его самого?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть, что же было здесь кроме удобных покоев, кроме пруда и дубравы. Ведь Тарханы — это не только барская усадьба, но и нивы, гумна, крестьянские печальные избы и печальные деревеньки в округе. Ведь Елизавете Алексеевне принадлежали не только дом, деревья, избы, но и люди, жившие в Тарханах. Здесь во всей наготе представляла та самая крепостническая деревня, которая не давала покоя совести лучших людей того времени.

Елизавета Алексеевна вела хозяйство не без умения. Сотни рабочих рук трудились день-деньской, добывая для нее и пропитание, и деньги. Ибо только таким путем можно было удерживать на определенном уровне «процветающее» хозяйство. Царский строй ревниво оберегал интересы помещика. Сам царь был первым и самым богатым помещиком на Руси. Дворянство составляло верную, неподкупную опору режима. А офицерство — почти все — набиралось из дворян. Помещик, можно сказать, не только отдавал армии своих детей, но, по существу, содержал их на свои деньги во имя защиты «царя и отечества». Между государством, армией и дворянством была столь прочная взаимосвязь, что нарушить ее было совершенно невозможно без радикального изменения всей жизни, всего строя сверху донизу.

Спрашивается: видел ли юный Лермонтов, как пороли нерадивых крестьян? Несомненно! Наблюдал ли он слезы бедных солдаток? Несомненно! Проходила ли мимо его пытливого взгляда вся подлость и жестокость крепостнической деревни? Нет, не проходила. Ибо все это уж слишком было на виду, на самой поверхности жизни. Тем более для такого острого глаза и чуткого сердца.

О деревне той поры есть точное свидетельство. Оно принадлежит Пушкину. Хотя оно давно стало хрестоматийным, я приведу его: «Здесь барство дикое, без чувства, без закона, присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца. Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, здесь рабство тоще влачится по браздам неумолимого владельца. Здесь тягостный ярем до гроба все влекут; надежд и склонностей в душе питать не смея, здесь девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея».

Поэту деревня представлялась толпой «измученных рабов». Можно ли сказать яснее, точнее? Можно ли беспощадней пригвоздить к позорному столбу царский строй? Был ли в подобном обличении великий Пушкин одиноким? Нет, разумеется. Но слова его, сказанные столь прекрасно и авторитетно, дают вернейшую картину деревенской жизни той эпохи.

Лермонтову никуда не надо было ездить, чтобы это все увидеть и почувствовать.

Впечатления детства — на всю жизнь! Можно запомнить кое-что из мелочей. Но слезы и дикие нравы крепостнической деревни — никогда!

С одной стороны, личная, семейная драма, сиротство при живом отце влили в молодую душу ту самую долю горечи, которая обернется потом мрачными стихами, великой человеческой печалью, доходящей до озлобления. С другой стороны, картины жестокой деревенской жизни выковыляли из мальчика мужчину, который всем сердцем возненавидел рабство и подлость, больших и малых покровителей их.

Если мы не поймем того, что именно в детские годы зрела в Лермонтове ненависть к несправедливости и накапливалась печаль, то невозможно будет разобраться в самом простом: почему же этот дворянин, баловень достатка вдруг оказался непримиримым врагом того самого строя, который дал бы ему все для беззаботного существования до самой гробовой доски, если бы он этого пожелал, если бы не «портил» себе и другим настроения своим «железным стихом, облитым горечью и злостью».

«Почвы для исследования Лермонтова нет, — писал Александр Блок, — биография нищенская. Остается «провидеть» Лермонтова». Это верно только отчасти и требует уточнения. Биография Лермонтова — биография молодого человека, едва вышедшего в «люди». Она мало документирована в обычном понимании этого слова. Однако все, что им написано, — 400 стихотворений, около 25 поэм, 5 драм и 7 повестей, — есть итог этой короткой жизни, и они, его произведения, — самые надежные документы для тех, кто пожелает «провидеть» поэта.

Защищая творчество Лермонтова от не в меру педантичных литера-

туроведов, в частности от «анализа» профессора Котляревского, Блок писал: «...Профессор Котляревский внезапно обмолвился одной фразой, будто с неба звезду схватил: «...истина заключалась в бессменной тревоге духа самого Лермонтова». Эта роковая обмолвка уничтожает все остальное исследование». Верно, тревога духа! Разве мало этого для понимания поэта, какую бы он ни прожил жизнь — малую или большую?

Процесс становления человека — сложный процесс. Тут и влияние наследственности, и окружающей среды, и порою совершенно незаметных столкновений с действительностью и даже с отдельной личностью. Можно ли, например, не принимать в расчет хотя бы бесед бонны Христины Осиповны, обучавшей его немецкому языку? Что она читала Мишелю из немецкой литературы? Что говорила она ему о Гёте и Шиллере? Что читала из их книг? Мишель, говорят, называл ее «мамушкой». И надо полагать, что «мамушка» тоже немало воздействовала на его впечатлительную душу.

Идут месяцы, годы... Мишеля одолевает золотуха. Те, кто знал его детскую пору, отмечают болезненность Мишеля. «Жидкий, — говорят, — мальчик, здоровьем золотушный». И кривизну ног отмечают, как следствие этой самой болезненности. Павел Висковатов приводит рассказ жителя Тархан о Мишеле: «В детстве на нем постоянно показывалась сыпь, мокрые стручья, так что сорочка прилипала к телу, и мальчика много кормили серным цветом». Сейчас это называется аллергией, и борьба с нею даже в наше время считается делом не простым, поскольку причины, вызывающие ее, весьма разнообразны, подчас коварны.

Известно, что к Мишелю был приставлен доктор Ансельм Левис, или Леви, — французский еврей. Он жил в тарханской усадьбе. Главную его обязанность было выходить Мишеля, елико возможно поправить его здоровье. Бабушка ничего не жалела ради внука. Буквально ничего!..

Можно ли уверенно предсказать будущий талант ребенка? Едва ли. К шестнадцати — девятнадцати годам человек претерпевает довольно серьезные духовные и физические изменения. Ни те, ни другие нельзя рассматривать обособленно. Поэтому прогнозирование сильно усложняется. Моцарт очень рано проявил свои способности. И Пушкин тоже. По-видимому, талант в самом высшем его выражении так или иначе уходит корнями в раннее детство. И в то же время можно задать такой вопрос: можно ли было «увидеть» в хилом ребенке великого Ньютона? Кто бы распознал в двадцатилетнем юноше, ничего не умеющем делать по-настоящему, будущего О'Генри? Не задним числом, а с помощью гаданий, хотя бы при содействии современного компьютера или каким-либо способом. Может ли даже самый тонкий психологический анализ открыть в подростке будущего прозаика? Едва ли, поскольку развитие такого таланта очень тесно связано с накоплением разнообразного жизненного опыта. Особенно в наше время, когда наука вторгается во все поры жизни, когда искусство и литература должны быть на гребне научно-познания бытия. Поэтому лично я не очень верю, чтобы в семидесятые годы двадцатого века вдруг объявился гениальный прозаик двадцати — двадцати пяти лет от роду. Может, чувства у него вполне достанет, но что касается суммы знаний и жизненного опыта — сомнительно. И в то же время литература такая порой загадочная область, что не знаешь, что когда найдешь и когда что потеряешь.

Говорят: природа навеивает поэтические образы. Вероятно, часто оно так и бывает. Хотя я, грешным делом, полагаю, что ничего сама по себе она навеять не может без человека, без его присутствия, в какой бы форме оно ни было — «заочным» или «очным». Но это спорно, и отношу это только на счет идиосинкразии, вызываемой во мне голой красотой природы, не одухотворенной человеком. Я бы даже сказал: не оживленной его присутствием. Но это, повторяю, — сугубо личное...

Кто бы ни приехал в Тарханы, кто бы ни прошелся по их таинственным тропам, где все дышит неподдельной красотой, тот наверняка скажет: да, здесь должна была родиться истинная поэзия! Это не бурная природа, неумемная в своем цветении и увядании. Это не Кавказ с его необузданным пейзажем, со взлетами скал и сказочными глубинами долин. Нет, это великолепная в своем роде средне-русская флора, где зелень в меру зелена, где увядание ее медленно и печально, где дали подернуты дымкой и небо нависает над землей чудесным шатром. И тихий пруд, кажется постоянно дремлющий, его зеркальная поверхность, и берега, полные грусти, навеваемой густыми ветлами,— все, все подчеркивает необозримость далей и высоту небес. И как ни странно, среди этой необозримости не пропадает ни одна былинка, ни единый цветок. Здесь все как бы на виду. Не в эти ли часы «смирятся души моей тревога» и «расходятся морщины на челе»?

Здесь, в Тарханах, было все, чтобы сформировать характер, я бы сказал, в самых различных вариантах. Честная же и прямая душа была бы уязвлена всей обстановкой, крепостнической жизнью в самом натуральном, ничем не прикрытом виде. И этой честной и прямой душе опостылел бы белый свет, и сделала бы она все, чтобы отмежеваться от жестокой действительности. Страдания крестьян, вид «печальных деревень», наконец, жалкий облик сверстников не могли не подействовать на маленького Мишеля. Хрупкий, болезненный мальчик видел и понимал больше, чем это предполагали взрослые. И когда мы в дальнейшем встретимся с «крайней раздражительностью» поэта, когда услышим горькие речи его и «железный стих» — мы должны помнить, что «настроение» это «сложилось» в тех самых Тарханах, в которых, как в капле, можно было изучать «идиотизм» жизни той поры в любом ракурсе и в любом разрезе. И если здесь вырос не великовозрастный барчук, а человек глубокой мысли и широчайшей души, если здесь родился и окреп поэтический гений, которым может гордиться все человечество, то в этом, в первую очередь, «повинны» те же Тарханы и та же Россия. И, наверное, тарханские крепостные крестьяне внесли свою лепту в воспитание великого поэта. Сами того не подозревая, они тоже «формировали» его характер своей жизнью, точнее, неприятием этой жизни.

Стало быть, говоря о том, что влияло на духовное формирование Лермонтова, с одной стороны, мы должны помнить барские покои и их обитателей, а с другой — Тарханы и их несчастных жителей.

Перечисляя тех, кто окружал Лермонтова в тарханскую пору, мы непременно должны упомянуть и Жана Капэ. Он вторгся вместе с наполеоновской армией в Россию. В отличие от некоторых воинов, нашедших гибель в Бородине, в Смоленской губернии от рук партизан или при переправе через Березину, Капэ спасся в русском плену. И оказался рядом с будущим поэтом.

Капэ обучал Мишеля французскому. Неизвестно, был ли он знатоком языка, но, во всяком случае, хорошо знал живую французскую речь. По воспоминаниям современников, он был человеком хорошим. И выказал себя преданным Мишелю наставником.

О чем мог рассказывать Капэ? По-моему, догадаться об этом очень-то трудно: о войне, о Франции, о великом императоре.

Капэ, несомненно, поражал ребенка достоверностью своих рассказов, будил в нем любознательность, подогревал романтические порывы души. Француз был человеком болезненным: чахотка исподволь подтачивала его силы. Но он держался, учил своего питомца произношению французских слов, возможно, с некоторым эльзасским диалектом, ибо Капэ был из Эльзаса (по свидетельству Акима Шан-Гирея).

Мишель, вооруженный игрушечной саблей, носился по аллеям парка с гиканьем и визгом. Орава деревенских ребятишек, которых лично опекала ради внука Елизавета Алексеевна, многогласно повторяла военные

кличи всех времен и народов. Детская фантазия бурно разрасталась на таинственных тарханских просторах, среди ветел и высоких кустов, среди травы-муравы и горькой долины. И какой мудрец предсказал бы великое будущее этому ребенку? И существует ли, повторяю, на свете возможность для точных предсказаний? То есть можно ли распознать в человеке поэта, которого еще не потребовал «к священной жертве Аполлон»? Пушкин в том же стихотворении, откуда взяты эти слова, отрицает эту возможность. Может, кто-нибудь возьмется опровергнуть его?

О многом я передумал, бродя по тарханским тропам. Как было бы хорошо, размышляя я, если бы вовремя угадывали гения! Еще в малолетстве его. Сколько талантов сберегли бы для человечества, сколько умов, бессмысленно загубленных!

Но вся сложность, если угодно, противоречивость человеческой жизни в том, что это почти невозможно. И бабушка видела в Мишеле только внука, Христина Осиповна — милого болезненного мальчика, а Капэ — способного ученика.

Может быть, сверхчеловек, буде он появился бы в Тарханах, приметил бы в глазах Мишеля — в его больших и черных глазах — радость, когда они смотрели на облачное, быстро меняющееся небо, или на водную гладь пруда, или на покрытый росой серебристый ландыш, удивление, которое неизменно вызывала в мальчике бескрайняя волнующаяся нива, или ненависть, молнией сверкавшую в зрачках маленького Лермонтова, когда лупили «провинившегося» крепостного. Может быть, этот сверхчеловек догадался бы, с кем имеет дело в лице шустрого Мишеля. Может быть... Однако такой сверхчеловек не появлялся ни в Тарханах, ни где-либо в другом пункте земного шара. В сказках такие проводцы попадались. Только в сказках...

А вдали маячат Кавказские горы...

Молодой критик сформулировал некую литературную сентенцию на страницах солидной московской газеты. Заключена она была в следующем, совершенно определенном утверждении: лучшая проза пишется на равнинах, лучшая поэзия рождается в горах. Сделал это критик из самых лучших побуждений, разбирая сборник стихов горского поэта. Повидимому, вторая часть формулировки подтверждалась конкретными примерами. Но достаточно спуститься с Кавказских гор в село Тарханы, чтобы заподозрить нашего критика в ироническом складе ума. Именно заподозрить, ибо критик в этом отношении — вне всякого подозрения.

Если говорить серьезно, поэзия не имеет отношения к «высоте над уровнем моря»: она рождается в самом сердце. Она зависит, в первую очередь, от таланта, а затем — от тех жизненных столкновений, которые, подобно кресалу и кремню, рождают искры, то есть мысли и чувства. Надо ли присовокуплять, что трудолюбию здесь должно быть отведено одно из первых мест, истинному таланту органично большое трудолюбие.

Разумеется, ни о каком поэтическом таланте в Тарханах и не помышляли. Зато бабушка Мишеля очень верно рассудила, что внуку необходимо дать хорошее образование. Поскольку до поры до времени оно мыслилось только в стенах тарханского дома, было решено обучать мальчика наукам и языкам при помощи приглашенных наставников.

Елизавета Алексеевна понимала, что для блестяще образованного человека необходимо помимо знания европейских еще и знание древнегреческого и латинского языков. С этой целью в усадьбе был поселен некий греческий беженец из Кефалонии. Говорят, что сей далекий потомок Гомера вскоре переменял свою работу и занялся в Тарханах вы-

делкою собачьих шкур. И обучил этому ремеслу кое-кого из жителей. Да так хорошо, что дело это со временем развилось. И не погибло со смертью деловитого кефалонца.

Дополнительно неизвестно, кто преподавал в тарханской усадьбе арифметику и другие науки. Возможно, это были те же Христина Осиповна и Капэ. Или кто-нибудь еще. Из крепостных.

Елизавета Алексеевна верно рассудила, что будет лучше, если Мишель станет заниматься не один, а со своими сверстниками. Она пригласила к себе Акима Шан-Гирея, двоюродных братьев Мишеля со стороны Юрия Петровича — Николая и Михаила Пожогиных-Отрашкевичей, двух братьев Юрьевых, князей Николая и Петра Максютых. И еще кое-кого из детей своих родственников. Павел Висковатов утверждает, что детей собралось в усадьбе чуть ли не десять человек. И это будто бы обходилось чуть ли не в десять тысяч ассигнациями в год.

Был ли доволен положением своего сына в Тарханах Юрий Петрович? Несомненно. И ему, должно быть, не раз указывали в беседах на эти расходы — десять тысяч в год! И не могли не указывать. Юрий Петрович все время должен был ощущать свое положение бедного дворянина и не претендовать на воспитание сына. Присутствие в Тарханах братьев Пожогиных-Отрашкевичей указывает на то, что Елизавета Алексеевна пыталась как-то поддерживать свои отношения с родственниками Юрия Петровича. Трудно сказать, делала ли это Елизавета Алексеевна с большим удовольствием. Однако факт остается фактом: она не порвала отношений с отцом Мишеля. Да, видимо, и сам Юрий Петрович не давал для этого особого повода. Предполагали, что Лермонтов не раз бывал у своего отца. Одно такое посещение Ефремовской деревни засвидетельствовано лично поэтом в приписке к стихотворению «К гению» (1829 год). В ней сказано: «Напоминание о том, что было в Ефремовской деревне в 1827 году, где я во второй раз полюбил 12 лет — и поныне люблю!».

Утверждают, что и Юрий Петрович наезжал в Тарханы. На этот счет тоже не существует документальных данных. Факт, что подобные свидания не доставляли большого удовольствия бабушке. Другое дело, сколь частыми были они. Надо думать, что, поскольку особые приглашения Юрию Петровичу конечно же не посылались, свидания с сыном сводились к минимуму. Лучше в этом отношении обстояли дела в Москве, где позже учился Мишель. Но об этом — после...

Итак, Мишель обучался наукам. Уже разговаривал по-немецки и по-французски. И любил, говорят, лепить из воска разные фигуры, устраивал театральные представления, где актерами были те же фигурки. Висковатов, ссылаясь на материалы Хохрякова, на свидетельство Раевского, пишет, что двенадцати лет Лермонтов «вылепил из воску спасение жизни Александра Великого Клифом при переходе через Граник». Это свое пристрастие к театру кукол Лермонтов сохранял долго, продолжая лепить фигурки и в Москве.

И, разумеется, по-прежнему в ходу излюбленные игры — военные, с переходами, боями, наступлениями, отступлениями. В этом нет ничего удивительного: обычные мальчишеские забавы.

Бабушка с великим усердием поддерживала как учение своего внука, так и забавы его. Делалось все для того, чтобы дать внуку хорошее образование (по тем временам) и не давать ему скучать без сверстников. Аким Шан-Гирей из ближайшего имения Апаліха был на несколько лет моложе Мишеля. Несмотря на эту разницу в летах, они были привязаны друг к другу. И эта привязанность сохранилась меж ними до самой смерти Михаила Лермонтова. Аким Шан-Гирей был сыном дочери той самой Хастатовой, о которой уже говорилось и которую называли «пере-

довой помещицей». Иными словами, он приходился Лермонтову троюродным братом.

Шли годы. Мишель заметно окреп. Во всяком случае, в играх, шалостях, баловстве он не уступал своим друзьям.

И все-таки бабушке хотелось, чтобы Мишель выглядел еще лучше, чтобы был еще крепче, чтобы сгладились все проявления детского недуга. И тут она обратила свои взоры на Кавказ, на целебные горячие воды в Пятигорске. Уж ежели бабушка решала что-либо, то свое решение она неукоснительно претворяла в жизнь. По-моему, мы уже не раз убеждались в этих ее способностях.

На жизненном пути Михаила Лермонтова замаячили Кавказские горы...

Мы не будем забегать вперед, чтобы показать, какое значение имел Кавказ в жизни и творчестве Лермонтова. Мальчику было около десяти лет, когда он впервые увидел горы и их снежные вершины. «Отсюда пошла связь Лермонтова с Кавказом, ставшая потом неразрывной». Это слова Блока.

Независимо от склонностей юной природы, перемена мест — всегда большое событие: расширяется представление о мире, накапливаются впечатления, приобретается опыт. С этой точки зрения поездка на Кавказ такое же событие в жизни ребенка, как и поездка юного горца в средне-русскую равнинную полосу. Обширная степь и хлебное море производят не меньшее впечатление, чем Эльбрус или Казбек на жителя Тамбовщины или Мещеры. Я это могу говорить хотя бы на основании своих личных переживаний. В свою первую поездку в Москву, где-то за Курском, ранним утром я увидел колышущиеся хлеба. Стелдился легкий туман. И я долго не мог понять, какое это море волнуется за Курском (я не сомневался, что это море или огромное озеро). И это впечатление у меня — на всю жизнь...

Теперь вообразите себе, что мальчик, никогда не видавший земли выше тарханского полугорья, и воды обширнее тарханского пруда, — вдруг попадает на Кавказ. У него, разумеется, захватывает дух от высоты белоснежных хребтов, его слух поражают бурные реки, а тенистые ущелья удивляют своей таинственностью. Мне хочется привести здесь несколько строк из Чехова, относящихся к его впечатлениям от Абхазии, поскольку их можно распространить на весь Кавказ. Вот эти строки: «Природа удивительная... Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов».

Встреча с Кавказом сулила Лермонтову тем больше романтики, чем чаще задумывался он над полуполюгендарными рассказами о своих отдаленных предках. Доподлинно неизвестно, от кого шли эти рассказы. Едва ли Юрий Петрович придавал им какое-либо значение. Вряд ли это можно отнести к Елизавете Алексеевне. Но, по-видимому, кто-то возбуждал в ребенке интерес к предку из Шотландии или Испании. Лерма, Лермонт... Эти имена будили в мальчике романтический дух, мысленно уносили его к неким бесплотным горам и туманным далам и небесам. И, едва научившись писать, Мишель будет подписываться именем «Лерма». А повзрослев, нарисует на стене, у изголовья своего друга Лопухина, портрет Лермы — бородатого испанца — и назовет его своим предком. Даже этот незначительный факт говорит о впечатлительной и беспокойной его натуре. А такие натуры, как известно, чаще всего радуют нас своими творческими деяниями. Но я повторяю еще раз: ничто еще не давало основания видеть в большеглазом, смуглом, «восточном» мальчике будущего поэта. На данном, как говорится, этапе мы можем лишь констатировать впечатлительность Мишеля, его интерес к различным романтическим рассказам и отметить в нем повышенную любознательность. Но все это симптоматично почти для каждого ребенка и еще ни о чем не говорит.

Мне кажется, была еще одна причина повышенного интереса к Кавказу, которая играла роль не меньшую, чем его горы и ущелья. Это — свободолюбие его народов.

Еще в восемнадцатом веке русские цари всячески поддерживают и направляют экспансию на юг, которая исторически началась еще раньше. Если угодно, женитьба Ивана Грозного на кабардинской княжне не была да и не могла быть продиктована только лишь велением сердца. С той поры и идет упорное продвижение к предгорьям Кавказа, которое со временем станет все более ожесточенным и кровопролитным. Казачество всячески натравливается на горцев, поощряется его воинственность. На помощь ему идут все новые царские полки, и царские генералы становятся полновластными хозяевами завоеванных земель.

В ответ на нестерпимые притеснения и угрозы горцы начинают борьбу не на жизнь, а на смерть. Со временем окрепнет и развернется знаменитое движение Шамиля. Но это еще впереди. К моменту первой поездки Мишеля на Горячие воды почти все предгорье Кавказа от Тамани до Кисловодска и Кизляра прочно удерживалось царем. Горское население ушло в горы, и там оно бешено грызлось.

Рассказы о косматых бурках и бесстрашии черкесов проникли в глубь России. Рассказы — следует это отметить ради справедливости — не только не вызвали злобу против горцев, но часто рождали уважение к ним и восхищение их борьбой. Уже первые поэмы Пушкина свидетельствуют об этом. Потом появятся кавказские поэмы Лермонтова и кавказские произведения Толстого. Великое сочувствие к горцам и восхищение их обычаями, нравами и свободолюбием так или иначе отразились в этих вещах, ставших любимым чтением всего просвещенного русского общества.

В начале девятнадцатого века Грузия присоединилась к Российской империи. Для этого у грузинского царя Ираклия имелись веские основания: надо было обеспечить южные границы Грузии от посягательств персидских шахов и турецких султанов. Обстоятельства вынудили Ираклия искать покровительства у единоверного царя в Петербурге. Этот акт сильно изменил положение горцев: теперь уже им приходилось защищаться от наступления царских полков и с севера и с юга.

Независимо от того, что происходило на Кавказе, поездка туда была тяжелой. И не день, не два, и не три. И даже не неделя! Наконец желанная цель: вдали маячат Кавказские горы. Очень близко, за степями Ставрополя...

В своей книге, изданной не так давно в Монреале, профессор Павел Пагануцци приводит карты путешествий Михаила Лермонтова. На одной из них указан маршрут поездок для лечения: Москва — Железноводск и Пятигорск. Пагануцци полагает, что Лермонтова возили на Кавказ трижды: в 1818 году, 1820 и 1825-м. Именно три раза. И точно приводит даты. Висковатов в свое время не очень-то был уверен в этом.

Абсолютно достоверно — и это подтверждено самим поэтом, — что в 1825 году состоялась одна из первых и весьма памятных поездок Мишеля на Кавказ. Известно, кто поехал вместе с ним: разумеется, бабушка, доктор Леви, Иван Капэ и Христина Осиповна, а также Михаил Пожогин-Отрашкевич и кузины Лермонтова — Мария, Агафья и Александра Столыпины. Я ни минуты не сомневаюсь в том, что «детское общество» было специально подобрано для Мишеля Елизаветой Алексеевной.

Пагануцци почему-то считает, что все «три маршрута» начинались в Москве. Для этого Арсеньевой с внуком пришлось бы проделать крюк в несколько десятков верст. Проще было из Тархан ехать на Тамбов или

Кирсанов, а уж оттуда выбираться на столбовую дорогу Москва — Воронеж — Черкасск — Ставрополь. Может быть, разок и заехали в Москву, но почему же обязательно все три раза?

В Пятигорске Арсеньева с внуком встретила с Екатериной Хастовой, жившей в Шелкозаводске, за Владикавказом, поближе к Кизляру. (Полагают, что Мишель побывал впервые в Шелкозаводске в 1818 году и как доказательство этого приводят запись в альбоме матери Мишеля, который он возил с собою с детства: «1818 июля 30-го, Шелкозаводск». Запись эта сделана рукою П. И. Петрова под стихами, обращенными к Арсеньевой. Вторая запись в том же альбоме сделана дядей поэта А. А. Столыпиным: «Кислые воды, 1820-го, августа 1-го».)

Что касается самой достоверной поездки Мишеля на Кавказ — 1825 года, — Лермонтов оставил такую запись: «Мы были большим семейством на водах кавказских: бабушка, тетушка, кузины». И тут же рассказывает о своей первой любви... «имея десять лет от роду». И мы читаем: «К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там... Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность... Нет, с тех пор я ничего подобного не видал или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз». Это писалось шесть лет спустя с того памятного часа...

Что мог увидеть любознательный мальчик на Кавказе?

Укрепления, казачьи пикеты, войска с пушками, обозами, черкесов мирных в косматых бурках, офицеров на водах, людей цивилизованных, тоже приехавших полечиться. Но не только: а горы, а снеговые вершины, а грозы в горах, ливни, обвалы, бурные реки, а буйная зелень, а скалы? Разве этого мало для впечатлительной души? Кавказ всем своим своеобразием, всей разноплеменностью, войной и миром вливался в детскую душу незабываемыми картинами. Сюда надо прибавить и различные рассказы кавказских старожилов — и тогда будет понятно, что означали для Мишеля поездки на Кавказ. Здесь могли переплетаться и быль и небылицы, рассказы точные с рассказами нарочито гиперболизированными. Но суть не только в этом. А в том, главным образом, что воображение ребенка было возбуждено всей новизной бытия, ее неповторимостью. И несомненной романтичностью. Поэтому-то Мишель мог с полным основанием воскликнуть: «Горы кавказские для меня священны...»

Поездки на Кавказ оказались благотворными для Мишеля. (Я говорю сейчас не о его творчестве, но о здоровье.) Ребенок окреп, хорошо развивался. Как и в наше время, в ту пору принимали минеральные ванны и пили воду. Я не знаю дозировки. Нынче за этим очень внимательно следят. Были хорошие знатоки своего дела и в то время. Доктор Гааз, например, принимавший весьма деятельное участие в исследовании вод в Эссентуках, был крупным врачом. Но, наверное, кое-кто и перебарщивал в приеме вод. Не без этого. В Карловых Варах мне рассказывали, что Петр I, который приезжал туда для лечения, принимал в сутки до полусотни стаканов «шпруделя». Тогда это была «норма». Во времена Лермонтова, наверное, более осторожно относились к дозировке.

Из Тулы в Ставрополь путь был долгий: фельдъегерь при хороших лошадях покрывал это расстояние за семь суток. Думаю, что на бабушкином дормезе Мишель трясся не менее двух недель, учитывая, что из Тулы надо было ехать в Тарханы, а из Ставрополя добираться еще до Пятигорска. Как минимум — две недели! Так и путешествовали. При этом люди не простые, но имущие. Скажем прямо: без особой нужды не выедешь за ворота усадьбы в дальнее путешествие. Даже поездка из

Тархан в Москву была целым событием, не говоря уже о поездке в Петербург, а тем паче — на Кавказ. (Надо ли говорить, что в то время еще не было железных дорог. Первая дорога с «паровиком» появилась в тридцатых годах. Она соединяла Петербург с Царским Селом и вызывала во многих суеверный страх.)

На Кавказе Мишель имел возможность в какой-то мере изучить нравы и характеры горцев. В памяти отлагались одни картины за другими. Их никогда не забудет Мишель. Пагануцци пишет: «Черкесы из соседних аулов ежедневно приезжали в Горячеводск для продажи бурок, седел и баранов... Из Горячеводска Лермонтов ездил в Аджи Аул на празднование байрама, на которое съезжалось все горячеводское общество. Устраивались джигитовки, пели, плясали и угощали всех гостей, а знаменитый певец Закубанья Керим Гирей пел под звуки пишендук'окью (вид арфы)».

Пройдет время, и в покоях тарханского дома Мишель все будет «лепить Кавказ», из воска, а позже напишет свое пылкое признание: «Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ...»

Ученье — свет

Из Пятигорска обратный путь лежал в Тарханы. По дороге — то дождь, то солнце с пылью. Дорога ведь грунтовая. Дормез по-прежнему тащится медленно.

В этих поездках своя прелесть, если угодно, своя магия: много впечатлений, много времени для размышлений. Молодые могли любоваться природой, старые — подремать, вспомнить о молодости, загодя помолиться о собственной душе во спасение ее.

Елизавета Алексеевна с внуком вернулись в родные места. Мишелю было за десять: пора подумать о серьезном учении. Мы снова видим Мишеля в обществе своих сверстников, с которыми он проходит науки и делит досуг. Однако юное общество пополнилось: из ближайшего имения Апалиха к Мишелю явились его троюродные братья и сестра Шан-Гирей, дети родной племянницы Арсеньевой — Марии Акимовны Шан-Гирей.

Помимо прямых занятий Мишель продолжал лепить восковые фигурки, устраивал «театр», заставляя играть фигурки в собственных пьесах. Мишель в эту пору уже начинает рисовать. Рисунки он «заносит» в альбом своей матери, с которым редко расстается. К персонажам его восковых произведений и рисунков прибавились кавказские типы и боевые эпизоды.

В этот тарханский период Мишель предстает значительно развитым подростком. Да и в смысле поправления здоровья сделаны большие успехи: плечи широкие, грудь крепнет, золотуха заметно отступает. Нет, не пропали даром великие бабушкины заботы!

Комната Мишеля находилась в мезонине. Вот одно из самых ранних описаний тарханского дома и комнаты Мишеля, сделанное Н. Рыбкиным в 1881 году: «Я был в селе Тарханах. Это было большое здание с антресолями; кругом его сад, опустившийся к оврагу и пруду... В детской спальне поэта красовалась изразцовая лежанка; близ нее стояла кровать и детский стулик на высоких ножках, образок в углу, диванчик и кресла. Мебель обита шелковой материей с узорами». К нашему счастью, дом и усадьба сохранились почти в натуральном виде.

Мишель понемногу выходит из детского возраста. Глаза его теперь видят больше и лучше. А уши слышат яснее. И вся неприглядная крестьянская жизнь становится для него понятней. И все горше делается на сердце. Оказывается, крестьян не только порют, не только унижают, не

только заставляют работать день-деньской, как рабов, но и продают их, как живой товар. Да, продают! И этому Мишель был свидетелем.

Что ему могла объяснить бабушка? Что мог сказать Капэ? Кто мог растолковать мальчику: отчего так скупа и так строга с девушками хмурая ключница Дарья Григорьевна? Отчего столь различные две соприкасающиеся жизни: одна — полная достатка, счастливая барская жизнь, а другая — полунищенская, бесправная, крестьянская. Две жизни — две доли! Кто мог бы дать мальчику правильные ответы на эти «проклятые вопросы»?

Аким Шан-Гирей писал о той поре: «...Мне живо помнится смуглый, с черными блестящими глазами, Мишель, в зеленой курточке и с клоком белокурых волос, резко отличавшихся от прочих, черных, как смоль... Мишель, как мне всегда казалось, был совсем здоров, и в пятнадцать лет, которые мы провели вместе, я не помню его серьезно больным ни разу».

Мальчик, по разным свидетельствам, продолжал выезжать к своему отцу в Кропотово. Цехановский писал в 1898 году, что дворовые люди Юрия Петровича еще живы и что, «по их рассказам, поэт был резвый и шаловливый мальчик, крепко любивший отца и всегда горько плакавший при отъезде обратно к бабушке». Надо думать, что со временем Мишель стала более понятной семейная драма и любовь к отцу, которая никогда не затихала в его сердце, усилилась. И он, как видно, постоянно метался между отцом и бабушкой. Итак, семейные распри с годами не стали менее горькими. И впечатления от странной семейной жизни еще больше ранили ребенка и заставляли его бессильно вопрошать.

К этому следует добавить еще одно немаловажное обстоятельство. Гёте и Шиллер в подлинниках уже были доступны Мишелю. А французская поэзия и Вольтер? Но что еще важнее: Пушкин полноправно властвовал в русской литературе. Мишель зачитывался его стихами и полюбил его всею душою.

Вспомним события декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге. Декабристы тогда основательно встряхнули Россию. Имена Пестеля и Рыльева были у всех на устах. Одни произносили их со злобою, другие — с любовью и уважением. Можно ли думать, что одиннадцатилетний Лермонтов всего этого не заметил? Что стихи Рыльева прошли мимо него?

Братья Елизаветы Алексеевны Аркадий и Дмитрий Столыпины были связаны с декабристами. Сергей Иванов, автор известной биографии Лермонтова, пишет: «Декабристы предполагали ввести Аркадия Столыпина в состав правительства, если бы их выступление окончилось успешно». Приезжая в Тарханы, братья беседовали о своих единомышленниках, и слова их, несомненно, достигали ушей Лермонтова.

Как бы жестоко ни расправился царь с декабристами, Россия уже стала иному. Да и не могла она оставаться прежней: уж слишком были взбудоражены просвещенные умы событиями в Петербурге! Нарождалось новое поколение людей, отдававших себе отчет в том, что в России явно неблагополучно, что нужны радикальные социальные перемены. Можно было повесить пятерых приверженцев свободы, но нельзя было убить самую мысль о свободе. Каким бы заброшенным уголком ни казались Тарханы, но и сюда, несомненно, доходили вести об отважных декабристах. Все, вместе взятое, налагало особый отпечаток на развитие Мишеля. Иначе и не могло быть!

Вот что писал о Мишеле А. Корсаков в 1881 году со слов Пожогина-Отрашкевича: «Учился он прилежно, имел особенную способность и охо-

ту к рисованию, но не любил сидеть за уроками музыки. В нем обнаружился нрав добрый, чувствительный, с товарищами был обязателен и услужлив, но вместе с этими качествами в нем особенно выказывалась настойчивость».

Мишель вот-вот начнет «изливать душу» в стихах. Но в нем скорее можно бы «угадать» будущего художника или ваятеля. Эти дарования в нем несомненно проявлялись.

А куда бабушка его обеспокоена продолжением учения, думает о настоящей школе. Елизавета Алексеевна принимает окончательное решение: надо ехать в Москву и там определять внука на учение.

В Москву

Для продолжения учения в стенах учебного заведения Елизавета Алексеевна выбрала Москву, где проживали ее многочисленные родственники. В Москву можно было ехать двумя путями: Тарханы — Нижний Ломов, затем к Спасску, и далее через Рязань, Коломну, Бронницу. Дорога эта была живописная, с лесами и перелесками, с любопытной для мальчика паромной переправой через речку Цну. Но был и другой путь: через Чембары, Ефремов и Тулу. Однажды, когда Лермонтов гусаром возвращался из Москвы в отпуск к бабушке, она рекомендовала ему ехать через Рязань, Тамбов, Кирсанов, Чембары. Дело шло к рождеству, и, возможно, зимою этот путь был удобней.

Осенью 1827 года бабушка с внуком отправляются в путь-дорогу. Вместе с ними, разумеется, бонна Христина Ремер и Жан Капэ. Известно, поехал ли с ними и доктор Леви, который не только лечил Мишеля, но и прививал ему вкус к естественным наукам. Его следы теряются в биографиях Лермонтова. А жаль: всегда хочется знать дальнейшую судьбу тех, кто имел отношение к полюбившимся нам людям.

Капэ оставался любимым наставником Мишеля. Его рассказы о войне имели успех у мальчика: как воевал Наполеон в египетских песках, как протекала битва при Маренго, какое бесстрашие проявил император при Аустерлице и как грустно было наблюдать переправу через Березину. Особое место в этих рассказах француза занимало Бородинское сражение. Да и самого Мишеля оно интересовало более другого. Бородино и пожар Москвы! Ведь речь шла не о далеком Симплоне, но о близком и родном.

Бедный Капэ, подобранный на поле битвы и выхоженный русскими людьми, при всем своем уважении к своей второй родине — России с жаром и любовью рассказывал о великом, непобедимом императоре. Ему, разумеется, прощалась эта любовь. К ней, к любви этой, даже относились сочувственно и часто разделяли ее. Как-никак Наполеона породила Великая французская революция.

Жан Капэ был влюблен в своего монарха, разгромленного в России, добитого в Ватерлоо и нашедшего смерть на далеком острове св. Елены, там, где «море на просторе над пучиною шумит». Фантазия Мишеля была подготовлена вполне для различных историй романтического характера. Жизнь и смерть Наполеона давали прекрасную пищу его уму. Капэ не жалел красок для всяческого возвеличивания любимого Бонапарта. И Лермонтов в своих стихах отдал дань Наполеону в духе рассказов Капэ. Однако интерпретация Бородинской битвы у него совсем иная, чем это вытекало из пылких экспромтов француза. По всему видно, что Лермонтов слушал рассказы не одного только Капэ — находилось немало ветеранов войны, которые с несколько иных позиций оценивали походы французского императора и особенно Бородинскую битву. И в

своим знаменитом «Бородино» Лермонтов отразил именно народную точку зрения на это великое событие...

Надо заметить, что осенью 1827 года Лермонтов надолго перебирался на новое место жительства, в Москву. Тарханы остались позади. Отныне Лермонтов окунался в новую жизнь. Она была неизбежна, эта новая жизнь, если думать о серьезном образовании. А об этом бабушка помышляла очень серьезно.

Елизавета Алексеевна остановилась на Сретенке у своих родственников — Мещериновых. Здесь она, что называется, осмотрелась, посоветовалась о том, куда лучше определить Мишеля. Вот что писал по этому поводу художник Моисей Меликов в 1896 году: «Мещеринова и Арсеньева жили почти одним домом. Елизавета Петровна Мещеринова, образованнейшая женщина того времени, имея детей в соответственном возрасте с Мишей Лермонтовым — Володю, Афанасия и Петра, с горячностью приняла участие в столь важном деле, как их воспитание, и по взаимному согласию с Е. А. Арсеньевой решили отдать их в Московский университетский пансион...»

Здесь, в доме Мещериновых, случилась беда: Жан Капэ серьезно простудился. Кашель все усиливался. Озноб донимал несчастного француза. Наконец, настал его черный день: смерть пришла в дом и унесла Капэ. Это был еще один большой силы удар по сердцу Мишеля. Он очень любил Капэ, больше всех своих наставников. Здесь, на московской земле, схоронили Жана Капэ и, как тысячи других могил, затерялась и его могила.

Как ни тяжело было горе утраты, пришлось думать о новом наставнике. Елизавете Алексеевне посоветовали француза-эмигранта по имени Жан-Пьер Коллет-Жандро. Его очень хорошо рекомендовали.

Надо отдать Елизавете Алексеевне должное: наставников для Мишеля подбирала она достойных. Особенно это надо отнести к Александру Зиновьеву, надзирателю и учителю русского и латинского языков Благородного университетского пансиона. Он руководил всеми занятиями Мишеля перед экзаменами в пансион. Его рекомендовали Мещериновы. Зиновьев оставался попечителем Мишеля и в пансионе. (Так полагалось по заведенной традиции.)

Пансион находился в то время на Тверской улице (ныне Горького) на том самом месте, где стоит сейчас здание Центрального телеграфа. В пансионе было шесть классов, до трехсот учеников. Мишелю после поступления в пансион пришлось бы поселиться в нем и, разумеется, разлучиться с бабушкой. Могла ли пойти на такую большую жертву Елизавета Алексеевна? Могла ли она не видеть Мишеля хотя бы день один, одну ночь? Нет, разумеется!

Недреманное бабушкино око должно было следить за любимым внуком денно и нощно. Не могла допустить бабушка, чтобы внук ее целиком перешел на чуждое попечение. И она принимает решение, которое согласуется с ее неистовой любовью к Мишелю: ежели он выдержит экзамены и поступит в пансион, то станет не пансионером, а полупансионером. То есть днем он будет заниматься в стенах учебного заведения, а на вечер и на ночь возвращаться домой. Только здесь, под боком у бабушки, Мишель найдет свое благополучие. Так, вероятно, думала Елизавета Алексеевна.

От тех московских времен осталось описание наружности Мишеля, сделанное уже упомянутым Меликовым. Мне бы хотелось привести его полностью: «Помню, что когда впервые встретился я с Мишей Лермонтовым, его занимала лепка из красного воска: он вылепил, например, охотника с собакой и сцены сражений. Кроме того, маленький Лермонтов составил театр из марионеток, в котором принимал участие и я с Ме-

щериновыми; пьесы для этих представлений сочинял сам Лермонтов. В детстве наружность его невольно обращала на себя внимание: приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом, он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти умные, с черными ресницами, делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасны. Я никогда не в состоянии был написать портрета Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица и, по моему мнению, один только К. П. Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды (по его выражению, вставить огонь в глаз).

В личных воспоминаниях моих маленький Миша Лермонтов рисуется не иначе, как с нагайкой в руке, властным руководителем наших забав, болезненно-самолюбивым, экзальтированным ребенком».

В этом отрывке мне хочется обратить внимание, так сказать, на два момента: Мишель уже пишет пьески для собственных театральных представлений; властность его и болезненное самолюбие уже подмечены его другом детства.

И все же главные наклонности Мишеля и в эти московские годы скорее свидетельствуют о его художественных способностях, нежели литераторских.

Аким Шан-Гирей писал: «В Мишеле я нашел большую перемену, он был уже не дитя, ему минуло 14 лет; он учился прилежно. Jandrot, гувернер, почтенный и добрый старик, был однако строг и взыскателен и держал нас в руках; к нам ходили разные другие учителя, как водится. Тут я в первый раз увидел русские стихи у Мишеля, Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина».

Мишель, по-видимому, уже хорошо знал Пушкина. Что думал он, читая, например, вот эти пушкинские строки: «Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный и рабство, падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной взойдет ли наконец, прекрасная заря?» Или такие строки из «Андрея Шенья»: «Твой бич настигнул их, казнил сих палачей самодержавных; твой стих свистал по их главам»... Не все крамольные строки Пушкина печатались в то время, но ведь существовали еще и списки. Разве их не знали любители поэзии? Что могли навясть Лермонтову такие, например, слова: «Я пережил свои желанья, я разлюбил свои мечты». Или: «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты»... Или из «Демона»: «Не верил он любви, свободе; на жизнь насмешливо глядел — и ничего во всей природе благословить он не хотел». Разве эти и многие другие пушкинские строки не давали пищу живому отроческому уму, не настраивали душу на определенный лад?

Пушкин в те годы уже был Пушкиным. Он царствовал в русской литературе безраздельно.

Когда современники Пушкина называли поэта «солнцем русской поэзии» — они ничуть не преувеличивали. Так оно и было. При всем том, что сделали Державин, Батюшков и Жуковский для русской литературы. При всем их благороднейшем труде и вдохновении — Пушкин действительно оказался солнцем. Только можно вообразить себе, какова была сила пушкинского слова, воздействовавшая в то время на умы!

Разумеется, Лермонтов, уже взявший книгу в свои руки, развитой не по годам мальчик Лермонтов почувствовал всю силу пушкинского слова. Из дальнейшей его жизни мы хорошо знаем, сколь сильным было это воздействие, как любил он Пушкина. Словом, мы никак не ошибемся, если скажем, что Лермонтов в Москве рос под воздействием пушкинских стихов. В самом деле, даже самое беглое исследование поэзии юного Лермонтова говорит об огромном влиянии Пушкина. Да и не могло не быть этого влияния, нельзя было в то время жить без Пушкина любому ода-

ренному человеку. Забегая вперед, скажу, что очень часто досужие головы начинают сравнивать Пушкина и Лермонтова: дескать, кто выше? Хорошо сказал по этому поводу Юрий Барабаш: «...Какая странная, какая в самом деле неблагоприятная литературная судьба: постоянно, и при жизни и после смерти, вечно испытывать эту изнурительную «проверку гением», быть под беспощадным прожектором его славы. Право же, нужно быть Лермонтовым, чтобы не поблекнуть на этом фоне, выдерживать такую проверку!»

Когда же написал свои первые стихи Мишель? По-видимому, здесь, в Москве. Возможно даже — у Мещериновых. Любопытно в этом отношении свидетельство Шан-Гирея: «Тогда же Мишель прочел мне свое сочинение Стансы К***; меня ужасно интриговало, что значит слово стансы и зачем три звездочки?.. Вскоре была написана первая поэма «Индианка» и начал издаваться...» Но — стоп! Здесь нам следует остановиться и немного поразмыслить над этим сообщением Шан-Гирея.

Стало быть, в 1827 году или в начале следующего, 28 года, Мишель начал писать стихи. Правда, от той поры у нас ничего не осталось. Школьный рукописный журнал, в котором «публиковались» стихи, был сожжен «при разборе старых бумаг». Тактичный Шан-Гирей присовокупляет: «по счастью». Как видно, это были стихи весьма и весьма зеленые, которые сочинялись в большом количестве мало-мальски грамотными молодыми людьми. А ну-ка, вспомните свою молодость и ответьте, положи руку на сердце: стихи писали?

Надо сказать, что Мишель держал экзамен в пансион и был принят. Он стал полупансионером: днем учился в школе, а к вечеру возвращался домой.

Я уже говорил, что пансион находился на месте нынешнего телеграффа, а дом Мещериновых — на Сретенке. Это не очень близко даже ныне, при троллейбусах и автобусах. А в то время — и подавно.

А посему бабушка решает устроиться где-нибудь поближе к пансиону. Район Арбата в те годы считался фешенебельным: тихие переулки, зеленые закоулки в сердце Москвы, богатые особняки. Елизавета Алексеевна сняла дом на Поварской улице, недалеко от Арбатской площади. Отсюда до пансиона, ежели идти переулками, — буквально два шага. Дом этот не сохранился. Позже Елизавета Алексеевна переехала в особняк, который был неподалеку отсюда — на Малой Молчановке, № 2. Здесь Лермонтов прожил несколько лет в просторном мезонине. Этот дом стоит и сейчас почти в первозданном виде. Находится он позади двадцатиэтажного здания, что на проспекте Калинина. К фасаду его прикреплена мемориальная металлическая доска. Т. Иванова пишет об этом доме следующее: «При Лермонтове дом со двора, как и с улицы, был одноэтажный: антресоли надстроены позднее. Направо был низенький, кривой заборчик, а в глубине двора — флигель и конюшня, только не каменные, как теперь, а деревянные. Эти сведения о доме, где жил Лермонтов, сообщил мне П. В. Сытин». В доме, говорят, было семь комнат, две из них — в мезонине, где и обитал Мишель. Вход в дом, как обычно в московских небольших особняках, был со двора.

Нам следует запомнить имена ближайших соседей Арсеньевой, с детьми которых дружил Мишель. (Их имена будут часто встречаться в стихах будущего поэта.) Первым делом следует назвать Лопухиных и Поливановых. Они жили очень близко, на Большой Молчановке. К Лопухиным Лермонтов являлся как свой человек. Сын Лопухиных Алексей был ровесником Мишеля. Молодые люди дружили, часто проводили вместе целые вечера — у Лермонтова или у Лопухина.

У Алексея были две младшие сестры: Мария и Варя. Это были задушевные друзья Мишеля, а в младшую, Вареньку, поэт был влюблен. И оставался верен этой любви всю жизнь.

Мишель дружил также и со старшим сыном Поливановых — Николаем. К слову сказать, герой войны, партизан Денис Давыдов, был родственником Поливановых.

Здесь же следует упомянуть юную Александру Верещагину, которой, так же как и Вареньке, Мишель поверял свои самые сокровенные мысли. Ее имя тоже не раз повстречается нам, когда пойдем дальше по поэтическому пути Лермонтова.

Давайте же подытожим, что нового принес Мишелю 1828 год: он уже учится в стенах Благородного пансиона, стало быть, живет в Москве, подружился со своими сверстниками Алексеем Лопухиным и Николаем Поливановым и милыми созданиями: сестрами Машей и Варенькой Лопухиными и Сашенькой Верещагиной.

Мишель и друзья его играли на фортепьяно, увлеченно пели, танцевали, читали друг другу стихи. Где? У кого придется. На Большой Молчановке или на Малой. Бабушка Мишеля всегда была рада, когда друзья Мишеля собирались у нее — как-никак глаз, любящий и всевидящий глаз! Мишель находился под неусыпным наблюдением Елизаветы Алексеевны.

Но я не сказал еще об одном важном событии: в 1828 году Мишель написал первые стихи, которые дошли до нас как «первые». Это не значит, что он не писал стихов «до». Нет, он несомненно писал. Мы об этом узнали от Шан-Гирея.

Первое стихотворение называлось «Осень». Им открывается полное собрание сочинений под редакцией П. Висковатова. Читаем: «Листья в поле пожелтели, и кружатся и летят; лишь в бору поникли ели, зелень мрачную хранят» и так далее. А заканчивается это двенадцатистрочное стихотворение так: «Ночью месяц тускл и поле сквозь туман лишь серебрит». И еще три стихотворения остались от того года. Всего, значит, четыре.

Наверное, Мишель написал еще. Не может быть, чтобы не писал. Но затерялись стихи, не дошли до нас. По этим стихотворениям Мишеля можно ли сказать, что мы уже имеем дело с поэтом, с будущим настоящим поэтом? Думаю, что нет. Стихи слишком ординарны, слишком по-дражательны. Так наверняка писали многие. Я не уверен, что Алексей или Николай писали хуже или не могли бы написать именно так. Ведь у Маши, Саши и Вареньки были альбомы, как у многих девиц того времени. Разве в них оставлял стихи только один Мишель?

В 1828 году написаны Мишелем и стихи «Поэт». («Когда Рафаэль вдохновенный пречистой девы лик священный живою кистью окончал».) Но и они, эти стихи, посланные в альбом тетке Марии Акимовне Шан-Гирей, не смогли бы изменить нашего мнения о начальных стихах Мишеля. Да, владеет мальчик слогом, — сказали бы в то время люди, сведущие в поэзии.

Значительно, на мой взгляд, важнее одно из первых писем Лермонтова, дошедшее до нас. Пишет он своей тете в Апалиху. С радостью сообщает, что испытания кончились и вакация началась. Лермонтов — второй ученик в классе!

Но вот еще одна новость: «Папенька сюда приехал, и вот уже 2 картины извлечены из моего portefeuille, слава Богу, что такими любезными мне руками!..»

Значит, снова, — правда на короткое время, — сошлись два любимых Мишелем человека под одной кровлей: бабушка и отец. Какова была встреча Юрия Петровича с Елизаветой Алексеевной, мы не знаем. Мо-

жем лишь догадываться. Она не залечила душевной раны Мишеля. А лишь только разбередила ее...

Что же еще можно сказать?

«Бабушка, я и Еким,— все, слава Богу, здоровы, но М-г G. Gendroz был болен, однако теперь почти совсем поправился... Целую ваши ручки. Покорный ваш племянник М. Лермонтов».

Мишель здоров...

И «папенька» — тоже. «...Слава Богу, что такими любезными мне руками...»

Кажется, Мишель вполне был счастлив в том, 1829 году. В Москве. На Малой Молчановке...

Пансион благородный

Этот пансион был неотделим от Московского университета: В нем обучались многие, позже ставшие государственными, общественными деятелями и литераторами.

Как уже отмечалось, в пансионе было шесть классов. Последний класс, говорят, подразделялся на младшее и старшее отделения. Если это так, то практически получается семь. Александр Зиновьев, по-видимому, неплохо подготовил Михаила Лермонтова к вступительным экзаменам: инспектор пансиона Михаил Павлов поздравил Лермонтова с зачислением в школу. Это было 1 сентября 1828 года. Лермонтов был принят сразу в четвертый класс. С тихой, невозмутимой жизнью в Тарханах было покончено. Михаил стал одним из трехсот учащихся пансиона. Поскольку пансион и университет нельзя было отделить друг от друга, можно понять все значение такого поступления: дорога в университет, по существу, была открыта.

Наиболее подробно о пансионском обучении рассказано Висковатовым. Сведения свои он почерпнул из бесед с Александром Зиновьевым в 1880 году. Стало быть, спустя почти полвека со времен пансионских. Период этот очень важен тем, что именно в стенах этого учебного заведения Лермонтов начал писать стихи. «В 1828—1830 годах Лермонтов не только принимал участие в литературно-писательской жизни пансиона,— пишет Виктор Мануйлов,— но постоянно посещал спектакли московских театров».

Очень часто Лермонтов переписывал к себе в альбом понравившиеся ему чужие стихи. Потом он изменял в них отдельные строки и набрасывал свои собственные. Большинство стихов этого времени ценны, пожалуй, только тем, что принадлежат Михаилу Юрьевичу Лермонтову, автору шестидесяти восьми стихотворных шедевров, «Демона», «Маскарада» и «Героя нашего времени».

Михаил, как видно, был доволен пансионом. Из его писем к тете явствует, что настроение у него хорошее. Но вскоре свалилась на него беда: скончался господин Жандро. Медицина не смогла помочь.

Говорят, что смерть его принесла невольную развязку, ибо так или иначе Жандро, дескать, пришлось бы расстаться со своим питомцем. Одни утверждают, что за старым французом-эмигрантом полиция чуть ли не установила негласный надзор. И тут же добавляют, что «Жандро прививал Михаилу неприязнь к парижской черни». Тогда непонятно, что надо было полиции от Жандро? Другие пишут также, что фатоватый француз «смущал» мальчика легкомысленными рассказами, коими был полон бывший любимец женщин. Я думаю, что нет никакого смысла входить в рассмотрение этих мнений и делать из них «проблему». Как говорится, царствие небесное господину Жандро. Мы уж за то признательны ему, что учил он Михаила живому парижскому наречию.

Француза сменил мистер Виндсон, человек степенный и семейный. Весьма возможно, что бабушка решила восполнить «пробел» и научить внука английскому. Прошло время — и Михаил Лермонтов читал Байрона и Шекспира в оригинале. Байрон к тому времени прочно пленил умы многих европейцев. И вполне естественно, что и молодой Лермонтов стал поклонником байроновской поэзии. Не последнюю роль в увлечении молодежи Байроном играло свободолюбие англичанина и его смерть в Миссолунгах, можно сказать, на поле битвы, во имя свободы Греции.

Аким Шан-Гирей жил у Елизаветы Алексеевны. С этой поры он редко будет расставаться с Михаилом. Пройдут годы, и Аким — уже человек пожилой — оставит свои воспоминания. Шан-Гирей писал с тактом, не наделяя задним числом будущего поэта выдуманными или нарочито усугубленными чертами характера. А ведь не трудно было бы поддаться соблазну и многое присочинить, и показать себя в некотором роде провидцем, — благо, для этого имелись все основания: Лермонтов к середине второй половины прошлого века, когда писались воспоминания, был повсеместно признанным великаном русской поэзии. (Шан-Гирей позже жил в Тифлисе, где и умер, а похоронен в Пятигорске.)

Юрий Петрович нередко наезжал в Москву, чтобы повидать своего сына. Беседовал он — и не раз — с наставником Михаила Александром Зиновьевым. Кстати, единственное свидетельство о Юрии Петровиче тех времен принадлежит именно Зиновьеву. Можно его привести здесь, чтобы еще раз освежить память о Юрии Петровиче.

Зиновьев виделся с Юрием Петровичем в Москве в 1828, 1829 и 1830 годах. Его мнение совпадает с теми сведениями, которые добыл Висковатов в Тарханах у Петра Журавлева: «Это был человек добрый, мягкий, но вспылчивый, самодур... Следовавшие затем раскаяние и сожаление о случившемся не всегда были в состоянии выкупить совершившегося...»

Последний приезд Юрия Петровича, говорят, оставил у сына тягостное впечатление. Как видно, на всю жизнь. Юрий Петрович якобы потребовал от сына ясного ответа: с кем он хочет быть — с бабушкой или с отцом? Ответить на этот вопрос было нелегко. И это понятно. Говорят, Лермонтов заколебался — так сильна была его любовь к отцу. Но ведь он обожал и свою бабушку! Хотя, насколько припоминаю, в стихах его нет на то никакого намека. Впрочем, надо ли объясняться в любви самому дорожному и близкому человеку? На мой взгляд, тот факт, что бабушке ничего не посвящено и о бабушке нет ни единого слова, ни о чем еще не говорит.

От Лермонтова ждали решительного слова. И бабушка, и отец. Если прямого ответа Мишель не мог дать раньше, то это вполне понятно — детство же! Но теперь ему шестнадцать, и ответ не должен быть двусмысленным или маловразумительным. Поэтому надо решать.

Вроде бы так обстояло дело на тихой Молчановке. Впрочем, все это отчасти домысел, ибо никто в точности не знает, что и как происходило на самом деле. Об этом не оставил следов Юрий Петрович. Елизавета Алексеевна — тоже. Михаил Лермонтов коснулся этой стороны семейной жизни в драмах «Люди и страсти» и «Странный человек», если художественное произведение полностью отождествить с «документом».

В итоге Юрий Петрович уехал, что называется, с пустыми руками. Убедили ли его аргументы Елизаветы Алексеевны и на сей раз или сам Юрий Петрович понял всю бессмысленность спора со старухой? Никто этого не знает. Сын в последний раз видел своего отца: Юрий Петрович

вскоре скончался в Кропотове. Был ли сын на похоронах? По-видимому, нет. А был ли он когда-нибудь позже на могиле отца? Мы этого не знаем... Смерть Юрия Петровича по-своему «отрегулировала» вечный спор отца и бабушки. Михаил остался теперь круглым сиротой. Был он, и была бабушка. В целом свете!

Умер Юрий Петрович, как уже говорилось, 1 октября 1831 года. Лермонтов посвятил этому событию несколько стихотворений. Вот строки из «Эпитафии»: «Прости! увидимся ль мы снова? И смерть захочет ли свести две жертвы жребия земного, как знать! итак, прости, прости!.. Ты дал мне жизнь, но счастья не дал...» Вот еще: «Ужасная судьба отца и сына жить розно и в разлуке умереть... Но ты свершил свой подвиг, мой отец; постигнут ты желанною кончиной...» И еще один отрывок: «Я сын страданья. Мой отец не знал покоя под конец; в слезах угасла мать моя; от них остался только я...»

Но мне кажется, что никто не сказал о Юрии Петровиче лучше, чем сам Юрий Петрович. Вот что писал он в своем завещании 29 июня 1831 года: «Прошу тебя уверить свою бабушку, что я вполне отдавал ей справедливость во всех благоразумных поступках ее в отношении твоего воспитания и образования и, к горести моей, должен был молчать, когда видел противное, дабы избежать неминуемого неудовольствия. Скажи ей, что несправедливости ее ко мне я всегда чувствовал очень сильно и сожалел о ее заблуждении, ибо, явно, она полагала видеть во мне своего врага, тогда как я был готов любить ее всем сердцем, как мать обожаемой мною женщины...» В этом же завещании Юрий Петрович пишет: «Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя и лишен был утешения жить вместе с тобою.

Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь...» Юрий Петрович делает важное для нас наблюдение: «Хотя ты еще и в юных летах, но я вижу, что ты одарен способностями ума». Я полагаю, что это был голос не только любящего сердца.

Немало теплых слов посвятил Юрий Петрович своей кропотовской семье — сестрам и ближайшим родственникам. Не позабыл он и некоего «малолетнего Александра, отпущенного на волю сестрою». Внимательно прочитав завещание Юрия Петровича, начинаешь понимать, что не из соображений риторики задавался вопросом Висковатов, когда писал: «Что сразило его — болезнь или нравственное страдание?» Я полагаю, что при всех своих недостатках чисто человеческих Юрий Петрович обладал одним очень важным качеством души: был добр.

Так почему же все-таки Михаил Лермонтов не присутствовал на похоронах отца? Не разрешила ехать бабушка? Поздно сообщили? Или вовсе не сообщили?

Есть предположение, что Юрий Петрович умер в Москве и что сын присутствовал на похоронах. Как доказательство приводят стихи «Эпитафия», записанные в альбом под 1830 годом. Но как это понять? «Эпитафия» написана загодя, за год до смерти Юрия Петровича? Есть тут определенная путаница, и сама эта путаница указывает на то, что смерть Юрия Петровича недостаточно встряхнула дом на Малой Молчановке, как это бывает обычно. Да и сам Михаил Лермонтов, который любил, особенно в ту пору, «документировать» свои чувства и сильные картины жизни, не прошел бы мимо похорон, не «позабыл» бы их в своей поэзии.

Как бы там ни было, приходится констатировать один непреложный факт: отчуждение между Елизаветой Алексеевной и Юрием Петровичем достигло такой степени, что ни Михаил, ни даже сама смерть не смогли хотя бы внешне примирить их. Бывают обстоятельства, которые сильнее нас самих. И — об этом можно только сожалеть...

В стенах университетского Благородного пансиона Лермонтов во-

истину расписался. Начинаящий поэт поверяет бумаге все свои мысли. При этом он предельно искренен. Он не смеет лгать. Он пишет потому, что хочет высказать правду и только правду. Лермонтов, можно сказать, заносит в альбом то, что «видит». Это во многом живые зарисовки, лишённые философского обобщения. Но не всегда. Это следует подчеркнуть. И как почти «взрослый» пессимист, достаточно громко говорит о смерти. Ему скучно в свете, на земле. Он мечтает об ином мире, где «более счастлив человек».

В пансионе много молодых, мыслящих, энергичных людей. У Лермонтова здесь немало друзей. Беседы с ними будоражат воображение юного поэта. Существовало в пансионе Общество любителей словесности. Руководил им в то время С. Раич. Жаркие споры разгорались на собраниях кружка, и они, безусловно, оказывали большое влияние на Лермонтова. В 1854 году С. Раич писал: «В последние годы существования Благородного пансиона под моим руководством вступили на литературное поприще некоторые из юношей, как то г. Лермонтов, Стромилов, Колачевский, Якубович, В. М. Строев».

Кружок Раича, говорят, собирался по субботам, а заседание Общества любителей словесности проходили торжественно, в месяц раз. На них читали стихи. Но можно ли утверждать, например, что Лермонтов мог публично прочитать свои «Жалобы турка»? В этом стихотворении есть такие строки: «Ты знал ли дикий край, под знойными лучами, где рощи и луга поблекшие цветут?.. Там рано жизнь тяжка бывает для людей, там за утехами несется укоризна, там стонет человек от рабства и цепей!.. Друг! этот край... моя отчизна!» И, как бы ставя все точки над «и», юный Лермонтов так заканчивает это стихотворение: «Ах, если ты меня поймешь, прости свободные намеки; — пусть истину скрывает ложь: что ж делать? — все мы человеки!..»

И неспроста Бенкендорф докладывал царю, что и среди воспитанников «Пансиона при Московском университете... встречаем многих, пропитанных либеральными идеями, мечтающих о революциях и верящих в возможность конституционного правления в России».

«Лермонтов вращался среди товарищей, — пишет Н. Бродский, — интенсивно живших умственной жизнью, горячо волновавшихся вопросами искусства, литературы, театра». В пансионский период Лермонтов много читает, посещает театры. К его услугам были такие органы русской журналистики, как «Московский вестник», «Галатей», «Атеней», «Московский телеграф», «Вестник Европы». И конечно же, стихи Рылеева и плюс ко всему знакомство с поэтом-декабристом А. И. Одоевским.

Александр Герцен писал о Лермонтове: «Он полностью принадлежал к нашему поколению. Все мы были слишком юны, чтобы принять участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы увидели лишь казни и изгнания...» «Лермонтов не мог найти спасенье в лиризме, как находил его Пушкин. Он вложил тяжелый труд скептицизма через все мечты и наслаждения». (Я обращаю особое внимание на последнюю фразу и прошу помнить о ней всякий раз, когда будем касаться веселья и наслаждений Михаила Лермонтова.)

Удивительно, как много говорит молодой Лермонтов о «прожитых годах», о прошедшем времени, где не успел пожить, но уже думает об «ином мире...» «Настанет день — и миром осужденный, чужой в родном краю, на месте казни — гордый, хоть презренный — я кончу жизнь мою...» И это в шестнадцать лет? Что это? Поза? Или пророчество? И откуда такое?.. «Не привлекай меня красой! Мой дух погас и состарился...» А это — что? Подражание? Красное словцо? Или голая правда?

Лермонтов заносит в свои листы одно стихотворение за другим. Перо не знает покоя, орешковые чернила, казалось, льются ручьем... Молодой

человек пишет свою лирическую биографию. «Но я в сей жизни скоротечной так испытал отчаянья порыв, что не могу сказать чистосердечно: я был счастлив!» Позвольте, можно бы здесь возразить: на голое «заявление», полное укоризны, имеет моральное право человек «поживший». А здесь? Откуда у шестнадцатилетнего подобные мотивы? А ведь все, кажется, идет, что называется, как по маслу: жизнь Лермонтову улыбается в общем-то, учение дается хорошо, бабушка под боком, и достатка предовольно. Да и как взглянешь на малого — вроде бы довольный всем, весел, танцует, играет на фортепьяно, рисует, нравятся ему все или почти все девицы. Чего же еще, спрашивается?

А любовь? Михаил хорошо знает, что поэты должны писать про любовь. Разве первые слова о любви не должны быть несколько наивными. Может быть, даже несколько прямолинейными. Ведь не сорок же лет, но всего шестнадцать! А как о ней пишет пансионер? «Моя воля надеждам противна моим, я люблю и страшусь быть взаимно любим». И пишет знаете — кто? А вот кто: «Когда законом осужденный в чужой я буду стороне — изгнанник мрачный и презренный». Вот именно, а не кто-нибудь иной! И «не удивительно», ибо пансионер, творящий на Малой Молчановке, оказывается, пьет «из чаши бытия с закрытыми глазами, златые омочив края своими же слезами...» «Я много плакал — не придут вновь эти слезы — вечно им не освежать моих очей...» «и провиденье заплотит мне спокойным днем за долгое мученье...» «Зачем так рано, так ужасно я должен был узнать людей, и счастьем жертвовать напрасно...» Заметьте: и все это в те же шестнадцать лет! И все, видимо, потому, что, «в жизни зло лишь испытав, умру я...»

И вот, листая страницу за страницей, вдруг забываешь, что имеешь дело с юношей. Нет, говоришь себе, это человек, немало хлебнувший горя на своем веку, но все еще пишущий довольно неуверенно в смысле формы (чтобы не сказать: часто коряво). Но ведь молодой совсем, начинающий всего-навсего!.. И вдруг набредешь на такие строки: «Кавказ! далекая страна! Жилище вольности простой! И ты несчастьями полна и окровавлена войной!.. Нет! прошлых лет не ожидай, черкес, в отечество свое: свободе прежде милый край приметно гибнет для нее». Но ведь это просто удивительно — сказать так просто и так верно!

Мне кажется, нам надо основательно поразмышлять, а точнее, пойти дальше по жизненному пути этого удивительного пансионера, чтобы точнее разрешить наши сомнения и удивления. Если их вообще можно разрешить..

Вы помните своих учителей? Тех, которые прививали вам любовь к арифметике, алгебре или литературе. Которые умели заинтересовать вас, а порою и сильно заинтриговать. Согласитесь, что велика роль учителя в нашей жизни. Думаю, что это полностью относится и к Лермонтову.

До нас дошло немало сведений о Благородном пансионе, нам известны имена учителей Лермонтова. В первую очередь надо еще раз назвать Зиновьева и инспектора Михаила Павлова. Павлов был внимателен к Лермонтову, украсил стены своей квартиры его рисунками и живописью. То есть проявил то внимание, которое невозможно переоценить. Очень и очень важно поощрить способного молодого человека. Порою от этого зависит его дальнейшая судьба. В этом смысле большая заслуга принадлежит и Зиновьеву. По-видимому, он был не только человек эрудированный, но и душевный. Знания плюс душа — что может быть лучше?

Следует отметить, что преподавал Лермонтову также Дмитрий Дубенский, прекрасный знаток «Слова о полку Игореве». Директором пансиона был Петр Курбатов.

Работал в этом учебном заведении и поэт Алексей Мерзляков. Сейчас он почти забыт и напомнить о нем разве что может старинный романс «Среди долины ровныя».

Однако первым литературным наставником был Семен Раич, в то время известный поэт. Он многое сделал для того, чтобы Лермонтов и некоторые другие пансионеры «вступили на литературное поприще».

Живое слово живого поэта, даже если он и не очень велик, всегда производит большое впечатление на слушателей, особенно на учащихся. Речь поэта резко отличалась от речей других ораторов. Это отличие и есть живость, неожиданность оборота и течения мысли.

Мерзлякова, говорят, слушали с большим удовольствием. Молодые люди восхищались им, его лекции всегда давали полную аудиторию.

Следует заметить, что Мерзляков давал Лермонтову частные уроки на дому. Мы можем себе только вообразить направление этих уроков. Уж наверное известный поэт и поэт начинающий говорили о поэзии «профессионально». Лермонтов из этих бесед мог почерпнуть немало полезных советов по части техники стихосложения.

Висковатов предполагает даже наличие влияния Мерзлякова на умонастроение Лермонтова и приводит такой факт: бабушка Лермонтова якобы воскликнула после того, как «крамольные» стихи «Смерть Поэта» получили широкую огласку: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе! Вот до чего он довел его!»

Мерзляков скончался в том же году, в котором Лермонтов окончил пансион,— в 1830-м. Это был человек одинокий, добрый и горячий душой. Такие люди уходят тихо, незаметно, но оставляют по себе явственный след. Их можно и не вспоминать в стихах, как это случилось в данном случае с Михаилом Лермонтовым, но они оживают, притом неожиданно-негаданно, в образах, строфах и стихах совсем, может быть, по другому поводу. В этом и состоит отличие литературы от научных знаний. Эти неожиданные повороты не всегда поддаются учету, часто невозможно предвидеть течение художественной мысли.

Михаил Лермонтов провел в стенах Благородного пансиона более двух лет. За это время он написал немало стихотворений, среди которых я бы особо выделил такие, как «Молитва», «Могила бойца», «Кавказу» и другие. Здесь же создавались пьесы «Испанцы» и «Люди и страсти». Юношеские сочинения Лермонтова дают все основания для, так сказать, положительного прогнозирования. Но ведь от просто поэта до гения расстояние преогромное. Задним числом, уже зная великого Лермонтова, конечно, начинаешь выискивать настоящие и мнимые перлы.

Лермонтов писал много. Но мало кому показывал свои стихи. Тем более не носил он их издателям, в отличие от некоторых сегодняшних нетерпеливых молодых авторов. Здесь еще не место говорить о ранней профессионализации, которая, на мой взгляд, является бичом поэзии и литературы вообще. Но мы еще будем иметь возможность вернуться к этому.

Михаил Лермонтов в годы пребывания в Благородном пансионе не только учился, писал стихи, получал отметки (к слову сказать, высший балл — 4, низший — 0). Лермонтов ходил по Москве, по Кремлю, посещал театр, смотрел Мочалова, слушал оперы, сам пел и играл дома, в кругу друзей, рисовал, лепил из воска, влюблялся, немало времени уделял своим сверстникам. Одним словом, поэзия хотя и весьма занимала его, но не была единственным его занятием. Она рождалась в гуще юношеских радостей и страданий, в пылу молодых споров и ссор, под сенью дружбы и пылких увлечений.

Наконец, его занятия в области искусства не вдруг родились на Малой Молчановке или в стенах пансиона на Тверской улице. Нет, нити

тянутся в Тарханы, на Кавказ, в дорожные тяготы и мелкие приключения. Поэтическая душа уже шлифовалась там, среди тарханских нив и крестьян, среди горцев Кавказа и казаков, в домашнем уюте, и под огромным небом, и на виду белоснежных гор... Ничто в литературе не бывает «вдруг». Талант рождается исподволь, он крепнет год от году, закаляется в жизни. Поэтому пансионский период — очень важный этап в развитии лермонтовской поэзии, но первым его я все-таки не назвал бы, ибо поэзия рождается раньше — значительно раньше! — чем заносится она на бумагу. Последний процесс — наиболее легкое дело. Тут есть кажущееся противоречие. Оно усугубляется тем, что не все в поэзии можно объяснить при помощи четких формулировок, готовых рецептов и абстрактных рассуждений. Вот почему тайна сия велика есть! (Я не говорю о тех ученых, которые все знают и все разъясняют и для которых само слово «тайна» в приложении к искусству всего-навсего крамола.)

Итак, почти ежедневно от Молчановки до Тверской вышагивал широкоплечий, большеглазый юноша, сама встреча с которым, если бы кто-либо узнал в нем будущего пророка, была бы величайшей наградой для любого мыслящего человека. Однако нимбы исчезли давным-давно. Еще во времена библейские. Впрочем, был один человек, жил в шестнадцатом веке. Он видел свой собственный нимб. Но никто, кроме него. К сожалению... Это был тоже человек искусства. И звали его Бенвенуто Челлини...

Лермонтову, сказать по правде, уже изрядно надоел пансион.

Благо, приходил конец учению.

Впереди — Московский университет, студенческая жизнь.

Лермонтов-студент

Мы всегда полны движения. Будущее нас манит. В этом отличие человека от прочего живого мира.

Лермонтов, кажется, не чаял, когда распространится с пансионом и пойдет дальше, если верить его стихам: «Из пансиона скоро вышел он, наскуча все твердить азы да буки; и, наконец, в студенты посвящен, вступил надменно в светлый храм науки».

Говоря откровенно, у Лермонтова не было особых причин для жалоб на свою пансионскую жизнь. Разве здесь его не отличали преподаватели? Разве не здесь написал он первые свои стихи и поэмы? Или, может быть, пансион отрывал его от любимых друзей и обожаемой бабушки? Ведь нет же! Даже в холерный год, когда все вокруг, казалось, падали, Михаил Лермонтов живет в доме, где чисто, тихо и сытно, где его друзья и наперсницы. А летом — Середниково, большое поместье Столыпиных. А рядом — все те же любимые друзья — Лопухины, Верещагины и Сушкова.

Николай I посетил пансион весной 1830 года и остался недоволен даже его умеренным либерализмом. Вскоре пансион был превращен в обычную гимназию, где учеников пороли. Можно было оставаться в таком учебном заведении?...

Шан-Гирей писал: «В домашней жизни своей Лермонтов был почти всегда весел, ровного характера, занимался часто музыкой, а больше рисованием...» «Играли мы часто в шахматы...»

Екатерина Сушкова оставила примечательный портрет Лермонтова той поры: «У Сашеньки (Верещагиной) встречала я в это время ее двоюродного брата, неуклюжего, косолопого мальчика лет шестнадцати или семнадцати, с красными, но умными, выразительными глазами, со вздер-

нутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой. Он учился в университетском пансионе; но ученые его занятия не мешали ему быть почти каждый вечер нашим кавалером на гулянье, и на вечерах; все его называли просто Мишель... Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям и отдавала ему на сбережение мою шляпу, мой зонтик, мои перчатки...»

В Середникове (ныне Фирсановка) собирались молодые люди, устраивали игры, танцы, кавалькады — прогулки верхом, ходили и на богомолье. Лермонтов влюблялся пылкой юношеской любовью, писал об этом стихи. (Напомню, что говорил Гёте: «Я сочинял любовные стихи только тогда, когда я любил».) Впрочем, писал Лермонтов чуть ли не по всякому поводу, писал везде, где «настигало его вдохновение»: ночью у окна, на кладбище, в жилище Никона, у пруда, на поле. Писал на чем попало, а потом уж «перебеливал», то есть переписывал набело. Поэтическая фантазия заносит его на Кавказ, в Италию, Шотландию, в небеса и под землю. То он грустит, то веселится. В стихах его чувствуется влияние поэтов того времени, особенно Пушкина. Да это и неизбежно. В литературе трудно вести себя, словно в вакууме. Ведь речь идет не о раздражительстве, но о влиянии идей и течений. Поэтому я бы, скорее, говорил о незрелости лермонтовского таланта при очень больших способностях. И отдельных поэтических перлах. (Об этом мелком говорилось выше.)

Спрашивается: будем ли мы рассматривать творчество Лермонтова того времени как большое литературное явление или же взглянем на него с высот лермонтовской поэзии зрелой поры? Мне кажется — второе. В противном случае мы будем выглядеть слепыми апологетами. И тем не менее, «молодые» стихи Лермонтова — замечательное сокровище для нас. Виктор Мануйлов пишет: «Отроческие и юношеские стихотворения Лермонтова свидетельствуют о поразительной силе духа, о стремлении к борьбе за грядущее освобождение. В эти же годы в его лирике возникает образ поэта-гражданина, поэта-пророка». А такие стихи, как «Ангел» или «Парус»? Разве не отмечены они печатью великого таланта? Эти стихи я бы назвал гениальными всплесками в творчестве молодого поэта. Приходится поражаться тому, что Лермонтов не включил эти шедевры в свой первый поэтический сборник. (И в солидных изданиях произведений поэта и «Ангел» и «Парус» идут обособленно, после стихов 1836—1841 годов, то есть стихов зрелого периода.)

Я часто думаю об океане поэзии, который грозит потопить нас. Что касается истинной поэзии — ее-то как раз с гулькин нос. В связи с этим я как-то сказал одному моему другу-поэту, что не надо писать много, вернее — пиши сколько угодно, но публикуй стихи с большим выбором. На это он ответил: «А кормить меня будет Пушкин?» Это большое несчастье — ранняя профессионализация. Стихи в молодые годы никого кормить не обязаны и кормить не могут. Причина простая: хорошие стихи пишутся редко и надежда на «прокорм» ими слаба. По-моему, надо иметь еще какое-то «дело», кроме поэзии. До той поры, пока ты позарез не будешь нужен людям. Говорят, Роберт Фрост не мог «кормиться» стихами до пятидесяти лет и стал профессионалом, лишь перейдя во второе пятидесятилетие...

Пансион был реорганизован в гимназию... Перед Лермонтовым, естественно, встала дилемма: либо оставаться в гимназии, либо идти в университет. Судя по тому, что Лермонтов оказался студентом Московского университета, мы теперь точно знаем, какое он принял решение. Но мы никогда не узнаем, какой семейный совет предшествовал ему. Однако это особого значения не имеет, поскольку, на мой взгляд, все протекало «нормально»: Лермонтов был уволен, согласно его прошению, 16 апреля 1830 года. А в августе 1830 года он пишет: «...Ныне же желаю продол-

жать учение мое в Императорском Московском университете, почему Правление оного покорнейше прошу, включив меня в число своекоштных студентов Нравственно-Политического Отделения, допустить к слушанию профессорских лекций...»

Через некоторое время ординарные профессора Семен Ивашковский, Иван Снегирев, Петр Победоносцев, Михаил Погодин, Николай Коцауров, Федор Кистер и Amédée Desamps направили в Правление такое «Донесение»: «По назначению господина Ректора Университета, мы испытывали Михаила Лермонтова, сына капитана Юрия Лермонтова, в языках и науках... и нашли его способным к слушанию профессорских лекций...»

Университетский курс продолжался три года. Висковатов писал: «Лермонтов, впрочем... перешел в словесное отделение, более соответствующее его вкусам и направлению».

Михаил Лермонтов облекся в форменный сюртук с малиновым воротником. Вне стен университета, говорят, разрешалось ходить в обычном, партикулярном платье.

«Бывало, только восемь бьет часов,— читаем мы у Лермонтова,— по мостовой валит народ ученый. Кто ночь провел с лампадой среди трудов, кто в грязной луже, вахом упоенный; но все равно задумчивы, без слов текут... Пришли, шумят... Профессор длинный напрасно входит, кланяется чинно,— он книгу взял, раскрыл, прочел... шумят; уходит — втрое хуже. Сущий ад!..»

Однкурсник Лермонтова Петр Вистенгоф писал: «Всех слушателей на первом курсе словесного факультета было около ста пятидесяти человек... Выделялись между ними... люди, горячо принявшие за науку: Станкевич, Строев, Красов, Компанейщиков, Плетнев, Ефремов, Лермонтов...»

Иван Гончаров писал: «Молодые профессора, адъюнкты — заставляли нас упражняться в древних и новых языках. Это были замечательно умные, образованные и прекрасные люди, например,— француз Куртнер, немецкий лектор Геринг, профессор латинского языка Кубарев и греческого — Оболенский... Между ними как патриарх красовался уболенный сединами почтенный профессор русской словесности, человек старого века — П. В. Победоносцев».

Первые месяцы университетских занятий были омрачены холерой. Все общественные места, учебные и увеселительные заведения были закрыты. Александр Герцен писал: «Все трепетало страшной заразы, подвигающейся по Волге к Москве. Преувеличенные слухи наполняли ужасом воображение. Болезнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдруг грозная весть «холера в Москве!» разнеслась по городу... А дома всех встретили вонючей хлористой извесью, «уксусом четырех разбойников» и такой диетой, которая одна, без хлора и холеры, могла свести человека в постель».

Сушкова рассказывает в своей книге: «Страх заразителен, вот и мы и соседи наши побоялись даже оставаться в деревне и всем караваном перебрались в город... Бабушку Арсеньеву нашли в горе: ей только что объявили о смерти брата ее, Столыпина...»

Это было в самом начале июня 1830 года. Как видим, Лермонтов с бабушкой в это «холерное время» оставался в Москве. Но уже в июле и августе Лермонтов в Середникове, сочиняет стихи. В октябре он пишет проникновенные стихи «Могила бойца»: «Он спит последним сном давно, он спит последним сном». Примечателен, на мой взгляд, конец стихотворения: «Хотя певец земли родной не раз уж пел о нем, но песнь — всё песнь; а жизнь — всё жизнь! Он спит последним сном». И считает необходимым точно датировать их: 5 октября 1830 года, во время холеры.

Давайте послушаем шестнадцатилетнего воспитанника Московского университета — с чем он пришел туда из пансиона, что на душе у него, чем занята его голова. Нам для этого не надо читать все, что написал Лермонтов в 1830 и 1831 годах. Достаточно пробежать его альбом любопытствующим взглядом.

Необходимо заметить, что юноша знает цену своему таланту. Ему необходимо подумать о бессмертии: «Боюсь не смерти я. О, нет! Боюсь исчезнуть совершенно. Хочу, чтоб труд мой вдохновенный когда-нибудь увидел свет». Сказано очень определенно. Я прошу запомнить эти стихи. Мы увидим в дальнейшем, как распорядился он своим талантом и своими произведениями, когда эта мечта его осуществлялась.

Как бы примериваясь к знаменитым поэтам, молодой Лермонтов, по видимому, не смеет думать о Пушкине, — зато Байрон ему явно «по плечу»: «Нет, я не Байрон, я другой...»

Ничего нельзя возразить даже начинающему поэту, если он чувствует в себе подспудные великие силы, пока еще не видимые для «посторонних». Ведь до той поры, когда истинный поэт раскрывается публике и становится признан ею, проходит некий, так сказать, инкубационный период созревания таланта.

Подражая Байрону, Лермонтов писал: «Не смейся, друг, над жертвою страстей, венец терновый я сужден влачить». И это вполне понятно, ибо «схожи» оба поэта, очень близки душою, хотя Лермонтов «не Байрон, он другой». Пророк — всегда в терновом венце, он — обречен на мученичество. Юноша говорит об этом пока что тайно, один на один со своим альбомом, куда он «перебеливает» стихи. Этот альбом предназначен для очень узкого круга друзей. Это — святая святых. И поэту и речи не может быть о публикации, хотя, на мой взгляд, некоторые из них вполне этого были достойны. Даже при определенном критическом подходе. Некоторые, подчеркиваю я.

Если уж поэт говорит, хотя и наедине, о своей мечте и мечта эта довольно дерзка, то надо поговорить и о своей душе и самых сокровенных чувствах и мыслях — о жизни и смерти. Наверное, смысл жизни и сущность смерти есть важнейший вопрос истинной, высокой поэзии. Даже сам поиск смысла жизни, — а человек до него должен доискаться сам, так же как в любви, — есть ответ на вопрос: что есть смерть?

«Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала. Я любил все обольщенья света, но не свет». Чья это интонация? Юноши? Пожилого человека? Старика? Как это понимать: «с детских лет»? С пяти до шестнадцати? Все обольщенья света? Позвольте, а кто пытался обольщать? Нет ли здесь своеобразной литературной реминисценции? Нет ли перепева чужих чувств? Наверное, есть. Но есть, несомненно, что-то и свое. Если бы мы имели дело с начинающим поэтом, мы бы ему сказали: «Не говори с чужих слов. Испытай сначала все сам, поживи с наше». Но ведь перед нами будущий Михаил Юрьевич Лермонтов, и поэтому мы должны отнестись с должным вниманием, а главное, пониманием к его юным словам. Ибо мы будем встречаться и с более удивительными заявлениями, когда невольно приходит в голову: а не есть ли все это просто поза?

«Всевышний произнес свой приговор — его ничто не переменит; меж нами руку мести он простер и беспристрастно все оценит. Он знает, и ему лишь можно знать, как нежно, пламенно любил я, как безответно все, что мог отдать, тебе на жертву приносил я». Не знаю, что может отдать юноша, что значит это «все»? Можно подумать — плоды большой жизни. То, что здесь мы имеем дело с явной гиперболизацией, в этом я не сомневаюсь. Чувствительная душа трепещет при казалось бы незаметном прикосновении к ней. Другая осталась бы спокойной, а эта звенит дивной струною. Это и есть настоящий поэтический отзвук. Мы и дальше будем встречаться с подобными преувеличениями у Лермонтова, если соотносить все слова только с его юношеским возрастом. Но если

со зрелым поэтом? Тем более с будущим гением? Что тогда? Как это все понимать? Умозрительно объяснить можно, но достаточно ли убедительным все это покажется? Дело заключается в том, что при всей гиперболизации молодая лермонтовская поэзия, — как и зрелая, — вполне реалистична. И в этом ее сила. Это полностью мы относим и к такому заявлению: «Ни перед кем я не склонял еще послушного колена...» О ком речь? О царе, вельможах? Или о Лопухиной и Сушковой? А может, речь об учителях пансиона? Но ведь это заявление мужа, убеленного сединами! Не имеем ли мы здесь дела с тем самым «предзнанием», без которого нет поэзии и литературы вообще? По-моему, имеем, и очень даже. Не может писать поэт, если не пользуется он не только собственным, но и чужим жизненным опытом. Не может быть литератора, который, например, описывая смерть, не воспользовался бы «сторонним» опытом. В противном случае ему самому пришлось бы умереть и воскреснуть, чтобы написать «В полдневный жар в долине Дагестана...»

Юноша говорит не только о высоком призвании своей души, о любви своей неутоленной. Он определенно знает, что проживет недолгий срок: «Душа моя должна прожить в земной неволе не долго...» Или: «Как ты, мой друг, я не рожден для света и не умею жить среди людей... взгляни на бледный цвет чела... На нем ты видишь след страстей уснувших...» И еще: «...Быть может, когда мы покинем навек этот мир, где душою так стынем; быть может, в стране, где не знают обману, — ты ангелом будешь, я демоном стану!». И еще и еще: «покой души не вечен, и счастье на земле — обман». А вот что сказал юноша о людской душе: «Люди хотят иметь души... и что же? Души в них — волн холодней!»

Короткая жизнь — долгое мученье... Мы уже видели, хотя и мельком, какая была жизнь и какие мученья. Со стороны, может, трагедии особой и не было: обычная человеческая жизнь, каких на свете множество. И дает ли все это основание для таких стихов: «и провиденье заплатит мне спокойным днем за долгое мое мученье»? Долгое мученье? А нет ли здесь просто-напросто поэтического обобщения, которое отталивается от факта, так сказать, материализуется в конкретном лице и оттого еще сильнее его воздействие на читателя? И насколько здесь образ лирического героя аутентичен автору как таковому? В стихотворении «Одиночество» есть такие строки: «...Один я здесь, как царь воздушный, страданья в сердце стеснены, и вижу, как, судьбе послушно, года уходят будто сны»... Обратите внимание: года уходят! Значит, ощущение такое, что вот-вот конец жизни. Уместно здесь снова привести уже цитированные строки: «И в жизни зло лишь испытав, умру я, сердцем не познав печальных дум печальной цели». И еще хочу напомнить о том, что молодой поэт уже твердо знает о ранней смерти своей, когда погибнет его «недоцветший гений». Над юношей, написавшим эти стихи, наверное, смеялись в свое время. Но что сказали бы десять лет спустя?

В студенте Московского университета уже живет и зреет пророк — молодой с «пожилой» душою. Что изменилось с пансионских лет? Форма одежды да маршрут, который стал чуть ли не вдвое короче? Да, так. Но движение души и мысли, точнее сказать, направление движения осталось прежним.

Но кто это замечал? Близкие друзья? Они были слишком близки и слишком заняты собой и дружбою с Михаилом Лермонтовым, чтобы вдумываться в такие безделушки, как стихи. Да и разве один Лермонтов кропал их?

Так где же та печать духовного неистовства, которая резко отличает пророка?

Может быть, угадав в нем поэта-пророка, люди дали бы ему некую синекуру и, оградив от всяческих тревожений, вручили бы заветную лиру? Может, было бы лучше, если бы не было ни гусарского полка, ни боев на Валерике, ни дуэли под Машуком? Может быть, в этом случае

на памятнике его вместо горестных цифр «1841» было бы начертано: «1885»? Возможно...

Но в этом случае не было бы Михаила Юрьевича Лермонтова. Которого мы знаем.

Ибо таков закон жизни.

Следовательно, и поэзии.

Прощай, Молчановка!

Холера внесла большую сумятицу в московскую жизнь, особенно в студенческое жите-бытие. Университет был закрыт после смерти одного из воспитанников. И страх был велик. Свидетель этому Крестин писал к графине Е. Бобринской: «Нет, графиня, пяти студентов университета не умирало. Умер всего один жертвою своей невоздержанности, пьянства и разврата. Из-за этого поднялась тревога и лекции прекращены». А другой свидетель, Я. Костенецкий, несколько иного мнения о холере и ее жертвах: «В конце декабря месяца холера, унеся более пяти тысяч жертв, совершенно прекратилась в Москве, и после Рождественских праздников, после двухмесячного закрытия, открыт Университет, и студенты стали ходить на лекции». В том числе, разумеется, и Лермонтов, который фактически был заперт в доме на Молчановке. Тот же Крестин писал той же графине Бобринской: «Каждый спешил закупить себе припасов на случай за печатания домов, так как распространился слух, что все частные дома будут запираются от полиции...»

В эти дни Лермонтов пишет стихи, которые, впрочем, нельзя считать специфически «холерными». Он говорит: «Быть может, завтра он (закат.— Г. Г.) заблещет надо мною безжизненным, холодным мертвецом... Мой дух утонет в бездне бесконечной!..» Холера могла навеять такие стихи — это естественно. Но они не стали от этого более мрачными. Мы видели, что раньше о смерти Лермонтов-пансионер писал не менее сильно, я бы даже сказал, более определенно. «Чума явилась в наш предел. Хоть страхом сердце стеснено, из миллиона мертвых тел мне будет дорого одно». Нет, смерть определенно не стала еще страшнее от присутствия холеры в Москве. Герцен говорит: «Москва приняла совсем иной вид... Экипажей было меньше; мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях; кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими; люди сторонились от черных фур с трупами... Город был оцеплен...» Казалось, эта картина могла навеять стихотворцу страшные апокалиптические явления. Но нет, мысль поэта не идет далее «банальной» смерти и... любви: «Из миллиона мертвых тел мне будет дорого одно... Лобзая их (уста.— Г. Г.), я б был счастлив, когда б в себя яд смерти влил, затем что, сладость их испив, я деу некогда забыл». Или в стихотворении «Смерть» (уже цитированном) читаем: «Одна лишь дума в сердце опустелом, то мысль об ней... О, пожалей о мне, краса моя! Никто не мог тебя любить, как я...» Это писалось 9 октября 1830 года, то есть в самый разгар холеры.

Висковатов говорит: «Ни профессора, ни студенты еще не могли войти в обычную колею, да и не все были налицо, так что на этот раз весенних переводных экзаменов не было и не все студенты остались на прежних курсах. Год был потерян».

Москва только в начале следующего, 1831 года пришла в себя. Однообразно потекли университетские будни. Заметим к слову, это тот самый университет, в котором учились Белинский, Герцен, Огарев, Гончаров и многие другие. Вистенгоф говорит: «К девяти часам утра мы собирались

в нашу аудиторию слушать монотонные, бессодержательные лекции бесцветных профессоров наших: Победоносцева, Гастева, Оболенского, Геринга, Кубарева, Малова, Василевского, протонерея Терновского. В два часа пополудни мы расходились по домам». Да, если эта картина верна, то действительно не очень-то радостная была доля студенческая.

Любопытно, каким представлялся Михаил Лермонтов его однокурсникам. От той поры сохранился ряд свидетельств, которые мне очень хочется привести. Вот что пишет Костенецкий о Лермонтове: «Когда уже я был на третьем курсе... поступил в университет по политическому же факультету, Лермонтов: неуклюжий, сутуловатый, маленький, лет шестнадцати юноша, брюнет, с лицом оливкового цвета и большими черными глазами, как бы исподлобья смотревшими». Костенецкий сообщает, что Лермонтов часто садился подле него, чтобы слушать лекции. Все это хорошо. Но не очень понятно, как это он, студент старшего курса, хорошо запомнил какого-то первокурсника? Ведь он же не знал, что Лермонтов — это тот самый Лермонтов! Может быть, он повторяет общеизвестные описания внешности Лермонтова? Настораживает и такая фраза Костенецкого: «Вообще студенты последнего курса не очень-то сходились с первокурсниками, и потому я был мало знаком с Лермонтовым...»

Более любопытно, на мой взгляд, воспоминание Ивана Гончарова, однокурсника Михаила Лермонтова: «Нас, первогодичных, было, помнится, человек сорок. Между прочим тут был и Лермонтов, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый, одутловатый юноша, с чертами лица как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть...»

Вистенгоф отмечает «тяжелый, несходчивый характер» Лермонтова, который, дескать, «держал себя совершенно отдельно от всех своих товарищей, за что в свою очередь и ему платили тем же. Его не любили, отдалялись от него и, не имея с ним ничего общего, не обращали на него никакого внимания... Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотясь по обыкновению на один локоть и углубляясь в чтение притаенной книги, не слушая профессорских лекций».

Что ж, несколько пристрастная характеристика, но все же любопытная. Она, мне кажется, повторяет сложившееся в свое время мнение о некоем «демоническом» характере Лермонтова, о его неуживчивости и заносчивости. Но почти все сходится на том, что Лермонтов был очень добрым и милым другом и товарищем для близких людей. Да ведь и невозможно требовать, чтобы он улыбался каждому встречному-поперечному и непременно вертелся в гуще гогочущих студентов! Я не вижу ничего удивительного в том, что студент интересуется «посторонней» книгой больше, чем лекцией. Это было, есть и будет. Дело лектора перетянуть студента на свою сторону. Из воспоминаний о Лермонтове-студенте еще не следует, что мы имеем дело с гениальным молодым человеком. Тем более что вне стен университета Лермонтов вел себя более чем ordinarily.

Тот же Вистенгоф писал: «Лермонтов любил посещать каждый вторник тогдашнее великолепное московское Благородное собрание, блестящие балы которого были очаровательны. Он всегда был изысканно одет, а при встрече с нами делал вид, будто нас не замечает... Он постоянно окружен был хорошенькими молодыми дамами высшего общества... Танцующим мы его никогда не видели».

Шан-Гирей вспоминает о том, как однажды в Благородное собрание «Лермонтов явился в costume астролога, с огромной книгой судеб под мышкой...» В этой книге имелись листки с эпиграммами. Одна из эпиграмм, может быть, адресовалась Наталье Соломоновне Мартыновой, сестре того самого Мартынова. (Впоследствии она вышла замуж за

графа Альфреда де ла Турдонне.) Была в этой книге и эпиграмма «До-до». Это прозвище Евдокии Сушковой (Ростопчиной), будущей известной поэтессы и большой приятельницы Лермонтова. Мы еще встретимся с нею, ибо с нею и дальше встречался Михаил Лермонтов. И, видимо, не случайно Лермонтов говорил о ней: «Умеешь ты сердца тревожить, толпу очей остановить, улыбкой гордой уничтожить, улыбкой нежной оживить». Не думаю, чтоб тут было особое преувеличение. Кстати, Ростопчина дала блестящую по форме и глубине характеристику Лермонтову-человеку и Лермонтову-поэту. Это была одна из верных первых характеристик наряду с характеристиками Белинского и Боденштедта. (Мы об этом скажем в своем месте.)

«Мне здесь довольно весело, — пишет Лермонтов своей тете Шан-Гирей, — почти каждый вечер на бале... В университете все идет хорошо». Его близкий друг Шан-Гирей подтверждает это: «Часто посещал театр, балы, маскарады; в жизни не знал никаких лишений и неудач; бабушка в нем души не чаяла и никогда ни в чем ему не отказывала; родные и короткие знакомые носили его, так сказать, на руках; особенно чувствительных утрат он не терпел; откуда же такая мрачность, такая безнадежность».

Милейший Шан-Гирей пытается объяснить эту «мрачность» и «безнадежность» чуть ли не модным тогда байронизмом и желанием «поморочить» головы обворожительным «московским львицам». Следовательно, Шан-Гирей полностью отказывает в искренности лермонтовской, пусть не окрепшей еще, поэзии тех лет. Если здесь на минуту поверить Шан-Гирею, то придется признать, что и вся последующая поэзия Лермонтова тоже была своего рода «драпировкой». Может быть, для тех же львиц писались и «Смерть Поэта», и «Завещание», и «Герой нашего времени»?..

Бедный Шан-Гирей не понимал, что можно быть вполне сытым и в то же время негодовать по поводу того, что не все сыты, что многие нищенствуют, что можно принадлежать к господствующим слоям и в то же время ненавидеть эти слои. Может быть, говоря о «прекрасном поле», Лермонтов и «драпировался» порою. Однако главная черта его характера и поэзии — искренность. Нет, Лермонтов не лгал наедине с чистым листом бумаги. Если и встречаются затруднения при объяснении «разрыва» между его личной жизнью и поэзией, то это только потому, что мы иногда не принимаем во внимание сложной личности, какой и была личность Лермонтова.

На мой взгляд, не следует отождествлять автора с его героями, нельзя также и «целиком» отрывать автора от произведения, от духа его. Многие исследователи ищут точных биографических соответствий между «Вадимом» и другими неоконченными вещами Лермонтова. Кое-что, разумеется, находят. Каждое литературное произведение есть «дитя» данного литератора. И оно отражает определенные качества самого автора, а подчас и его биографические данные. Но не всегда. И не во всем, разумеется.

Мне кажется, что когда дело имеешь с литератором, тем более гениальным, следует отрешиться от чисто механического «отбора» добра и зла и в творчестве, и в поступках. А иначе в литературе ничего не поймешь и алгеброй не проверишь глубин поэзии. Сложность заключается в том, что литератор — человек с усложненной психикой. Вряд ли я могу претендовать на оригинальность, высказывая эту истину. Во всяком случае, человеческий духовный механизм необыкновенно сложен, а литература есть результат его наивысшей деятельности. Ибо создается она в моменты особенного подъема, особенной активности.

Шан-Гирей, а за ним все исследователи отмечают, что Лермонтов был влюблен в Вареньку Лопухину. Да, любил. По словам того же Шан-Гирея, Варенька Лопухина была молоденькая, умная, в полном смысле

слова, восхитительная. Лермонтов посвятил ей несколько стихотворений, дружил с нею и с ее братом и сестрою. Была ли это любовь Данте к Беатриче? Не думаю. Хотя всю жизнь Лермонтов вспоминал Вареньку с глубоким почтением. Его стихи студенческих лет, посвященные мнимо или действительно обожаемым девицам, весьма ординарны и чувства в них скорее названы, нежели раскрыты. Впрочем, качество восполнялось здесь количеством: Лермонтов писал очень много. В этом можно убедиться, перелистав его юношеские стихи и поэмы. Давайте вспомним: к 1831 году Лермонтов уже имел собственные поэмы: «Кавказский пленник», «Черкесы», «Корсар», «Джулио», «Литвинка», «Ангел Смерти». Вскоре им были написаны «Аул Бастунджи», «Измаил-Бей», «Каллы». Делалась большая работа. Рука привыкла к стихам. Оттачивалась техника стиха. Надо отдать должное молодому Лермонтову: он не обольщался, отлично понимая, что он всего лишь на подступах к чему-то большому, возможно, великому. Он чувствовал в своей душе те самые подземные толчки, которые свидетельствуют об огромных подспудных силах, до поры до времени не проявляющих себя. «Нет, я не Байрон, я другой...» По-моему, сказано предельно ясно.

Как бы мало ни давали профессорские лекции, скажем, того же Победоносцева, студенты все-таки находили пищу и для души, и для размышлений. Почти каждый, кто вспоминает Лермонтова тех лет, указывает на то, что будущий поэт много читал. Пустопорожность некоторых лекций восполнялась чтением умных книг «из собственной библиотеки». Рассказывают о различных столкновениях профессоров со студентами. Если лекция малоинтересна или просто нудная — студенты читают «посторонние» книги или устраивают профессору обструкцию. Рассказывают о резких столкновениях с профессурой студентов Белинского, Герцена и других. Известна так называемая «маловская история». Костенецкий называет Малова «олицетворением глупости и ничтожества». Герцен писал: «Малов был глупый, грубый и необразованный профессор... Студенты презирали его, смеялись над ним... Студенты решились прогнать его из аудитории».

Словом, этот замысел был приведен в исполнение: Малова прогнали из аудитории. И не просто, а что называется, с музыкой. Музыка, разумеется, была шумовая.

Инцидент этот сильно смахивал на демонстрацию. А всякая демонстрация вызывала негодование дворцовых кругов, у которых живы были воспоминания о событиях декабря 1825 года. Руководителям Университета, говорят, удалось представить «маловское дело» обыкновенной студенческой шалостью и недисциплинированностью. Что называется, замаяли его.

А Лермонтову все-таки пришлось уйти из университета и навсегда распрощаться с Молчановкой...

На перепутье

Да, Михаил Лермонтов покинул Московский университет.

Что же он уносил с собою?

Очень хорошо на этот вопрос ответил Герцен. Мне кажется, стоит в этом месте привести его слова. Они скажут больше, чем специальное исследование. «Учились ли мы... чему-нибудь? Могли ли научиться? Полагаю, что «да». Преподавание было скудное... Университет, впрочем, не должен оканчивать научное воспитание... его дело — возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как

М. Г. Павлов, а с другой стороны, и такие, как Каченовский. Но больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений». «...Московский университет свое дело делал: профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Каверина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать в земле».

Я хочу несколько дополнить слова Герцена применительно к Лермонтову. Кроме горячих споров со студентами и академического обмена мыслями Лермонтов носил с собою и театральные впечатления, что очень, на мой взгляд, важно. По всем данным, Лермонтов часто бывал в театрах. А главное — книги. Своей тете в Апалиху он писал: «Вы говорили, что наши актеры (московские) хуже петербургских. Как жалко, что вы не видали здесь **Игрока**, трагедию **Разбойники**. Вы бы иначе думали». Это писалось в 1829 году. Но с большим основанием подобные же слова можно отнести и к 30-му и 31-му годам. Своей тете он пишет: «Вступаюсь за честь Шекспира. Если он велик, то это в «Гамлете», если он истинно Шекспир, этот гений необъемлемый, проникающий в сердце человека, в законы судьбы, оригинальный, т. е. неподражаемый Шекспир — то это в «Гамлете». И так далее. Я советую внимательно перечитать письма Лермонтова (их около полсотни), они короткие, но, право, стоят целого исследования».

А была ли какая-либо серьезная подоплека, которая удовлетворительно объяснила бы несколько неожиданный для нас уход Лермонтова из университета?

Все указывают на столкновение с профессорами. Думаю, что это могло послужить причиной.

Петр Вистенгоф, однокурсник Лермонтова, приводит такой случай: «Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос».

Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:

— Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?

— Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным».

Мы все переглянулись.

Подобный ответ дан был и адъюнкт-профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику.

Дерзкими выходками этими профессора обиделись...»

Сам Лермонтов прямо ничего не говорит по этому поводу. Только однажды обмолвился он в письме своей тете, что «в университете все идет хорошо». Значит, все шло хорошо — и вдруг плохо? Да, получается так. Возможно, что Лермонтов не хотел углубляться в свои студенческие невзгоды. Но возможно и другое: просто его письма потеряны, письма, в которых он писал о своих университетских делах. И как всегда — откровенно.

Мне кажется, что следует констатировать один непреложный и достоверный факт: Лермонтов ушел из университета. Причина? Все-таки столкновения с профессорами, если угодно, взаимное неудовольствие. А что же еще? Эта причина, вообще говоря, весьма основательная. Еще бы! «Нерадивый», отказавшийся от публичных экзаменов студент! Это же скандал!

Весьма вероятно, что бабушка, как это бывало не раз, смягчила неприятности и начальство согласилось на уход «по семейным обстоятель-

ствам», без скандала. Эта туманная формула устраивала и Лермонтова. На том, как видно, и сошлись.

Итак, время идет! С Тарханами покончено: сюда Лермонтов будет наезжать все реже и реже. С Москвою тоже покончено: здесь Лермонтов будет бывать только проездами. «Семейные обстоятельства» вынуждают его переселиться в Санкт-Петербург, в столицу. Разумеется, и Елизавету Алéксеевну вынуждают: ведь внуку нужен глаз да глаз. Бабушка его не оставит. Она тоже поедет за ним — воистину по «семейным обстоятельствам».

Сохранилось письмо, написанное Лермонтовым «на пути из Москвы в Петербург». Оно адресовано Софье Бахметевой. «Я обретаюсь в ужасной тоске,— пишет Лермонтов,— извозчик едет тихо, дорога пряма, как палка, на квартире вонь, и перо скверное». И тем не менее письмо в целом не лишено юмора. Видимо, автор бодрился изо всех сил. Так мне кажется. Подписано: «Раб ваш М. Лерма.» О чем думал Лермонтов, переселяясь в Петербург? Что его заботило? Видимо, главное — университет.

Лермонтов ехал из Москвы в Петербург. Лет за сорок с небольшим до этого в обратном направлении совершил путешествие Александр Радищев и, как известно, описал его в своей знаменитой книге. Лермонтов мог наблюдать те же самые картины, что и Радищев. То есть все ужасы крепостничества. И не думаю, чтобы все это привело его в хорошее настроение. И когда он лет десять спустя напишет «Прощай, немытая Россия», — вспомните и про бедность и грязь на дороге — «прямой, как палка» — из Москвы в Петербург. Ибо такая фраза не рождается в минуту мгновенного гнева или оскорбленного чувства, но складывается в сердце исподволь, на протяжении многих лет. Она сложилась не на пленере, не на экскурсии или трехдневном богомолье. Нужен был не только острый глаз, но и зрелый ум, чтобы записалась она на бумаге. И стала знаменитой на всю Россию.

Я очень советую взявшим в руки эту книгу снова перечитать Радищева. Нет смысла цитировать отдельные ее места, ибо вся она — обвинительный акт против крепостничества. Я утверждаю, что хотя Лермонтов и не написал книгу о своем путешествии из Москвы в Петербург, тем не менее она невидимыми письменами отпечаталась на его сердце. Это, может быть, сказано несколько выпренне. Но не беда, зато, как говорится, это правда.

Таким, как Радищев, которые бесстрашно возвышали свой голос против несправедливости, не выпадало легкой судьбы.

Мыслящему человеку в ту пору было невмоготу. Как Радищеву. Почему же Лермонтов должен был составлять исключение?

Проехав по столбовой дороге и уразумев еще и еще раз, что есть человечья доля, Лермонтов прибыл в столицу империи. Он быстро составил себе мнение о ней и выразил его в таких стихах: «Увы! как скучен этот город, с своим туманом и водой!.. Куда ни взглянешь, красный ворот, как шиш, торчит перед тобой...» (речь идет о красных воротах жандармов).

В августе он пишет Бахметевой: «До самого нынешнего дня я был в ужасных хлопотах: ездил туда-сюда... Рассматривал город по частям и на лодке ездил в море — короче, я ищу впечатлений, каких-нибудь впечатлений!..» «Мы только вчера перебрались на квартиру. Прекрасный дом, и со всем тем душа моя к нему не лежит, мне кажется, что

отныне я сам буду пуст, как был он, когда мы въехали». И вдруг: «Тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит». Примечательное признание! И это надлежит нам хорошенько запомнить... Лермонтов «начинает» понимать, чего он хочет: «Я жить хочу! Хочу печали...» «Что без страданий жизнь поэта? И что без бури океан?» И «смешной» конец: «Я болтаю вздор, потому что натошак. Прощайте: член вашей bande — joyeuse M. Legta».

Мы с вами знаем, что это за «ужасные хлопоты» Лермонтова: устройство в Петербургский университет. Ведь в этом-то и заключались все его «семейные обстоятельства». Хлопоты хлопотами, но надо посетить и родственников, перезнакомиться со всеми. Что Лермонтов и делает, хотя и без особого удовольствия. В конце августа он пишет письмо в Москву, в котором есть такие любопытные строки: «Назвать вам всех, у кого я бываю? Я — та особа, у которой бываю с наибольшим удовольствием... Видел я образчики здешнего общества: дам очень любезных, молодых людей очень воспитанных; все они вместе производят на меня впечатление французского сада, очень тесного и простого, но в котором с первого раза можно заблудиться, потому что хозяйские ножницы уничтожили всякое различие между деревьями».

Словом, Петербург и петербургское общество не очень-то порадовали москвича. Ему здесь неуютно. Пишет мало. Это и понятно: приходится бегать по делам. Но кое-что все-таки Лермонтов писал. По-видимому; повесть «Вадим», которую так и не окончил. «Я перерыл всю свою душу, чтобы добыть из нее все, что только способно обратиться в ненависть». Это сказано Лермонтовым.

Восемнадцатилетний молодой человек заканчивает одно из писем таким пассажем: «Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать: я!» Мы будем иметь возможность вспомнить об этом, по крайней мере, в двух случаях на протяжении его короткой жизни.

Наконец выяснилось, что Михаил Лермонтов не сможет поступить в Петербургский университет.

Что же все-таки произошло?

Этот очень важный в жизни Лермонтова момент, переломный, я бы сказал, не может быть освещен с полной документальной достоверностью. Но кое-что мы знаем. Например, имеется свидетельство родственницы Лермонтова Екатерины Симанской, урожденной Боборыкиной. Оно передано Е. Ладыженской в «Русском вестнике» в 1872 году. Оказывается, Петербургский университет позволял «перевод не иначе, как с условием, чтобы проситель начал сызнова, то есть выдержал вступительный экзамен. Такое требование рассердило Лермонтова». Кроме чисто морального довода имелся и еще один немаловажный против принятия университетского условия: терялся один год! Можно ли было идти на это? И Лермонтов не пошел... Других объяснений, насколько мне известно, нет.

Можно вообразить себе настроение молодого человека, который из одного учебного заведения гордо ушел, а в другое не попал. Есть отчего впасть в уныние. Я не знаю, произвел ли этот случай тот шум у начальства, о котором говорит та же Ладыженская. По ее словам, якобы с той поры «студенты могут переходить из одного университета в другой, ничего не теряя из своих учебных годов». Шан-Гирей по этому поводу пишет, что Лермонтов «отправился с бабушкой в Петербург, чтобы поступить в тамошний, но вместо университета он поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров...»

Не правда ли, довольно странный пируэт? А как еще назвать этот

выбор? Если не университет — так школа подпрапорщиков? Очень и очень непонятное решение для Лермонтова, которого мы уже немножко узнали.

Павел Висковатов приводит в своей книге диалог, который произошел между полковником Гельмерсеном и Елизаветой Алексеевной Арсеньевой. Рассказ этот — со слов Гельмерсен, урожденной Россильон:

Полковник якобы спросил бабушку Лермонтова:

— Что вы сделаете, если внук ваш захворает во время войны?

— А ты думаешь... что я его так и отпущу в военное время?

— Так зачем же он тогда в военной службе?

— Да это пока мир, батюшка!.. А ты что думал?

Мне кажется, что если Лермонтов советовался с бабушкой, то не мог найти в ней союзника, одобрявшего его переход на военную службу. Крутой поворот в жизни внука так встревожил бабушку, что она слегла в постель.

Всполошилась вся родня Михаила Лермонтова. Пошел слух о том, что и в Петербургском университете у Лермонтова тоже вышла крупная неприятность. По этому поводу Саша Верещагина писала ему: «Аннет Столыпина пишет П., что вы имели неприятность в университете и что тетка моя от этого захворала; ради бога, напишите мне, что это значит? У нас все делают из мухи слона — ради бога успокойте меня! К несчастью, я вас знаю слишком хорошо, чтобы быть спокойною. Я знаю, что вы способны резаться с первым встречным из-за первого вздора. Фи, стыд какой!.. С таким дурным характером вы никогда не будете счастливы».

Прежде чем привести здесь слово Лермонтова, я хочу обратить внимание на замечание Верещагиной по поводу характера поэта, готового «резаться с первым встречным из-за первого вздора». Очень приятно отметить, что эта девушка (примерно одних лет с Лермонтовым) оказалась хорошим знатоком души близкого человека (такое не часто встретишь). Ее наблюдения кое-что объяснят нам и в дальнейшем.

Я понимаю деликатное положение самолюбивого молодого человека: поехал студент поступать в университет — и осечка! Его не зачисляют. Надо начинать все сызнова, с первого курса. А почему? Из-за тупости начальства. Согласитесь, это очень обидно. Не пойдешь же в другой университет: его нет в Петербурге. А время поджидает, надо что-то быстро решать... И еще одно обстоятельство: как раз в это время пришло правительственное распоряжение об увеличении числа университетских курсов с трех до четырех. А это значит, что еще один лишний год придется проводить в стенах учебного заведения. Всего, значит, два лишних года!

Вот здесь мы и приведем обещанное слово Лермонтова. Вот оно: «Вы поверили словам и письму молодой девушки, не подвергнув их критике. Annette говорит, что она никогда не писала, что я имел неприятность, но что мне не зачли, как это было сделано для других, годы, проведенные мною в Московском университете. Дело в том, что вышла реформа для всех университетов... к прежним трем невыносимым годам прибавили еще один...»

Таково объяснение Лермонтова. Можно ли ему верить? Разумеется, можно. Верещагиной он не солгал бы. Других документов нет в нашем распоряжении. Нет прошения самого Лермонтова, нет ответа университетского начальства.

Оставалась, по-видимому, школа подпрапорщиков.

Чем соблазняла школа? Короткий срок обучения. Это — раз. Военная карьера, веселая гусарская жизнь. Это — два. Наконец, советы друзей. Лермонтов очутился на перепутье.

Пушкин писал в «Пророке»: «И шестикрылый серафим на перепутьи мне явился». Этот посланец небес сделал все для того, чтобы стал на-

стоящим пророком тот, который был предназначен для этой великой миссии.

Но к Лермонтову серафима не послали. Возможно, и тут сказалась несправедливость судьбы. К нему явился в самый ответственный час просто Столыпин. Тот самый Монго. Родственник и друг Михаила Лермонтова. Избравший для себя военную карьеру. Чуть помоложе Лермонтова. Говорят, его советы действовали неотразимо.

И жребий был брошен...

Стало быть, с университетом в Петербурге не получилось. У некоторых дело выгорело, а у Лермонтова нет. Почему? Было ли какое-либо тайное письмо из Москвы? Едва ли. В чем могли обвинить Лермонтова? В участии в «маловском деле»? Но ведь оно с самого начала было признано не столь уж тяжким. Политического характера ему не придали. Как говорится, спустили на тормозах. И все-таки, как понимать слова: «как это было сделано для других»? Мы знаем, что бабушка могла горы свернуть ради внука. Неужели она при всех своих связях не сумела сделать для Михаила того же, что удалось другим? Это не укладывается в моей голове! Значит, было нечто непреодолимое, о чем мы не ведаем. Было еще что-то сверх того, о чем пишет Лермонтов Верещагиной.

Что значило идти в школу подпрапорщиков? Первое: отдалиться от стихов. Это было неизбежно, и Лермонтов это, несомненно, понимал. Второе: требовалось коренным образом изменить весь уклад жизни, все перестроить с учетом «маршировок и парадировок». И это при характере Лермонтова, при живом складе ума, при его «ученых наклонностях»?

Я почему-то верю, что бабушка захворала, узнав о неожиданном решении внука. И не мудрено! Что хорошего сулила бабушке военная карьера внука? Жизнь вдали от нее! Или казарменную жизнь где-нибудь поблизости? Нет, военный быт не мог прийти по нраву Елизавете Алексеевне. Это совершенно ясно. Стало быть, не могла она служить ему союзницей в этом деле. Ежели Михаил пошел в школу подпрапорщиков, — значит, против ее желания. Впрочем, мне попадалось на глаза чье-то утверждение о том, что именно бабушка желала видеть во внуке военного. Не знаю, не думаю. Разве Елизавета Алексеевна похожа на бабушку, которая запросто отдает своего любимца в руки какого-нибудь Шлиппенбаха или Гельмерсена? Как бы не так!

Вспоминают, что в то время школа подпрапорщиков почти ничем не отличалась от университета. Что в ней было мало от солдафонства и больше от обычного учебного заведения. И именно в тот час, когда Лермонтов поступил в школу подпрапорщиков, все в ней и переменялось. Дескать, вдруг и муштры бессмысленной стало в ней больше, и строгостей всяких подвалило начальство, и дисциплины строевой, разумеется.

Павел Висковатов рассказывает кратко, но достаточно подробно об истории создания и развития этой школы. Прямое отношение к перестройке школы имел Николай Павлович, позже — самодержец всероссийский. Из истории школы видно, что верх в ней взяли «чисто» военные люди, что люди «знающие» уступали им место. По-видимому, все так и было.

Момент оказался, несомненно, драматическим: быть или не быть? Если «быть» — надо идти в военные. Ежели «не быть»? Что тогда? Садиться на скамью вместе с первокурсниками? Это полностью исключалось — не тот характер у Михаила!

Но ведь бабушка и ее хворобы — тоже аргумент немаловажный. Не стоило ли прислушаться к ее советам и пощадить ее любовь и ее старость?

Нет, жизнь, оказывается, сильнее. Точнее, обстоятельства. Трудно идти поперек им! И снова вспоминается мудрый Омар Хайям: «Небрежен ветер: в вечной книге жизни мог и не той страницей шевельнуть!» Могут спросить: а какой же еще ветер? Мало ли какой! Попал же Кюри под колеса телеги — и погиб. Задохнулся же Золя перед собственным камином. Утонул же Писарев в небольшой воде на Рижском взморье. Да мало ли какой страницей способен шевельнуть «ветер жизни»! На то он и ветер. На что он — от жизни.

Я спрашиваю вас: допустим на минутку, что Лермонтов поступил в Петербургский университет, окончил его и стал степенным чиновником. Что же тогда?

Появился бы, например, рассказ «Тамань»? А «Бэла»? А «Герой нашего времени» в целом? Едва ли. Возможно, родилось бы нечто другое. Возможно. Но — «без бури»? Откуда бы ее взять в каком-нибудь департаменте, куда его наверняка пристроила бы бабушка? А впрочем, гений, наверное, нашел бы свою тему. И бурю... Везде... На то он и гений!..

Конечно, теперь можно строить различные догадки. Но ведь сценарий-то уже готов, все жизненные пути в нем заказаны. Надо примириться с велением судьбы. И должным образом воспринять решение Лермонтова. Его ждут гусарский ментик, конь и шпоры. Его будут величать «маленьким гусаром». Но скоро, скоро все поймут, каков этот гусар: никому спуску не даст — проучит любого, кто осмелится задеть его даже малозначительной дерзостью. На пирушках никому не уступит пальму первенства в веселье и винопитии. Он будет не столько маленьким гусаром, сколько веселым гусаром с виду.

А стихи? Как же все-таки быть с ними?

Он пишет Марии Лопухиной: «Не могу представить себе, какое действие произведет на вас моя важная новость: до сих пор я жил для поприща литературного, принес столько жертв своему неблагодарному идолу, и вот теперь — я воин». Далее следуют полупророческие слова, и я объясню, почему именно «полу», а не пророческие. Он пишет: «Быть может тут есть особая воля Провидения; быть может этот путь всех короче, и если он не ведет к моей первой цели, может быть, по нем дойду до последней цели всего существующего: ведь лучше умереть с свинцом в груди, чем от медленного старческого истощения».

Пророческой оказалась вторая половина этой фразы: да, военная служба косвенно спасла его от «старческого истощения». Но неверно предположение в первой ее половине: все-таки путь этот привел на поприще литературное. Да как еще привел!

Саше Верещагиной Лермонтов написал следующее: «Теперь, конечно, вы уже знаете, что я поступил в школу гвардейских юнкеров... Если бы вы могли представить себе все горе, которое я испытываю, вы бы пожалели меня...»

Лермонтов знал, на что идет. Ему, несомненно, казалось, что расстается — притом навсегда — с литературой. И это решение о перемене, так сказать, карьеры далось ему совсем, совсем нелегко. Это говорит и о глубине его чувств, и об ответственном решении. О чем угодно, но только не о легкомысленном отношении к собственной судьбе. Ему наверняка не казалось, что школа ниже или много ниже университета. Не его вина, что реформа школы началась тотчас по поступлении в нее.

Ну как, будем ли мы жалеть Лермонтова и сочувствовать ему? Думаю, что нет.

Не может талант развиваться на чисто литературной или околотитулярной почве, где значительно суживаются и опыт, и знание жизни.

И мы скоро увидим, что эта перемена не убила Музу Лермонтова. А может, даже закалила ее.

Гусар черноусый?

Я хочу вернуться к месту, где говорил о том, чтостряслось бы с Лермонтовым, ежели б он поступил в Петербургский университет. Мне кажется, что у него была возможность избрать и третий путь. Я сейчас скажу, какой. Мне эта мысль пришла в голову, когда я припомнил некоторых знакомых мне молодых поэтов.

Едва такой поэт издаст сборничек или окончит Литературный институт — как тотчас объявляет себя профессионалом, а в один черный день выясняется, что вовсе он и не поэт. А он уже лыс, а он уже оброс семьей, а семью надо кормить...

В великолепных стихах «Баллада о цирке» Александр Межиров, как мне кажется, верно «ответил» на очень важный вопрос: можно ли «оторвать» жизнь, работу от поэзии? (Я нарочно огрубляю формулировку этой деликатной проблемы...)

А мысль стихотворения такова:

Если литературное дело не клеится — надо найти в себе мужество и вернуться к настоящему, полезному для тебя и других делу.

Литература — вещь серьезная, сложная. Трудно давать здесь рецепты. Но ясно одно: она не может существовать и развиваться вне жизни, вне ее течения. Сама литература есть изумительнейшее проявление этой жизни, одного из ее аспектов, граней ее. Человечество не может обойтись без нее. Эту мысль хорошо выразил Уильям Сароян. Я хочу привести его слова: «...Пишут кинофильмы, пишут пьесы, рассказы, стихи, романы, письма. Они садятся и пишут, и пишут, и так же, господа, поступаю я. Это чудовищно, это смешно.

И это моя профессия, самая замечательная из всех, но одновременно и смехотворная».

Итак, Лермонтов мог бы «профессионализироваться» в самые ранние годы, то есть перейти на бабушкино иждивение — и писать себе стихи. Ей-богу, бабушка была бы очень довольна! Но боюсь, что мир мог бы потерять при этом воистину великого поэта. Ходил бы этакий двадцатилетний Лермонтов по Москве и Петербургу, заживал бы к Краевскому — что-нибудь напечатали бы. А не печатают — тоже не беда: бабушка под боком! Исправно посещал бы балы, маскарады, пил бы по ресторанам, слыл бы за славного малого. Одним словом, промышлял бы стихами по разному поводу. Согласитесь: ведь возможен был и такой вариант.

Но все сложилось так, как сложилось: Лермонтов прошел в жизни свой собственный путь. Жизненная колея Лермонтова прочно сработана провидением, как говаривали раньше, и нам остается только следовать по ней. Было бы очень хорошо, если бы те, кто находился недалеко от Лермонтова, или сам Лермонтов оставили бы нам чуть побольше фактов, по которым мы могли бы достовернее судить об отдельных жизненных перипетиях. Прав Константин Симонов, когда пишет: «В личности Лермонтова меня больше всего поражает то, как много он сказал о ней в своих стихах и прозе и как мало оставил следов вокруг».

«Бог нашей драмой коротает вечность...» Словом, что бы мы ни думали и как бы ни гадали — Михаил Лермонтов попал в школу. Военную. Самую настоящую. А не ту «идеальную», о которой так пристрастно говорит Висковатов. Путь избран: Лермонтов станет гусаром. Даже странно как-то писать об этом. Слово гусар не вяжется с обликом умного студента Московского университета. Не только умного, но весьма одаренного. Этот путь избран им самим. Самолично.

Приказ о зачислении Лермонтова в школу был издан 10 ноября

1832 года. Вот его звание: вольноопределяющийся унтер-офицер лейб-гвардии гусарского полка. Лермонтов не хотел начинать с первого курса столичного университета. А с унтер-офицерского чина начинать было лучше? Нет, мы с вами, наверное, не уразумеем неожиданных действий Михаила. И не только мы с вами! Многие из его родных и друзей тоже разводили руками.

Саша Верещагина, умная и милая Саша,— вы сейчас еще раз убедитесь в этом,— сочла необходимым прочитать Лермонтову нотацию в письме, писанном по-французски. Вдумайтесь, пожалуйста, в ее слова. Можно ли сказать что-нибудь лучше и убедительнее? «Итак, милый мой,— пишет Саша или Сашенька,— сейчас для вас настал самый критический момент, ради Бога помните, насколько возможно, обещание, которое вы мне дали перед отъездом. Остерегайтесь сходитья слишком быстро с товарищами, сначала хорошо их узнайте. У вас добрый характер, и с вашим любящим сердцем вы тотчас увлечетесь. Особенно избегайте молодежь, которая изощряется во всякого рода выходках и ставит себе в заслугу глупые шалости. Умный человек должен стоять выше этих мелочей, это не делает чести, наоборот, это хорошо только для мелких умов, оставьте им это и идите своим путем». Это писано в Москве 13 октября 1832 года. Я прошу запомнить эти слова. Мы оставим за собою право процитировать их еще раз в своем месте. Настолько важными кажутся они нам.

Как Лермонтов отнесся к ним, к этим словам? Запомнил их? Принял ли всерьез? Или они тут же выветрились из его памяти. Нет, он поступал всегда вопреки им.

Верно ли сказано у Соломона: «хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий о путях своих погибнет»? Если верно, то сколь радиво хранят люди заповеди? И легко ли их сохранять? Какие существуют правила для этого? И какая сила способна вразумить человека в минуты слабости его?

Гусар!

Знал ли Михаил Лермонтов, что сие значит? Да, знал. Первым делом — это блеск. Блеск ментика, пуговиц, золотого шитья. И, разумеется,— веселье. Это же почти синонимы: гусар и веселье! «Гусар! ты весел и беспечен, надев свой красный доломан...» Это, по-моему, очень понятно. А еще — «гусар» синоним «любви». Это почти одно и то же. А посему: «Гусар! ужель душа не слышит в тебе желанья любви?» Разумеется, слышит. Это говорится в форме вопроса только ради кокетства. Что гусар без любви и что любовь без гусара?

Но... Но при всем этом — гусар есть гусар. Что бы ни говорили о ментике и шпорах, о доломане и коне горячем. «Крутя лениво ус задорный, ты вспоминаешь шум пиров; но берегися думы черной,— она черней твоих усов». Но мало этого! Дело гораздо хуже: «Тебя никто не любит, никто тобой не дорожит».

Гусар на то и гусар, чтобы положить жизнь во имя бога войны, когда это потребуется. И что же? Что думают о тебе, «когда ты вихрем на сраженье летишь, бесчувственный герой»? Ничего не думают. О тебе даже не помнят, ибо «ниче, ниче благословенье не улетает за тобой».

Вот вам краткое правдивое жизнеописание некоего гусара. Может быть, фамилия этого гусара и есть Лермонтов? Может быть. В этом нет ничего удивительного, ибо речь идет о любом гусаре, о типе его. Судьба его, как видно, не из лучших. Тогда, спрашивается, «зачем от жизни прежней ты разом сердце оторвал...»?

Справедливый вопрос. Но ведь задавали его в свое время самому Лермонтову. Чем же он ответил? Да ничем! Пошел себе в казарму, погрузился в шагистику. Он может теперь преспокойно написать: «Я жить хочу! хочу печали, любви и счастью назло!»

Простите, где это «жить»? На ристалище? Под строгую команду унтеров? Фельдфебелей?

Благороднейший Висковатов тщился доказать, что «школа» почти равнялась университету. Она вроде бы только с виду военная. А на самом деле, мол, хорошая, что Лермонтов просто ошибся в ней, потому что так сложились обстоятельства — я говорил об этом, но хочу снова вернуться к сему важному, с моей точки зрения, предмету.

У нас имеются «документы», оставленные самим Лермонтовым. Мы скажем еще о них. Но давайте послушаем сначала его друзей.

«Школа была тогда... у Синего Моста,— пишет Шан-Гирей.— Бабушка наняла квартиру в нескольких шагах от школы, на Мойке же, и я каждый почти день ходил к Мишелю с контрабандой, то есть с разными (холодными пирогами, страссбургскими пирогами), конфетами и прочим...» «Домой он приходил только по праздникам и воскресеньям и ровно ничего не писал». В школе он носил название Маёшки от «Мг. Мауеух», горбатого и остроумного героя давно забытого шутовского французского романа.

Михаил Лонгинов писал: «Маёшка — это прозвище, приданное Лермонтовым самому себе». (Заметим, что Алексею Столыпину Лермонтов дал название «Монго».)

Николай Мартынов сообщает: «По пятницам у нас учили фехтованию: класс этот был обязательным для всех юнкеров... Я гораздо охотнее дрался на саблях. В числе моих товарищей только двое умели и любили так же, как я, это занятие: то были... гусар Моллер и Лермонтов. В каждую пятницу мы сходились на ратоборство...»

Подумать только: всем этим всерьез занимался Лермонтов! Помому, это больше приличествовало ему в детские годы, в тарханскую пору. Спустя полтора десятка лет Лермонтов снова вернулся к своим «детским» забавам. Ведь это же одно удовольствие «драться» на саблях или эспадронах с Моллером или Мартыновым!

Вот что представляла собою школа, по Висковатову.

1. С восшествием на престол императора Николая I она была отдана в ведение великого князя Михаила Павловича.

2. Великий князь обратил свое особенное внимание на фронтальные занятия, и обучение строю стало практиковаться чаще. Так, манежная езда производилась от десяти утра до часу пополудни, а лекции были перенесены на вечерние часы.

3. Было запрещено читать книги литературного содержания.

4. Полагалось стеснять умственное развитие молодых питомцев школы.

5. С 1830 года великий князь принял особое участие в преуспевании школы и стал ее посещать чуть ли не каждый день. Эти посещения, свидетельствуют, всегда сопровождалась грозой.

Можно привести еще кое-какие особенности этой школы, «соперничавшей» с университетом. Говорили, — и теперь уже, наверное, трудно судить, — что с уходом Деллинггаузена и Годенна и с приходом генерал-майора барона Шлиппенбаха и Россильона школа будто бы в корне переменялась. Не знаю, не знаю! Школа с самого начала была создана не по образцу и подобию университета. Кто не знал в то время, что студент и юнкер все-таки вещи разные? Алексей Столыпин (Монго) это тоже знал наверняка, когда советовал Лермонтову (Маёшке) поступить именно в школу. Правда, здесь для недорослей была введена особая привилегия: они могли держать при себе прислугу из числа крепостных. Лермонтов, разумеется, этой привилегией воспользовался. Этой и некоторыми другими.

Товарищ Лермонтова по школе Александр Меринский напечатал в 1872 году свои воспоминания. Он пишет, что «хвалили же и восхищались теми, кто быстро выказывал «запал», то есть неустрашимость при товарищеских предприятнях, обмане начальства, выкидывании разных «смелых штук». «В школе славился своею силою юнкер Евграф Карачевский. Он гнул шомпола или вязал из них узлы, как из веревок».

В то время для многих дворянских недорослей прямой путь в военные, в офицерство был, можно сказать, предопределен. Для тысячи и тысячи дворян. Но не обязательно же именно для Лермонтова! Может быть, если бы жив был Юрий Петрович и был бы он рядом с сыном, все сложилось бы иначе? Трудно сказать.

В восемнадцать лет Лермонтов был образованным молодым человеком, читал на трех иностранных языках, хорошо разбирался в отечественной литературе, обожал Пушкина, читал новинки, издававшиеся в Париже, Лондоне, Берлине. И этого молодого, талантливого человека обстоятельства принуждают ходить буквально вниз головою. Я хочу напомнить нотацию Сашеньки Верещагиной: как верно, как справедливо писала она ему!

«По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел: и месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой...»

Значит, почти настоящие или почти театральные драки на саблях и рапирах? Все сбегаются и глазеют, как Лермонтов, автор «Ангела», мастерски дерется с юнкером Моллером?..

«Он душу младую в объятиях нес для мира печали и слез...»

...Или еще приятнее хохотать, наблюдая за тем, как юнкер вяжет узлы из шомполов. Это чудесное зрелище! Можно и самому попробовать делать узлы. Силенок на это достанет в руках и плечах...

«И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли».

...А то можно выказать лихость и на манеже и вдруг получить удар. И от кого? От любимой лошади. И хорошо, что не в живот или в голову. Дело в этом случае закончилось бы весьма плачевно. А может, и не плачевно, ибо это «естественный конец без старческой немощи»...

Позвольте, тот ли это Лермонтов, который написал в «Измаил-Бее»: «Как я любил, Кавказ мой величавый, твоих сынов воинственные нравы, твоих небес прозрачную лазурь и чудный вой мгновенных, громких бурь...»

Все это не очень понятно...

Но непонятно на первый взгляд.

Сам Михаил все отлично понимал. Он знал, по какому пошел пути. А раз выбрал этот путь, надо и вести себя соответствующим образом. Гусар — это и ус черный, и лихость, и бравирование крайним самолюбием. А юнкер — это завтрашний гусар!

Надо отметить, к чести «недоросля» Лермонтова, что никаких иллю-

зий относительно школы он не строил. Все видел, все понимал. Напомним, что даже Петербург пришлось не по нутру молодому москвичу. Что касается самой школы, то сущность ее хорошо, я бы сказал исчерпывающе, выражена в знаменитой «Юнкерской молитве»: «Царю небесный! Спаси меня от куртки тесной, как от огня. От маршировки меня избавь, в парадировки меня не ставь. Пускай в манеже Алёхин глас как можно реже тревожит нас...»

Ну как не вспомнить при всем этом милые университетские дни в Москве! Разве не кажутся они теперь священными? Можно ли забыть все споры о боге, о вселенной, о свободе? Разве конские зады на манеже не наводят на некие мысли? Раскаяния, правда, особенного не заметно, но та студенческая пора видится из Петербурга в ореоле ярком и величественном. Грустно, очень грустно, когда вспоминаешь Москву и университет в Москве, где было много всего — и счастья, и горестей...

Павел Щеголев в своей двухтомной «Книге о Лермонтове» собрал любопытные материалы и документы о поэте. Почти все, что осталось от тех далеких времен. Имеются свидетельства о внешности и характере юнкера Лермонтова. Они принадлежат большей частью его товарищам по школе. Я их приведу сейчас.

Очень любопытно высказывание поэтессы Евдокии Ростопчиной в письме к Александру Дюма. Она писала о Лермонтове-юнкере: «...Его жизнь и вкусы приняли другой характер. Насмешливый, едкий, ловкий — проказы, шалости, шутки всякого рода сделались его любимым занятием, — вместе с тем полный ума, самого блестящего в разговоре, богатый, независимый, он сделался душою общества молодых людей высшего круга; он был запевалой в беседах, в удовольствиях, в кутежах...»

Словом, лихой юнкер!

«Наружность его была весьма невзрачна, — писал Николай Мартынов (опять же тот самый!) — маленький ростом, кривоногий, с большой головой, с непомерно-широким туловищем, но вместе с тем весьма ловкий в физических упражнениях и с сильно развитыми мышцами. Лицо его было довольно приятное... Волосы у него были темные, но довольно редкие, с светлой прядью немного повыше лба, виски и лоб весьма открытые, зубы превосходные — белые и ровные, как жемчуг...»

В. Боборыкин, один из воспитанников школы, писал: «Лермонтов, Лярский, Тизенгаузен, братья Череповы, как выпускные, с присоединением к ним проворного В. В. Энгельгардта, составляли по вечерам так называемый ими «Нумидийский эскадрон», в котором, плотно взявши друг друга за руки, быстро скользили по паркету легко-кавалерийской камеры, сбивая с ног попадавшихся им навстречу новичков...»

Что же «осталось» все-таки от того студента — молчаливого, читавшего «посторонние» книги? Послушаем:

Меринский: «Никто из нас тогда, конечно, не подозревал и не разгадывал великого таланта в Лермонтове... В то время Лермонтов писал не одни шаловливые стихотворения, но только немногим и немного показывал из написанного».

Муравьев: «...Гусар Цейдлер приносит мне тетрадку стихов неизвестного поэта и, не называя его по имени, просит только сказать мое мнение о самих стихах. Это была первая поэма Лермонтова «Демон». Я был изумлен живостью рассказа и звучностью стихов и просил это передать неизвестному поэту».

Значит, были не одни только шалости. Были, между прочим, и стихи «Два великана». Это великолепное хрестоматийное произведение. Неужели в школе никто о нем ничего не знал? Я уж не говорю о «Парусе» и «Ангеле». Их тоже никто не знал? Разве Лермонтов так уж все законспирировал? Может быть, прав Меринский, когда пишет: «Да были

ли тогда досуг и охота нам что-нибудь разгадывать, нам — юношам в семнадцать лет...»

Нет, не ведали они, кто живет рядом с ними!..

По-прежнему бабушка не спускает с внука своих пытливых глаз. Она делает все, чтобы Михаилу лучше жилось и лучше дружилось не только с науками, но и с наставниками. Сохранилось ее письмо к преподавателю военной топографии Онисифору Петухову. Вот оно: «Прошу вас принять моей работы портфель на память и в знак душевного к вам уважения надеюсь что вы меня не огорчите и не откажетесь иметь у себя работы шестидесятилетней старухи с моим почтением пребываю ваша покорная ко услугам Елизавета Арсеньева».

Бабушкина любовь неотступно сопровождает внука на манеж, в классы и на военные учения!..

«...Представьте себе палатку, которая имеет по 3 аршина в длину и ширину и 2½ аршина в высоту; в ней живут трое, и тут же вся поклажа и доспехи, как-то: сабли, карабины, и проч. и проч. Погода была ужасная: дождь лил без конца, так что часто дня два подряд нам не удавалось просушить платье. Тем не менее эта жизнь отчасти мне нравилась. Вы знаете, милый друг, что во мне всегда было явное влечение к дождю и грязи — и тут, по милости Божией, я наслаждался ими вдоль...»

Вы угадали, конечно, кто это писал. Да, Михаил Лермонтов. В августе 1833 года..

«Белеет парус одинокий в тумане моря голубом! Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?.. А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!»

И это тоже Лермонтов. За год до этой самой грязи и этого самого дождя.

Нет, гусар только с виду...

Прав, конечно, Шан-Гирей: в школе Лермонтов писал мало. Тут и доказывать нечего, стоит перелистать любое полное собрание сочинений. Всего лишь несколько стихотворений. Мне кажется, что в Благородном пансионе Лермонтов как поэт был плодовитей.

Здесь, в школе гвардейских подпрапорщиков, Лермонтов словно решил вкусить от жизни всевозможных плодов: горьких и сладких.

Но бабушкин глаз неустанно следит за ним. К сожалению, Михаила домой не отпускают, как это было в пансионе. Но тем не менее... Аким Шан-Гирей, как об этом говорилось, таскает в школу различные пироги и сладости. Бабушка живет совсем поблизости. А когда юнкера переезжают в лагерь, — обычно в Петергоф, — бабушка тоже несется следом за внуком. Она снимает дом в таком месте, откуда по утрам или вечером видно марширующего или едущего на коне внука. Елизавета Алексеевна не щадит ни сил, ни денег — только бы быть где-нибудь возле него, только бы вовремя протянуть руку помощи бесшабашному юнкеру.

Понемногу «шалости» принимают несколько иной характер. Все чаще в них участвуют и некие девицы, которые отнюдь не вызывают в будущем поэте чрезмерно возвышенных чувств. Одно такое похождение описано в небольшой поэме «Монго». Случай, по-видимому, истинный.

Участвуют в поэме (отрывке) известные нам молодые люди, по прозвищу Монго и Маёшка. Вот они...

«...Монго — повеса и корнет, актрис коварных обожатель, был молод сердцем и душой, беспечно женским ласкам верил и на аршин предлинный свой людскую честь и совесть мерил...»

«...Маёшка был таких же правил: он лень в закон себе поставил, домой с дежурства уезжал, хотя и дома был без дела... Разгульной жизни отпечаток иные замечали в нем...»

Короче, Маёшка и Монго «сворачивают» к актрисе, которая на «печении» у одного казанского богача. Но встреча испорчена: ее «вдруг... зловещим стуком прерывает на двор влетевший экипаж...» Молодым людям «остается лишь одно: перекрестясь, прыгнуть в окно...»

Вот в такого рода забавах проходят два школьных года. Целых два года! Это совсем не мало, если учесть, что Лермонтову было отпущено судьбою неполных двадцать семь лет...

Иногда я задаюсь вопросом: как все-таки считать — даром ли пропали эти два года? И велика ли беда, что Лермонтов в эти двадцать четыре месяца не написал еще полсотни стихов? Полсотни плохих — не надо! Но полсотни хороших — это благо! Главное в том, какого качества стихи были бы писаны в школе юнкеров?

Особенно сетовать по поводу того, что Маёшка мало водил пером, не следует. Поэт порою растет даже и тогда, когда вовсе не пишет. На мой взгляд, литератор всегда выигрывает от близкого соприкосновения с жизнью. «Стерильность» ее в данном случае не имеет значения. Подчас даже так называемая «не стерильная» среда подает больше мыслей и сюжетов. Но это уж мое частное мнение. Многие литераторы придерживаются как раз обратного...

Думаю, что Лермонтов не проиграл, поступив в школу. Он просто хлебнул из другого источника. И это неплохо. Даже хорошо.

У нас имеются свидетельства того, что, несмотря на кажущееся перерождение, на самом деле этого не произошло. Лермонтов не вязал узлов из казенных шомполов. Это он пытался делать только в зале, среди товарищей. А возвращался в свою комнату самим собою. Просто Лермонтовым. Если другие этого не замечали — не его вина. Впрочем, кое-что и замечали...

Александр Муравьев писал: «Лермонтов просиживал у меня по целым вечерам; живая и остроумная его беседа была увлекательна, анекдоты сыпались...» Конечно же, все это очень и очень далеко и от «нумидийского эскадрона», и вязанья узлов из шомполов, и милых ночных походов с Монго.

Как человек умный, Муравьев подметил и недостаток лермонтовских стихов. Он писал: «Часто читал мне молодой гусар свои стихи, в которых отзывались пылкие страсти юношеского возраста, и я говорил ему: «отчего не избрет более высокого предмета для столь блистательного таланта?» (Я здесь не очень уверен: не был ли помянут «блистательный талант» ретроспективно, или Муравьев еще в школе учуял его талант?)

А вот как описывает свою встречу с Лермонтовым Екатерина Сушкова:

«Пока мы говорили, Мишель уже подбежал ко мне, восхищенный, обрадованный этой встречей, и сказал мне:

— Я знал, что вы будете здесь, караулил вас у дверей, чтоб первому ангажировать вас.

Я обещала ему две кадрили и мазурку, обрадовалась ему, как умному человеку, а еще более, как другу Лопухина... Я не видела Лермонтова с 30-го года, он почти не переменялся в эти четыре года, возмужал

немного, но не вырос и не похорошел и почти все такой же был неловкий и неуклюжий, но глаза его смотрели с большею уверенностью, нельзя было не смущаться, когда он устремлял их с какой-то неподвижностью.

— Меня только на днях произвели в офицеры,— сказал он,— я поспешил похвастаться перед вами моим гусарским мундиром и моими эполетами...»

Я думаю, нет ничего удивительного в его словах: в двадцать лет не так еще хвастают!

Лермонтов в школе написал несколько любопытных стихов, имеющих главным образом автобиографический характер, задумал новые поэмы, продолжал «очерки» своего «Демона».

Юнкера издавали рукописный журнал. Он выходил чуть ли не каждую неделю. (Об этом сохранились воспоминания Меринского.) Говорят, Лермонтов «обнародовал» в этом журнале некоторые свои стихотворения. Называют, например, «Уланшу» и «Праздник в Петергофе». «Уланша» была любимым стихотворением юнкеров,— говорит Меринский.

В эти же школьные годы писалась повесть «Горбач-Вадим» (название условное, не лермонтовское). Тем, кто изучает истоки его прозы, без этой неоконченной повести никак не обойтись. Сейчас она интересует читателя как прозаический фрагмент, принадлежащий молодому перу Михаила Лермонтова. Не более. Ибо большого, самостоятельного художественного значения этот отрывок, на мой взгляд, не имеет. По нему еще не скажешь с уверенностью, что перед тобою — будущий автор «Героя нашего времени». Хотя побеги лермонтовской прозы идут именно отсюда.

«Всякий раз, как я заходил в дом к Лермонтову,— продолжает Меринский,— почти всегда находил его с книгой в руках, и книга эта была «Сочинения Байрона», и иногда Вальтер-Скотта на английском языке,— Лермонтов знал этот язык». Эти два года Лермонтов мало писал.

В молодом возрасте истинный художник подобен айсбергу — он виден всего лишь на одну девятую своей величины, а все остальное сокрыто от посторонних глаз. Этот «айсберг» особого рода: с годами он подымается, становится все виднее. (Я имею в виду истинный талант.) Сравнение не ново. Я повторяю литературный постулат, в котором совершенно убежден: механическое вождение пером по бумаге без особых, оригинальных мыслей — беспредельно. Это не надо понимать как призыв к безделью. Я хочу сказать, что литературный труд — впрочем, как всякий,— должен быть освящен самой высокой мыслью.

Совершенно уверен, что Лермонтов в эти два года занимался не только «шалостями». Тот самый удар копытом, который он получил на манеже, тоже чего-то стоит.

Юнкер Лермонтов — Марии Лопухиной:

«Как скоро я заметил, что прекрасные грезы мои разлетаются, я сказал себе, что не стоит создавать новых; гораздо лучше, подумал я, приучить себя обходиться без них. Я попробовал и походил в это время на пьяницу, который старается понемногу отвыкать от вина; труды мои не были бесполезны, и вскоре прошлое представилось просто перечнем незначительных, самых обыкновенных похощений...»

Может быть, через год я навещу вас. Какие перемены я найду? Узнаете ли вы меня, и захотите ли узнать? И какую роль буду играть я?...»

Это было писано в Санкт-Петербурге, 4 августа 1833 года по-французски.

Двухлетнее обучение в юнкерской школе подходило к концу. Я не думаю, чтобы вы остались удовлетворенными нашим анализом этой поры жизни Лермонтова, особенно выводами. Но что, собственно говоря, анализировать? Упражнения способного к «умственным занятиям» юнкера? Его неоконченную повесть?

Лермонтов — без пяти минут гусар. Он уже там, в разгульной офицерской жизни... Но это только для посторонних глаз. Лермонтов оставался поэтом и в казармах. Он был гусаром только с виду...

А кто же в это время стоит рядом с Михаилом Лермонтовым? Из самых близких людей?

Елизавета Алексеевна, все та же, безгранично любящая внука. Она словно нитка: куда игла, туда и она.

А еще милый преданный Шан-Гирей, который живет у Елизаветы Алексеевны.

А еще Алексей Столыпин, по прозвищу Монго.

Но сердце Михаила, кажется, в Москве. Где живет Варенька Лопухина. Где Сашенька Верещагина. Где Алексей Лопухин. Где вообще — Москва. Любимый город. Где много страдал и где был счастлив.

Поэзия, залитая шампанским?

22 ноября 1834 года император, находившийся в это время в Риге, своим приказом произвел юнкера Лермонтова «по экзамену» в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. Тем же приказом Мартынов стал корнетом лейб-гвардии Кирасирского полка. «За отсутствием военного министра подписал генерал-адъютант Адлерберг».

4 декабря командир школы генерал-майор барон Шлиппенбах объявляет сей высочайший приказ в школе. Таким образом исполняется «мечта» Лермонтова: он становится офицером. Причем самого блестящего, по определению Ростопчиной, полка. Чего же еще?

Лермонтов — Лопухиной, 4 августа 1833 года:

«...Одно меня ободряет — мысль, что через год я офицер! И тогда, тогда... Боже мой! Если бы вы знали, какую жизнь я намерен вести! О, это будет восхитительно! Во-первых, чудачества, шалости всякого рода и поэзия, залитая шампанским. Я знаю, что вы возопиете; но увь! пора мечтаний для меня миновала; нет больше веры; мне нужны материальные наслаждения, счастье осязаемое, счастье, которое покупают на золото, носят в кармане, как табакерку, счастье, которое только обольщало бы мои чувства, оставляя в покое и бездействии душу!.. Вот что мне теперь необходимо...»

Какие возникают мысли лично у меня в связи с этими словами Лермонтова?

Первым делом вопрос: кому они принадлежат? Легкомысленному существу или серьезному молодому человеку? Наше положение довольно затруднительное, во всяком случае, не простое. Думая о Лермонтове, мы отказываемся признать в нем человека легкомысленного. Разве в этом можно заподозрить автора «Молитвы», «Завещания», или «Пророка», или «Ветки Палестины», или «Трех пальм», или «Героя нашего времени», или «Маскарада»? Нет, разумеется.

Утверждать, что это слова юного несмышленища, — тоже невозможно. Уже написавший «Измаил-Бей» не может не знать, чем делится со своим московским другом.

Может быть, он, что называется, представлялся? Хотел казаться не тем, кем был на самом деле? И прodelывал это сознательно? Или бессознательно?

Как бы то ни было, не следует впадать в крайности. Надо рассматривать личность в целом.

Мы имеем дело с весьма усложненной натурой: с одной стороны — модный фронт, блистательный богатый офицер, с другой — человек горькой судьбы, тяжелой душевной доли, чье сердце разрывается от всяческих несправедливостей. Я понимаю, сколь уязвима эта сентенция с точки зрения людей цельного, как гранит, характера или просто заскоружлых мещан. Но в данном случае это — факт.

Я говорю о двойственности Лермонтова. А двойственность Пушкина? Его биограф Петр Бартенева справедливо заметил, что Пушкин и не стремился сделать свою жизнь однозначной с творчеством. Не о подобных ли «странных вещах» писал Борис Бурсов: «Это, в сущности, не что иное, как известный диссонанс в человеческой личности. Никому он не чужд». Возьмем, к примеру, такого «утонченного» лирика, как Фет, который был весьма деловитым помещиком. В то время как один Фет создает поэзию, в которой «звуки, намеки и ускользающие звуки», другой Фет — смеется над ним и знать его не хочет, толкуя «об урожае, о доходах, о плугах, о конном заводе и о мировых судьбах». Так писал о Фете Д. Цертенев. И заключал: «Эта двойственность поражала всех...»

Не надо быть мудрецом, чтобы заметить, что Лермонтов-офицер не равнозначен Лермонтову-поэту.

Молодой человек живет очень сложной жизнью. Только подлеев отличается намеренность: ночью они крадут, а днем рассыпаются в благопристойной болтовне.

Тот, кого «усложнила» сама природа, «усложнила» по-настоящему, тот мучается: он не находит себе покоя. Он вроде бы живет, как все. Но стоит приглядеться к нему получше, и тогда станет ясно, что не так, как все. Но для этого надо именно приглядеться. Попристальной. Поглубже. То есть сделать то, что труднее всего на свете.

Значит, так: превыше всего — чудачества, «шалости». И, разумеется, поэзия, залитая шампанским. Позвольте, а где же «судьба Байрона», которая совсем еще недавно стояла высоким маяком перед глазами? Что общего между этим образом и «поэзией, залитой шампанским»? Где же серьезные литературные намерения, о которых мечталось еще года два-три тому назад? Все это исчезло? Нет, тут что-то не то! Мы еще убедимся, что так оно и есть: не то!

У нас две возможности: углубиться в умозрительные рассуждения или пойти дальше по лермонтовскому следу. Первое, возможно, дело весьма полезное и серьезное, да больно уж скучное. Например, для меня. Поэтому я предлагаю посмотреть на жизнь Лермонтова-офицера. Может быть, в ней мы найдем разгадку, найдем ответ на интересующий нас вопрос. «...Пора моих мечтаний миновала; нет больше веры; мне нужны чувственные наслаждения, счастье осязательное, такое счастье, которое покупается золотом...»

Примем это за действительное, как программу-максимум или минимум. Это все равно. И посмотрим, сколь старательно она выполнялась.

Еще один мимолетный взгляд на «школьные годы». Они уже позади. Прошли, как сон, эти два года. По сравнению с ними студенческие лета в Москве — почти рай. Хлебнув юнкерской жизни, Лермонтов, кажется, по-настоящему оценил университет. Он вспоминал: «Святое место!.. Помню я, как сон, твои кафедры, залы, коридоры, твоих сынов заносчивые споры о Боге, о вселенной...» Это все-таки кое-чем отличается от парадировки и «куртки тесной».

«Святое место»? Верно? Сладкий сон? Но давайте вспомним, что было говорено в стенах университета. Вот эти стихи: «Пора уснуть последним сном, довольно в мире пожил я; обманут жизнью был во всем и ненавижда и любя».

Что это?

Висковатов объясняет следующим образом: «С самой юности раскудок Лермонтова уклонялся от обычного пути людей. Он смотрел на землю иными, не их глазами... Их интересы и цели были чужды ему; иные были радости и печали».

Здесь есть элемент «демонизации» Лермонтова. Я, напротив, сказал бы, что Лермонтова обуревали именно человеческие чувства, что смотрел он на землю именно человеческими глазами. Все в нем было человечно. Только во много крат острее оно проявлялось. Он любил сильнее. И ненавидел сильнее. Страдал глубже других. Разве это значит — «уклонялся от обычного пути людей»?

Сомерсет Моэм считал людскую красоту, стройность явлением нормальным, а нарушение их — явлением ненормальным. Я думаю, что мир выиграл бы, если бы в большинстве своем был населен людьми, подобными Лермонтову. И при чем здесь «не их глазами»? Я этого не понимаю. «Странности» юного Лермонтова вполне объяснимы и закономерны. По-моему, до сих пор мы особенно «странного» в нем не замечали. Обостренность? Да. Повышенная чувствительность? Да. Горячность? Да. Но какое отношение к «странностям» имеет все это? Скорее, было бы странным, если бы все обстояло иначе. Представьте себе ребенка или юнца, который не реагирует на ссору отца с бабушкой. Который не чувствует красоту утра и зеленых дубрав. Который холоден к другу, который до двадцати лет ни разу не влюблялся. Вот это действительно странно!

Если бы мы владели некоей «высокоорганизованной» электронной «думающей» аппаратурой, которая бы регистрировала состояние психики обыкновенного среднего человека на протяжении всей его сознательной жизни, то мы получили бы весьма любопытную и весьма пеструю картину. Мы увидели бы такие взлеты горя и радостей, что наверняка отказались бы признать в данном субъекте человека нормального и заговорили бы о его «странностях». Лермонтов поверял бумаге почти все свои чувства. Он был максимально правдив перед собою и честен. Поэтому нам порою кажется он удивительным, необычным и даже непонятным. Зачем всех мерить на один аршин? Тем более что каждый из нас не настолько прост, как кажется со стороны.

Мне думается, что в юном Лермонтове более всего «странно» то, что он лишен какой бы то ни было рисовки, когда пишет, когда делится с другим своим горем или радостью или просто сообщает обыденные вещи. «Странность» его — в предельной откровенности, почти оголенности, что ли...

Да, Лермонтов не лгал бумаге. Многие вели и ведут себя почти так же. Я имею в виду высокоталантливых.

Говорили, что Лермонтов шутя советовал своему камердинеру подбирать бумаги со стихами, за которые «со временем большие будут деньги платить». Несомненно, он отдавал себе отчет, что значат его стихи. Или это тоже странность?

А если «отдавал отчет», если понимал, если страстно желал литературной известности, то где взялся этот путь к «куртке тесной», к парадировке? Влияние моды и Монго? И откуда вдруг нелепая мечта о «поэзии, залитой шампанским»?

Если мы кроме «странности» или «раздвоенности» не примем во внимание его возраста, то многого — даю вам слово! — мы в Лермонтове не

пойдем. Все, что до сих пор говорилось о Лермонтове и что говорил о себе самом Лермонтов, относится к молодому человеку, которому только-только исполнилось двадцать лет. И каким бы он ни был гением — двадцать лет есть двадцать лет. Ни меньше, ни больше!

Если к двадцатилетнему подходить с меркой сорокалетнего или тридцатилетнего — значит совершать грубейшую ошибку. Что бы ни писал в это время Лермонтов о жизни или смерти — это мысли все еще незрелого человека. Во многих отношениях незрелого: общественном, гражданском не вполне устоявшегося еще человека. И если угодно, и в военном отношении, поскольку имеем дело с молоденьким офицером. И это обстоятельство еще более осложняет наше положение. Но давайте вернемся к тому месту, где он стал офицером и вышел «в жизнь».

Итак, Лермонтов-офицер поступил в Гвардейский гусарский полк. «Живость, ум и жажда удовольствий, — пишет Ростопчина, — поставили Лермонтова в голове его товарищей: он импровизировал для них целые поэмы, на предметы самые обыденные из их казарменной или лагерной жизни. Эти пьесы, которые я не читала, так как они написаны не для женщин, как говорят, отличаются жаром и блестящей пылкостью автора».

Похоже на то, что Михаил Лермонтов держал свое слово: поэзия, залитая шампанским! Образчики этого почти пустопорожнего сочинительства легко можно отыскать в его книгах — стоит только обратиться к соответствующему году.

Служа в полку, этот офицер постоянно жил в Петербурге, у бабушки, разумеется. Вместе с ним, по свидетельству Шан-Гирея, служил и Алексей Столыпин — Монго. Учения и дежурства удерживали Лермонтова в полку. Но как только они кончались — он торопился в Петербург. Похоже, что «блестящий офицер» предпочитает светскую, цивильную жизнь «боевой» жизни полка. А ближайшие начальники Лермонтова умели ценить «качества ума и души» в своем подчиненном и были снисходительны к нему.

Лермонтов был зачислен в седьмой эскадрон, которым командовал полковник Николай Бухаров. В 1835 году он уже в четвертом эскадроне под началом полковника Федора Ильина. Свидетельствуют, что на квартире, которую снимал Лермонтов в Царском Селе, вместе с ним жили Монго и Алексей Григорьевич Столыпин, штаб-ротмистр, командовавший третьим эскадром. И что будто хозяйство у них было общее. И вел его, если не ошибаюсь, Андрей, из тарханских крепостных. Вел почти бесконтрольно. Михаил Лермонтов получал от бабушки в год до десяти тысяч рублей, которые шли на содержание отличных выездных лошадей, а также и верховых. Имя одной его лошади, купленной за полторы тысячи рублей, дошло до нас: звали ее «Парадёр». При Лермонтове в Царском Селе находились, по свидетельству Шан-Гирея, «повар, два кучера», экипажи. По тогдашним временам он считался человеком довольно богатым. О гонораре, следственно, о печатании своих стихов, мог особенно не беспокоиться.

Утверждают, что до прибытия Лермонтова в полк слава его как поэта шла впереди него. Если это так, то речь может идти о рукописях, которые он давал читать только самым близким друзьям. Напомним, что к этому времени ни одной строки Лермонтова не появлялось в печати. Я не совсем понимаю, какая это «слава стихотворца» могла «идти впереди» этого офицера? Нет ли тут бессознательной аберрации? Ведь это писали те, кто знал уже настоящего Лермонтова. Не юнкера, не поручика, но великого поэта.

Не думаю, что для посторонних Лермонтов был уже поэтом, да еще со славой. Проще представить себе, что служба этого офицера вне пол-

ка «ограничилась, по словам Мартьянова, караулом во дворце... да случайными какими-либо нарядами».

Теперь вы можете вообразить себе молодого гусара, который стоит на часах у великолепной дворцовой двери, а мимо идет самодержец все-российский. Верно ли, если мы повторим вслед за Мартьяновым, что поэт Лермонтов стоял на карауле во дворце? Нет, на карауле стоял корнет Лермонтов, дворянин Лермонтов, блестящий гусар. Так будет точнее. Говорили, что очень часто службу в полку вместо Лермонтова нес его товарищ Годаин, «любивший его как брата». Может, он и стоял у царских опочивален вместо Лермонтова?

Совершенно очевидно одно: Лермонтов жил в это время воистину с гусарской удалью и беззаботностью.

Мартьянов передает, что «...в Гусарском полку, по рассказу графа Васильева, было много любителей большой карточной игры и гомерических попок с огнями, музыкой, женщинами и пляской. У Герздорфа, Бакаева и Ломоносова велась постоянная игра, проигрывались десятки тысяч, у других — тысячи бросались на кутежи. Лермонтов бывал везде и везде принимал участие...» «Из всех этих шальных удовольствий, поэт более всего любил цыган». О женщинах, приехавших из Петербурга, Лермонтов якобы говаривал: «Бедные, их нужда к нам загоняет».

Тут может быть и преувеличение, и неточность — все что угодно. Но общий фон гусарской жизни мы несомненно улавливаем.

Но вот Лермонтов пишет Сашеньке Верещагиной по поводу отъезда бабушки: «Не могу выразить, как меня опечалил отъезд бабушки. Перспектива в первый раз в жизни остаться одиноким меня пугает. Во всем этом большом городе не останется ни единого существа, которое бы мною искренне интересовалось...» Это письмо писано в 1835 году.

Что же это получается?

Развеселый гусар — и одинок? В большом городе? А товарищи? А кутежи? А цыганские певички, которых впервые привез в Петербург Илья Соколов (тот самый, у которого была «соколовская гитара»)..

А бабушка тем временем шлет ему деньги и не нарадуется на своего внука. Она пишет ему 16 октября 1835 года (из Тархан в Петербург): «...Мне грустно, что долго тебя не увижу, но, видя из твоего письма привязанность твою ко мне, я плакала от благодарности к богу, после двадцати пяти лет страдания любовью своею и хорошим поведением ты заживляешь раны моего сердца». И тут же радуется любимого внука: «...лошадей тройку тебе купила и говорят, как птицы летят».

Лермонтов, я уверен, не принимал наше земное существование за спектакль. Если нечто подобное и вкладывал он в уста своих героев или ронял мимоходом, то это еще ровным счетом ни о чем не говорит. Он оставался до конца искренним во всех своих поступках. Просто таков был строй его души, просто он не мог жить иначе, иной жизнью, в этом и была его цельность.

Когда я говорю — «особая усложненность личности», меня это смущает. По инерции. Утверждение все еще слишком мистично для того, кто отрешился от загадок и почти все «поверяет алгеброй». Произнося эти слова, я просто задаю себе омархаймовский вопрос: «Что там за хрупкой занавеской тьмы? В гаданиях расстроились умы...» Говорю это безо всякой рисовки: я расстраиваюсь в гаданиях. Тем более что трудно проникнуть в область незнаемого и сложного, подобно тому, как проникает человек на поверхность Луны. Последнее сегодня кажется доступней. Во всяком случае, для постижения.

Таким образом, «шалости» и чудачества новообращенного гусара я

склонен считать ипостасью, причем органической ипостасью единой, если угодно, по-своему монолитной природы Лермонтова. Помните, у Омара Хайяма: «От правды к кривде — легкий миг один»?.. Может быть, и от ухарских возлияний до печали — тоже «легкий миг один»? Тут я прошу не придираться к мне, не присматриваться к угловатости или некоторой прямолинейности суждений. Если бы я в точности знал, что есть раздвоение личности, я бы написал кандидатскую диссертацию. И в этом был бы реальный толк. Во всяком случае, мои оппоненты не позволили бы в чем-либо грубо ошибиться. У них всегда имеется набор гибких формулировок.

Как бы Лермонтов ни «погружался» в забавы, он не мог не следить за литературной жизнью России. Она сосредоточивалась в столице и в Москве.

Литературная жизнь России лермонтовской поры была довольнона пестра.

Медленно, но верно поднималась звезда Нестора Кукольника. Пройдет какое-нибудь десятилетие, и Кукольник покажется иным «ценителям» прекрасного чуть ли не великим литератором. Он будет осыпан официальными почестями. Но если бы только официальное признание и официальные почести могли из ничтожества «лепить» великого деятеля литературы, то все бы в жизни обстояло значительно проще. И творчество Кукольника и его литературная жизнь — тому свидетельство. Был не только Кукольник. Но и Греч, чья литературная слава едва пережила его. И Фаддей Булгарин, о котором кратко, но выразительно сказано в словаре Павленкова: «Соч. ром.: «Иван Выжигин», «Дмитрий самозванец» и множ. доносов на враждебных ему писателей. Имя его сделалось синонимом грязного пасквильанта и доносчика». Скажем прямо, неплохо это сказано в 1910 году!..

Кумиром Лермонтова был Пушкин. Неизвестно, видел ли он Александра Сергеевича. Подобно тому, как видел Мочалова у входа в Малый театр. По крайней мере, сам Лермонтов об этом ничего не пишет.

Пушкин в 1834 и 1835 годах уже был Пушкиным. Блистательным, великим, неповторимым поэтом и многогранным деятелем русской литературы. Гений Пушкина влиял самым непреодолимым образом на молодые умы. Возле Пушкина, разумеется, стояли Жуковский, Крылов и Гоголь. Это все звезды первой величины. И не мог Лермонтов обойтись именно без их света. Было бы удивительно думать, что влияние литературы, такой литературы, вдруг обошло Лермонтова, будь он даже трижды корнетом. Это обстоятельство надо нам постоянно, как говорят математики, держать в уме.

На первых порах новой, офицерской жизни Лермонтов все еще мало пишет. Точнее сказать — ничего особенного не пишет. Дело, в конце концов, не в количестве. Мы с вами это хорошо понимаем. За Грибоедовым, например, «числится» один шедевр.

К великой чести Лермонтова, должны сказать, что он не торопился с публикацией своих стихов. У него был великий пример Пушкина. Живого Пушкина!

И тем не менее можно было бы смело напечатать почти все кавказские поэмы. Во всяком случае, «Измаил-Бей», «Черкесы», «Каллы» и целый ряд стихотворений. Уверен, что никто не осудил бы молодого поэта.

Но — хотим мы этого или не хотим — нам придется смириться перед силою факта: Михаил Лермонтов не видел еще возможности для публикации своих произведений.

Все-таки этот странный гусар был прав.

Его первое печатное слово

Корнет Лермонтов служил исправно. Правда, перепало порою ему и его друзьям от начальства за их срывы. Да в том ли беда?

Служба сама кажется им веселою. «Идет наш шумный эскадрон, гремющей, пестрою толпою; повес усталых клонит сон... повесы ропщут: «эдак нас прогонит через всю Европу!» — Ужель Ижорки не видать!..»

Мало пишется и в эти лета. Однако товарищи Лермонтова «подозревают» в нем поэта. Часто просят его прочитать «чего-нибудь». Лермонтов идет на это без особой охоты. Нет у него, дескать, ничего особенного. Он признается Марии Лопухиной: «...Моя будущность, блистательная на вид, в сущности, пошла и пуста. Должен вам признаться, с каждым днем я все больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не выйдет; со всеми моими прекрасными мечтаниями и ложными шагами на жизненном пути...» Это писано 23 декабря 1834 года.

Е. Розен сообщал сестре: «Вместе с князем приехал его родственник, молодой офицер, лейб-гусар... Его я знаю лично, его зовут — Лермонтов. Умная голова! Поэт, красноречив. Нехорош собою, какое-то азиатское лицо; но южные, пламенные глаза, и ловок, как бес».

Друзья и близкие интересуются «литературными» занятиями Лермонтова. Да и не только литературными. А рисование? А музыка? Будет правильно, если скажем, что Михаил Лермонтов был офицером разностороннего дарования. Он, вероятно, мог бы стать и музыкантом. И наверняка — художником. Сашенька Верещагина спрашивает: «Вы мне ничего не говорите о ваших сочинениях. Надеюсь, что вы продолжаете писать, я думаю, что у вас есть друзья, которые их читают и умеют лучше судить, но я уверена, что вы не найдете таких, которые бы их читали с большим удовольствием. Надеюсь, что после такого поощрения вы мне напишете четверостишие ко дню моего рождения. Что касается вашего рисования, говорят, что вы делаете поразительные успехи, и я этому верю. Пожалуйста, Мишель, не забрасывайте этот талант... А ваша музыка? По-прежнему ли вы играете... поете ли... как раньше, во весь голос и до потери дыхания?»

Увы, мы никогда не услышим голоса Лермонтова, как слышим мы голос Толстого, Блока, Есенина. Но мы знаем живописные работы поэта. И есть среди них картины, писанные на Кавказе, в которых чувствуется живое дыхание природы и несомненно присутствует талант.

Если бы человеку, не знающему Лермонтова, прочитали бы стихи 1833—1834 гг. и показали его рисунки примерно тех же лет, то мы бы, наверное, услышали: да, этот неизвестный человек имеет большие шансы стать настоящим художником. Пожалуй, и хорошим поэтом...

Первые два года службы в качестве офицера Гусарского полка не дают основания считать, что полностью осуществилось авторское предсказание Лермонтова насчет поэзии, «залитой шампанским».

Я говорил и повторяю еще раз, что не придаю большого значения перерыву в творчестве любого молодого поэта, его молчанию, так сказать. Молчание может быть и весьма полезным. Все зависит от того, что преподнесет нам поэт после него.

Утверждают, что Михаил Лермонтов в офицерские годы очень увлекался женщинами. Мы можем назвать имена девушек, с которыми в это время он поддерживал дружеские отношения. Это — Мария, Варя и Лиза Лопухины, Сашенька Верещагина, Екатерина Сушкова и... Пожалуй, все. Позже Лермонтов подружился с Евдокией (Додо) Ростопчиной, Марией Щербатовой, Екатериной Быхолец, с сестрами Верзилиными. Почти все они так или иначе помянуты добрым словом в письмах

или стихах Лермонтова. Можно, конечно, при желании выискать еще несколько имен.

Екатерина Сушкова (по мужу Хвостова) оставила весьма любопытные для чтения записки, изданные в прошлом веке. В них немало страниц, посвященных Михаилу Лермонтову. Ее сестра, Ладыженская, после опубликования «Записок», внесла свои коррективы. Для исследователей замечания Ладыженской тоже представляют немалый интерес, хотя и касаются частностей.

Висковатов пишет о большом влиянии умных женщин на поэтов. Лично я не выделял бы этого в «особую графу». Не меньшее влияние имеют на поэтов и умные мужчины. Должен с горечью заметить, что советы Сашеньки Верещагиной не пошли впрок Лермонтову. Создается впечатление, что он их просто игнорировал или же не мог «принять к исполнению» по причине особого склада своего характера: он шел своим путем. Притом неуклонно.

Так называемая светская жизнь, которую вел Лермонтов, естественно, была чревата «взрывами» малых и больших интриг. Висковатов наивно пишет: «При пылкости характера поэтов и их врожденной впечатлительности, являются как бы естественными те бурные увлечения, которым предаются они при вступлении в жизнь». Давайте разберемся, в чем дело. Можем ли мы сказать, что Лермонтов был в свое время единственным офицером, который увлекался женщинами и заводил на балах «случайные интрижки»? Думаю, что нет... Разве не было настоящих акул светской жизни, настоящих сердцеедов, тузов, завсегдатаев балов и маскарардов, которые, как говорят заядлые биллиардисты, могли дать фору Михаилу Лермонтову? Разумеется, были. Если история не сохранила их имен, то не потому, что они были не очень ловкими ловеласами, но потому, что не представляли и не представляют особого общественного интереса. Поэтому-то и коротка наша память о них. А в Лермонтове нас интересует все, буквально все. Каждый штрих, каждое имя, связанное с ним.

Висковатов не делает из Лермонтова стопроцентного ловеласа, завсегдатая великосветских гостиных. Он пишет: «Кроме посещения светских гостиных и кутежа в товарищеских кружках и салонах полусвета, поэт искал общества людей с серьезными интересами или примыкавших к литературному кругу». Слава богу! Но я бы сформулировал эту же мысль иначе. А именно: кроме стремления к обществу людей с серьезными интересами или примыкавших к литературному кругу поэт искал также общения с людьми светских кругов и посетителями салонов полусвета с их кутежами... и так далее... Ибо невозможно было заниматься между прочим «серьезными делами и литературой» молодому человеку, который в неполные двадцать семь лет оставил огромное литературное наследие.

Вареньку Лопухину Лермонтов любил с отроческих лет. Это та самая чистейшая, платоническая любовь, которая вызывает ухмылку у иных скептиков, потерявших веру в «чистую любовь». Варенька, которую довольно долго отделяли от Лермонтова семьсот верст, вышла замуж. Шан-Гирей пишет о том, какое впечатление произвело на Лермонтова ее замужество: «Я имел случай убедиться, что первая страсть Мишеля не исчезла. Мы играли в шахматы, человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: «вот новость — прочти», и вышел из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве В. А. Лопухиной».

На мой взгляд, ничего сверхъестественного в этом не было. Ни романтизма. Ни светского равнодушия. Просто нормальное человеческое отношение к малоприятному известию.

Да, Варенька вышла замуж, но осталась в его душе прежней Варенькой.

В 1833—1834 годах Лермонтов написал «Хаджи Абрека». Говорили, осенью 1834 года дальний родственник и товарищ Лермонтова юнкер Николай Юрьев познакомился с поэмой. И принялся уговаривать Лермонтова напечатать ее. Но автор был непреклонен и не соглашался отдавать ее издателям. Я полагаю, что автор был прав, но тем не менее поэма эта имела, как говорится, право на существование. Тем более как первый опыт публикации. Меринский писал, что «Юрьев тайком от Лермонтова, отнес эту повесть к Смирдину, в журнал «Библиотеку для чтения», где она и была помещена в следующем, 1835 году». Это, если не ошибаюсь, было первое появившееся в печати стихотворное произведение Лермонтова, по крайней мере подписанное его именем. Да, «Хаджи Абрек» был первой печатной вещью Михаила Юрьевича Лермонтова. Смирдин был издателем, а редактировал журнал Осип Сенковский. Шан-Гирей пишет, что произведение попало именно к Сенковскому (что вероятнее всего). «Лермонтов,— продолжает Шан-Гирей,— был взбешен, по счастью, поэму никто не разобрал, напротив, она имела некоторый успех, и он стал продолжать писать, но все еще не печатать». Поскольку это была первая печатная вещь Лермонтова — укажем точно номер журнала: 11-й за 1835 год.

«Хаджи Абрек» — небольшая поэма, датирована она 1833—1834 годами. Содержание ее непритязательно: обычная романтическая и романтическая история в духе «восточных поэм» Байрона. Что же в ней привлекательного? Чем она примечательна, на мой взгляд? В години, когда царь вел планомерное наступление на кавказских горцев, когда «необъявленная» война уносила тысячи жизней, когда, казалось, следовало бы возбудить ярость народа против кавказцев, Лермонтов как бы «изнутри» рисует быт и нравы «врага». Герои Лермонтова храбры, честны, благородны (в большинстве своем). Они тщетно борются за свободу родных аулов. Они — в обороне, они обуреваемы жаждой мщения, ненавидят завоевателей. То есть, с точки зрения горцев, ведут справедливую войну, навязанную им. Они защищают свой кров, свои поля, свои горы. Симпатии Лермонтова ясны, недвусмысленны: он сочувствует горцам, терпящим жестокие притеснения со стороны царских войск. Горцы Лермонтова — люди гордые, свободолюбивые, они высоко чтут честь и дружбу, они ненавидят притеснителей, не прощают обиды кому бы то ни было. Их непритязательный, суровый быт передается верно. А уж природа Кавказа предстает во всем великолепии.

Кавказские поэмы Лермонтова могли возбудить в русском читателе только интерес к Кавказу, любовь и уважение к его народам. Любовь и уважение к обычаям их, к быту. Словом, ко всему кавказскому.

Кавказ и горцы изображены в первых поэмах Лермонтова в несколько приподнятых, романтических тонах. Они и любят и ненавидят почти безгранично. Это красивые люди среди красивой природы. Даже красивой бывает и сама их смерть.

Итак, Лермонтов «начался» с Кавказа. Мы знаем, что и «кончился» он Кавказом. Страною, которую любил так же страстно, как любили все доброе и великое его герои. Белинский писал: «Кавказ — эта колыбель поэзии Пушкина — сделался потом и колыбелью поэзии Лермонтова...»

Русская интеллигенция (лучшая ее часть) уже в те времена стояла на стороне притесняемых. И чаще — с полным сознанием исполняемого во имя справедливости своего долга.

Стало быть, свершилось: хотел того автор или не хотел — его напечатали. «Хаджи Абрек» стал достоянием русской читающей публики.

«Стихи твои я больше десяти раз читала..» — пишет бабушка Мише.

Говорят, что преподаватель словесности в школе подпрапорщиков, прочитав «Хаджи Абрека» в рукописи, заявил с кафедры: «Приветствую будущего поэта России». Если это действительно было так — можно лишь позавидовать такому чутью. Но не знаю, читали ли его товарищи по полку, например, «Хаджи Абрека» и придавали ли они какое-либо значение этой первой публикации? Если и сейчас, при наших воистину гигантских тиражах, не всякая книга может считаться достоянием широких читательских кругов, то что можно сказать о книгах или журналах той поры? Я даже не уверен, что такие близкие люди, как Монго или Аким, читали «всего» Лермонтова. А ежели и читали, то понимали ли они его, знали ли, с кем имеют дело? Думаю, что все-таки не знали. Они любили его. Это несомненно. Они с уважением относились к нему. Это так. Однако думали ли они при жизни Лермонтова, что он национальное достояние, что надо оберегать его? Наверное, нет.

Но, видимо, во многом была «повинна» и сама натура Михаила Лермонтова.

По существу, Лермонтов был человеком все-таки замкнутым, редко кому открывал свою душу. Проще было увидеть и понять того, другого Лермонтова — танцора, повесу, блестящего офицера, чем этого — полного дум человека, скорбящего по прекрасным душам и по справедливости, ненавидящего порок и всяческую мразь. Это была настоящая, вполне «кондиционная» раздвоенность. И сетовать нам по этому поводу нечего.

Но есть одно обстоятельство, которое действительно может смущать: я думаю о Лермонтове, который знал, например, что крепостных бабушка продает, как товар, а деньги шлет ему, чтобы внук ее мог бы «недорого», за 1580 рублей, купить у генерала славную лошадь... Правда, Лермонтов еще в детстве негодовал на бабушку за порку крепостных, вспоминается, даже бросался на нее с кулаками. Его неприятие помещиков-крепостников хорошо выражено в пьесе «Странный человек». Вполне возможно, что поэт отпустил бы на волю всех тарханских крепостных, если бы они принадлежали ему, а не бабушке...

Словом, немало «странного» было в этом офицере. И самое «странное», пожалуй, это его стихи, которые выливались из его сердца, как вода из святого колодца.

Мартьянов рассказывает со слов А. Васильева: «...Некоторые гусары были против занятий Лермонтова поэзией. Они находили это несовместимым с достоинством гвардейского офицера.— Брось ты свои стихи,— сказал однажды Лермонтову любивший его более других полковник Ломоносов,— государь узнает, и наживешь ты себе беды!» Вот вам характеристика той среды, в которой выращивался Лермонтов-офицер. Какого же понимания поэтического таланта Лермонтова можно было ожидать с ее стороны? Правда, гусары в интеллектуальном отношении не были сплошной однородной массой. Но все-таки...

«Лучшие из офицеров,— пишет Александр Васильчиков,— старались вырваться из михайловского манежа и Красносельского лагеря на Кавказ, а молодые люди, привязанные родственными связями к гвардии и придворному обществу, составляли группу самых бездарных и бесцветных парадеров и танцоров».

Наверное, пора уже в двух словах рассказать о человеке, который был близок Лермонтову по крови и во многом — по духу; о человеке, который принимал участие в двух его дуэлях; который, как говорится, закрыл глаза сраженному поэту. В конце концов, круг близких поэту людей не так уж велик. Пожалуй, самых главных мы уже знаем: это мать, отец, бабушка, Лопухина, Ростопчина, Верещагина, Шан-Гирей. Столыпин-Монго, несомненно, имел большое влияние на Лермонтова.

Я полагаю, что пожелай он, Монго, предотвратить дуэли Лермонтова — все было бы в порядке, то есть дуэли не состоялись бы. Возможно, я заблуждаюсь. Но представляете себе, какую заслужил бы он благодарность потомков?! Елизавета Алексеевна полагала, что в поездках на Кавказ Монго будет служить Михаилу как бы щитом от всех нежелательных испытаний. Она рассчитывала на это. Не ее вина, если судьба распорядилась иначе...

Алексей Аркадьевич Столыпин родился в 1816 году. По роду своему был выше Лермонтова: ведь он из Столыпиных!

Алексей Аркадьевич — сын Аркадия Столыпина, родного брата Елизаветы Алексеевны. Стало быть, он доводился Лермонтову двоюродным дядей. Но обычно их называли двоюродными братьями. У Монго было два брата, один из которых, Дмитрий, снабжал Висковатова «обязательными сообщениями».

Монго слыл красавцем. Современники утверждали, что оболочка Монго вполне соответствовала его душевным качествам. Основная черта характера — благородство, верность слову, безукоризненная воспитанность. Монго всегда выше всяких подозрений, он просто не мог поступать плохо, не мог допустить ничего худого. Словом, это был блестящий офицер, и ему одинаково хорошо шла как военная, так и гражданская одежда. Женщины, разумеется, с ума по нем сходили. Говорили, это был человек великодушный и честный. Все единодушны в этом, кроме самого близкого ему человека — Лермонтова. Михаил ни словом не обмолвился о Монго, если не говорить о небольшой шуточной поэме «Монго». Возможно, к нам не дошло мнение Лермонтова о Монго, затерялось, так же как некоторые стихи и письма поэта. В 1843 году, выйдя в отставку, Монго перевел на французский язык «Героя нашего времени», и перевод его был напечатан в газете «*Démocratie pacifique*». Это, стало быть, два года спустя после смерти поэта. Факт этот говорит о том, что Монго оценил творчество Лермонтова, по крайней мере, после смерти его. А до этого? Знал ли Монго, в кого целился Мартынов? Знал ли, спрашивается? Или не знал? Или по-настоящему узнал Михаила два года спустя, после того как закрыл ему глаза?

Монго принимал участие в Севастопольской обороне, встречался здесь со Львом Толстым. Говорят, что проявил себя храбрым офицером. В рядах Белорусского гусарского полка. Все это мы знаем со слов его брата Дмитрия Столыпина. И нет основания не верить этому.

Монго скончался в 1858 году во Флоренции. Не знаю, где он похоронен. Если бы знал наверняка, что во Флоренции, то, будучи там, непременно попытался бы найти его могилу.

Оставил ли Монго какие-либо воспоминания о своем друге? Нет, не оставил. Немного странно. Во всяком случае, с моей точки зрения. Неужели не было душевной потребности в этом? Ведь Монго знал больше, чем кто бы то ни было другой. С ним может соперничать только Аким Шан-Гирей. И то не во всем.

Что касается Шан-Гирея — он сделал все что мог: сохранил некоторые рукописи и вещи Лермонтова, но самое главное — оставил свои воспоминания. И написаны они безо всякой рисовки и «без учета» посмертной славы поэта. То есть они искренни, автор их не пытается быть умнее самого себя, прозорливее Шан-Гирея 30-х годов. Это очень важно, и это к чести его...

Шан-Гирей родился в 1819 году и умер в 1883-м. Он был другом Лермонтова. Он хорошо знал Елизавету Алексеевну. Михаил Лермонтов в своих письмах (которые дошли до нас) проявлял теплое внимание к Акиму. И мы не должны забывать об этом.

Другой вопрос: достаточно ли берегли и Монго, и Аким своего друга?

Боюсь, что нет. Боюсь, что он был и для них всего-навсего блистательным гусаром. А гусар на то и гусар, чтобы подставлять грудь ударам молний!

Я понимаю: невозможно изменить бытие одним добрым хотением. Легко винить задним числом и Монго, и Акима. Я это хорошо понимаю. Но надо понять и нас: нам очень больно за Лермонтова.

Михаил Лермонтов оставил очень мало свидетельств, по которым мы могли бы судить о Монго и Акиме. Мишель, будучи отроком, писал своей тете Марье Акимовне Шан-Гирей: «Заставьте, пожалуйста, Екима рисовать контуры...» В другом, уже цитированном, письме к ней же он пишет: «Бабушка, я и Еким, все, слава Богу, здоровы...» И еще в письме к бабушке (май 1841 года): «Скажите Екиму Шан-Гирею, что я ему не советую ехать в Америку, как он располагал, а уже лучше сюда, на Кавказ...» Вот почти все, что осталось нам от Лермонтова о его близком друге. Возможно, было и еще что-нибудь, да затерялось.

И о Монго Лермонтов написал не больше. В письме к бабушке из Москвы он сообщает (апрель — май 1841 года): «Алексей Аркадьевич здесь еще и едет послезавтра». Из Ставрополя, в мае 1841 года: «...ехал я с Алексеем Аркадьевичем, и ужасно долго ехал, дорога была прескверная». А вот характеристика молодого гусара Монго в отрывке «Монго»: «...Флегматик с бурными усами, собак и портер он любил, не занимался он чинами, ходил невымытый целый день, носил фуражку набекрень; имел он гадкую посадку: неловко гнулса наперед и не тянул ноги он в пятку, как должен каждый патриот...» И так далее.

Вот почти все о Монго, что узнаем мы из дорогого нам источника. Скажем прямо — маловато. Но можно понять Михаила Лермонтова — ужасно тяжело писать письма. Особенно для потомства...

Любовь? Увлечение? Игра?

Сделавшись офицером, Лермонтов окунулся в «светские утехы». Ростопчина пишет: «Веселая холостая жизнь не препятствовала ему посещать и общество, где он забавлялся тем, что сводил с ума женщин, с целью потом их покидать и оставлять в тщетном ожидании; другая его забава была расстройство партий, находящихся в зачатке, и для того он представлял из себя влюбленного в продолжении нескольких дней; всем этим, как казалось, он старался доказать самому себе, что женщины могут его любить, несмотря на его малый рост и некрасивую наружность... Помню, один раз он, забавы ради, решился заместить богатого жениха...»

Ростопчина хорошо знала Лермонтова. Даже слишком хорошо. Она была старше его, опытнее его. Поэтому особенно важно ее свидетельство. Давайте остановимся на этом самом случае, когда он «забавы ради, решился заместить богатого жениха».

Первое, что бы хотелось зафиксировать, — это возраст Лермонтова, когда произошла эта, окрашенная адюльтером история. Михаилу был двадцать один год.

Так что же произошло?

(Этот случай подробно описан в записках Сушковой, подвергнут некоторой критике со стороны ее сестры Ладыженской и коротко описан в одном из писем самого Михаила Лермонтова. Так что мы можем судить обо всем этом довольно объективно.)

Вот участники этой «истории»: Екатерина Сушкова, Алексей Лопухин и Михаил Лермонтов. Заметим, все они почти одних лет. А Лопухин и Лермонтов — закадычные друзья детства. Дело происходит в Петербурге, куда приезжает Лопухин из Москвы. Он, по-видимому, любит Сушкову, считается ее женихом. Но, кажется, и Лермонтов неравнодушен к Сушковой. Был, во всяком случае. Еще там, в Середникове... Вот вам типичный любовный треугольник! Самый банальный: он, она, он!

Сушкова говорит:

«Вечером приехал к нам Мишель, расстроенный, бледный».

На самом ли деле расстроенный и бледный? Или так показалось Сушковой?

Что же взволновало Лермонтова?

Оказывается, приезд Алексея Лопухина. Именно он был повинен в расстройстве Лермонтова. И никто иной! А почему? Да потому, что Лермонтов влюблен в Сушкову. Так она утверждает. И Сушкова говорит Лермонтову:

«Я всё та же, и всё люблю и уважаю его».

Вопрос ясен: она любит его, а Лермонтов любит ее. Ситуация не нова, но довольно драматична. Ибо Лермонтов недвусмысленно заявляет:

«Нам с Лопухиным тесно вдвоем на земле!»

Оказывается, Лопухин догадывается об ухаживаниях Лермонтова за Сушковой. И он, Лопухин, «не прочь и от дуэли, даже и с родным братом, если бы тот задумал быть его соперником». Вот как обстоит дело, стало быть, мужчины непримиримы! А Сушкова? Пока что верна Лопухину. И, разумеется, верит всему этому. Еще бы! Лермонтов бледен, ему тесно на земле с Лопухиным, а Лопухин готов драться на дуэли. Чего же еще!

Однако Лермонтов, как всегда, откровенен с Верещагиной. Он признается ей: «Вначале это было просто развлечением, а затем... расчетом». Расчет простой. И Лермонтов, можно сказать, морально оголяется. Он говорит: «Я увидел, что если мне удастся занять собою одно лицо, другие тоже незаметно займутся мною, сначала из любопытства, потом из соперничества».

Ясно?

«Одно лицо» — это в данном случае Сушкова. А «другие» — это другие, может быть, целый свет, точнее, женская половина света.

Лично я верю Лермонтову.

Если судить по воспоминаниям Сушковой, дело шло к трагедии: ни Лопухин, ни Лермонтов не желают поступиться своими чувствами, оба они претендуют на любовь Сушковой. На горячую любовь. Искреннюю. Великую. (Так кажется Сушковой.)

А по Лермонтову, получается водевиль. Явный водевиль: один ее дурочит, другой любит искренне, она же всерьез думает, что находится меж двух огней. В итоге остается с носом: ни тот, ни другой на ней не женится. Ну, чем плох сюжет?..

Между прочим, происходит такое объяснение между Сушковой и Лопухиным:

«Мы уселись, он спросил меня, как я окончила вчерашний вечер.

— Скучно!

— Кто был у вас?

— Никого, кроме Лермонтова.

— Лермонтов был! Невозможно!

— Что же тут невозможного? Он и третьего дня был!

— Как! В день моего приезда?

— Да!

— Нет, тысячу раз нет.

— Да, и тысячу раз да,— отвечала я, обидевшись, что он мне не верит.

Мы оба надулись и прохаживались по комнате.

Тут я уже ничего не понимала, отчего так убежден Лопухин в невозможности посещения Мишеля. Я предчувствовала какие-то козни, но я не пыталась отгадывать и даже боялась отгадать, кто их устраивает: я чувствовала себя опутанной, связанной по рукам и по ногам, но кем?..»

По-моему, действие развивается по всем водевильным правилам. Хотя Сушкова клонит явно к драме, но драматическим здесь и не пахнет. Впрочем, сама Сушкова уверена, что все катится само собою даже не к драме, а к трагедии. Давайте послушаем еще раз. Итак:

«— Что Лопухин? — спросил он.

— Ждет! — отвечала я.— Но скажите, monsieur Michel, что мне делать? Я в таком запутанном положении: ваши угрозы смутили меня, я не могу быть откровенна с Лопухиным, все боюсь не досказать или высказаться, я беспрестанно противоречу себе, своим убеждениям. Признайтесь, его ревность, его намерение стреляться с вами, все это было в вашем только воображении?»

Лермонтов обижен. Лермонтов досадует на Сушкову. Он становится в позу.

«— Ну что же, выходите за него: он богат, он глуп, вы будете водить его за нос. Что вам до меня, что вам любовь моя?»

Это говорит Лермонтов, и Сушкова верит ему. Но у него на уме совсем другое: «Я публично обращался с нею, как если бы она была мне близка, давал ей чувствовать, что только таким образом она может покорить меня. Когда я заметил, что мне это удалось, но что дальнейший шаг меня погубит, я прибегнул к маневру...»

Все предельно откровенно.

Напоминаю: мы имеем дело с молодым человеком, которому двадцать один год. В эту пору случается и не такое.

Сушкова, по-видимому, искренне передает эпизод с Лермонтовым. Ладыженская сообщает, что Сушковой «внушили изъяснить презрение дерзкому шалуни, танцевать же с ним положительно запретили. Она была заметно расстроена и все искала случая перемолвиться с Лермонтовым, державшим себя как ни в чем не бывало. Он и поклонился развязно и подсел к ней с величайшей непринужденностью...»

Одним словом, Лермонтов предстает перед нами чуть ли не великосветским сердцеедом. Но зачем все это ему? Во имя чего? Я не склонен делать из этого факта далеко идущие выводы и полагать, что в этом и проявился истинный характер великого поэта, гения литературы. Правда, что-то есть у Печорина от этого Лермонтова, но это еще не значит, что Печорин есть копия Лермонтова. Думаю, что не один гусар и до и после Лермонтова вел себя подобным же образом. Да мало ли что происходило в светских салонах!

«Через неделю с небольшим Михаил Юрьевич почти перестал и кланяться сестре... С наступлением великого поста он чуть ли не совсем исчез с нашего горизонта».

Лермонтов полагал, что надо кончать комедию. Он пишет письмо, разумеется анонимное, в котором Лермонтов поносит Лермонтова. Он пишет Сушковой: «Поверьте, он не достоин вас. Для него нет ничего святого, он никого не любит... Он не женится на вас, поверьте мне, покажите ему это письмо, он прикинется невинным, обиженным» и так далее...

Почти как в «Герое нашего времени».

К счастью, здесь не было смерти. Дело обошлось тем, что все три участника «любовной истории» пошли своей дорогой. Лопухин женился на другой, Сушкова стала Хвостовой, а Лермонтов...

Всему этому сто сорок лет тому назад придавалось чрезвычайное значение. Вокруг разгорались страсти. Вмешивались дядюшки, тетушки и прочие покровители. Но прошло время, и, как сказано у Омара Хайяма, «угасло всё. Всё тихо. Всё молчит!»

Трудно удержаться от улыбки, вникая во все эти мелкие салонные истории, во все эти приглашения на мазурку, отказы в танце. Но тем не менее это была жизнь. И касалась она Михаила Лермонтова. Так или иначе...

Любил ли Лермонтов Сушкову? Вероятно, нет. Увлекался ли ею? Наверное, увлекался. Было ли что-нибудь демоническое в этом увлечении? Думаю, что нет. Разве меж молодыми людьми не бывают истории более поразительные?

Я отвергаю мысль о том, что внешность Лермонтова вызывала в нем такую досаду, что он поклялся отомстить всему легкомысленному женскому роду, отвергающему поэта. Как мы знаем, Лермонтов в пору возмужалости, точнее, известности производил прекрасное впечатление на женский пол. Им тоже увлекались, ему отвечали взаимностью. Далеко за примерами ходить не приходится. Один из них мы только что мельком проанализировали. Неверно из Лермонтова делать человека, отверженного женщинами. У него были верные друзья, верные наперсницы среди женщин. «Моей единственной отрадой была мысль о любви Мишеля, она поддерживала меня». Это пишет никто иной, как оскорбленная Сушкова.

С годами Лермонтов будет желанным гостем и кавалером во многих салонах Петербурга. Нет, и по части любви — этого, как говорят, дара богов — Лермонтов тоже не был обижен. И стихи «Выхожу один я на дорогу» не были укором прекрасному полу, как это предполагал Маяковский.

Парадировки и маршировки продолжаются

Напрасно молился Михаил Лермонтов: «Царю небесный! Спаси меня от куртки тесной, как от огня. От маршировки меня избавь, в парадировки меня не ставь». Господь не внял молитве: «тесная куртка», пусть даже шитая на гвардейского офицера, цепко облегла стан молодого гусара.

1834, 35 и 36-й годы... Все это время Лермонтов исправно служит. Разумеется, дело не обходится и без гауптвахты. Посидеть в ней десять — пятнадцать суток — сущие пустяки. Сюда заходят товарищи, здесь ведутся веселые беседы, даже с вином и приятной закуской. За «шалости» начальство карало, но не очень. Так что служба гусарская шла своим чередом. Бабушка все чаще проводила время в Тарханах, — гусару нужны были деньги, а Лермонтов все реже бывал в Тарханах.

Он писал Верещагиной: «Теперь я не пишу романов, — я их делаю». Я не знаю, насколько это точно. Но мы привыкли верить Лермонтову — значит, он действительно не писал «романов». Но в эти годы написаны им «Маскарад», начат роман «Княгиня Лиговская», написана пьеса «Два брата» и еще кое-что. За исключением «Маскарада», в названных вещах не везде легко угадывается великое перо самого Михаила Юрьевича. Правда, утверждают, что замысел «Княгини Лиговской» послужил хорошим материалом для «Героя нашего времени» и что само по себе это отличное произведение. Возможно, что это и так. Однако мне кажется, что если не забыты, например, «Два брата» или «Княгиня Лигов-

ская», то только потому, что их некогда писал сам Михаил Юрьевич Лермонтов. Они служат хорошим пособием для диссертантов, пишущих о Лермонтове. Не дай бог, погибни Лермонтов в 1836 году — мы непременно лишились бы Михаила Юрьевича, а в 1841 году — даже после невозвратимой потери — мы все-таки его не лишились. Замечание Лермонтова о том, что он «не пишет романов», на мой взгляд, совершенно справедливо. Справедливо при его жесткой самооценке, при его необычайной, огромной требовательности к себе.

«Маскарад» велик не своей фабулой — подобных или почти подобных пьес немало в мировой драматургии. Он пленяет страстями своих персонажей и воистину необузданной любовью Арбенина к Нине. Эта пьеса, написанная в «молодые годы» Лермонтовым, ценна характерами персонажей, списанных с жизни и окрашенных чисто лермонтовскими красками. Огненные страсти привлекают нас и в «Отелло». Сама же кульминация — сцена с платком — слишком «театральная», на мой взгляд. Не избежал подобной же театральности и Лермонтов. Возможно, что все это не так и я просто ошибаюсь. Но хочется быть предельно откровенным. Я понимаю всю ситуацию в «Маскараде», понимаю и приемлю ее, учитывая характер Арбенина. И тем не менее не могу «серьезно» отнестись к аргументам, доказывающим виновность Нины. (Так же, как в отношении «виновности» Дездемоны.)

Мне кажется, наиболее значительное в этот период написано Лермонтовым в лирике. Это — «Умирающий гладиатор». Это — «Русалка», «Еврейская мелодия». Не так уж много, но зато хорошо. Вот по этим небольшим стихотворениям можно судить о поэтическом таланте «молодого» Лермонтова.

Но вспомним, что к концу 1836 года мы имеем Михаила Лермонтова — автора одной публикации (всего-навсего одной!). Лермонтов все еще остерегался печататься и числить себя в поэтической когорте, которую в то время возглавлял Александр Пушкин.

Поэтическая активность Лермонтова в эти годы — 1835—1836 — продолжается. В это время были написаны, например, «Боярин Орша», «Сашка» — поэмы, значительные по объему и глубокие по мысли.

Говорили ли теперь Лермонтову его друзья о его поэтическом таланте? Несомненно. Некоторые во всяком случае, имеется совершенно четкое письменное свидетельство. Вот оно: «Дорогой Мишель, я спокойна за ваше будущее — вы будете великим человеком». Это сказано 18 августа 1835 года. И сказано вещью Сашенькой Верещагиной.

Особо следует сказать о Святославе Раевском, в этот период имевшем огромное влияние на Лермонтова. Это был человек большого ума и эрудиции. Он хорошо знал своего друга и несомненно оценил его талант. Мы еще встретимся с Раевским в самый ответственный для поэтической жизни Лермонтова момент.

Да и сам Лермонтов прекрасно знал цену своему таланту.

Но — Лермонтов продолжает служить исправно.

Прекрасные лошади, отличные экипажи, кутежи в Петербурге — чего же еще надо? А еще жалуются, что беден! Притвора? Да нет, просто беден относительно. Возможно, беднее Лопухина. Но ведь Лопухин очень и очень богат был... Бабушка из кожи лезла вон, чтобы своего любимца внука поддержать в его блестящем офицерском житье-бытье. Сам Лермонтов платил ей вниманием, любовью. Висковатов из многочисленных бесед со здравствовавшими в то время друзьями и знакомыми поэта заключил, «что Лермонтов был очень внимателен к бабушке... На слово его старушка всегда могла положиться». Он жил в Царском Селе, но

фактически — в Петербурге, и только раз ездил в Тарханы. В отпуск. Разумеется, через Москву.

Художник Меликов, которого мы уже цитировали, пишет: «Живо помню, как, отдохнув в одной из беседок сада и отыскивая новую точку для наброска, я вышел из беседки и встретился лицом к лицу с Лермонтовым, после 10-летней разлуки. Он был одет в гусарскую форму. В наружности его я нашел значительную перемену. Я видел уже перед собой не ребенка и юношу, а мужчину во цвете лет, с пламенными, но грустными по выражению глазами, смотрящими на меня приветливо, с душевной теплотой... Заметно было, что он спешил куда-то, как спешил всегда, во всю свою короткую жизнь...»

Но только не в творчестве.

Когда готовят к запуску тяжелую ракету — наступает момент так называемого отсчета времени. Все наготове и все готово к старту. Начинается отсчет, в конце которого включается зажигание: это значит, что заработали главные двигатели. После этого ракета взмывает высоко в небо...

Боюсь, что сравнение покажется несколько банальным, но Лермонтов в конце 1836 года походил именно на ракету, готовую к полету. Отсчет поэтического времени фактически уже начался. Когда же будет включено зажигание? На ракетодроме это делается нажатием кнопки. А в поэзии, являющейся, можно сказать, производной сложных общественно-политических и эстетических переплетений, зажигание «включается» не так-то просто. Оно зависит от большого числа факторов, главенствующую роль в которых играет история, ее развитие.

Я уже говорил и хочу повторить, что автор «Умиряющего гладиатора», «Русалки» и «Маскарада» профессионально был готов к самым дальним «полетам» в сфере поэзии. Любопытно, что из всех ранних произведений Лермонтов включил в свой первый поэтический сборник всего несколько стихотворений, написанных в 1836 году, в том числе «Русалку». Но ни «Парус», ни «Ангел», как это ни странно, не включил. По-видимому, 1831 и 1832 годы казались ему уж слишком «ранним периодом». Между тем мы восторгаемся этими стихами. И не без основания. Это лишний раз говорит о том, сколь требовательным, сколь бесконечно требовательным был к себе Михаил Юрьевич.

К слову сказать, он не включил в свой сборник такое, казалось бы, «патриотическое» стихотворение, как «Опять, народные витии», написанное в 1835 году. Это в нем сказаны такие слова: «Веленьям власти благодотворной мы повинемся покорно и верим нашему царю! И будем все стоять упорно за честь его как за свою!» (Правда, эти строки кем-то неизвестно когда вычеркнуты из чернового автографа.)

Да, это Лермонтов. Как видно, бывают в жизни минуты, когда пишется и такое. Мы не ставим эти стихи в строку как некое сакраментальное лыко. Но случай этот показывает, сколь живуч, сколь неотвратим порою конформизм. Он словно носится в воздухе. Он прилипает наподобие «капельной инфекции». Даже к таким, как Лермонтов. И даже к таким, как Пушкин.

Неумолимо грядет январь 1837 года, на подступах черный день России: погибнет гений России — Пушкин.

Но русский поэтический трон не останется пустым ни единой минуты. Эстафету примет Лермонтов. Сам Пушкин не покрывив душой смог бы повторить слова, услышанные Иоанном Крестителем: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благословение».

Поэт погиб. Да здравствует Поэт!

День смерти поэта — день рождения поэта

27 января 1837 года в Петербурге, за Черной речкой, был смертельно ранен Александр Сергеевич Пушкин.

Закатилось солнце русской поэзии...

Это слова из сообщения-некролога. Именно они пришлись не по душе камарилье, окружавшей царский трон.

У царя достало ума сделать широкий жест: он погасил все долги Пушкина, распорядился об обеспечении семьи поэта.

Двое суток, можно сказать, не отходил от постели умирающего поэта лейб-медик Николай Арндт. Это был очень крупный врач. Его опыт зиждился на последних медицинских познаниях Европы. Лечил он умирающего Пушкина правильно. Но рана оказалась слишком страшной, брюшная полость воспалилась почти мгновенно. Это мы теперь называем перитонитом.

Как-то я спросил известного профессора-хирурга Александра Вишневского: так ли, как надо, Арндт лечил Пушкина? Не было ли упущено что-либо? Профессор ответил, что, если бы сам он чудом перенесся в то время и его пригласили бы к одру умирающего поэта, он, Вишневский, не смог бы предложить что-либо лучшее, чем Арндт (с учетом, разумеется, состояния медицины той поры). Совершенно очевидно, что Пушкина Арндт не мог спасти.

Пушкина можно было спасти до дуэли.

Смерть поэта всколыхнула страну.

Общество так или иначе было глубоко задето смертью поэта. Известно, что у дома Пушкина на Мойке толпился народ во все предсмертные дни поэта. Василий Жуковский вывешивал бюллетени о состоянии здоровья больного. Он же первый сообщил народу о том, что Пушкин скончался. И тут же составил план квартиры поэта. Этот документ висит в доме на Мойке и сейчас. Жуковский словно предвидел, что квартира перейдет к другим, что комнаты ее перестроят. И правильно предвидел: все случилось так, как и полагал Жуковский.

Лермонтов в это время лежал больной, но к нему дошла весть о гибели Пушкина, любимейшего поэта Михаила Лермонтова.

Происшедшее пересказывали больному Лермонтову на разные лады.

Одни тотчас же всю вину свалили на Пушкина. Дескать, доигрался, дескать, Дантес прав во всем, дескать, он дрался за свою честь. А Пушкин? Уж слишком возгордился он... Да и Наталья Николаевна не без греха, кокетлива, мол, сверх меры, сама сохла по Жоржу Дантесу. Короче: это Пушкины «сгубили» бедняшку Дантеса.

Кто так говорил? Да Николай Столыпин, крупный чиновник, служивший под началом министра иностранных дел Нессельроде. Брат Монго, следовательно, тоже родственник Лермонтова.

Каково было Лермонтову выслушивать эту великосветскую мерзость!

Иное он слышал от Святослава Раевского. Сказывают, во всем виноват царь, сообщал Раевский. Царь и его приближенные. Они не только не пресекали злопыхателей, но поощряли тех, кто поносил и травил поэта. А ведь Дантес-то — негодяй! Наглец, подстрекаемый великосветскими интригами. До русской ли им всем поэзии и ее славы!

Пушкин, рассказывал Раевский, был оскорблен. Не мог он действовать иначе. Честь есть честь. Однако имел ли он право рисковать своей жизнью? Имел ли он право связываться с неким Дантесом? Нет, не имел! Не должен был ставить русскую поэзию под расстреляние случайных людей, проходимцев без роду и племени. И Лермонтов в этом глубоко убежден.

Столыпин говорил одно, Раевский иное. Но Лермонтов прекрасно знает, от чьего лица выступает и тот и другой.

А ему передают все новые подробности. Рассказывают о милости царя, о том, что Пушкин дрался будто бы вопреки его запрету, что Пушкина отпевали, и при этом присутствовал весь дипломатический корпус, что Пушкина увезли ночью, чуть ли не тайком, в далекий и последний путь по замерзшей реке Великой в Святогорский монастырь, что рядом с селцом Михайловским. Здесь, в монастыре, в свое время Пушкин купил себе землю для могилы. И место это стало знаменито на весь мир.

Многое о Пушкине было известно Лермонтову. Он знал, что Наталья Пушкина, урожденная Гончарова, красива. Знал, что почти все годы замужества она проходила на сносях, что родила четырех и воспитала их с пеленок.

Лермонтов, я уверен, знал о ней больше нас. А мы кое-что узнали о Наталье Пушкиной из ее писем, найденных совсем недавно. Она была не только матерью четырех младенцев, но, как видно, и заботливой женой. И тем не менее Лермонтов не искал с нею встреч, держался в отдалении. Увидел ее только один-единственный раз. Но об этом в своем месте.

Нам придется еще раз подтвердить один непреложный факт: в скорбные дни ухода из жизни поэта Пушкина Аполлон потребовал «к священной жертве» поэта Лермонтова. Блок сказал: «Отлетевший дух Пушкина как бы снизошел на Лермонтова».

«И был вечер, и было утро: день один... И стал свет...»

Так, почти с библейской торжественностью, в один день родился истинный поэт — и стал свет! Его породило горе. Но жил он, по существу, для того, чтобы противостоять горю, говоря о нем. Говоря для людей.

И свершилось реченное поэтом: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моею и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей...»

И вот почти двадцатитрехлетний поэт снова берется за перо. Может быть, это было 28 января, на другой день после дуэли Пушкина, как указывается под стихами, а может, 30 января, после смерти Пушкина.

И здесь наступает полное испытание для поэта.

Александр Кривицкий пишет: «Михаил Юрьевич Лермонтов — гениальное дитя декабрьского восстания. Вы мысленно листаете страницы его сочинений и думаете о поэзии, судьбе России, жизни и смерти».

Я хочу обратить ваше внимание на первую фразу. Ее можно было бы развернуть в целый трактат. Она подчеркивает связь живой мысли поэта с наиболее значительным, наиболее трепетным общественным явлением того времени. Никакое росное утро, никакой закат, ни солнце, ни луна не смогли и не смогут сделать того, на что способно одно истинно значительное общественное явление. Все зависит только от ответного резонанса. Будет ли эхо, или звук погаснет в душевной пустоте?

Но эхо состоялось.

Да какое еще!

«В короткой жизни Лермонтова, — пишет Сергей Наровчатов, — есть одно мгновение, переоценить которое невозможно. Неизвестно, как сложился бы его дальнейший путь, если бы не страшный выстрел, прогремевший на всю Россию».

По силе мысли, по сжатости и точности стихотворение «Смерть Поэта» я назвал бы поэтической прокламацией. В нем вскрыта истин-

ная подоплека трагедии, сотканной грязными руками великосветского общества, до конца обнажена общественная, политическая и государственная сторона преступления на Черной речке. Все это сделано с предельным накалом страсти и гражданским бесстрашием.

Стихи эти «вышли» за пределы одного случая.

Стихотворение «Смерть Поэта» не могло быть опубликовано в то время. Оно и не публиковалось. Довести его до сведения общественности добровольно взялся Святослав Раевский, который был старше Лермонтова года на три. Он лично переписал стихи. И передал дальше в надежные руки. И неопубликованные стихи стали большим общественным явлением. В один день и Лермонтов предстал в новом поэтическом качестве.

Есть некая магия в высокой поэзии: она гармонично сочетает ясный смысл с прекрасной формой. Малейшее нарушение этой гармонии ведет к разрушению поэтического начала. Перевес «логики» приводит к сухости. Крен в сторону форм за счет «логики» снижает общественное значение поэзии, грозит пустозвонством. Никакое алгебраическое уравнение не способно выразить хотя бы в некоем приближении эту гармонию. На этом основании иные зрудиты относят литературу и литературоведение к «окультурной науке». Разумеется, до точных наук здесь далековато. Но это не значит, что литература не поддается научному познанию, хотя бы в такой же степени, как психика.

Особая магия заключена в стихах «Смерть Поэта». Они написаны залпом, единым духом. Кажется, перо ни разу не отрывалось от бумаги. И сколько потом ни появлялось исследований о дуэли Пушкина — ничего существенного к тому, что высказал Лермонтов, прибавлено не было. Любой, кто не согласится со мной, пусть перечитает эти стихи.

«Погиб Поэт! — невольник чести — пал, оклеветанный молвой... Не вынесла душа Поэта позора мелочных обид...»

Я не собираюсь детально анализировать эти стихи. Это делают в школе. Наверное, не лучшим образом. Порою расчлняя стихотворение, как тушу. Расчлняя то, что живет только как единое целое. Я только попрошу перечитать «Смерть Поэта». Моя задача в этом случае будет сильно упрощена...

«Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей?..»

Алексей Хомяков писал Николаю Языкову о Пушкине (оба в то время — известные литераторы): «Он отшатнулся от тех, которые его любили, понимали и окружали дружбою почти благоговейной, а пристал к людям, которые приняли его из милости». По-видимому, разговоров на эту тему вельсь немало... Но мог ли камер-юнкер Пушкин плюнуть на царский двор в угоду великому поэту Пушкину? Мы с вами ответим: мог! И не учтем, что в то время общественное, государственное, так сказать, положение писателя кое-что да значило. Даже камер-юнкер — это дело.

Я хочу обратить ваше внимание на похоронную карточку, которую разослала в скорбные дни Наталья Пушкина. О чьей кончине она извещала? О смерти великого русского поэта? И не бывало! В карточке было сказано: «Наталья Николаевна Пушкина, с душевным прискорбием извещаю о кончине супруга ее, Двора Е. И. В. Камер-Юнкера Александра Сергеевича Пушкина...» и так далее... Обидно читать эти строки! Камер-юнкер... Не существовало чина ниже этого при дворе Е. И. В. Неужели же великий поэт стоял еще ниже камер-юнкера?! По своему общественному, государственному положению. По-видимому, да. Стало быть, к званию поэта и профессии поэта, которая кормила всю семью Пушкина, требовался еще и чин камер-юнкера, этот мальчишеский дворцовый чин!

А ведь Наталья Николаевна отлично сознавала, кто муж ее, когда писала своему брату Дмитрию: «...Для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна». И тем не менее — извещает о кончине «Двора Е. И. В. Камер-Юнкера»...

А поэт? Что такое поэт в глазах «света»? Правда, это представление начал разрушать не кто иной, как сам Пушкин, своим примером утвердивший писателя нового типа, писателя-профессионала, живущего на заработки от литературного труда. Писатель-вельможа, типа Державина, постепенно отходил в прошлое. Постепенно, очень постепенно, разумеется.

Сильнейший удар по самодержавию наносит Михаил Лермонтов в шестнадцати заключительных строках, дописанных, как иные считают, позже (спустя несколько дней). Раевскому вскоре довелось распространять стихотворение в том виде, в каком оно дошло до нас. Это было, вероятно, в первых числах февраля.

Здесь, в конце стихотворения, прокламационный накал достигает кульминации.

«А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскою поправшие обломки игрою счастья обиженных родов!...» Можно ли точнее назвать адрес? Можно ли сказать еще яснее? Ведь без обиняков все, без вуалей, без «таинственного» флёра «изысканной поэзии»! Что можно добавить к этим словам? И что можно убавить?

«Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи!...»

Поэтическая лира звучит громоподобно. И звуки ее слышит весь мир.

Нет, никто не достигал до Лермонтова подобного поэтического гения и политического обличения. И сам поэт мог сказать словами пророка: «Есть зло, которое видел я под солнцем...»

«И вы не смаете всей вашей черной кровью Поэта праведную кровь!»

Так сказал Лермонтов, когда ему не было еще и двадцати трех лет. Может быть, он взял на себя больше, чем следовало бы? Может быть, слишком был молод, чтобы произносить столь суровый приговор тому обществу, чьим сыном он был?

А может быть, это просто-напросто измена Лермонтова тому, кто вскормил его? Просто черная неблагодарность?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо оглянуться назад. Оглянуться и вспомнить еще раз порку крестьян в Тарханах, их слезы и горе, которые наблюдал юный Мишель, и всю ту несправедливость, которая господствовала рядом с ним.

Лермонтов видел и слышал лучше многих из своих друзей. В этом одна из удивительных сторон его поэтического таланта. Немыслим талант без глаза острого и чутких ушей. И добавим еще: без доброго сердца...

Лермонтов лежал в постели, потрясенный трагедией, постигшей Россию. Да, солнце русской поэзии закатилось...

А Святослав Раевский энергично распространял стихи «Смерть Поэта». И стихи ходили по рукам. Их читали. Они задевали за живое! Они раскрывали глаза тем, кто еще не все видел. Раевский рисковал многим. Он это знал, но ведь и он, подобно Лермонтову, тоже был детищем декабрьского восстания.

Поэт лежал на Садовой. Но слава его и возмездие ему шагали уже рядом. На балу у графини Ферзен будто бы Хитрово сказала несколько

слов о стихах Лермонтова Бенкендорфу... Бенкендорф что-то заметил Дубельту... Дубельт приказал Веймарну... Клейнмихель доложил его величеству... Одним словом, колесо государственной машины завертелось, грозя подмять гусарского офицера, отныне уже известного поэта...

Поэзия под судом

«А тут и ложь на волоске от правды, и жизнь твоя — сама на волоске»... Да, это он, Омар Хайям. Этой цитатой закономерно начать рассказ о том, что было на второй день — в буквальном и переносном смысле — с Михаилом Лермонтовым.

Над головою поэта нависли грозовые тучи. И над головою Святослава Раевского, разумеется. Стихи были доведены до сведения самого царя. И не надо было быть ни графом, ни Бенкендорфом к тому же, чтобы понять смысл лермонтовской поэтической акции. «Прокламация» таила в себе огромную взрывную силу. Она была и констатацией непреложных фактов, и разоблачением существующего строя — разоблачением убедительнейшим, и призывом — это уже в подтексте, как следствие, — к изменениям, может быть даже революционным.

Понимал ли Лермонтов, на что он идет? Каков риск? Какова сила этих стихов? Разумеется. О каком бы «вдохновении свыше» ни говорили, какими бы магическими свойствами ни наделяли поэзию, она все-таки рождается не в сомнамбулическом сне, но в полном сознании автора, достигающего подлинного озарения. Поэт мыслит в эти минуты четко, логически ясно, и цель — перед глазами его. То есть он знает, куда идет, что творит, во имя чего творит. Только человек, который в полный рост увидел свою цель, только тот, кто умом мыслителя объял всю действительность и увидел ее язвы, мог создать «Смерть Поэта». Пусть никто не говорит о том, что логически четкое мышление чуждо поэзии. Это неверно! Даже Велемир Хлебников, берясь за свою «заумь», мыслил логически, предельно четко. Он знал, чего хочет, знал, что «разрушает» мысль общепринятую во имя мысли хлебниковской, архисубъективной. Чем это не логика? Что в этом сумбурно-поэтического, неосознанного, сверхъестественного? Разве в этом хлебниковском устремлении не заложена «банальная» логика, цели которой в общем-то ясны?

Нет, Лермонтов прекрасно знал, что написал.

А вот понял ли Лермонтов, кто есть он теперь? Да безусловно: настоящий поэт-гражданин!

«Трагическая смерть Пушкина пробудила Петербург от апатии, — пишет Панаев. — Весь Петербург всполошился. В городе сделалось необыкновенное движение». Можно предположить, что еще большую силу этому «движению» придал своим стихотворением Михаил Лермонтов. Шан-Гирей свидетельствует: «...в один присест написал несколько строф, разнесшихся в два дня по всему городу. С тех пор всем, кому дорого русское слово, стало известно имя Лермонтова».

«Стихи Лермонтова прекрасные...» — писал Александр Тургенев, сопровождавший гроб Пушкина в Святогорский монастырь. А вот свидетельство Владимира Стасова: «Навряд ли когда-нибудь в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление».

Разумеется, стихи произвели впечатление и на власти. И под этим «впечатлением» они посадили поэта под арест. В одну из комнат верхнего этажа главного штаба, как сообщает Шан-Гирей. А Раевский был

арестован по распоряжению графа Клейнмихеля 21 февраля 1837 года. И в тот же день с него сняли допрос.

Раевский беспокоился о том, чтобы его показания не расходились с показаниями Лермонтова. К поэту пускали только его камердинера Андрея Иванова, крепостного из Тархан. Ему-то и адресовал свое письмо Раевский: «Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал эту записку Министру».

В своем объяснении Раевский пытался представить дело в наиболее «выгодном» для Лермонтова свете, чтобы смягчить возможное наказание. «Политических мыслей,— писал Раевский,— а тем более противных порядку, установленному вековыми законами, у нас не было и быть не могло». Вот оно как! Умный Раевский понимал, чем дело может обернуться, особенно против Лермонтова. И он, елико возможно, тщится выгородить своего друга. «Лермонтову,— продолжал Раевский,— по его состоянию, образованию и общей любви, ничего не остается желать, разве кроме славы... Сверх того оба мы русские душою и еще более верноподданные...» Надо во что бы то ни стало отвести удар от Лермонтова, надо спасти его! Раевский напоминает о стихах «Опять народные витии»... О них я как-то мельком говорил. Помните? — и удивленно спрашивал: неужели их написал Лермонтов? Раевский учуял, что надо процитировать из Лермонтова именно это, чтобы убедить власти в его верноподданности.

По-видимому, не раз бывал советником Лермонтова милый Раевский. Шан-Гирей подтверждает это, говоря: «Раевский имел верный критический взгляд, его замечания и советы были не без пользы для Мишеля...» Если припомните, Раевский был старше Лермонтова года на три. А в молодом возрасте такая разница в годах особенно ощутима.

К сожалению, записка Раевского была перехвачена: она не дошла до Лермонтова. Положение арестованных — и одного, и другого, — еще больше усугубилось. И это все при том, что Елизавета Алексеевна имела немало друзей и знакомых, с уважением относившихся к ней.

Одним словом, создали дело о «непозволительных стихах» Михаила Лермонтова. Висковатов нашел в деле «Объяснение корнета лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтова» и опубликовал его в «Вестнике Европы» в 1887 году.

Что мог сделать Лермонтов?

Первое: заявить так же бесстрашно, как и в своих стихах, что имеет дело с надменными потомками, с палачами Гения и Свободы. То есть повторить, точнее, подтвердить свою позицию, обнародованную в стихах «Смерть Поэта». Иными словами, еще раз совершить бесстрашный поступок. С тем, разумеется, что за это ему будет соответствующее наказание.

Второе: признать, что невольно была совершена ошибка, что совсем не то имелось в виду, все свести к чистой эмоции безо всякой политической подоплеки. Короче говоря, повиниться, памятуя, что повинную голову меч не сечет. Проявить малодушие? — спросите вы. Да, именно об этом идет речь. Ведь два же выхода: или — или!

Вот сейчас, когда над поэтом нависла серьезная угроза, когда он очутился лицом к лицу с безжалостной государственной машиной, причем безо всякого опыта, Лермонтову пришлось выбирать второе: то есть повиниться во всем. Он скажет, почему поступил так, а не иначе. Наше дело понять его или осудить. Но изменить мы ничего не можем.

Лермонтов начал свое объяснение с того, что нам уже известно: со своей болезнью, со слухов, дошедших до него. Далее он пишет: «Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою Божией, не сделав-

шего им никакого зла и некогда ими восхваляемого; и врожденное чувство в душе неопытной — защищать всякого невинно-осужденного — зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезнью раздраженных нервов».

Лермонтов решил отвести от себя удар, по крайней мере, смягчить его. Чувство самосохранения заговорило в нем, может быть, сильнее, чем этого хотелось бы нам. Но ведь человеческая драма уже разыграна, судьба сделала свое, и нам остается только следовать по заданной канве. Ничего не прибавляя от себя...

Лермонтов продолжает свои объяснения: «Пушкин умер, и вместе с этим известием пришло другое — утешительное для сердца русского: государь император, несмотря на его прежние заблуждения, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам... Я был твердо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства императора, Богом данного защитника всем угнетенным...»

Течение мыслей молодого офицера и поэта, по-моему, совершенно ясно. Оно не требует комментариев. Особенно такое вот место: «Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными, неправильными словами выразил нестойкое столкновение мыслей, не полагая, что написал нечто предосудительное...» И тут же заметил, что «один... хороший приятель, Раевский... просил... их списать...» Правда, Лермонтов пытается, елико возможно, защитить своего друга, заявив, что тот «по необдуманности, не видя в стихах... противного законам, просил... списать...»

Честнейший и искреннейший Михаил Лермонтов ничего не утаил. Он не стал изображать из себя героя тогда, когда такового не оказалось. Поэт написал Раевскому: «...Меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет, и что если я запрусь, то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку... и не смог. Я тебя принес ей в жертву... Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать».

Ничего особенного Лермонтов не приписывал своему другу. Ничего такого, что бы не было уже известно властям. И напрасно думал он, что показания его как-то повлияли на судьбу Раевского. Сам Раевский много лет спустя — 8 мая 1860 года — напишет Шан-Гирею: «...Я всегда был убежден, что Мишель напрасно исключительно себе приписывает маленькую мою катастрофу в Петербурге в 1837 году».

25 февраля 1837 года военный министр граф Чернышев и дежурный генерал Клейнмихель направили шефу жандармов, командующему императорскою главною квартирою секретную бумагу. В этой бумаге излагалось «высочайшее повеление»: корнета Лермонтова перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк, а губернского секретаря Раевского — выдержать под арестом в течение одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию.

Итак, перед Михаилом Лермонтовым — дальняя, неминуемая дорога — на Кавказ. На Кавказ, где идут военные действия. Там можно выжить, но можно и погибнуть. Дело ведь случая: война есть война. Прав Омар Хайям: «И жизнь твоя — сама на волоске». Собственно говоря, с этих-то слов мы и начали эту главу.

Снова на Кавказ

Внук арестован...

Ссылается на Кавказ...

А где же его верная и первая защитница? Неужели она примирилась с этим и только хлопочет по хозяйству в Тарханах?

Как бы не так!

Елизавета Алексеевна поторопилась в Петербург. И это в феврале! Можете вообразить себе путешествие из Тархан через Москву в Петербург. И не молодая ведь! Впрочем, мы можем определить, сколько ей было лет в эту пору, то есть в 1837 году, если родилась она в 1773 году — 64! Разумеется, она поспешила в столицу при первом же тревожном сигнале.

В Петербурге она пошла на поклон ко всем своим знакомым, которые могли хоть чем-нибудь помочь провинившемуся гусарскому офицеру. Лермонтов пишет в марте 1837 года Раевскому: «Бабушка хлопочет у Дубельта... Что до меня касается, то я заказал обмундировку и скоро еду...» По всему видно, что внук не очень-то надеялся на успех бабушкиных хлопот. Однако офицер не падает духом. Он напоминает изречение Наполеона: «Великие имена делаются на Востоке». И немножко пошучивает по этому поводу. Да, Лермонтов едет на Кавказ! И Елизавета Алексеевна вынуждена смириться: добиться отмены царского приказа ей не удастся.

Мартынов вспоминает: «...Офицеры лейб-гвардии Гусарского полка хотели дать ему прощальный обед по подписке, но полковой командир не разрешил, находя, что подобные проводы могут быть истолкованы как протест против выписки поэта из полка».

Итак, «с милого севера в сторону южную»...

Говорят, нет худа без добра. Может, и действительно не лишне было освежить свои кавказские впечатления. Но уже не мальчиком, а в качестве офицера-драгуна, на двадцать третьем году от роду. И не следует упускать из виду еще одно обстоятельство: ехал на Кавказ не просто опальный офицер, но известный опальный поэт. Поэтому поездка на Кавказ в 1837 году очень и очень отличалась от предыдущих посещений этого чудного края земли.

Проницательная Ростопчина точно оценила эту вынужденную поездку на Кавказ с точки зрения литературных и житейских интересов Лермонтова. «Эта катастрофа,— писала она Александру Дюма,— столь оплакиваемая друзьями Лермонтова, обратилась в значительной степени в его пользу: оторванный от пустоты петербургской жизни, поставленный в присутствие строгих обязанностей и постоянной опасности, перенесенный на театр постоянной войны, в незнакомую страну, прекрасную до великолепия, вынужденный, наконец, сосредоточиться в самом себе, поэт мгновенно вырос, и талант его мощно развернулся...»

Все это правда. Но при всем этом — пусть растут поэты сами по себе. Настоящий талант найдет свою дорогу, не пропадет, не зачахнет. А ежели пропадет, а ежели зачахнет — значит, туда ему и дорога, значит, был он вовсе не настоящий.

Мы не знаем, как провожали Лермонтова. Поехала ли бабушка с ним до Москвы или осталась в Петербурге продолжать хлопоты?.. Пусть это нарисует в своем воображении каждый, кто любит Лермонтова и его поэзию.

Во всяком случае, он не очень торопился с отъездом. Это факт. А приехав в любимую Москву — не спешил покинуть ее. Николай Мартынов (тот самый!) писал: «...Проезжал через Москву Лермонтов... Мы встречались с ним почти всякий день, часто завтракали вместе у Яра; но в свет он мало показывался. В конце апреля я выехал в Ставрополь».

А Лермонтов все еще оставался в Москве. Мартынову пишет письмо на Кавказ его мать. «Мы еще в городе,— сообщает она.— Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю; у него слишком злой язык...»

Верно, мало кто любит злой язык. Его не прощают даже людям весьма талантливым. Что же можно сказать по этому поводу? Талантливому человеку требуются друзья по плечу. А это бывает редко. Обычно вертится вокруг какая-нибудь напыщенная «мелочь», которая никогда никому ничего «не прощает», и злого языка в том числе. Отсюда и всякие недоразумения. К великому огорчению, они идут во вред таланту. Как правило. И не вредят «мелочи». Как правило. Вот поди и разберись с этим самым «злым языком»!

Сестра Мартынова, Наталья Соломоновна, говорят, была очень красивая. Не она ли привлекала Лермонтова «каждый день»? И не из-за нее ли не очень-то торопился «на войну» драгунский офицер? Есть указания на то, что это вполне возможно. Поговаривали, что Лермонтов ухаживал за Натальей. Даже очень рьяно. Но закончилась эта история, в конце концов, в печоринском стиле, как и в случае с Сушковой. Вот отрывок из воспоминаний Дмитрия Оболенского: «Никому неизвестно, что у Лермонтова в сущности был пренесносный характер, неуживчивый, задорный, а между тем его талант привлекал к нему поклонников и поклонниц. Неравнодушна к Лермонтову была и сестра Н. С. Мартынова, Наталья Соломоновна. Говорят, что и Лермонтов был влюблен и сильно ухаживал за нею, а может быть, и прикидывался влюбленным. Последнее скорее, ибо когда Лермонтов уезжал из Москвы на Кавказ, то взволнованная Н. С. Мартынова провожала его до лестницы; Лермонтов вдруг обернулся. Громко захохотал ей в лицо и сбежал с лестницы, оставив в недоумении провожавшую».

Нет ли тут какого-то преувеличения? Наверное, был «разрыв», но едва ли в этой странной форме. В случае с Сушковой была «мечь», а здесь?..

Лермонтову пришлось проститься с родимой Москвой, с москвичами и трогаться в путь. Туда, где «вечная война», по выражению Ростопчиной.

Следом за стихотворением «Смерть Поэта» появились великолепные стихи, которые известны нам с детских лет. Их не так много, как в «пансионские годы», но это уже настоящие стихи. Поэт словно бы следовал поговорке: «Лучше меньше, да лучше». Писать ежедневно, и писать к тому же великолепные стихи, — очень трудно. Особенно когда за спиной стоят и незримо наблюдают, словно живые, гиганты мировой поэзии от Гомера до Пушкина.

Лермонтов писал упорно, но с печатанием по-прежнему не торопился. В 1837 году были сочинены «Узник», «Сосед», «Когда волнуется желтеющая нива», «Кинжал», «Гляжу на будущность с боязнью» и неподражаемая «Молитва странника». Разве мало этого?

Лермонтову было недосуг творить в тиши кабинета. Он сочинял в дороге, на станции, где меняли лошадей, перед завтраком в трактире, стоя, сидя, лежа, трясясь на возке. Сначала все у него складывалось в голове, потом быстро он заносил все на бумагу, а уж после — перебеливал. Вот вся немудрящая «творческая обстановка» Михаила Юрьевича Лермонтова.

Зрелость, зрелость подступает к двадцатитрехлетнему молодому поэту. Он заглядывает себе в душу, в самую глубину ее. Он глядит взглядом философа, человека, умудренного опытом. Опыт недолгих лет откладывался в нем необычайно отчетливо, необычайно ярко. Образы в душе его сохранялись долго, чтобы ожить потом под кончиком его пера.

Поэт думает, думает, думает... «Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской и, как преступник перед казнью, ищу кругом

души родной...» Он говорит это о себе. Но разве только о себе? Не все ли человечество глаголет его устами? Не со всего ли света тревога стекается к нему, чтобы потом излиться великими стихами?

Если вдруг — по недоразумению или незнанию, вольно или невольное — мы пожелаем связать каждое стихотворение Лермонтова с конкретным происшествием и не обратим внимания на широкое обобщение в его произведениях, то мы совершим большую, непростительную ошибку. Верно, «Узник» написан в связи с арестом. В этом проявляется поэтическая «конкретность» стихотворения. Но простое, казалось бы, явление реальной жизни стало явлением высокого поэтического взлета, и время над стихами перестало властвовать. Тема вобрала ту «вечность», которой помечены самые высокие творения человеческого духа...

А теперь такой вопрос: что лучшее в русской прозе о войне 1812 года? Вы скажете: «Война и мир» Толстого. Верно. А в поэзии? Так же не задумываясь вы скажете: «Бородино» Лермонтова. И это будет очень точно!

Я уже говорил в начале этой книги, что в детстве Лермонтов слышался рассказов о войне, о пожаре Москвы, о бегстве Наполеона. Представление о войне получилось у него как бы объемным: с одной стороны — рассказы Жана Капэ, а с другой — русских ветеранов. Спустя много-много лет эти рассказы будут «сверены» с действительно народным, действительно историческим представлением о войне и выльются в поэтический рассказ — монолитный, непогрешимый во всех отношениях. Все здесь: и знание истории, и понимание души народной, и высочайшее поэтическое мастерство.

В том же 37-м году написалось и одно из лучших лирических стихотворений русской поэзии — «Молитва странника». Это в нем такие строки: «Окружи счастьем душу достойную; дай ей спутников, полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования...» Это говорит муж, созерцающий мир и человеческую душу внимательным оком философа. Это говорит тот, кто познал труднее всего познаваемое в жизни — человеческое сердце.

Цепная реакция после январского поэтического взрыва продолжалась: рождалось одно стихотворение краше другого. Взор поэта все более углублялся в душу человека. Он задевал в ней все новые струны. Порою даже казалось, что все кончено здесь, на земле. И делать «больше нечего». «Земле я отдал дань земную любви, надежд, добра и зла. Начать готов я жизнь другую, молчу и жду: пора пришла...» И далее уж совершенно пророческое: «Я в мире не оставлю брата». Неужели и в самом деле пришла пора? И это в двадцать три года? Серьезно ли все это? Да, вполне. Такие стихи не пишут в запальчивости, в минуту неожиданного уныния. Все здесь продумано. Двух толкований быть не может: плод созрел так быстро, что, кажется, перезрел и вот-вот упадет на землю. Десяток стихотворений, написанных в 1837 году, стоят иного толстого сборника стихов. Все в них выверено глазом большого мастера. Слова предельно взвешены. Мысли отточены. Они «отлиты» в прекрасную форму.

Мировая литература прошла сложный путь от первых клинописных повестей Шумерского царства до наших дней. И во все эти века «соперничали» меж собою форма и мысль (содержание). Готье, Флобер и другие крайне обострили эту «борьбу», провозгласив власть формы. Готье писал: «Блестящие слова, слова светлые... с ритмом и музыкой, вот где поэзия». Флобер выражается еще определеннее: «Больше всего я люблю форму, достаточно, если она красива, и ничего более...» И тем не менее итог неутешителен для «формы»: она оказывается в «подчинении». И поэзия двадцатитрехлетнего Лермонтова блестящее тому доказательство — каждый стих, каждое слово!

«Стих Лермонтова, — замечает Блок, — который сам он назвал «же-

лезным», очень сложен и разнообразен». Неразрывность стиха, слова с мыслью-чувством хорошо подметил у Лермонтова болгарский ученый Михаил Арнаутов. Он пишет: «Лермонтов — русский Байрон, исповедует: «Мои слова печальны, знаю: но смысла их вам не понять. Я их от сердца отрываю, чтоб муки с ними оторвать!»

Лермонтова направили на правый фланг «Кавказской линии» — на берег Черного моря, в район Геленджика. Здесь должны были начаться активные военные действия против горцев. Жили здесь адыги, которых называли одним общим словом для горцев запада Северного Кавказа — черкесы. Дело в том, что адыги, кабардинцы и черкесы говорят на одном и том же языке, а может быть, для большей точности следует сказать — почти на одном. Во всяком случае, учебники нынче у них совершенно одинаковые: печатаются они в Майкопе или Нальчике. Язык их относится к одной из древнейших ветвей кавказских языков — абхазо-адыгской группе. К этой же группе примыкал и язык убыхов, полностью исчезнувших в результате карательных экспедиций храбрых царских генералов.

Надо сказать, что направили Лермонтова в самое пекло. Сюда многие стремились, чтобы скорее заслужить прощение. Для лейб-гвардейцев это было не так уж и трудно.

Лермонтов болел и попал в Тамань только в сентябре. И здесь родилось великолепное прозаическое произведение, уместившееся на нескольких печатных страницах. Висковатов пишет, что здесь, в Тамани, Лермонтов столкнулся с некоей казачкой, по прозвищу Царициха. Это она приняла офицера, ожидавшего почтового судна в Геленджик, за соглядатая. Царициха имела все основания опасаться своей связи с контрабандистами. В 1879 году еще стояла хата, описанная Лермонтовым. Ее снимок привезли Висковатову в Тифлис, где он участвовал в работах археологического съезда 1891 года. Следовательно, Лермонтов не из головы выдумал сюжет «Тамани». Не так уж и много во всей мировой литературе таких шедевров, как «Тамань», где всего на нескольких страницах с такой полнотой и яркостью раскрывались бы человеческие характеры, где бы так живо и так верно кипели истинная жизнь и истинная страсть. Наверное, поездка на «правый фланг» и риск в районе Геленджика стоили рассказа «Тамань». И тут мы еще раз подчеркнем вечно верную мысль о том, как трудно «добывается» настоящий «материал» для литературы и сколь это сложное дело.

Экспедиция, которую возглавлял генерал Вельяминов, была в какой-то степени традиционной: вот уж несколько лет предпринимались усилия, чтобы укрепить «Черноморскую линию». Ее крайней точкой в 1837 году был городок Геленджик. Отсюда войска направлялись в горы, в глубь страны адыгов, чтобы жечь аулы, урожаи на полях, уничтожать фруктовые сады, рубить лес и, разумеется, убивать горцев. Это была «грязная война», отвратительная во всех своих ипостасях. В ней гибли курские, орловские, рязанские мужики, платили за «победы» своей жизнью многие ссыльные, в частности декабристы, умирали ни в чем не повинные горцы.

В то время адыги были одним из крупных народов на Кавказе. Их насчитывалось, по крайней мере, несколько сот тысяч. Сильные, ловкие, свободолюбивые, они не жалели своей жизни ради защиты родного очага. С каждым годом война принимала все новые свирепые формы.

Горцы в лице своих многочисленных делегаций требовали только одного: чтобы оставили их в покое непрошенные генералы и увели свои войска за реку Кубань.

А что им на это отвечали? Генерал Вельяминов, например, заявил однажды горской делегации, что он выполняет приказ «белого царя» и

непрерывно усмирят горцев, ибо они переданы царю султаном по Адрианопольскому трактату, или договору. Горцы терпеливо разъясняли генералам, что турецкие султаны никогда не имели законной власти над горцами, что султанов горцы знать не хотят и поэтому просят генералов уйти за Кубань.

Стыдно читать официальные дневники с описаниями военных действий против горцев: отряд такой-то вошел в горы, сжег такой-то аул, рассеял шрапнелью толпу, уничтожены посева, убито столько-то... И тому подобное. За победные репортажи генералов расплачивались мужики в солдатских формах.

Что думал Михаил Лермонтов об этой войне? Не думать он не мог. Ведь против него могли стоять Хаджи Абреки, Измаил-Бей и другие любимые герои его произведений. Или они должны были убить его, или же он должен был опередить их в сем кровавом деле. Такова логика войны. Так что же все-таки думал Лермонтов по этому поводу? Все, что написал Лермонтов о горцах, в высшей степени дружелюбно, человеколюбиво, гуманно по отношению к ним. Взять хотя бы «Валерик», где нет чувства враждебности к горцам. А скорее — сочувствие. Но разговор о «Валерике» впереди...

Здесь нам важно констатировать факт: Лермонтов был направлен в район активных военных действий, туда, где непрестанно свистели пули. Погибнуть в таком «деле» было совсем не мудрено. И люди гибли сотнями, тысячами. Да кто их считал?!

Не менее опасной, чем пули убыхов или адыгов, была черноморская малярия. Она вершила свои страшные дела не хуже войны. Это она свела в могилу друга Лермонтова, славного Александра Одоевского. Он «умер, как и многие — без шума, но с твердостью» там, где «...море Черное шумит не умолкая».

Смерти Одоевского Лермонтов посвятил великолепное стихотворение. Но это стихи не только памяти друга. Это, я бы сказал, реквием декабристу, который до конца сохранил «веру гордую в людей, и жизнь иную». Это стихи о человеке, ненавидевшем общество, которому, по словам Лермонтова, было чуждо существование самого Одоевского. В этих стихах Михаил Лермонтов с предельной поэтической точностью не только нарисовал образ Одоевского-декабриста, но и четко, недвусмысленно выразил свое отношение к человеку совершенно определенных политических убеждений. Лермонтов сделал еще один поэтический выстрел огромной силы в ту правящую верхушку, которую презирал и ненавидел.

Мы ничего не знаем со слов самого Лермонтова о «черноморском периоде». Письма к бабушке и друзьям, посланные с «правого фланга», наверное, затерялись. К слову сказать, Лермонтов не раз жалуется на то, что письма не доходят: ни к нему и ни от него к друзьям. Дело, вероятно, не обходилось без перлюстрации. А то и просто терялись по почтовой безалаберности и беспокойной жизни «странствующего офицера, да еще с подорожной по казенной надобности»...

Первое дошедшее до нас письмо Лермонтова с Кавказа датировано 31 мая, и написано оно в Пятигорске, адресовано Марии Лопухиной. Поэт сообщает: «...У меня здесь очень хорошая квартира; по утрам вижу из окна всю цепь снежных гор и Эльбрус; вот и теперь, сидя за этим письмом, я иногда кладу перо, чтобы взглянуть на этих великанов, так они прекрасны и величественны... Ежедневно брожу по горам и уж от этого одного укрепил себе ноги; хожу постоянно: ни жара, ни дождь меня не останавливают...» Из того же письма мы узнаем милую подробность: Лермонтов послал Марии и ее сестре шесть пар черкесских туфель. «В точности держу слово, — пишет он, — поделить их вы легко можете без ссоры».

По этому письму мы можем заключить, что Лермонтов не был еще на «правом фланге». Думаю, что резня была не по нутру ему. Во всяком случае, при каждом удобном случае он покидал скверну грязной войны.

18 июля поэт сообщает бабушке, что «здоров как нельзя лучше», просит прислать денег, ибо собирается в Анапу, куда с трудом доходят и письма и деньги, а «депешы с нарочным отправляют».

Был ли Лермонтов в отряде Вельяминова до конца экспедиции, сказать трудно. Скорее всего — нет. Послужному списку, как полагает Висковатов, верить в данном случае нельзя — Лермонтов часто отлучался из отряда. Едва ли поэт побывал и в Геленджике, когда туда прибыл царь с цесаревичем и свитой, в которой находился и Бенкендорф. Говорят, Бенкендорф вспомнил о Лермонтове, вернее, о просьбе его бабушки, и ходатайствовал перед царем о переводе Лермонтова в Россию. Приказом царя, данным уже в Тифлисе 11 октября 1837 года, Лермонтов переводится в лейб-гвардии Гродненский полк. А полк этот стоял в Новгороде. Таким образом ссылка поэта Лермонтова на Кавказ кончилась. Он провел здесь, по существу, лето и раннюю осень.

Однако поэт до обнародования царского приказа поехал-таки по Кавказу: побывал на другом конце Северного Кавказа — в Шелкозаводске, у Хастатовой, затем поехал за хребет — в Грузию и Азербайджан. (А на «правом фланге» поэт, по существу, и не был.)

18 июля 1837 года Лермонтов пишет бабушке из Пятигорска, должно быть: «...Я с вод не поеду в Грузию». А заключается письмо следующими словами: «...Остаюсь ваш вечно привязанный к вам и покорный внук Михаил». И приписка: «Пуще всего не беспокойтесь обо мне: бог даст, мы скоро увидимся».

А пока что судьба влекла его в иные края, где дано было ему увидеть и пережить нечто новое.

За хребтом Кавказа

Из укрепления Ольгинского Лермонтов отправляется в Грузию, где был расквартирован Нижегородский полк. По-видимому, он выехал в начале октября, а в середине месяца уже любовался пейзажем по ту сторону хребта. В отряде, находившемся в Ольгинском, Лермонтов пробыл недолго и почти никакого участия в военных походах не принимал.

В наше время путешествие по Военно-Грузинской дороге особых трудностей не представляет. Автобус, отправившись из Северной Осетии утром, к вечеру прибывает в Тбилиси. Легковые машины катят по асфальтированному шоссе еще быстрее.

Примерно нынешним маршрутом путешествовал и Лермонтов. Я говорю «примерно», потому что со временем, особенно с развитием автомобильного транспорта, трасса Военно-Грузинской дороги несколько изменилась. Да и не могла не измениться. Но все величие и красота Кавказского хребта сохранились со времен библейских, когда после потопа корабль с «чистыми» и «нечистыми» врезался в Арарат, благополучно избежав столкновения с Эльбрусом и Казбеком.

Путешествие по Военно-Грузинской дороге точно описано в «Герое нашего времени». Печорин следовал за Лермонтовым.

Это был и тот и не тот Кавказ, который уже знал Лермонтов по воспоминаниям детства. Это был Кавказ настоящий, седовласый, суровый на вид. Кавказ вдохновляющий. И поэт чувствовал себя свободно, глаза его наслаждались, грудь дышала легко.

Горы и люди навевали легенды. Поэт и сам начинал слагать их. Он мог еще и еще раз подтвердить свою сыновнюю приверженность го-

рам, которая выразилась еще в юношеских стихах: «Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ».

Верно, взбираясь все выше и выше в горы, поэт еще сильнее привязывался к Кавказу. Этот край давал богатую пищу фантазии. Но, как это ни странно, не уводил в заоблачные сферы. А «приземлял» ее. Романтика здесь получала особенную окрыленность. Она возносила поэта ввысь, но не для того, чтобы оторвать его от земли. Нет! Чтобы сверху мог он лучше и шире обозреть земную жизнь во всем ее многообразии. Отсюда он видел больше, чем из любого, даже самого фешенебельного, салона Петербурга. На пути своем — горном, порою опасном для жизни, — встречал он — и не раз! — грушницких, максим максимычей, мейеров и вуличей. Он видел и казбичей и прелестных бэл. Видел джигитов и абреков, встречал наивных горцев и пророков истинных меж них.

«Я счастлив был с вами, ущелия гор», — писал поэт семь лет тому назад. С еще бóльшим основанием он мог повторить эти слова, продвигаясь верста за верстою по Военно-Грузинской дороге на юг.

Сохранилось одно-единственное письмо Лермонтова, в котором он сообщает Раевскому о своих путешествиях по Кавказу. К сожалению, только одно, писанное в конце 1837 года. Это не значит, что поэт не посылал больше писем. Напротив, он поддерживал связи и с друзьями и с бабушкой. Он жалуется, что два письма «пропали на почте, либо... не дошли». Говорят, немало стихов Лермонтова таким же образом потерялись «на почте». К тому же, кажется, не очень-то берег он и свои произведения. Конечно, трудно было возить в офицерском сундучке стихи и, тем более, хранить их в непрерывных странствиях. Однако вернемся к письму.

Лермонтов пишет: «С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в непрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом... лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюде... так сидел бы да смотрел целую жизнь...»

Да, мы не имеем лермонтовских дневников или иных записей того времени, не знаем доподлинно, с кем он встречался на Военно-Грузинской дороге и что ощущал. Поэт мало заботился о том, чтобы оставлять потомкам свои путевые или иные записки. Тетрадки со стихами он хранил у бабушки, или у Краевского, или еще где придется.

Если мы не можем порою начертить точный маршрут лермонтовских поездок, если не ведаем, с кем и когда он встречался и о чем говорил, то мы осведомлены, притом хорошо, о другом, более важном. И это важное поэт оставил нам, своим читателям. Я имею в виду произведения его, написанные после ссылки на Кавказ. Точнее, после первой ссылки, ибо была еще одна ссылка — вторая, и последняя.

Здесь, в горах Кавказа, может быть на горе Крестовой или в Кахетии, созрел окончательно, или почти окончательно, тот вариант, или, как говорили прежде, очерк «Демона», который лег в основу главного очерка поэмы и дошел до нас и которым мы наслаждаемся.

Даже школьники знают, что «Демон» писался чуть ли не десять лет. Поэма создавалась и тут же переделывалась. По рукам ходило несколько очерков. Сначала действие ее происходило в Испании. В стране, где никогда не был поэт. Демон летал над Испанией, говорил с испанской монахиней. Но Кавказ, но легенды Кавказа навяли нечто новое — романтическое и, я бы сказал, реальное.

Действие поэмы окончательно переносится на Кавказ. Демон парит над хребтом Кавказа. Тамара — грузинка. Гудал — грузин. Поэт перерабатывает для поэмы некоторые грузинские легенды. Если можно так выразиться, поэма становится на твердую почву кавказской действи-

тельности. Пейзажи в «Демоне» — не выдуманные. Все видно лично поэтом. «И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал: под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял, и, глубоко внизу чернея, как трещина, жилище змея, вился излучистый Дарьял, и Терек, прыгая, как львица с косматой гривой на хребте, ревел... Роскошной Грузии долины ковром раскинулись вдали... Покрыта белой чадрой, княжна Тамара молодая к Арагве ходит за водой». Сказано точно. Кавказ здесь не спутаешь с каким-нибудь другим краем.

«Демон» и другие стихи, написанные после странствий по Кавказу, — замечательный итог, прекрасный клад, «вывезенный» поэтом из любимой страны гор.

Стоило ли ради всего этого терпеть дорожные лишения? Да, стоило. После поездки на Кавказ были написаны также «Поэт» и «Дума» — воистину перлы русской и мировой поэзии.

Военно-Грузинская дорога прямехонько ведет в Тифлис. Мимо того места, где сливаются «струи Арагвы и Куры», мимо того монастыря, где вскоре развернется действие чудесной поэмы «Мцыри».

Недолго пробыл наш поэт в Тифлисе, где «есть люди очень порядочные». Но не знаем имен, не знаем, кого конкретно имел в виду поэт. К великому сожалению, никто не оставил нам своих свидетельств о встречах с Лермонтовым в Закавказье. Прав Ираклий Андроников, когда замечает: «Между тем о пребывании Лермонтова в 1837 году на Кавказе — и особенно в Грузии — почти ничего не известно».

Мы знаем, что Лермонтову, как и Пушкину, понравились «татарские бани». Но был ли он на могиле Грибоедова, поклонился ли ей, и с кем из грузинских интеллигентов встречался? Ничего не известно! О своей жизни Лермонтов пишет: «Здесь, кроме войны, службы нету...» За короткое время поэт, можно сказать, изъездил чуть ли не весь Кавказ. Он пишет: «Изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже». Сказано очень коротко, но можно себе вообразить, что стоит за всем этим, — достаточно взглянуть на карту!

Крайняя восточная точка в Закавказье, где побывал Лермонтов, — Куба́. Это очень близко от Дагестана. И поэт сообщал Раевскому все в том же письме, что пришлось ему отстреливаться от «шайки лезгин». Но все обошлось благополучно.

Я помню чудесное летнее утро в Кубе́. Мы с друзьями сидели перед чайханой на высоком холме. Вокруг простирались сады. Было тихо, прозрачно и пряно от аромата зреющих фруктов. Я никогда не забуду вкуса чая, который заварил гостеприимный азербайджанец. Это был какой-то особенный чай, особенной заварки. «Чай по-кубински», — сказал чайханщик. Я смотрел с высоты и думал о Лермонтове: каково было здесь молодому поэту? Где-то он скакал, где-то отстреливался, где-то ночевал прямо на земле, по-горски закутавшись в бурку.

А в это время бабушка ночами все думала о нем. Она была стара в ту пору и не могла поехать за милым Мишелем. И это было невыносимо для нее...

А Михаил Лермонтов, одетый по-черкесски, все скакал на юг, в Шемаху, чтобы повидать еще что-нибудь. Может быть, даже, как он пишет, доскакал он и до Шуши, находящейся на юге Азербайджана. Все может быть.

Что он писал? Что поверял бумаге в этих скитаниях? И где эти бес-

ценные клочки, так расточительно развеянные поэтом на своем коротком пути?

Исполнилось ему в это время двадцать три года, только-только пошел двадцать четвертый. Скажем прямо — не много...

И вот Лермонтов снова в Кахетии, в штабе полка, снова в Тифлисе, где, по его словам, приключилось некое происшествие. Оно описано им самим. Несомненно, загадочное. Скорее напоминает сюжет какого-то задуманного рассказа. И в то же время похоже и на правду, на истинное событие.

Вот несколько строк:

«Я в Тифлисе у Петр. Г. (еург) — ученый татар. Али и Ахмет. Иду за груз. в бани; она делает знак; но мы не входим, ибо суббота...» «Надо вынести труп. Я выношу и бросаю в Куру. Мне делается дурно...» «После ночью двое [оное] на меня напали на мосту... хотел меня сбросить, но я его предупредил и сбросил».

Не правда ли, странная запись? Она сделана рукою Лермонтова. Вообще-то говоря, нечто подобное могло иметь место: чем черт не шутит! Истинное происшествие дает основу для рассказа. Правда это или неправда? — в конце-концов не суть важно. Но мы можем представить себе те маленькие и большие приключения, участником которых был Лермонтов — вольно или невольно. Проехать верхом от Кизляра до Геленджика, то есть всю «Кавказскую линию» — чего-нибудь да стоит! Если даже в тебя не стреляют. Надо полагать, что Лермонтову приходилось бывать и в небольших военных переделках. В районе Геленджика, например, он слышал всего «два, три выстрела». И слава богу! Черкесские пули обошли его. Особенно благотворно действовали на поэта горы. Он их любил беззаветно. Они были сродни его вольнолюбивому духу. Лермонтов писал: «...Для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту...»

Ему хотелось выучиться татарскому, который «в Азии необходим, как французский в Европе». Он строит планы: ехать в Мекку, ехать в Персию. А может быть, в Хиву с экспедицией? И признается другу: «Я сделался ужасным бродягой». Немало «побродяжничал» по Кавказу в качестве военного с подорожной по казенному делу, Лермонтову вдруг захотелось штатской жизни. Он искренне признается: «Скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку». И его не раз посетит мечта — «выйти в отставку»!..

Эта первая ссылка была недолгой, и Лермонтов в начале зимы уже возвращался в Россию. Он вез с собою собственные картины, «снятые с натуры» в горах Кавказа и в Грузии. Часть их дошла до нас. Большинство — подаренные друзьям и знакомым — потеряны.

Итак, в конце 1837 года завершился кратковременный период ссылки на Кавказ. Если говорить о стихах — поэт вез их не так уж много. По крайней мере, дошло до нас немного. Было среди них замечательное творение лермонтовской музы. Его мы знаем наизусть со школьной скамьи: «Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской и, как преступник перед казнью, ищу кругом души родной...» По мнению поэта, он закончил свое земное предназначение: «Земле я отдал дань земную любви, надежд, добра и зла...»

На родину возвращался умудренный опытом, томимый мучительными раздумьями «пожилой» мужчина, вступивший в двадцать четвертый год своего существования. Но по-прежнему мало еще печатается. Поэт не торопится. Он даже слишком нетороплив в этом отношении.

Поэтическим итогом поездок по Кавказу явился также новый очерк «Демона». По-видимому, весь он был продуман на Кавказе. «Окончательно» созрели образы этой «восточной повести». Заоблачно-романтическая испанская поэма была «приземлена» на Кавказе со всеми вытекающими из этого последствиями. Но это не все — задуман цикл рассказов, который будет объединен одним заглавием: «Герой нашего времени». Первый рассказ — «Тамань» — уже, по существу, написан — он весь в голове. Остается только изложить его на бумаге. Поэту с большой буквы, артисту, чей талант был на пути к полному расцвету. Но стоило поэту вернуться к обыденной жизни, как он снова менялся, будто по мановению волшебной палочки: снова перед всеми предстал беззаботный кутила, веселый и дерзкий гусар.

О послекавказском периоде Лермонтова Шан-Гирей вспоминает: «Литературная деятельность его увеличилась. Он писал много лирических стихотворений... Начал роман «Герой нашего времени». Словом, это была самая деятельная эпоха его жизни в литературном отношении». И еще: «У него не было чрезмерного авторского самолюбия; он не доверял себе, слушал охотно критические замечания тех, в чей дружбе был уверен и на чей вкус надеялся».

Михаил Лермонтов ехал на север.
Наступил новый, 1838 год.

На милом севере

«Лермонтов был возвращен с Кавказа и, преисполненный его вдохновениями, принят с большим участием в столице, как бы преемник славы Пушкина, которому принес себя в жертву. На Кавказе было, действительно, где искать вдохновения: не только чудная красота исполинской его природы, но и дикие нравы его горцев, с которыми кипела жестокая борьба, могли воодушевить всякого поэта, даже и с меньшим талантом, нежели Лермонтов...»

Так писал Андрей Муравьев.

Да, поэт действительно хорошо принимают в столице. Многие стремятся залучить его в свои гостиные. Лермонтова знают не только по стихам «Смерть Поэта». Уже опубликованы его «Песня про купца...» и «Бородино». Сам Василий Жуковский желает познакомиться с поэтом. Встречает его радушно, дарит ему свою книгу, интересуется творчеством своего молодого собрата.

Лермонтов пишет Марии Лопухиной в Москву: «Первые дни после приезда прошли в постоянной беготне: представления, церемонные визиты...» С одной стороны — это льстит молодому человеку, слава, можно сказать, пришла. Но с другой — это его уже тяготит. Чувствуется, что поэт немножко поотвык от столичного общества. Он повидал уже немало, кажется, узнал цену жизни. В это время он все чаще подумывает о том, чтобы бросить военную службу, но его будто отговаривают родственники. К тому же надо ехать в Гродненский полк, расквартированный под Новгородом.

Бабушка, разумеется, в Петербурге. Ее ненаглядный Мишенька еще не прощен полностью. Надо бы вернуть его в прежний лейб-гвардии гусарский полк. Неужели она не может, не в силах добиться этого? Елизавета Алексеевна неутюжима, когда дело касается ее питомца. Она навещает то одного, то другого вельможу. Просит о полном прощении вну-

ка. Надо во что бы то ни стало вызволить молодого человека из Гродненского полка. Уж лучше в Царское Село, поближе к Петербургу!

Михаил Лермонтов наносит прощальные визиты друзьям. Часто бывает у Краевского. Оставляет ему свои рукописи: одни — для печати, другие — на хранение. Дарит ему картины, писанные на Кавказе. И вот в конце февраля появляется в полку. Представляется князю Багратиону и приступает к службе. Однако длилась сия служба не более полутора месяцев.

В первый же день поэт приглашен на обед братьями Безобразовыми. И полковая жизнь потекла по руслу, к которому гусарам было не привыкать.

Однако и время берет свое; и это уже не то беззаботное, мальчишеское времяпрепровождение, которым славился Лермонтов еще год назад. Что-то новое, доселе не бывшее, проступило на его челе, и тайная забота в сердце его.

«В обществе наших полковых дам Лермонтов был скучен и угрюм и, посещая чаще других баронессу Сталь фон Гольштейн, обыкновенно садился в угол и молча прислушивался к пению и шуткам собравшегося общества». Так свидетельствовали очевидцы. Здесь удивляться нечему. Я бы только спросил: а прислушивался ли Лермонтов вообще к пению и шуткам? Не был ли он мысленно далеко отсюда? Где-нибудь в Шелкозаводске, где встречал девушку, похожую на Бэлу, или юношу Азамата? Или в Кубе, где подымал восстание сторонник Шамиля Иса-бек? Или на Военно-Грузинской дороге, где беседовал с будущими Печориным или Грушницким? И он с полным правом мог сказать ныне то, что скажет четыре года спустя: «Когда порой я на тебя смотрю, в твои глаза вникая долгим взором: таинственным я занят разговором, но не с тобой я сердцем говорю...»

Процесс творчества — сложный процесс. Он начинается задолго до того, как поэт садится за стол. Никто не проник еще в тайну его, подобно тому хотя бы, как проникли в тайну атома. След расщепляющегося ядра можно фотографировать даже. А след мысли? А извивы ее? А напряжение ума?

Если прежде знакомые поэта говорили, что не всегда и не совсем понимают его, то теперь они еще чаще будут теряться в догадках.

«В домашней жизни своей Лермонтов был почти всегда весел, ровного характера, занимался часто музыкой, а больше рисованием...» Эти слова принадлежат Шан-Гирею и заслуживают полного доверия. Мы знаем, что в кругу друзей Лермонтов был «другим» человеком. А в часы творческой работы — и вовсе иной. Я думаю, что работа над романом «Герой нашего времени» отнимала у него много душевных сил.

Лермонтов вкладывал в свою прозу весь свой кавказский опыт и кавказские впечатления. Проза его скупа по объему и могуча образами и характерами действующих лиц. Много в ней автобиографического. Если угодно, сам Печорин во многом похож на Лермонтова. Этому вопросу в литературоведении посвящена не одна статья. Юлий Айхенвальд, например, считал, что «в Печорине много Лермонтова, много автобиографии». Это на самом деле так. Литератор очень часто придает своему герою черты своего собственного характера. Но это не значит, что герой аутентичен автору. Сам Лермонтов подчеркивал в предисловии к «Герою», говоря о Печорине, что «это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии». Писатель, разумеется, отдает частицу своей души своему герою. Но полного знака равенства ставить между литературным героем и автором, как правило, нельзя...

Как-то в 1936 году я встретил в Сухуми Александра Фадеева. Я спросил: «Отдыхаете?» Он ответил: «Вроде бы. Но разве уважающий себя

литератор выключается от работы, даже на отдыхе? Голова забита, — заключил он, смеясь, — различными литературными делами и мыслями».

Если это верно применительно к серьезному писателю, то трижды — к Лермонтову.

25 марта 1838 года граф Бенкендорф ходатайствовал перед царем «о прощении корнета Лермонтова». Главная ссылка в этом письме делается на бабушку поэта, которая «в глубокой старости» и которая могла бы «спокойно наслаждаться небольшим остатком жизни, и внушать своему внуку правила чистой нравственности и преданности Монарху, за оказанное ему благодеяние». Бенкендорф в заключение просит вернуть Лермонтова в прежний лейб-гвардии гусарский полк.

На соответствующий запрос генерал-фельдцейхмейстер Михаил ответил, что «с своей стороны *совершенно согласен*».

В результате появился приказ от 9 апреля 1838 года, в котором сказано, что переводится «лейб-гвардии гусарского полка корнет Лермонтов, лейб-гвардии в гусарский полк». То есть снова в Царское Село.

Скажем прямо, «ветер жизни», о котором говорил некогда Омар Хайям, подул не худшим образом.

Но жизнь есть жизнь, и одно дуновение ветра не все решает. Сложность жизни надо помножить на сложность характера Михаила Лермонтова и только тогда посмотреть и решить, что же получилось... Все ли теперь вернулось на круги своя? Ведь началось все с Царского Села. И вернулось в Царское Село же.

Чтобы «вернулось все» — и действительно вернулось, — должна была остановиться сама жизнь. Но поскольку она течет подобно реке и меняется не то чтобы каждый день, но и каждый час — стало быть, ничего не могло снова вернуться на круги своя. Ибо так никогда не бывает.

Но внешне, но только для глаз — все стало так, как было до февраля 1837 года.

Мы скоро увидим, что случилось с той самой нитью жизни, которую неустанно прядут греческие богини. Сколь долговечна она, сколь постоянна и прочна.

«Когда огонь кипит в крови...»

Михаил Лермонтов прибыл в свой прежний полк — лейб-гвардии гусарский — 14 мая 1838 года. До этого он, если верить рапорту, — болел. Во всяком случае весной его видели — и довольно часто — в Петербурге. Муравьев пишет: «Песни и поэмы Лермонтова гремели повсюду. Он спустил опять в лейб-гусары».

Михаил Лонгинов не очень-то высокого мнения о Лермонтове-служаке. С некоторым злорадством пишет он о нерадивости Лермонтова-офицера. Стоит здесь привести несколько строк воспоминаний Лонгинова, хорошо знавшего Лермонтова. «Лермонтов был очень плохой служака, — пишет он, — в смысле фронтовика и исполнителя всех мелких подробностей в обмундировании и исполнении обязанностей тогдашнего гвардейского офицера». Оказывается, Лермонтов частенько сиживал в Царском Селе на гауптвахте. «Такая нерадивость... — продолжает вполне серьезно Лонгинов, — не располагала начальство к снисходительности в отношении к нему...»

Но дело, по-видимому, коренилось не только в «нерадивости». Следует отметить, что у Лермонтова и Столыпина в Царском Селе собирались молодые офицеры, на которых поэт и его родственник «имели большое влияние». «Влияние их действительно нельзя было отрицать, — про-

должает Лонгинов,— очевидно, что молодежь не могла не уважать приговоров, произнесенных союзом необыкновенного ума Лермонтова, которого побаивались, и высокого благородства Столыпина, которое было чтимо, как оракул». Оказывается, великий князь Михаил грозился, что «разорит это гнездо», то есть уничтожит эти «сходки в доме», где жили поэт и Столыпин. Можно представить себе эти «сходки», на которых верховодил Лермонтов, автор «Смерти Поэта», поклонник Пушкина и Байрона! Разумеется, на этих «сходках» говорили не только о гусарской службе и радении на парадировках.

Прошу обратить внимание на следующее: Лермонтов почти неразлучен со Столыпиным-Монго. Монго дважды был секундантом на дуэлях поэта. Следовательно, дважды ничего не сделал для того, чтобы удержать любимого друга от смертельной опасности. А мог бы! Чего уж тут греха таить!

Вы, конечно, помните о пылкой юношеской любви Лермонтова к Вареньке Лопухиной. Он очень любил ее.

Летом 1838 года она с мужем выехала за границу. И была проездом в Петербурге. Варенька дала знать о себе Шан-Гирею, который тотчас же известил об этом Лермонтова. На сей раз поэт оказался именно в Царском Селе. Как нарочно!

Сам Шан-Гирей поскакал к Вареньке и описал встречу с нею: «Боже мой, как болезненно ждалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней Вареньки!..»

Итак, Беатриче прибыла в Петербург. Гонец скачет в Царское Село за поэтом. Шан-Гирей ведет с нею ничего не значащую беседу. И ждет Лермонтова.

Но где же поэт? Почему не мчится он сюда на своей великолепной лошади? Почему мешкает? Кто сможет ответить на эти вопросы? Может быть, его не смогли отыскать? Не отпустило начальство? Или был сердит на нее, на милую Вареньку, вышедшую замуж за другого? Непонятно. Свидание, как видно, не состоялось. Но спустя два года он посвятит ей свое знаменитое произведение «Валерик».

Шан-Гирей с горечью пишет: «Это была наша последняя встреча; ни ему, ни мне не суждено было ее больше видеть. Она пережила его, томилась долго, и скончалась, говорят, покойно, лет десять тому назад» (Висковатов установил дату кончины Вареньки — 1851 год).

Она уехала за границу. Но что теперь могла дать одна встреча с Бахметевой, урожденной Лопухиной? Радость? Разочарование? Для чего? Во имя чего? В «Валерике» поэт не может скрыть своей обиды. Но на кого обида? Он говорит: «Я к вам пишу случайно: право, не знаю как и для чего».

Наверное, не знал он и в тот весенний петербургский день, «для чего» нужна эта встреча с Варенькой. Не знал. Потому и не приехал...

А может, он все-таки увидел ее? Кто знает...

Менее драматично завершилось его «светское» увлечение Екатериной Сушковой. Она выходила замуж, и Лермонтов решил присутствовать на ее свадьбе, хотя, кажется, и не был приглашен. Историк Михаил Семейский передает со слов Сушковой (в замужестве Хвостовой), что Лермонтов в церкви плакал. Как ей казалось, от досады. Но вот Шан-Гирей, который тоже присутствовал в церкви, утверждает, что он был «напротив, в весьма веселом настроении». А в доме жениха, говорят, поэт рассыпал соль из солонки на пол и сказал: «Пусть новобрачные ссорятся и враждуют всю жизнь». Разумеется, это была всего лишь веселая «шалость».

С этого дня Лермонтов был совершенно «свободен».

Всего под несколькими стихотворениями Лермонтова стоит дата «1838». Правда, среди них такие, как «Поэт» и «Дума». Помните? «Отделкой золотой блистает мой кинжал: клинок надежный, без порока; булат его хранит таинственный закал — наследье бранного востока...» А это? «Печально я гляжу на наше поколение! Его грядущее — иль пусто иль темно...»

В следующем году написал он «Беглец» (горскую легенду). Легенд на Кавказе — множество. Так какую же легенду выбрал Михаил Лермонтов?

«Гарун бежал быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла». Гарун оставил поле битвы. Он трусливо бежал, а отец его и братья пали в бою, как герои. «Я твой Гарун, твой младший сын; сквозь пули русские безвредно пришел к тебе...» — так говорит Гарун матери. Но труса мать не пускает домой: «Ты раб и трус, а мне не сын!» Тот, кто изменил своему долгу, — не достоин ни жалости, ни тем более — любви. Даже материнской. И Гарун погиб. Он кончил свою жизнь ударом кинжала под окнами отчего дома. «И тень его в горах Востока поныне бродит в темную ночь...»

В этой мужественной и высокой кавказской поэме с большой силой раскрыта нравственная сила горской души. Так живописал Лермонтов тех, против кого восстанавливала его царская власть. Нет, поэт знал, что писал!

Но это была всего лишь зримая часть работы поэта. Он думал над своим романом, над произведением, которому было суждено открыть новую эру в русской прозе. «Героя нашего времени» писать было и легко, и невероятно трудно. Легко, потому что он как бы видел перед собой жизнь, которую собирался описать. Он прекрасно «знал» Бэлу, Казбича, Азамата, Максима Максимыча, Вулича, таманских контрабандистов, Веру, Мэри и, наконец, самого Печорина. Он гулял с ними на водах, встречался на станциях в предгорьях и горах Кавказа, пил воду вместе с ними в Пятигорске, Кисловодске и Железноводске. Знал всю их подноготную. Однако историческая задача, которую поставила перед ним сама жизнь, требовала особой прозы, особой психологической глубины. Лермонтову уже нельзя было писать даже так, как Пушкину. Где же в противном случае оказалась бы художественная самостоятельность? Нельзя было еще и по той причине, что Печорин рисовался слишком сложным человеком. Кто бы смог описать его знакомым слогом романов начала девятнадцатого века, когда еще не были изжиты литературные традиции прошлого столетия? Прав был Борис Эйхенбаум, когда писал, что «после «Героя нашего времени» становится возможным русский психологический роман...» И еще: «Нужно было подвести итог классическому периоду русской поэзии и подготовить переход к созданию новой прозы. Этого требовала история — и это было сделано Лермонтовым».

Лермонтов работал в 1838 году очень много. И не мог не работать. Наввно думать, что такое произведение, которым будут зачитываться даже спустя полтора века, писалось просто так, между делом и от нечего делать. И мог ли человек, создавший этот роман, оставаться ровным, спокойным и не гореть? Нет, разумеется. Отсюда и те «странности» характера, которые отмечают многие его друзья. Попробуйте не быть странным, оставаться всегда «самим собою» и писать «Героя нашего времени»...

Но не только «Герой нашего времени». Одновременно Лермонтов переделывал (уже в который раз!) своего «Демона». Это, несомненно, было его любимое детище. Вот уже восемь лет не давало оно ему покоя. Поэт хотел, чтобы поэма зажила полной жизнью. Требовалось вдохнуть в нее именно жизнь. Что поэт и делал с величайшей настойчивостью и беспримерным мастерством. Он сближал небо с землей. И это сближение должно было быть убедительным, зримым и прекрасным.

Лермонтов уверенно шел к литературной вершине. Преодолевая труд-

ности, словно в горах при восхождении. Буйно кипела молодая кровь, а на лбу уже обозначились морщины много пожившего и много передумавшего человека.

Но как бы ни трудился Лермонтов над своими произведениями, он продолжал жить полной жизнью. Может быть, даже слишком полной. Но что делать? Уж таков он был и едва ли кто-либо смог бы изменить его.

И все это время Лермонтова тревожит судьба опального Раевского. Лермонтов уже дома, в Петербурге, а Святослав все еще в ссылке! «Я слышал здесь,— пишет Лермонтов своему другу,— что ты просился к водам, и что просьба препровождена к военному министру, но резолюции не знаю...» Лермонтов просто не знал, что примерно за неделю до его письма Раевскому разрешили приехать в Петербург, чтобы мог он направиться затем «к водам морским в Эстляндии».

Лермонтов сообщает Раевскому, что «роман, который они вместе начали писать — «Княгиня Лиговская», — затянулся и вряд ли кончится, ибо обстоятельства... переменились...» «Писать не пишу,— заявляет он,— печатать хлопотно, да и пробовал, но неудачно». «Ученье и манёвры производят только усталость...»

Действительно, Лермонтов все еще мало печатается. Все еще не торопится. Что значит — «хлопотно»? Завезти рукопись к Краевскому — хлопотно? Признаться, не совсем ясен смысл этого заявления.

Михаил Лермонтов посещает литературные салоны, бывает на вечерах, где собираются любители русской словесности. И, разумеется, во все не чурается «большого света». Он не упускает ни малейшей возможности, чтобы побывать на светских приемах. И чем значительней он, прием этот, тем охотнее появляется на нем Лермонтов. Хотя прекрасно знает цену «большому свету», хотя настроен он весьма критически ко всей этой чванливой публике.

Я хочу еще раз привести описание наружности поэта, относящееся к этому периоду. Сделано оно Иваном Панаевым: «Наружность Лермонтова была очень замечательна. Он был небольшого роста, плотного сложения, имел большую голову, крупные черты лица, широкий и большой лоб, глубокие, умные и пронзительные черные глаза, невольно приводившие в смущение того, на кого он смотрел долго».

Я буду и дальше приводить воспоминания современников поэта. Их можно было бы избежать, если бы достались нам хотя бы не очень четкие дагерротипы. К сожалению, фотография в то время только-только зарождалась и, кажется, не шла далее отдельных, хотя и удачных, опытов.

Панаев приводит в своих воспоминаниях такой случай: «Языков сидел против Лермонтова. Они не были знакомы друг с другом. Лермонтов несколько минут не спускал с него глаз. Языков почувствовал сильное нервное раздражение и вышел в другую комнату, не будучи в состоянии вынести этого взгляда».

О глазах, о тяжелом взгляде поэта писали многие. Не думаю, чтобы приятель Панаева М. А. Языков (не путать с поэтом Н. М. Языковым) очень уж заинтересовал Лермонтова, притом настолько, что последний буквально не спускал с того глаз. Не вернее ли предположить, что поэт думал о своем и что «на пути его взгляда» случайно оказался Языков? Мне кажется, что от человека, который задумывал «Героя нашего времени», можно ожидать и не таких еще «странностей». Правда, я не считаю, что великие писатели должны непременно проявлять какую-либо «странность». Но разве углубиться в самого себя, в свои мысли даже на

людях — такая уж это странность? Очень хорошо сказал о людях гениальных Сомерсет Моэм. Их он считал вполне нормальными, а всех прочих — отклонением от нормы.

Лермонтов писал Марии Лопухиной: «Я пустился в большой свет. В течение месяца на меня была мода, меня наперерыв отбивали друг у друга... Самые хорошенькие женщины добиваются у меня стихов и хвалятся ими, как триумфом».

Поэт, казалось бы, на вершине славы. Он желанный гость даже там, куда его прежде не пускали. Тщеславие и самолюбие вполне удовлетворены. Лермонтов пишет совершенно откровенно об этом: «...Потому что я ведь тоже лев, да! я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы». Что же дальше? Может быть, так и плыть по этому «большому» течению светской жизни? К счастью, поэт этого не думает. Он недвусмысленно признается: «Я начинаю находить все это несносным». Ему снова хочется на Кавказ. Но на Кавказ, говорит поэт, не разрешили. «Не хотят даже, чтобы меня убили».

Как бы тесно ни был связан Лермонтов со «светским» обществом, с дворянством, которое в общем верховодило в этом обществе, поэт чувствует свое отчуждение. Он все-таки воитель, он все-таки непримирим с «жадной толпой, стоящей у трона». Как бы тесно ни связывала их общая пуповина — поэт не может найти общего языка с этими людьми, заполняющими великосветские салоны. Он угрюм, он нелюдим, у него дурной характер, он несносен... Но все это имеет прямое отношение только к его врагам, с которыми нет у него общих идеалов. И, наверное, никогда не будет, ибо чем дальше, тем «несноснее» становился характер поэта.

Краевский редактировал «Отечественные записки». С ним очень хорошо был знаком Михаил Лермонтов. Краевский первым напечатал поэта, сохранил многие его рукописи, рисунки и даже некоторые вещи, подаренные ему поэтом. (Я мельком уже говорил об этом.) Он достоин того, чтобы сказать о нем доброе слово, памятуя, что без хорошего, умного издателя писатель едва ли многого стоит. Особенно в наше время. Может быть, это сказано слишком сильно, но надеюсь, мои коллеги поймут меня.

Лермонтов — частый гость в кабинете Краевского. Он привозит сюда новые стихи. Он увозит отсюда новые, только что вышедшие книжки «Отечественных записок». В этом журнале принимали деятельное участие сам Белинский и многие видные литераторы того времени.

Панаев оставил нам описание одного случая. Случай этот очень любопытен. С одной стороны, он свидетельствует о творческой силе поэта, с другой — о мудрости его редактора. Я понимаю, что и то и другое имеет свои границы, но тем не менее...

Однажды утром заехал Лермонтов к Краевскому и привез ему новое стихотворение, которое начинается словами: «Есть речи — значенье темно иль ничтожно...» Я думаю, что многие знают наизусть это удивительнейшее произведение русской поэзии. Оно свидетельствует о гениальности его автора, а также о величайших возможностях русского языка. Это стихотворение нельзя постигнуть только разумом. Восприятие его должно идти и через сердце. Оно входит через вашу душу. И, не осознав еще полностью его великолепия и глубины, вы уже пьяны им и оно уже навсегда с вами. Таковы эти удивительные стихи.

Лермонтов прочел стихотворение Краевскому. Оно слишком лаконично, чтобы не привести его полностью. «Есть речи — значенье темно иль ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Как полны их звуки безумством желанья! В них слезы разлуки, в них трепет свиданья. Не встретит ответа средь шума мирского из пламя и света рожденное

слово; но в храме, средь боя и где я ни буду, услышав, его я узнаю повсюду. Не кончив молитвы, на звук тот отведу, и брошусь из битвы ему я навстречу». Вот и все!

Лермонтов будто бы прочитал и ждал, что же скажет Краевский. И спросил нетерпеливо:

— Ну что, годится?..

— Еще бы! Дивная вещь.

Так ответил Краевский. Но у него было замечание. Всего одно: почему «из пламя и света», когда надо бы из «пламени и света»? Согласно грамматике.

Лермонтов задумался. Сел в сторонке. Взял перо. Но так ничего и не придумал. И сказал:

— Нет, ничего нейдет в голову. Печатай так, как есть. Сойдет с рук...

И Краевский напечатал. И представьте себе: сошло-таки с рук!

Лермонтов в редакции «Отечественных записок» встречается с Белинским. И не раз. А познакомились они еще на Кавказе, в Пятигорске, у Н. М. Сатина. Это было в 1837 году.

Однако Виссарион Григорьевич так и не раскусил тогда Лермонтова. И это просто удивительно. Не потому не раскусил, что плохо разбирался в людях, а потому, что Лермонтов претерпевал удивительные метаморфозы на пути от письменного стола к собеседнику.

Панаев пишет, что «Белинский пробовал было не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило...»

Белинский становился в тупик.

— Он, кажется, нарочно шеголюет светскою пустотою,— говорил великий критик.

О Лермонтове не только судачат в петербургских салонах. Его хорошо знают литераторы. Его рукописные стихи читают студенты и разночинцы. Слава поэта идет по столице и выходит далеко за ее пределы. Разносят ее умные и просвещенные люди.

Василий Жуковский едет по железной дороге из Царского Села в Петербург с Виельгорским и читает по дороге «Демона» (еще неизданного). Записывает в своем дневнике: «5 ноября 1839, воскресенье. Обед у Смирновой. Поутру у Дашкова. Вечер у Карамзиных. Князь и княгиня Голицыны и Лермонтов». Панаев замечает: «Лермонтов по своим связям и знакомствам принадлежал к высшему обществу и был знаком только с литераторами, принадлежавшими к этому свету, с литературными авторитетами и знаменитостями».

Да, верно, принадлежал к высшему обществу.

И не принадлежал.

«...Великий князь за неформенное шитье на воротнике и обшлагах вицмундира послал его под арест прямо с бала, который давали в ротонде царскосельской китайской деревни царскосельские дамы офицерам расположенных там гвардейских полков (лейб-гусарского и кирасирского), в отплату за праздники, которые эти кавалеры устраивали в их честь. Такая нерадивость причитывалась к более крупным проступкам Лермонтова и не располагала начальство к снисходительности в отношении к нему, когда он в чем-либо попадался».

Так пишет уже знакомый нам Лонгинов. И этот холодный, «беспристрастный» тон в его словах мне вполне понятен, если учесть, что именно Лонгинову принадлежит фраза: «Лермонтов был очень плохой служака». (Мы ее уже приводили.)

Но вот в декабре 1839 года его императорское величество отдает такой приказ: из корнетов — в поручики Лермонтова. И это за «ревность и прилежание» в службе.

Так кто же все-таки прав: Николай I или Лонгинов? Во всяком случае, ясно одно: первый живой поэт России Михаил Юрьевич Лермонтов наконец-то удостоен чина поручика.

А великий поэтический «чин»? Как же быть с ним? Это ему просто припомнят, когда снова сошлют в ссылку. Еще раз на Кавказ. В самую войну. Где черкесская пуля грозила сразить в зарослях кавказского предгорья...

Иван Сергеевич Тургенев знал Лермонтова. Сохранилось описание внешности поэта, принадлежащее его перу. Его нельзя не привести — столь оно выразительно и относится к тому периоду в жизни поэта, который мы сейчас рассматриваем. Вот оно, это описание:

«В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детских нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий... Внутренно Лермонтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втокнула судьба. На бале Дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза...»

Все это понятно, ибо речь идет не просто о гусарском офицере, но о поэте знаменитом. Это ему, поэту, не давали покоя пискливые маски.

Тургенев предположил, что, видимо, именно в эту минуту поэт задумывал свои поэтические произведения. В то время, когда ему не давали покоя. Когда казалось, что он особенно нелюдим и угрюм.

Евгений Баратынский расценил эти черты характера по-своему. «Что-то нерадушное, московское», — отметил он. «Человек без сомнения с большим талантом». Эти слова тоже принадлежат Баратынскому, поэту, другу Пушкина.

Лермонтов влюбляется в княгиню Марию Алексеевну Щербатову, урожденную Штерич. И не мудрено: красивая украинка могла пленить хоть кого. Об этом увлечении поэта по столице ходили даже анекдоты. Не удивительно: и Лермонтов и Щербатова слишком были на виду.

Поэт посвятил ей одно из своих замечательных стихотворений. Оно начинается так: «На светские цепи, на блеск утомительный бала цветущие степи Украйны она променяла...»

Насколько мне известно, Щербатова была последней любовью Лермонтова на милом севере. А может быть, по силе чувства — последней вообще.

Будучи на Кавказе, Лермонтов прислал свои стихи Краевскому. В 1837 году было напечатано стихотворение «Бородино». В 1838 году в условиях беспрерывных странствий по горам и долам Лермонтов окончательно обратился «Песню о купце...», которая была напечатана только после вмешательства Жуковского за подписью «— вЪ». Висковатов пишет по этому поводу: «Гр. Уваров, гонитель Пушкина, оказался на этот раз добрее к преемнику его таланта и славы... Все-таки разрешил печатание».

Когда же Краевский стал редактировать «Отечественные записки», выход которых возобновился 1 января 1839 года, Лермонтов сделался одним из активных авторов. В них он напечатал все свои основные прозаические произведения. Во второй и четвертой книжках появились «Бэла» и «Фаталист». Печатая «Фаталиста», «Отечественные записки» сообщали от себя: «С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М. Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издаст собрание своих повестей и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе».

Вскоре к великим прозаическим творениям Гоголя и Пушкина присоединился «Герой нашего времени». Русская проза решительно продвинулась вперед, обретя большую психологическую глубину и утонченность.

Лермонтов столь же велик в прозе, сколь и в поэзии. Юрий Барабаш пишет: «Именно с Лермонтовым связано зарождение в русской литературе того направления, того течения, которое я условно назвал бы «неэвклидовым» и которое представлено Гоголем и Достоевским, я имею в виду лермонтовский напряженнейший драматизм, трагические противоречия, если угодно — даже изломы души, его огромную тягу к гармонии, цельности, чистоте (вспомните «Когда волнуется желтеющая нива...») и, вместе с тем, несомненную дисгармоничность его художественного и нравственного мира...»

Наряду с прозой, точнее, вместе с прозой, Лермонтов публиковал и стихи. Почти регулярно. О «Думе», написанной в это время, Белинский сказал следующее: «И кто же из людей нового поколения не найдет в нем разгадки собственного уныния, душевной апатии, пустоты внутренней и не откликнется на него своим воплем, своим стоном?» Это замечательная оценка! Есть еще одна оценка лермонтовской поэзии, данная Фридрихом Боденштедтом. Трудно пройти мимо нее, и я хочу привести ее здесь, хотя к автору ее мы еще вернемся. Вот она: «...Неопределенные теории и мечтания были ему совершенно чужды; куда ни обращал он взор (а), к небу ли, или к аду, он всегда отыскивал прежде твердую точку опоры на земле...» Боденштедт знал Лермонтова при жизни, хорошо понимал его поэзию и его поэтическую натуру.

Если до 1838—1839 года Лермонтова сравнительно мало еще знала читающая публика, то после этих двух лет она близко познакомилась с ним по журнальным публикациям в пушкинском «Современнике» и «Отечественных записках».

Великолепным посредником в этом благородном деле был Краевский.

Стихи и проза поэта уже попадали в руки читателя. Конечно, мы должны ясно представить себе масштабы тех времен, когда тираж в несколько тысяч экземпляров считался вполне приличным. И тем не менее в России очень был велик интерес к поэзии. И самыми различными каналами, — среди которых важной была изустная информация, — сведения о поэтах и их произведениях проникали к широким слоям «читающей публики».

Я полагаю, что при всем критическом самоанализе Лермонтов хорошо понимал, кто он в русской поэзии. Он не мог не понимать. Отношение к нему Гоголя, Жуковского, Белинского и многих других корифеев русской литературы не должно было оставить в душе поэта никакого сомнения. Мне кажется, такие слова, как «преемник славы Пушкина», Лермонтов мог слышать не раз.

Стало быть, говоря по-нынешнему, ответственность его перед самим собой, перед собственным творчеством должна была повыситься. Я это в том смысле, что такой человек чуточку, — хотя бы чуточку, — должен побережь себя ради любимого дела, ради родной литературы. Однако Лермонтов был слишком самим собой, чтобы беречь себя. Чего не было — того не было! Мы с вами сию минуту явимся свидетелями того, как слава

поэтическая ничуть не сдержала взрывчатый характер и поведение поэта. Все осталось по-прежнему.

Муза в ответственные минуты «бытовых» перипетий слишком удалялась от Лермонтова.

Первая дуэль

Что такое дуэль?

Двое недовольных друг другом мужчин берут в руки кухонрейтеры и stanовятся у «барьеров». «Барьеры» могут быть на расстоянии десяти или пятнадцати шагов. По команде секундантов целят друг в друга и — стреляют. «Когда рассеется дым» — будет виден результат дуэли: кто убит, кто ранен или промахнулись оба...

Особо жесткие условия дуэли описаны в «Герое нашего времени». Я напомним о них. Печорин говорит Грушницкому и его секундантам: «Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом даже легкая рана будет смертельна: это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов». Итак, даже не десять, а шесть шагов! Расстояние, по-видимому, зависело от ожесточения противников.

Но дрались не только «на пистолетах». А шпаги? А сабли? Они тоже были в ходу. И достались они в наследство от времен д'артаньяновских. Если не ошибаюсь, именно от удара шпаги погиб на дуэли знаменитый французский математик Эварист Галуа. Это случилось с ним в двадцать один год. Все основные свои открытия он успел сформулировать в письме к другу за несколько часов до гибели...

В то время, которого касается наш рассказ, дуэли в России официально были запрещены. И тем не менее неугомонные и горячие головы продолжали стреляться и колотиться. Приятно смотреть на подобное зрелище в кинотеатрах или читать у Дюма, но в жизни это, несомненно, было одной из форм изуверства и «законного» убийства. Мне грустно оттого, что приходится рассказывать о дуэли, в которой принял участие великий Лермонтов.

Дело обстояло так.

16 февраля 1840 года на балу у графини Лаваль произошло сакральное объяснение между Лермонтовым и сыном французского посланника в Петербурге Эрнестом де Барантом. Будто бы они оба ухаживали за графиней Щербатовой, причем счастье, кажется, повернулось лицом к Лермонтову. Молодая вдова благоволила к поэту. Особенно на балу у графини Лаваль. И это взорвало Баранта. Шан-Гирей пишет об этом так: «...Он подошел к Лермонтову и сказал запальчиво: «Вы слишком пользуетесь тем, что мы в стране, где дуэль воспрещена».

Лермонтов не раздумывая отвечает французцу (по словам Шан-Гирея):

— Это ничего не значит, я весь к вашим услугам.

Сам Лермонтов объясняет ссору в письме генерал-майору Плаутину таким образом: «...Господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет будто мною сказанного; я отвечал, что всё ему переданное несправедливо, но так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. На колкий его ответ я возразил такою же колкостью, на что он сказал, что если б находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело. Тогда я отвечал, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы

меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. Он меня вызвал, мы условились и расстались».

Лермонтов, несомненно, понимал истинную политическую подоплеку дуэли. Он знал, что отец этого Баранта (обратите внимание — тоже посол!) выяснял в свое время, кого имел в виду Лермонтов в стихотворении на «Смерть Поэта» — одного ли Дантеса или «французов вообще». Лермонтов все это понимал и горячо выступил в защиту русской национальной чести. Он и не мог тут отступать.

Это случилось в среду. В четверг встретились секунданты. А в воскресенье дрались за Черной речкой.

Имеются материалы военно-судного дела, показания Лермонтова и Столыпина. Столыпин-Монго сообщал графу Бенкендорфу: «Несколько времени перед сим, л. г. гусарского полка поручик Лермонтов имел дуэль с сыном французского посланника барона де Баранта. К крайнему прискорбию моему, он пригласил меня, как родственника своего, быть при том секундантом. Находя неприличным для чести офицера отказаться, я был в необходимости принять это приглашение. Они дрались, но дуэль кончилась без всяких последствий».

Существует версия, что будто бы были приняты все меры для примирения дуэлянтов, но безрезультатно.

Какие же это меры? Кто принимал? Все это глухо доносится до нас из мглы полутора столетий.

Что же касается «последствий» дуэли — они все-таки были: именно после дуэли Лермонтов снова оказался на Кавказе. Он уехал туда в ссылку, навстречу своей смерти.

Лермонтов прямо с Черной речки приехал к Краевскому. В воскресенье 18 февраля. Показал царяпину. Панаев вспоминает: «Лермонтов в это утро был необыкновенно весел и разговорчив. Если я не ошибаюсь, тут был и Белинский».

А что было за Черной речкой?

Лермонтова и Столыпина-Монго встретили Барант с его секундантом графом Раулем д'Англес. Положили драться на рапирах. «Дело» шло вяло. Наконец француз оцарапал Лермонтова ниже локтя. «Монго продрог и бесился». Стояли по колени в мокром снегу. Лермонтов попал острием в рукоятку рапиры Баранта, и рапира сломалась. Тогда принялись за пистолеты, поскольку один из дуэлянтов оказался безоружным. «Тот выстрелил и дал промах, — весело рассказывал Лермонтов Шан-Гирею, — я выстрелил на воздух, мы помирились и разъехались, вот и всё».

А если бы «не дал промаха»? Ведь бывало же и так? Например, 15 июля 1841 года...

Словом, Лермонтова арестовали. Содержался он в ордонанс-гаузе на Садовой улице. Кстати, это было недалеко от его квартиры.

18 апреля Александра Смирнова пишет Жуковскому: «Знаете ли вы, что Лермонтов сидит под арестом за свою дурацкую болтовню и неосторожность?.. до сих пор, еще дела его плохи... Софья Николаевна за него горой и до слез, разумеется». (Софья Николаевна Карамзина, дочь известного историка.)

Бабушка на ту пору была больна. Своим поступком Лермонтов явно не содействовал ее поправке.

В ордонанс-гауз никого не пускали — тюрьма все-таки. Но Елизавета Алексеевна добилась, чтобы разрешили Шан-Гирею навещать ее внука. Арестант не падал духом, читал стихи — например Шенье, Гейне и других, — играл в шахматы. Писал и сам стихи. Шан-Гирей указывает, что «Соседка» верно передает тюремную обстановку. На самом деле

была соседка — дочь, притом хорошенькая, унтер-офицера. Лермонтов переговаривался с нею через решетку.

Именно в ордонанс-гаузе на Садовой произошла встреча с Белинским. Знаменитый критик навестил любимого поэта. Из сердца его до сих пор не испарился неприятный осадок от первой встречи с Лермонтовым в Пятигорске.

Чего ждал от этой встречи Белинский? Была ли это с его стороны простая вежливость? Или не мог он не повидать человека в беде, человека, чей талант был нужен русской литературе?

Опасался ли Белинский, что и на этот раз испытает чувство неудовлетворенности от встречи с Лермонтовым? Трудно сказать. Скорее всего, что да. Но не пойти он не мог, ибо в ордонанс-гаузе была заперта надежда — великая надежда — русской литературы!

Словом, Белинский проник к Лермонтову. Вернувшись, он рассказывал Панаеву:

— Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая?.. Я, признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтере-Скотте... Я смотрел на него — и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою... В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. И он перешел от Вальтера-Скотта к Куперу... Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему...

Вот вам не какое-нибудь там царское или генеральское мнение о Лермонтове, но мнение самого Белинского. Можно ли сказать о человеке лучше и тоньше! Надо ли приводить еще какие-либо свидетельства о Лермонтове-человеке?!

Лермонтову в это время шел двадцать шестой год, а Белинскому было всего тридцать!

Лермонтов все еще сидел в ордонанс-гаузе. Бабушка болела, и болезнь ее усугубилась тревогою за судьбу внука. Шан-Гирей по-прежнему навещал Лермонтова, шахматные игры продолжались. Хотя бабушка и лежала, но тем не менее через своих знакомых делала все возможное для Михаила.

Военно-судное дело к весне закончилось и воспоследовало высочайшее решение: поручика Лермонтова сослать на Кавказ с переводом в армейский полк.

Что это значило? Изгнание — раз, тяготы армейской жизни плюс фронтная обстановка плюс горские пули — два. Довольно суровое наказание для первого живого поэта России, только недавно вернувшегося из ссылки. А ведь современники писали: «Дуэль не имела дурных последствий». Может быть, эту главу можно было бы назвать так: «Первая и последняя дуэль»? Но мы-то знаем, что была и вторая. Последняя. И умер Лермонтов вовсе не от «черкесской пули», как ему многие пророчили. Смертоносная рука оказалась ближе — в собственном стане!

Жизнь поэта текла своим чередом, и слава его неслась и жила — своим. В этом одна замечательная особенность настоящей поэзии: человек умирает, но песни его остаются и живут.

Весною сорокового года в печати появились новые стихи Михаила Лермонтова, а главное — вышли первым изданием его «повести». Они имели огромный успех: Лермонтов вознесся на самую высокую вершину литературного признания.

Как всегда, немедленно откликнулся Белинский. Он писал своему другу Василию Боткину: «Вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь... О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!.. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит «Онегина».

В другом месте Белинский пишет о Лермонтове тому же Боткину: «Он славно знает по-немецки и Гёте почти всего наизусть дует. Байрона режет тоже в подлиннике. К стати, дуэль его — просто вздор. Барант (салонный Хлестаков) слегка царапнул его по руке... Хочет проситься на Кавказ... Эта русская разудалая голова так и рвется на нож. Большой свет ему надоед, давит его...»

Цензурное разрешение печатать роман «Герой нашего времени» было дано 19 февраля 1840 года. А поступила книга (первое издание) в продажу 3 мая. Но еще до отъезда в Москву Лермонтов разослал своим друзьям свою книгу с надписями. Эти экземпляры, как видно, были авторские. А иначе он их не мог послать до 3 мая.

Белинский немедленно откликнулся на выход романа в свет. Он не мог не откликнуться. Не мог помедлить: не тот характер! И со всей страстью, всем пылом своей души великий критик выносит для всеобщего сведения свое суждение, которое навсегда останется образцом пристрастной объективности, образцом истины, если вообще можно говорить об истинах в литературе. «Наконец, среди бледных и эфемерных произведений русской литературы нынешнего года,— пишет Белинский,— произведений, из которых только разве некоторые имеют относительное достоинство, и только некоторые примечательны в отрицательном смысле,— наконец явилось поэтическое создание, дышащее свежеею, юною, роскошною жизнью сильного и самобытного творческого таланта». Сказано точно и, несомненно, с учетом перспективы развития русской прозы. Далекой перспективы. Насколько хватал человеческий глаз. Это было сказано в «Отечественных записках». В 1840 году. И критик, полагая, что речь только-только началась о «Герое нашего времени», обещает читателю: «в отделении «критики» одной из следующих книжек «Отечественных записок» читатели найдут подробный разбор поэтического создания г. Лермонтова». Критик сдержал свое слово, и теперь мы не мыслим исследования творчества Лермонтова без статей Белинского. Воистину великая критика, достойная великого поэта!

Творчество Лермонтова — по форме, по сути самой, по подходу к явлениям общественной жизни — очень близко нам, людям второй половины двадцатого века. Леонид Мартынов в беседе со мной высказал любопытную мысль, которую я сейчас приведу. Он сказал: «Я Лермонтова, как это ни странно, постиг через современную поэзию, через Маяковского конкретно. В школе, как это бывает обычно, во мне росла неприязнь к классикам, которых приходилось учить наизусть. Приобщившись к годам четырнадцати к поэзии Маяковского, я вдруг «обнаружил» Лермонтова. Обнаружив, я полюбил его и его поэзию. Она стала мне близкой, как современная мне поэзия в ее лучших образцах».

Сергей Наровчатов пишет: «Иллюзия смыкается с действительностью, и Лермонтов живет среди нас... Сам я, когда писал эти заметки, почти физически ощущал, что Лермонтов жив и я живу рядом с ним».

Итак, Лермонтов уезжает на Кавказ. Он прощается со своими друзьями. И в первую очередь, разумеется, с Андреем Краевским. А Панаева вспоминает: «У меня остался в памяти проницательный взгляд его черных глаз». Но не только. Далее мы читаем: «Лермонтов школьничал в кабинете Краевского, перевернул у него на столе все бумаги, книги на полках. Он удивил меня своей живостью и веселостью и насколько не походил на тех литераторов, с которыми я познакомилась».

Примерно в это же время Лермонтов говорит графу Владимиру Сологубу на балу у графа Ивана Воронцова-Дашкова: «Послушай, скажи мне правду, слышишь — правду. Как добрый товарищ, как честный человек... Есть у меня талант или нет?.. говори правду».

Как всякому артисту в высоком смысле этого слова — даже Лермонтову, — нужно было признание, нужна была похвала. Требовалось ему дружеское слово, хотя и сам все прекрасно понимал. Да, и Лермонтов не мог обойтись без такого слова!

Перед своим отъездом из Петербурга поэт заехал проститься к Софье Карамзиной. Здесь были его друзья. Именно здесь, в этом доме, написал он стихи «Тучи». Написал стоя у окна, глядя на тучи. «Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужною мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южную».

Висковатов, беседовавший с некоторыми участниками этого прощания, пишет: «Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглянул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажны от слез... Поэт двинулся в путь прямо от Карамзиных. Тройка, увозившая его, подъехала к подъезду их дома».

Так началась вторая ссылка Лермонтова на Кавказ. Апрельской порою 1840 года.

В Москве, проездом на Кавказ

Опять, значит, по «прямой, как палка, дороге». Едет, едет, едет Лермонтов. Не шибко и не медленно. Особенно торопиться некуда. Да и незачем. Лето с каждым днем вступает в свои права. А точнее сказать — весна в полном разгаре, ведь уже конец мая... Тосно, Чудово, Валдай, Вышний Волочек, Торжок, Тверь, Клин... Версты идут за верстами... День, ночь, день, ночь... Вот уж показалась Всехсвятская церковь... Скоро Москва...

Ехал по столбовой дороге провинившийся поручик Михаил Юрьевич Лермонтов. О чем думал он всю дорогу? Какие мысли посещали его? Чему улыбался в полудреме? Об этом мы можем только догадываться. Дневников он не вел. Ни для себя, а тем более — для потомства. Лермонтов жил, чтобы жить. По своему разумению. А не для того, чтобы оставлять «следы» для примечаний и комментариев академических сочинений.

Да, мы не знаем, о чем думал Лермонтов в эти дни. Но есть свидетельство Филиппа Вигеля. Он написал в Симбирск, что видел в Москве Лермонтова. «Ах, если б мне позволено было оставить службу, — сказал он мне, — с каким бы удовольствием поселился бы я здесь навсегда». Так якобы сказал поэт Вигелю. Мне кажется, что это близко к истине. А почему бы действительно не поселиться здесь Лермонтову, где он «родился, так много страдал, и там же был слишком счастлив»?

Что же делает поэт в Москве?

Навещает родственников, друзей и просто знакомых.

Его видят в великосветских салонах, в салонах литературных и просто салонов. И в ресторанах. В Яре, например. Я думаю, что в этом нет ничего особенного для молодого человека, обладающего достатком и вскоре готовящегося покинуть Москву. Покинуть, чтобы оказаться на «диком» Кавказе, где бог знает что может произойти с каждым. Тем более что идет война — нескончаемая, кровавая.

А. Мещерский вспоминает: «Лермонтов преприятный собеседник и неподражаемо рассказывал анекдоты».

«Вообще в холостой компании Лермонтов особенно оживлялся и любил рассказы, прерывая очень часто самый серьезный разговор какой-нибудь шуткой, а нередко и нецензурными анекдотами...»

Кто бы ни вспоминал Лермонтова, — в ком живо чувство юмора, — никто не говорит об оскорбительном тоне его речей. Только два-три человека в какой-то мере отмечают его язвительность. Да и те оговариваются, что Лермонтов тут же прекращал колкости и мигом извинялся, если замечал хотя бы подобие обиды на лице своего собеседника. Я хочу обратить особенное внимание именно на эту сторону его характера, ибо события двух-трех последних дней жизни поэта будут связаны с этой его чертой — действительной или выдуманной.

Можете вы представить себе Михаила Лермонтова оскорбляющим честь или достоинство своих друзей или просто собеседников? Того самого Лермонтова — автора «Маскарада», «Думы», «Смерти Поэта», «Героя нашего времени» и так далее, и так далее?

Думаю, что нет...

В Москве Лермонтов присутствовал на именинах Гоголя. Это любопытный момент. Гоголь счел нужным пригласить на обед молодого Лермонтова. Сергей Аксаков пишет в «Истории моего знакомства с Гоголем»: «Приблизился день имени Гоголя, 9-ое мая, и он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина... На этом обеде... были: И. С. Тургенев, князь П. А. Вяземский, Лермонтов, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессор Арамфельд и Редкин и многие другие... Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случился, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», и читал, говорят, прекрасно...»

А вот еще одно свидетельство, касающееся тех же именин. Оно принадлежит Юрию Самарину: «Я увидел его... на обеде у Гоголя... Это было после его дуэли с Барантом... Он узнал меня, обрадовался... Тут он читал свои стихи... Лермонтов сделал на всех самое приятное впечатление...»

Вот каким воспринимали его умные и проницательные люди. Это очень важное для нас обстоятельство. Его мы должны будем принять во внимание, когда вплотную подойдем к самому страшному событию в жизни поэта...

Гоголь, как это видно из вышеприведенных свидетельств, не только читал Лермонтова, но и знал его лично. Говорят, что и Пушкин читал Лермонтова, но в глаза не видел. Так же как Лермонтов Пушкина. Висковатов приводит высказывание Владимира Глинки о том, что якобы, прочитав некоторые стихи Лермонтова, Пушкин признал их «блестящими признаками высокого таланта». Белинский вскользь замечает, что Пушкин застал и якобы оценил талант Лермонтова. Все это, может быть, правда, но мы предпочли бы иметь на руках какое-либо письмо Александра Пушкина, адресованное, например, Краевскому.

Бывал в эти дни поэт и в доме Мартыновых в Москве. Имеются воспоминания князя Мещерского, в которых он описывает свою встречу с Лермонтовым в семье Мартыновых. (В это время сам Мартынов был на Кавказе.) Говорят, Мартынов перешел из гвардии в драгуны главным образом из-за великолепной кавалерийской формы. «Я видел Мартынова в этой форме,—пишет князь Мещерский,—она шла ему превосходно. Он очень был занят своей красотой...» Это любопытное замечание: «был занят своей красотой...» И это о мужчине, об офицере! И заметьте — ни слова об уме, о духовных способностях. И такое не только у князя Мещерского, но и во всех других воспоминаниях о Мартынове.

Однажды, войдя в гостиную Мартыновых, Мещерский «замечает среди гостей какого-то небольшого роста пехотного армейского офицера, в весьма нещегоольской армейской форме, с красным воротником без всякого шитья». Мещерский признается, что не обратил внимания на «бедненького офицера». Офицер, решил он, попал сюда, в «чуждое ему общество», совершенно случайно... Вечер шел своим чередом. «Я уже было совсем забыл о существовании этого маленького офицера,— продолжает князь Мещерский,— когда случилось так, что он подошел к кружку тех дам, с которыми я разговаривал. Тогда я пристально посмотрел на него и так был поражен ясным и умным его взглядом, что с большим любопытством спросил об имени незнакомца. Оказалось, что этот скромный армейский офицер был никто иной, как поэт Лермонтов». Надо отдать должное князю: он умел подмечать самое главное в человеке. И он точно уловил разницу в характере и поведении Лермонтова и Мартынова.

Поскольку о пребывании поэта в Москве весной 1840 года не так уж много свидетельств, остановимся еще на письме публициста Самарина и записи В. В. Боборыкина.

19 июня 1840 года Самарин пишет, что «часто видел Лермонтова за все время его пребывания в Москве». Вот его характеристика: «Это чрезвычайно артистическая натура, неуловимая и неподдающаяся никакому внешнему влиянию индифферентизма. Вы еще не успели с ним заговорить, он уже вас насквозь раскусил; он все замечает, его взор тяжел, и чувствовать на себе этот взор утомительно».

Это очень важное свидетельство, важное — в смысле своей документальности. Оно сделано не задним числом, не десять или двадцать лет спустя, когда Лермонтов вполне сделался тем, чем останется он в веках. Это впечатление человека моментальное и написанное ю горячим следом (19 июня 1840 года).

Трудно удержаться, чтобы не привести еще один отрывок из Самарина. Он пишет: «Этот человек никогда не слушает то, что вы ему говорите, он вас самих слушает и наблюдает, и после того, как он вполне понял вас, вы продолжаете оставаться для него чем-то совершенно внешним, не имеющим никакого права что-либо изменить в его жизни».

В «Трех встречах с Лермонтовым» Боборыкин говорит: «Не скрою, что глубокий, проникающий в душу и презрительный взгляд Лермонтова, брошенный им на меня при последней нашей встрече, имел немалое влияние на переворот в моей жизни, заставивший меня идти совершенно другой дорогой, с горькими воспоминаниями о прошедшем». А «прошедшее» — это мотовство, «беспутное прожигание жизни», поездки к цыганам и загородные гулянья. «В ту пору наш круг так мало интересовался русской литературой», — признается Боборыкин.

Даже из этих отрывочных свидетельств о поэте вырисовывается умный человек. Таким его запомнили те, кто встречался с ним в Москве весной 1840 года.

Лермонтов выехал из города очень грустный и, может быть, со смут-

ными предчувствиями надвигающейся беды. Впрочем, предчувствия эти никогда не оставляли поэта. Он побывает еще в любимой Москве. А покамест — на Кавказ.

Туда, к реке Валерик!

Мне хочется привести одно примечательное место из «Бэлы». Я имею в виду тот отрывок, где Печорин говорит о своем переводе на Кавказ. Вот он: «...Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями, — напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, — и мне стало скучнее прежнего...» Эти строки почти целиком можно отнести к самому Лермонтову.

Поэт прямой дорогой отправился под чеченские пули. Он не заезжал в Тарханы — бабушка оставалась до поры до времени в Петербурге. А что без бабушки Тарханы?

10 июня 1840 года Лермонтов прибыл в Ставрополь. Его назначили в Тенгинский полк. Товарищи полагали, что он появится в Анапе. Но дело решилось несколько иначе. М. Федоров пишет в «Походных записках на Кавказе» о Лермонтове: «К нам в полк не явился, а отправился в Чечню, для участия в экспедиции». Так на самом деле и было.

В Ставрополе поэта видел декабрист Николай Лорер. Лермонтов доставил ему из Петербурга письмо и книжку. Любопытно, что даже образованный Лорер мало что знал про Лермонтова. «...Он в то время, — пишет Лорер, — не печатал, кажется, ничего замечательного, и «Герой нашего времени», как и другие его сочинения, вышли позже». Сказать по правде, Лермонтов уже печатал некоторые свои вещи в «Современнике» и «Отечественных записках».

«Герой нашего времени» поступил в продажу 3 мая, и едва ли к середине июня «добрался» он до Ставрополя. А первый сборник стихов Лермонтова вышел только осенью. Поэтому неосведомленность ссыльного декабриста не кажется мне особенно предосудительной. «Из разговора с Лермонтовым, — вспоминает Лорер, — он показался мне холодным, желчным, раздражительным и ненавистником человеческого рода вообще...»

Что, собственно, странного в том, что «казалось» Лореру? Ведь это Лермонтов писал около того времени свою «Благодарность», обращенную к всевышнему: «За все, за все тебя благодарю я: за тайные мучения страстей, за горечь слез, отраву поцелуя, за месть врагов и клевету друзей; за жар души, растроченный в пустыне, за все, чем я обманут в жизни был... Устрой лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил». Это он, размышляя о жизни и смерти, писал в «Любви мертвеца»: «Что мне сиянье божьей власти! И рай святой? Я перенес земные страсти туда с собой!..» Это он говорил: «И скучно и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды...»

Его мысль залетала слишком высоко. Она парила вместе с Демоном над Кавказским хребтом. Страсти поэта накалялись и обжигали любого, кто прикасался к ним. Но бывало это все-таки в минуты особенные, редкие, я бы сказал. Он невольно продолжал играть ту, другую свою роль. Мало кто видел его в минуты вдохновения, когда он действительно был самим собой, то есть Поэтом. Лорер не был исключением. Не он первый, не он последний...

17 июня 1840 года Лермонтов подает первую весточку о себе с Кавказа. (Первую из дошедших до нас.) В Ставрополе стоит жара. Поэту

невмоготу. И он обрывает свое письмо выразительным: «Ужасно устал... Жарко... Уф!»

Письмо адресовано Лопухину. Информация, содержащаяся в этом письме, очень любопытна: «Завтра я еду в действующий отряд, на левый фланг, в Чечню брать пророка Шамиля...» И далее шутливо: «...Надеюсь не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе по пересылке. Такая каналья этот пророк!» Выясняется, что по дороге в Ставрополь поэт останавливался в Черкасске у генерала Михаила Хомутова, прожил у него три дня и побывал в театре.

«Что за феатр! — восклицает Лермонтов. — Об этом стоит рассказать: смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед твоим носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо — ничего не видишь, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе лицейстера...» В пятнадцати — двадцати строках дана великолепная картина затхлого провинциального театра: ничего лишнего, все точно, все определено, сжато до предела, очень колоритно. Я бы на примере этого письма учил молодых людей тому, что есть художественная литература и что «краткость — сестра таланта». Лучшего образчика прекрасной прозы и сыскать невозможно!

Итак, Лермонтов отправился под чеченские пули.

Отряд под командованием генерала Аполлона Галафеева вышел из крепости Грозной и направился в Чечню. «Журнал военных действий», который якобы вел Лермонтов, дает некоторое представление об отряде и самом «деле».

Сначала об отряде. Он состоял из «двух батальонов пехотного его светлости, одного батальона Мингрельского и трех батальонов Куринского егерского полков, двух рот сапер, при 8-ми легких и 6-ти горных орудиях, двух полков Донских казаков, № 37 и 39-го и сотни Моздокского линейного казачьего полка...» В общем, для действий в горах — сила немалая.

На рассвете 6 июля отряд переправился через реку Сунжу и вскоре вошел в ущелье Хан-Кала. Ближайшей целью его был аул Большой Чечен.

Отряд должен был вести действия истребительного характера: жечь посевы, разрушать аулы, уничтожать сады, убивать горцев. Весьма поощрялось «предание брошенных аулов пламени». Судя по победным реляциям, поставленные задачи выполнялись успешно: повсюду кровь, пепел, запустение. За собою отряд оставлял кладбищенскую тишину и мертвенность.

Вот, например, запись 7 июля: «Отряд, сжегши деревню Дуду-Юрт, следовал далее через деревню Большую Атагу к деревне Чах-Гери... Желая дать отдых кавалерии, которая... в этот день была занята истреблением засеянных полей до самого Аргунского ущелья... я решился переночевать в Чах-Гери». (Рассказ идет от лица генерала Галафеева.)

Деревня «Ашпатай-Гойта... мгновенно была занята и неприятель выбит из оной штыками... Деревня при уходе войск была сожжена...»

В этих боях отличились полковник барон Врангель, полковник Фрейтаг, лейб-гвардии поручик граф Штакельберг. И, разумеется, сам генерал-лейтенант Галафеев.

«9 июля. Войска дневали в лагере при Урус-Мартани. Чтобы воспользоваться этой дневкой, я утром послал восемь сотен донских казаков при двух конно-казачьих орудиях для истребления полей и сожжения деревни Таиб...»

«10 июля. Во время следования малые неприятельские партии вы-

теснены были из деревень Чурик-Рошни, Пешхой-Рошни, Хажи-Рошни и деревни эти сожжены, а принадлежащие им посевы истреблены совершенно...»

И так далее, и тому подобное...

И вот, наконец, 11 июля 1840 года. В «Журнале» читаем: «Впереди виднелся лес, двумя клиньями подходящий с обеих сторон к дороге. Речка Валерик, протекая по самой опушке леса, в глубоких, совершенно отвесных берегах, пересекала дорогу в перпендикулярном направлении, делая входящий угол к стороне Ачхой...»

Это и есть та самая река Валерик, которую сделал знаменитой на всю Россию Михаил Лермонтов. На берегах речки и разгорелся бой с чеченцами. Лермонтов принимал в нем непосредственное участие. Рискуя головой. Как храбрый и исполнительный офицер. Но рядом с офицером шел в бой и сам поэт. И нам приятно узнать, о чем он думал в эти часы.

«Я жизнь постиг,— говорит Лермонтов в «Валерике».— Судьбе, как турок иль татарин, за все я ровно благодарен.. Быть может, небеса Востока меня с ученьем их Пророка невольнo сблизили...»

Так писал он, можно сказать, прямо на поле боя. В своем замечательном «поэтическом репортаже» с фронта боевых действий. Лермонтов, как и во всю свою жизнь, остался правдивым и здесь, на Валерике. В этой своей небольшой поэме он выступает как судья надо всем тем, что происходит под небом, «где места много всем». Вот что думает поэт, с грустью оглядывая поле боя: «Жалкий человек. Чего он хочет!.. небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он — зачем?»

Вот именно — зачем? И вопрос этот равно обращен к обеим сторонам. У Лермонтова нет к горцам никакой вражды. Нет желания победить во что бы то ни стало. Поэт размышляет, он судит человека, судит за то, что тот «один враждует».

А ведь жаль, очень жаль человека. Смотрите, как умирает он вдали от родных: «...Он умирал; в груди его едва чернели две ранки; кровь его чуть-чуть сочилась. Но высоко грудь и трудно подымалась, взоры бродили страшно, он шептал... «Спасите, братцы. Тащат в горы... Долго он стонал, но все слабей, и понемногу затих — и душу отдал Богу...»

Вот картина, списанная с природы,— набросок точный и страшный своей точностью: «Вон кинжалы, в приклады!» — и пошла резня. И два часа в струях потока бой длился. Резались жестоко, как звери, молча, с грудью грудь, ручей телами запрудили. Хотел воды я зачерпнуть... (И зной и битва утомили меня), но мутная волна была тепла, была красна...»

Самое главное в «Валерике» — это правда, жестокая, но истинная правда. Поэт разглядел в этом военном эпизоде нечто большее, чем просто страшный эпизод. Как неподкупный судья, как поэт человеколюбивый в высоком смысле слова — он в заключение предоставляет слово не кому-нибудь, но чеченцу, чьи сородичи стоят по ту сторону Валерика: «...Галуб прервал мое мечтанье, ударив по плечу; он был кунак мой; я его спросил, как месту этому названье? Он отвечал мне: «Валерик, а переверсть на ваш язык, так будет речка смерти»... «А много горцы потеряли?» «Как знать? — зачем вы не считали!» «Да! будет, — кто-то тут сказал, — им в память этот день кровавый!» Чеченец посмотрел лукаво и головою покачал».

Поручик видел дальше, значительно дальше, чем все генералы «левого фланга», вместе взятые. Его острый глаз проникал в такие тайники человеческой души, до которых могли добраться только люди избран-

ные, только «пророки», — одним из которых и был Михаил Юрьевич Лермонтов.

По поводу «Валерика» Константин Симонов пишет: «Главным уроком из Лермонтова для меня — и как для поэта и как для прозаика был и остался «Валерик». Вообще-то главный урок для меня — это Лев Толстой. Но я почему-то думаю, что для самого этого, недостижимого для большинства русских прозаиков — лермонтовский «Валерик» тоже был в свое время одним из первых уроков мастерства и правды.

Сколько бы я ни перечитывал Толстого — ранние его Кавказские рассказы, «Севастопольские рассказы» или военные страницы «Войны и мира» — мне всегда вспоминается еще и «Валерик», как тот ручеек под Осташковом, с которого начинается Волга.

А если оценить «Валерик» поуже — только как стихи — то думаю, что во всей русской поэзии не было написано ничего равноценного о войне до тех пор, пока не появились через сто лет главы «Василия Теркина», такие же удивительные, как «Валерик».

Итак, когда я слышу: «Лермонтов», где-то внутри меня, как эхо, возникает: «Валерик».

Лермонтов — во всем правдив и точен. Он знает то, о чем пишет. Слишком много отдал он своей души и силы тому, с чем соприкасался: кресало ударяло о камень и — высекалась искра! Он бился «с грудью грудь», над ним словно молнии сверкали сабли и острия кинжалов. Он смотрел в глаза смерти. Притом, бесстрашно. И каждое слово его, и каждая мысль глубоко выстраданы. И писал он только после того, как все выстрадано. И не мог не писать. И вправе был сказать: «Что без страданий жизнь поэта, и что без бури океан?» И не только декларировал, но доказывал это ежедневно, ежечасно, всей жизнью своей — и смертью.

Александр Кривицкий пишет: «Во время войны я неотвязно перечитывал Лермонтова. Вот кто писал о войне по-военному — никакой условности старинных батальных гравюр, никакой мишуры, сладко питающей воображение недотеп, не нюхавших пороха. И только реальность военной страды, где условия человеческого существования — противоестественны, а преодолевается лишь великой силой духа. Первые народные характеры на войне принадлежат в русской литературе Лермонтову».

Может быть, и впрямь правда, что ведение «Журнала военных действий» с 6 по 17 июля было поручено Лермонтову. Может быть, это вовсе не легенда. Кто мог бы, например, написать такие строки?

«Должно отдать также справедливость чеченцам: они исполнили все, чтобы сделать успех наш сомнительным; выбор места, которое они укрепляли завалами в продолжение трех суток, неслыханный доколе сбор в Чечне... удивительное хладнокровие, с которым они подпускали нас к лесу на самый верный выстрел, неожиданность для нижних чинов этой встречи — все это вместе могло бы поколебать твердость солдата...»

Но следующие строки едва ли принадлежат руке поэта: «Успеху сего дела я вполне обязан распорядительности и мужеству полковых командиров (перчисление) Тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова и 19-й артиллерийской бригады прапорщика фон Лоер-Лярского, с коим они переносили все мои приказания войскам в самом пылу сражения в лесистом месте, заслуживают особенного внимания, ибо каждый куст, каждое дерево грозили всякому внезапную смертью». (Напомню — рассказ этот ведется от имени генерала Галафеева.)

«Эти походы,— писал Г. Филипсон,— доставили русской литературе несколько блестящих страниц Лермонтова, но успеху общего дела не помогли...» Я думаю, что это важное и компетентное заключение.

Лермонтов за «дело при Валерике» был представлен к ордену Станислава 3-й степени. Надо отдать должное генералу Галафееву: поначалу он испрашивал более высокую — орден св. Владимира 4-й степени с бантом. Награду снизило высокопоставленное начальство. А еще более высокое — вовсе отказало в награде.

Генерал-адъютант Павел Граббе представил позже Лермонтова «к золотой полусабле». Но поэт и ее не получил.

После «дела на Валерике» Лермонтов поехал в Пятигорск, чтобы отдохнуть и полечиться на водах. Я думаю, что за все время своего пребывания на Кавказе — в первую и вторую ссылки — поэт едва ли участвовал в «делах» более двух недель в общей сложности. Но это не значит, что не подвергался он опасности: ведь каждый куст, каждый камень в горах грозили верной смертью.

Походы явно были поэту не по душе. И через несколько месяцев он напишет письмо бабушке. Бабушка в это время находилась в Петербурге и, как всегда, хлопотала о внуке. Видно, Лермонтову очень хотелось в отставку. Торопит бабушку позондировать почву на этот счет. «А чего мне здесь еще ждать? — напишет он. — Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если-я подам». И, как всегда: «Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны...» Покойны? Это ей-то, бабушке, быть покойной, когда внук ее неизвестно где и за что бьется?

Самым важным в этом письме Лермонтова представляется мне желание его уйти в отставку. По-видимому, очень он этого хотел. К несчастью, мы не всегда являемся хозяевами своей судьбы. Такова уж жизнь...

Ранней осенью 1840 года Лермонтов снова в экспедиции. На этот раз — в последней. Отряд, в котором он находился, провел двадцать дней в Малой Чечне и возвратился в Грозную. Видно, и в этой экспедиции Лермонтов вел себя как храбрый офицер. Кажется, ему стали даже завидовать. Висковатов беседовал со Львом Россильоном и передал в своей книге его слова. Они довольно любопытны, отлично выдают солдатфонскую сущность Россильона: «Лермонтова я хорошо помню. Он был неприятный, насмешливый человек, хотел казаться чем-то особенным. Хвастался своей храбростью, как будто на Кавказе, где все были храбры, можно было кого-либо удивить ею!.. Он был мне противен необычно своею неопрятностью. Он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась и глядела почерневшею из-под вечно расстегнутого сюртука поэта... Гарцевал Лермонтов на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив белую холщовую шапку, бросался на чаркесские завалы...»

Лермонтов, вернувшись с отрядом в Грозную, разумеется, написал письмо Алексею Лопухину. И здесь он верен себе, точно, без обиняков пишет о себе и о своем отряде: «...Я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую из ста казаков — разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда». И снова почти обычная жалоба на то, что «письма пропадают»: «Бог знает, что с вами сделалось; забыли, что ли? или пропадают? Я махнул рукой».

Лермонтов обещает рассказать Лопухину про «долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни».

Лермонтов старался не выделяться среди своих боевых товарищей,

вел одинаковую с ними жизнь. Видимо, это и раздражало барона Россильона, когда он говорил о «нечистоплотности» Лермонтова. Позвольте, откуда же ее взять, эту чистоплотность, если спишь на земле? Впрочем, кое-что объясняет А. Есаков, говоря об отношениях Лермонтова и Россильона: «Обоюдные отношения были несколько натянуты. Один в отсутствии другого неместно отзывался об отсутствующем». Теперь становится более понятным отзыв барона Россильона.

Зиму Лермонтов встречает в Ставрополе. Вместе с ним и Столыпин-Монго. Говорят, что в конце 1840 года Лермонтов побывал и в Крыму, в Анапе. Насчет Анапы существует даже рассказ Е. фон Майделя в передаче Мартьянова. Однако все это очень сомнительно и нет никаких документов, подтверждающих поездку поэта на берег Черного моря. И, напротив, очень много свидетельств в пользу того, что Лермонтов провел зиму в Ставрополе. В то время тут находились Карл Ламберт, Сергей Трубецкой, Лев Россильон, Лев Пушкин (брат поэта), декабрист Михаил Назимов и другие. А. Есаков вспоминает: «Как младший, юнейший в этой избранной среде, он школьничал со мной до пределов возможного; а когда замечал, что теряю терпение (что впрочем не долго заставляло себя ждать), он бывало ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймет мой пыл». Таков был настоящий, неподдельный Лермонтов!

В августе 1840 года пришло цензурное разрешение на печатание книги Михаила Лермонтова. Подписал это разрешение известный цензор Александр Никитенко. Печаталась она в типографии Ильи Глазунова и К^о. В ней всего двадцать восемь произведений, 168 страниц. Стихи отбирал сам Лермонтов, и отбирал очень строго. Я уже говорил, что он не включил в нее ни «Парус», ни «Ангел». Открывается книга «Песней про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Написана «Песня...» белым стихом, «на старинный лад». Из крупных произведений включена только поэма «Мцыри». Ни «Хаджи Абрека», ни «Боярина Орши». Сборник заключается стихотворением «Тучи». Одним словом, это книга, состоящая из двадцати восьми шедевров. Она поступила в продажу в Петербурге тогда, когда еще автор зимовал в Ставрополе.

На нее, разумеется, откликнулась критика. И первым долгом — Белинский. Как всегда, и на этот раз он говорил горячо, во весь голос: «Эта небольшая красивая книжка, с таким простым и коротким заглавием, должна быть самым приятным подарком для избранной, то есть, образованнейшей части русской публики». Так говорил Белинский в самом начале статьи. А в конце ее — не менее горячо: «Да! кроме Пушкина, никто еще не начинал у нас такими стихами своего поэтического поприща...» Читал ли Лермонтов эти лестные строки? Да, наверно. Когда прибыл в столицу. Или по дороге к ней.

Но нашлись и такие, которые злобно зашипели. Точнее сказать, всё продолжали шипеть, ибо еще «Герой нашего времени» пришелся им не по нутру. Недруг Лермонтова, реакционер и мракобес Степан Бурачек, например, окрестил роман Лермонтова «эстетической психологической нелепостью». А что говорить о Петре Плетневе, который год спустя после смерти Лермонтова сказал: «О Лермонтове и не хочу говорить потому, что и без меня говорят о нем гораздо более, нежели он того стоит. Это был после Байрона и Пушкина фокусник, который гримасами своими умел... напомнить своих предшественников...» Не отставал от них и Николай Греч, к слову говоря пытавшийся изобличить Белинского в незнании русского языка. С ним вместе были и Николай Полевой, и Осип Сенковский. В какие времена не бывает подобных им и кого удивишь ими?!

Но как бы то ни было, каждый мало-мальский мыслящий читатель,

который брал в руки книгу Лермонтова, не мог не понимать, с каким гигантом поэзии имеет дело...

Очень верную, очень точную характеристику дала поэзии Лермонтова графиня Ростопчина в известном письме к Дюма. Вообще говоря, любопытно все письмо — от начала до конца. Оно — яркое свидетельство проницательности и острого ума ее автора. Ростопчина, несомненно, любила Лермонтова и была любима им. Любила Лермонтова-человека и Лермонтова-поэта. Ей посвящено чудесное стихотворение, очень глубокое по мысли и, как всегда, откровенное.

«Ко времени второго пребывания поэта в этой стране войны и величественной природы, — пишет Ростопчина, — относятся лучшие и самые зрелые его произведения. Поразительным скачком он вдруг самого себя превосходит, и его дивные стихи, его великие и глубокие мысли 1840 года как будто не принадлежат молодому человеку...»

Я говорил уже, что после «Смерти Поэта» Лермонтов уже «не мог» писать хуже. Все его произведения, написанные после, отмечены высоким мастерством и глубокой мыслью. Но особенный расцвет наступил в 1840 году, и продолжался он вплоть до середины 1841 года. Линия его прекрасного творчества шла все время вверх.

Лермонтов создал всего шестьдесят восемь стихотворений — уже в «зрелом» возрасте. Подавляющее большинство стихотворений рифмованы. Я думаю, что это и есть настоящая поэзия. Верлибр — я в том убежден — изобретен для «поэтов» ленивых, которым некогда или которым неумоготу по тем или иным причинам придумать свежие рифмы. В 1836 году барон Егор Розен предсказывал в «Современнике»: «Человечество идет вперед — и кипят все побрякушки, коими забавлялось в незрелом возрасте. Дальнейшее потомство прочтет рифмованные стихи с тем же неодобрением, с каким читает гекзаметры *Леона*. Последним убежищем рифмы будет за столъная песня, или наверное — дамский альбом!» Сборник Лермонтова, вышедший четыре года спустя, доказал совершенно обратное. Я уж не говорю о дальнейшем блистательном шествии рифмы — прямо в двадцатый век, в поэзию Блока, Маяковского, Есенина.

Однако главное, на что мне еще раз хотелось бы обратить внимание, — это 68: как мало надо для гениального поэта и как гениально должно быть это малое!

Мне кажется, что иным поэтам стоило бы почаще вспоминать слова Иисуса Сираха: «Наложи дверь и замки на уста твои, растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковали надежную узду, которая бы держала твои уста».

Хлопоты бабушки, как видно, увенчались успехом, и Лермонтову разрешили отпуск. Бумага из столицы пришла, вероятно, в самом конце 1840 года или в начале следующего.

Костенецкий встречался с поэтом в Ставрополе, в штабе генерала Граббе, где заведовал «строевым отделением». К нему однажды зашел Лермонтов. Не виделись они со времен учебы в Московском университете. «И он припомнил наше университетское знакомство», — пишет Костенецкий. Лермонтов интересовался последствиями ходатайства бабушки об отпуске. На запрос военного министра был подготовлен «положительный» ответ. Не кем иным, как самим писарем. Костенецкий пишет: «А вот вам и ответ», сказал я, засмеявшись, и начал читать Лермонтову черновой отпуск, составленный писарем, в котором было сказано, что такой-то поручик Лермонтов служит исправно, ведет жизнь трезвую и добродетельную и ни в каких злокачественных поступках не замечен... Лермонтов расхохотался над такой его аттестацией и просил

меня несколько не изменять ее выражений и этими же самыми словами отвечать министру, чего разумеется, нельзя было так оставить».

Словом, Михаилу Лермонтову отпуск разрешили.

И он поехал на север.

В последний раз.

Три месяца в Петербурге

Лермонтов возвращался в столицу на вершине своей прижизненной славы. Уже вышли две книги, которых вполне хватило, чтобы вознести его на русский Парнас.

Едет он на север, снова пересчитывая поверстные столбы до боли знакомой дороги. Какие же мысли роились в его голове на этот раз? Мы можем составить общее представление по его стихам. Только стихи его являются самыми ценными и самыми точными свидетельствами того, что творилось в душе поэта.

«Поедешь скоро ты домой: смотри же... Да что? моей судьбой, сказать по правде, очень никто не озабочен».

Эти стихи вполне можно отнести к их автору. Разве что следует внести одну поправку: только один человек озабочен его судьбою — Елизавета Алексеевна. Она очень и очень озабочена! Она готовится к поездке на свидание со своим внуком в Петербурге. Однако из-за ранней распутицы отъезд ее из Тархан задерживается...

Едет прославленный поэт. И как это ни удивительно — не оказывают ему чрезвычайных почестей. А почему? Если любого епископа церквушки на Руси встречали колокольным звоном, то почему бы не сделать хотя бы этого для Лермонтова?

Города и веси проходят один за другим перед его печальным взором, а перезвона не слышно.

«Люблю отчизну я, но странною любовью!.. Но я люблю — за что, не знаю сам? — ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям...»

Едет поэт по Руси, и в сердце его все горячее закипает любовь к родным просторам, где все как бы создано для счастья человека и где так мало его «в краю родном».

Едет поэт на север, все на север...

«На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она...»

Едет великий поэт России, а на сердце — недобрые предчувствия. Горькие думы не дают покоя. Что делать ему дальше? Вымалывать прощенье? Уйти в отставку?

Все тверже решимость уйти из армии, уйти в отставку и всецело заняться литературой. Может быть, даже издавать журнал. Вместе с Краевским, может быть.

«Провозглашать я стал любви и правды чистые ученья: в меня все ближние мои бросали бешено камня...» «Из дальней, чуждой стороны он к нам заброшен был судьбою; он ищет славы и войны,— и что ж он мог найти с тобою?..»

И это он тоже о себе. Почти наверняка.

А дорога не кончается. Поверстные столбы похожи один на другой. Что же ждет поэта впереди?

Воистину: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна...»

Если мысленно представить себе карту путешествий Лермонтова, то в глаза невольно бросится неукоснительное постоянство маршрута. Судите сами. В детские годы — Тарханы — Кавказ. В юношестве — Тарханы — Москва, через Тамбов и Тулу или через Рязань. В пору молодости — Петербург — Москва — Кавказ. И снова: Петербург — Москва — Кавказ. И снова: Петербург — Москва — Кавказ. В том или другом направлении. Только однажды был сделан небольшой крюк — в имение Михаила Глебова.

Маршруты однообразные, но сколько разных мыслей и замечательных образов, так не похожих друг на друга! Боярин Орша и Хаджи Абрек, Печорин и Казбич, Азамат и Бэла, Грушницкий и опричник царя Ивана, Демон и Арбенин, Нина и Вера... Разве всех перечтешь в один присест, в одной не очень длинной фразе? Как видно, поэзия не зависит от пестроты маршрута. Есть у меня друзья, которые ездят в разные страны, но страны эти и люди их едва ли оставили отпечаток на душе. Может быть, прав был Лермонтов, когда советовал Шан-Гирею не ехать в Америку, но собираться на Кавказ. Впрочем, даже советы Лермонтова могут не прийтись «в жилу» иному, пусть более скромному нынешнему поэту. Поэзия — вещь удивительная и странная. Здесь меньше всего действуют советы «полезные» и, тем более, универсальные.

«...Начну с того, что объясню тайну моего отпуска: бабушка просила о прощении моем, а мне дали отпуск...» Так начиналось письмо Лермонтова к Александру Бибикову на Кавказ. Оно было писано в конце февраля 1841 года. А прибыл поэт в столицу 7 и 8 февраля. Официальная мотивировка известна: свидание с бабушкой. Однако бабушка все-таки не смогла прибыть вовремя из-за ранней распутицы: надо же было ехать от Тархан до Петербурга — расстояние немалое!

Но как понимать одну фразу в воспоминаниях Шан-Гирея? Вот она: «Лермонтов получил отпуск и к новому 1841 году вместе с бабушкой возвратился в Петербург». «Вместе с бабушкой...» Это никак не вяжется с утверждением графини Ростопчиной: «...По горькой насмешке судьбы г-жа Арсеньева, проживавшая в отдаленной губернии, не могла с ним съехаться из-за дурного состояния дорог, происшедшего от преждевременной распутицы».

Кто же прав?

Сергей Иванов, много лет изучавший жизнь и творчество Лермонтова, определенно сказал мне, что Лермонтов не возвратился «вместе с бабушкой», как пишет Шан-Гирей. Надо заметить, что Шан-Гирей вспоминал об этом много лет спустя, не «по свежим следам». И все-таки бабушка повидала внука в Петербурге: она успела приехать! Поэтому ошибается и Ростопчина. Лет двадцать пять тому назад было найдено письмо Елизаветы Алексеевны к Карамзиной, в котором она просит Карамзину походатайствовать через Жуковского о прощении внука. Это письмо писано в Петербурге 18 апреля 1841 года. Сергей Иванов показал мне публикацию письма Арсеньевой.

Одним словом, много сил положила бабушка, чтобы добиться прощения для внука. Не получилось. Но отпуск ему дали. Для свидания с бабушкой.

Отпуск свой заканчивал поэт тоже неплохо. Из Москвы он сообщил бабушке: «Я здесь принят был обществом, по обыкновению, очень хорошо — и мне довольно весело». И в Петербурге его наперебой приглашали на балы. Собственно, и начался-то отпуск с бала. Не иначе как у графини Воронцовой-Дашковой. На этом балу присутствовал сам великий князь Михаил Павлович. Но как же это посмел опальный офицер явиться на бал, где находятся члены императорского двора? Это был скандал.

Висковатов записал об этом вечере рассказ графа Сологуба, который «хорошо помнил недовольный взгляд великого князя Михаила Павловича, пристально устремленный на молодого поэта, который крутился в вихре бала с прекрасною хозяйкой вечера».

Великий князь искал встречи с поэтом для «грозного объяснения». Но куда там! Поэт «несся с кем-либо из дам по зале...» В конце концов, пришлось-таки поэту уходить «через внутренние покои, а оттуда задним ходом... из дому».

Было ясно, что небезопасно появляться поэту там, где бывают родственники его величества. Недолго пришлось дожидаться начальственного внушения по этому поводу. И случилось это после бала у графа Уварова. На нем, как обычно, блистал Лермонтов. Его окружали самые красивые женщины, с ним искали знакомства родовитые молодые люди. У него просили стихов, ловили его слова и рассказывали другим о беседах с ним как о большом счастье. Говорят, даже сам Булгарин, пользовавшийся дурной славой среди литераторов, пытался из всей мочи хвалить поэта чуть ли не на всех перекрестках, чтобы «все об этом знали». Стихи Лермонтова читали с упоением, их списывали друг у друга. Это считалось хорошим тоном. Имя Лермонтова широко было известно в столице. К слову сказать, именно здесь, в Петербурге, начали собирать все, что имело касательство к покойному поэту. Точнее, в той самой школе, где некогда учился юнкер Лермонтов. Начальник школы генерал-майор А. Бильдерлинг проявил благородную инициативу: организовал музей поэта. И с этой поры все, что мало-мальски было связано с именем Лермонтова, попадало сюда. Самыми различными путями. А ныне эти экспонаты хранятся в Пушкинском Доме (Ленинград)...

Но я, кажется, немного уклонился в сторону. Наутро, после бала у графа Уварова, Лермонтов был вызван к дежурному генералу двора Клейнмихелю.

Генерал «объяснил» поэту, почему разрешена ему поездка в столицу. И пусть молодой провинившийся офицер подумает над этим весьма и весьма серьезно...

Лермонтова никак не могли «простить». Можно подумать, что жизнь его так была дорога двору, что поведение с Барантом, поставившее под угрозу жизнь поэта, очень и очень огорчило его величество.

В самом деле: дуэль окончилась счастливо, Лермонтов понес наказание, можно сказать, искупил его своим участием в экспедициях в Чечню. Что же надо еще?

Слава Лермонтова росла. Того самого Лермонтова, который сочинил «Смерть Поэта». О Лермонтове говорили как о великом продолжателе дела Пушкина. Опальный офицер становился грозной силой.

Мало этого: Лермонтов плюс ко всему мечтал об отставке. Но и этого мало: как уже говорилось, мечтал о том, чтобы открыть журнал и выпустить его, например, вместе с Краевским. Этих своих мыслей поэт не скрывал, а у Бенкендорфа уши были те самые — всеслышащие. И Бен-

кендорф, одно время помогавший бабушке поэта, теперь уж вовсе от-вернулся от нее. Поэтому Елизавета Алексеевна обратилась со своими просьбами к Клейнмихелю.

Думать, что его величество не мог простить Лермонтову его дуэли с Барантом,— значит полностью расписаться в своей наивности. Такие дуэли другим часто прощались. Но не прощались дуэли Лермонтовым. Краевский говорил Висковатову, что Лермонтов мечтал «об основании журнала». Бенкендорф хорошо мог представить себе, что это будет за журнал!

Вот почему настоятельно предлагалось поэту не «мозолить глаз» начальству и подобию-поздорову отправляться назад, на Кавказ. Правда, Лермонтову дважды или трижды продлевали отпуск, но ни о какой отставке или прощении не могло быть и речи.

Ростопчина пишет: «Три месяца, проведенные Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни».

Возможно, так оно и есть: пришла известность, признание, было весело, беззаботно. По крайней мере, так казалось. А на самом деле?

А на самом деле очень хотелось в отставку, хотелось свободы приложения силы. Этого стремления не могли заменить ему ни танцы до упаду, ни самые красивые женщины столицы, ни кутежи среди друзей.

О ком это сказано, если хорошенько вчитаться? «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она». Или же этот утес. «Одиноко он стоит: задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне». А этот дубовый листок? «Я бедный листочек дубовый, до срока созрел я и вырос в отчизне суровой...»

1 марта 1841 года Белинский пишет Боткину: «А каковы новые стихи Лермонтова? Он решительно идет в гору и высоко взойдет, если пуля дикого черкеса не остановит его пути».

Кстати, готовилось новое издание «Героя нашего времени». И оно вышло в Петербурге еще при жизни поэта. Он написал к нему предисловие, в котором заявлял, что «болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!»

Но вот вопрос: успела ли книга настичь его на Кавказе? Удалось ли поэту подержать ее в руках — эту свою третью книгу?

20 апреля 1841 года Ростопчина подарила свои стихи любимому поэту и человеку. И сделала она при этом такую надпись: «Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому».

Перед отъездом Лермонтова ужинали втроем: она, Лермонтов и еще один «друг, который тоже погиб насильственной смертью в последнюю войну». По словам Ростопчиной, «Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти». Было ли это конкретным предчувствием или обычным его предчувствием, которое одолевало его с юных лет? Это трудно сказать. Через несколько дней предстояла поездка в далекий край. Этого было достаточно для того, чтобы навеять на поэта самые грустные мысли. «Выхожу один я на дорогу...»

Лермонтов был один в целом свете. И выходил на дорогу один...

Лермонтов готовился к отъезду. Не спеша. Уж очень и очень не хотелось. Исполдволь приходила зрелость. Правда, медленно. И с полным правом мог он написать в альбом Софье Карамзиной: «Люблю я больше год от году, желаньям мирным дав простор, поутру ясную погоду, под вечер тихий разговор». Я не думаю, что эти слова надо понимать бук-

важно: до «тихих вечеров» было еще очень и очень далеко. Но все-таки...

Князь Владимир Одоевский, прощаясь с Лермонтовым, подарил ему записную книжку. И учинил на ней такую надпись: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную». Поэт не смог ее исписать. Ни тем более «возвратить ее сам»...

Простился Михаил Юрьевич и... Как вы думаете, с кем? С Натальей Николаевной Пушкиной. Вот уже четыре года тому как была она вдовою. Говорят, Лермонтов долго чуждался ее. Говорят, она угадывала в нем предвзятую враждебность. И, видимо, не совсем без основания: разве все оправдывали Наталью Николаевну? И полностью ли ее оправдал сам Лермонтов?

Сохранились воспоминания дочери о Наталье Николаевне, в частности о прощании ее с Лермонтовым у Карамзиных. Они были написаны много лет спустя после гибели Лермонтова, опубликованы лишь в 1908 году. И это меня немного смущает, особенно «монолог» поэта, приведенный в воспоминаниях. Не очень уверен в том, что можно было стенографически точно изложить слова Лермонтова, к тому же в передаче Натальи Николаевны. А раз нельзя — то трудно с доверием воспринять дорогую нам лермонтовскую фразеологию. Я полагаю, что неправильно это — «сочинять» от себя речь того, кто оставил после себя прекрасные стихи и прекрасную прозу. Беллетризация здесь просто недопустима. Поэтому воспоминание о прощальном вечере у Карамзиных (беседа Натальи Николаевны с Лермонтовым) должно рассматриваться лишь в общих чертах. Из него явствует, что впервые поэт разговорился со вдовой Александра Сергеевича, что беседа эта была душевной и, к несчастью, последней. Возможно, наибольшего доверия заслуживают слова Натальи Николаевны в передаче ее дочери, и я приведу их здесь: «Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это было из-за красоты. Этот раз была победа сердца. И вот чем была она мне дорога. Даже и теперь мне радостно подумать, что он не дурное мнение унес с собой в могилу».

У Карамзиных Лермонтов пожал в последний раз руки своим друзьям. А Софье Карамзиной посвятил стихи, в которых есть такие строки: «Люблю я парадоксы ваши и ха-ха-ха, и хи-хи-хи...» Писатель Георгий Холопов показывал мне дом в Ленинграде, где состоялся последний ужин у Карамзиных в честь Лермонтова. Пересказывая все, что известно об этой встрече. Стояли мы перед домом, на тротуаре. И я пытался представить себе, как отъезжал поэт от парадного подъезда.

Ростопчина написала стихи «На дорогу М. Ю. Лермонтову». О бабушке поэта в них сказано так: «Но есть заступница родная, с заслугою преклонных лет: она ему конец всех бед у неба вымолит, рыдая».

Нет, не вымолила. Не смогла. А «покорный внук» ее Лермонтов ничем ей в этом не помог. Решительно ничем! Но она продолжала денно и ночью молиться о нем. Еще Омар Хайям очень верно подметил: «Твоих лишений небо не оценит...» До молитв ли Елизаветы Алексеевны было небу?

«Жизнь Лермонтова сложилась так, как сложилась,— пишет Юрий Мелентьев.— И жизнь поэта — прекрасный пример того, что может сделать человек даже в свои неполные двадцать семь лет».

Михаил Лермонтов примерно около того времени, о котором речь, писал в стихах «Графине Ростопчиной»: «Предвидя вечную разлуку, боюсь я сердцу волю дать...»

И не давал.

Никто не провожал Лермонтова на почтовой станции. Только неизменный Шан-Гирей.

Говорят, не любил Лермонтов, когда провожали...

Это было в середине апреля 1841 года. В восемь часов утра.

Несколько дней в Москве

17 апреля 1841 года Лермонтов прибыл в свой любимый город — Москву. Остановился он у своего однополчанина Дмитрия Розена, как сам он пишет бабушке. Проводил время у Столыпиных, Лопухиных. Я еще раз напомним слова из его письма: «...Мне довольно весело». Да, так оно и было по всем свидетельским данным. В Туле Александру Меринскому Лермонтов сказал: «Никогда я так не проводил приятно время, как этот раз в Москве».

Не надо думать, что поэт только и делал в Москве, что обедал да ужинал в кругу друзей. Он здесь и литературными делами занимался: писал стихи, кое-что отдавал печатать. Например, поэт принес свою новую вещь «Спор» Юрию Самарину для «Москвитянина». «Вечером, часов в 9, я занимался один в своей комнате, — вспоминает Самарин. — Совершенно неожиданно входит Лермонтов... Не знаю, почему мне особенно было приятно видеть Лермонтова в этот раз. Я разговорился с ним...»

Князю Одоевскому Лермонтов писал следующее: «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается и сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжелого сна и встал и пошел... и встретил тридцать семь королей и семьдесят богатырей и побил их и сел над ними царствовать. Такова Россия».

Вот еще одно интересное свидетельство, характеризующее общее политическое «самочувствие» поэта. Самарин рассказывает о том, как нашел его у Розена, как разговорились, как показывал Лермонтов свои рисунки и говорил о «деле с горцами»... «Его голос дрожал, и он был готов прослезиться». Но не это самое важное в дневниковой записи Самарина. Этот журналист особо отмечает «его мнение о современном состоянии России»... и приводит на французском языке это мнение: «Хуже всего не то, что известное число людей терпеливо страдает, а то, что огромное число страдает, не сознавая этого». Примечательные слова! Впрочем, еще сильнее выразил эту же мысль Михаил Юрьевич в своих стихах. Не прямо, не в лоб, но общим своим отношением к тем, кто закабалил «немытую Россию». Такие произведения, как «Смерть Поэта», «Дума», «Прощай, немытая Россия...», намного страшнее любых политических деклараций.

На мой взгляд, замечательной была встреча (случайная) Лермонтова с Фридрихом Боденштедтом. Благодаря ей мы получили прекрасные воспоминания о Лермонтове, написанные поэтом, человеком проницательным и талантливым, переводчиком стихов Лермонтова на немецкий язык. Боденштедт был лет на пять моложе Лермонтова, и в мае 1841 года едва ли минул ему 21 год. Он пишет: «Я уже знал и любил тогда Лермонтова по собранию его стихотворений, вышедших в 1840 г.»

Встреча двух поэтов произошла «в одном русском ресторане, который посещала в то время вся знатная молодежь».

Лермонтов, разумеется, не был знаком до этого с молодым немецким поэтом, не очень хорошо владевшим русским.

Молодые люди были уже за шампанским. «Снежная пена лилась через край стаканов; и через край лились из уст моих собеседников то плохие, то меткие остроты».

И вот, в конце этой веселой трапезы, в ресторане появляется сам автор «Героя нашего времени», первый из живых поэтов России.

Какова его внешность, по Боденштедту?

«У вошедшего была гордая, непринужденная осанка, средний рост и замечательная гибкость движений... Плечи и грудь были у него довольно широки... Большие, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого человека...»

Боденштедт сразу же заметил под сюртуком «ослепительной свежести бѣлье». У Лермонтова были нежные выхоленные руки. Их тоже запомнил Боденштедт.

Молодые люди продолжали пить. Лермонтов острит, был очень разговорчив и потешался над одним своим приятелем, да так, что обидел его. Боденштедт говорит о поэте: «...И он всеми силами старался помириться с ним, в чем скоро и успел».

Своей первой встречей Лермонтов произвел на немца «невыгодное впечатление». Задор и «шалости» Лермонтова сделали свое. Даже умный Боденштедт не мог их простить поэту. Ибо не увидел еще «другого» Лермонтова.

Но, к счастью, увидел. Это случилось на следующий день, в салоне одной своей знакомой. И Боденштедт признается: «...Я увидел его в самом привлекательном свете. Лермонтов вполне умеет быть милым... Отдаваясь кому-нибудь, он отдавался от всего сердца, только едва ли это с ним случалось...»

Пришла пора собираться на юг. Мы не знаем, кто провожал его в Москве: Шан-Гирей был далеко, а Столыпин-Монго укатил вперед, и Лермонтов нагнал его лишь в дороге.

Нет, не думал Лермонтов, что в последний раз видится с Москвой, что никогда больше не свидится с ней.

Не думал! Недаром же писал он Бибикову в Ставрополь: «Покупаю для общего нашего обихода Лафатера и Галя и множество других книг». Он хотел еще пожить...

А старый бог? Он располагал иначе.

Дорога на Голгофу

На склоне горы Машук, недалеко от тропы, которая вела в немецкую колонию Каррас, было глухое место. Оно поросло высоким кустарником и травой. Чтобы отсюда попасть в Пятигорск, приходилось объезжать гору по тряской, едва обозначенной на земле дороге. В непогоду она делалась труднопроходимой для экипажей.

Теперь Машук опоясан удобной асфальтированной дорогой. Она ведет прямо к «месту дуэли», увековеченному высоким обелиском. Его хорошо видно, когда едешь на поезде.

Вторник 15 июля 1841 года выдался душным. С самого раннего утра. Старожилам нетрудно было предсказать: быть грозе. И в самом деле, «черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой». Так свидетельствует двадцатидвухлетний титулярный советник князь Александр Васильчиков.

Явные признаки надвигающейся грозы проявились часов в пять пополудни. И, как это бывает в горах, мир внезапно помрачнел. Где-то ударил гром. Возможно, за горою Бештау.

Но «место дуэли» на горе Машук еще не стало местом дуэли...

Лермонтов вместе со Столыпиным-Монго прибыли в Ставрополь. Стоял май. Было невмоготу от жары. Отсюда Лермонтову надлежало ехать в «крепость Шуру», то есть в Дагестан, в Темир-Хан-Шуру. Так гласила подорожная.

Лермонтов писал бабушке, что едет в Шуру, а потом уже — на воды. И Софье Карамзиной писал: «...В тот момент, когда вы будете... читать, я буду штурмовать Черкей...» И в шутку прибавлял: «...Это находится между Каспийским и Черным морями, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта...»

Но была не только Шура, был также и Пятигорск.

Можно сказать так: Шура — это налево, а воды — направо. Поэт невольно оказался на перепутье. Налево — беспокойный Дагестан Шамии, направо — воды, отдых, веселье. Неужели же рваться в бой с горцами?

И на этот раз шестикрылый серафим не явился к поэту. И на этот раз заменил его Столыпин-Монго. Хотя, возможно, что советы его в Ставрополе не были столь определенными, как тогда, в Петербурге.

Лермонтов звал на Кавказ Шан-Гирея. Я напому, что он писал: «...Я ему не советую ехать в Америку, как он располагал, а уж лучше сюда, на Кавказ: оно и ближе и гораздо веселее».

И снова мысль об отставке, — теперь уже неотвязная: «Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье, и я могу выйти в отставку».

Поэт не знал, что в Петербурге уже готовится бумага — секретная — о том, чтобы поручика Лермонтова в «дело» не посылать, дабы не мог он выхлопотать себе льготы для выхода в отставку. В штабе генерал-адъютанта Павла Граббе, который хорошо относился к поэту, еще ничего не знали об этой бумаге. Она придет гораздо позднее, когда уже земная власть — даже самая высокая — не будет иметь никакой силы над Лермонтовым.

Кто же все-таки распорядился судьбой поэта? Сам он, Столыпин-Монго, штаб Граббе, бог или рок? Но поэт мог бы сказать словами пророка: «Он повел меня и ввел во тьму».

Мы можем только гадать да сокрушаться: кто же это все-таки был? Судьба? Но она была бы иною, если бы не царь, не Бенкендорф и другие. Те, которые ничего не простили поэту. Из ненависти к нему. Или, может, все вальит на «неуживчивый» характер поэта, как это делали некоторые его заклятые друзья при жизни?

«Я, слава богу, здоров и спокоен...» Так писал Лермонтов своей бабушке в мае 1841 года.

А все-таки, в Шуру или в Пятигорск?

Пятигорск в то время был маленьким городишкой. Лучшая гостиница принадлежала греку Найтаки. Здесь можно было хорошо пожить. Господа офицеры могли кутнуть как следует. Шампанское лилось рекой. Найтаки был человеком известным в городе. Но это все-таки — гостиница. А на более длительное время лучше было снять домик. Например, Василия Чиляева. Как это и сделали Лермонтов со Столыпиным. За сто рублей серебром. Теперь домик этот известен как мемориальный музей Лермонтова — самое святое место на Кавказских Минеральных Водах.

Но ведь поэт мог и не снимать у Чиляева домик, который своим садом примыкает к дому Верзилиных. Мог, разумеется, и не снимать, потому что путь его лежал в крепость Шуру.

Сохранился довольно красочный рассказ ремонтера Борисоглебского уланского полка Петра Магденко, записанный Висковатовым. Магденко

говорит о своей встрече с Лермонтовым в Ставрополе. Началось с того, что в биллиардной Магденко увидел некоего друга, игравшего партию с офицером. Офицер этот обратил на себя внимание Магденко: «Он был среднего роста, с некрасивыми, но невольно поражавшего каждого, симпатичными чертами, с широким лицом, широкоплечий, с широкими скулами, вообще с широкой костью всего остова, немного сутуловат — словом, то, что называется «сбитый человек».

— Знаешь, с кем я играл? — спросил позже друг Магденко.

— Нет! Где же мне знать — я впервые здесь.

— С Лермонтовым, — объяснил друг.

Николай Соломонович Мартынов приехал на воды в конце апреля. Он пояснил: «По приезде моем в Пятигорск я остановился в здешней ресторации и тщательно занялся лечением».

Нет, он не стал героем Кавказской войны, несмотря на свой внушительный рост. Его не сделали генералом, как он мечтал о том. Несмотря на большие усы. Которые, как свидетельствуют очевидцы, придавали «физиономии внушительный вид».

Дослужившись до майорского чина, он подал в отставку. И это — в двадцать пять лет! И ему, заметьте, дали отставку. Не отказали ведь...

Магденко привелось еще раз повстречать поэта. В крепости Георгиевской. Лермонтову, невзирая на ночь и опасности, связанные с падением черкесов, непременно хотелось ехать дальше. По словам Магденко, поэт заявил, что «он старый кавказец, бывал в экспедициях и его не запугаешь». Смотритель станции тоже предупреждал поэта, что ехать, глядя на ночь, небезопасно. Лучше подождать до утра.

Магденко направлялся в Пятигорск и предвкушал удобства тамошней жизни в «хорошей квартире, с... разными затеями».

В Пятигорске оказался и Михаил Глебов, у которого не так давно гостил Лермонтов. Это было по дороге на Кавказ, в Орловской губернии. Тогда поэт разрешил себе небольшой крюк и несколько дней провел в имении Глебова.

На водах лечилось немало военного люда. Особенно раненых офицеров. Ими был полон и Ставрополь: кто без ноги, кто без руки. Война шла жестокая, особенно жестокая своей медлительностью и планомерностью. Горцев прижимали к Кавказскому хребту неторопливо, но верно.

Появился на водах и Сергей Трубецкой, сорвиголова, повывавший виды в различных кавказских военных переделках.

И князь Александр Васильчиков принимал серные ванны. И это все — хорошие знакомые Лермонтова. А некоторые — просто друзья. Близкие друзья...

Наутро Магденко снова повидался с Лермонтовым и Столыпиным. За самоваром. Отсюда, из Георгиевской, им предстояло ехать в разные стороны: в Пятигорск — Магденко, в Шуру — Лермонтову и Столыпину.

Однако Лермонтов заколебался. Невзирая на приказ, на подорожную. «Теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины... Поедем в Пятигорск». Это, утверждают, слова Лермонтова, обращенные к Столыпину. Магденко поддерживает в этом поэта из самых лучших побуждений: «в Пятигорске жизнь поудобней, чем в отряде».

Что-то надо решать.

Столыпин полагает, что надо ехать в Шуру, ибо есть подорожная, есть и инструкция к ней. Как же ехать в Пятигорск? Но он не очень тверд в своем убеждении.

И тут Лермонтов, говорят, предпринял ход, вполне достойный его неукротимого нрава и автора «Фаталиста».

Почти все стихи, написанные Лермонтовым в 1841 году, были занесены в записную книжку Одоевского. (Если припомните, ее подарили поэту с «возвратом».) Многие стихи были сочинены в дороге и отосланы в Петербург. А самые последние писались в Пятигорске, в низеньком, простеньком домике. Говорят, под окном у него росли вишни, и стоило только протянуть руку, чтобы сорвать свежую ягоду. Все, что было написано в эту пору, есть вершина лермонтовской поэзии. Он создавал только шедевры, и конца этим шедеврам, казалось, нет и не будет.

В Петербурге, перед самым отъездом, или в дороге на юг, или в Пятигорске были писаны его знаменитые стихи «Прощай, немытая Россия...» Они слишком сильны, они слишком выразительны, чтобы как-то передавать их «своими словами», и слишком лаконичны, чтобы как-то анализировать их. Они говорят сами за себя и беспощадны, словно пули. Их знают с детства. И все-таки их следует полностью привести в этом месте, ибо в восьми строках — весь Лермонтов, что называется, с головы до ног. В них — и решимость, и горечь, и ненависть ко всему, что душит живое.

«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. Быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей».

Это и есть голос Михаила Лермонтова, беспрерывно звенящий вот уже свыше ста лет.

Вошел будто бы Лермонтов в комнату и произнес повелительным тоном: «Столыпин, едем в Пятигорск!» Однако Лермонтов никогда не написал бы «Фаталиста», если бы брал только упрямым. Он, говорил, достал монету и подбросил ее. Условия необычайно просты: орел — в Шуру, решотка — в Пятигорск! Все предельно «ясно». Жизнь доверяется случаю, случайности. Можно бы и присовокупить: слепому случаю. И больше — никаких рассуждений. Петр Магденко едва ли что-нибудь сочиняет: все, вероятно, так и было.

Но мне кажется, что при такой крутой перемене маршрута надо чувствовать за собою, как говорится, еще и спину. Надо полагать, что Лермонтов вполне рассчитывал на благосклонность самого генерала Граббе и других высокопоставленных офицеров в штабе и в самом отряде.

Как это всегда бывает с неординарными людьми, «провидение» определило наиболее опасный путь.

И Лермонтов со Столыпиным поехали в одной коляске с Петром Магденко. Поехали, разумеется, в Пятигорск.

«Ловушки, ямы на моем пути. Их бог расставил и велел итти. И все предвидел. И меня оставил. И судит тот, кто не хотел спасти».

Это сказал Омар Хайям. Много веков тому назад.

Дорога в Пятигорск казалась спокойной. Без ям особенных. И без ловушек. Было жарко. Было весело в коляске. И к вечеру показались

первые городские дома. Приземистые. Под стать маленькому Пятигорску.

Мартынов гулял по Пятигорску с мрачным видом обиженного судьбой кавказца: в черкеске, с огромным кинжалом на серебряном поясе и огромными усами. В огромной папаше мерлушковой.

Костенецкий вспоминает: «...Он все мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина». А что же вышло? «Вместо генеральского чина он был в отставке майором, не имел никакого ордена... Отрастил огромные бакенбарды... вечно мрачный и молчаливый!»

Знавшие Пятигорск той поры рассказывают: «Зато и слава была у Пятигорска. Всякий туда норовил. Бывало, комендант вышлет к месту служения: крутишься, крутишься, дельце сварганишь — ан и опять в Пятигорск. В таких делах нам много доктор Ребров помогал. Бывало, подластись к нему, он даст свидетельство о болезни, отправит в госпиталь на два дня, а после и домой, за неимением в госпитале места...»

...15 июля 1841 года.

Вторник.

После полудня стало ясно, что быть резкой перемене: духота особенно усилилась. Дышать было трудно. Все давило... Такое случается перед грозой. Перед ливнем. Когда в полчаса природа меняет свой облик, да так, что ее и не узнать. Туча, которая выплывала из-за Бештау, только наивным могла показаться обычно. В ее темном и мрачном чреве уже бушевала гроза и роились пока еще не видимые в Пятигорске молнии.

Туча ширилась, напозала — медленно, густо...

Лермонтов прибыл в Пятигорск. Устроился у Найтаки. Вместе с ним — Столыпин и Магденко.

А по дороге сюда «Лермонтов говорил почти без умолку и все время был в каком-то возбужденном состоянии». «Говорил Лермонтов и о вопросах, касающихся общего положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я услышал от него такое жесткое мнение, что оно и теперь еще кажется мне преувеличенным». Так рассказывал Магденко...

В гостинице Лермонтова порадовали: здесь, в городе, находится Мартынов (сам Мартынов!).

«Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину:

— Ведь и Мартышка, Мартышка здесь. Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним».

Благодаря Магденко и Висковатову мы знаем кое-что о приезде поэта в Пятигорск.

...Туча, выглянувшая из-за Бештау, все расплывалась. К пяти часам пополудни уже стало ясно: быть проливному дождю. Духота достигла апогея.

В то время Михаил Лермонтов заканчивал обед с Екатериной Быховец в колонии Каррас. (Это между Пятигорском и Железноводском.) И вел себя, говорят, как ни в чем не бывало: бездумно, беззаботно... «...Лермонтов был у нас — ничего, весел; он мне всегда говорил, что ему жизнь ужасно надоела, судьба его так гнала, государь его не любил; великий князь ненавидел...» Слова эти из письма Екатерины Быховец от 5 августа 1841 года.

Быховец — последняя в его жизни женщина, с которой он беседовал. Она не удержалась от того, чтобы не присовокупить следующее: «...Он был страстно влюблен в В. А. Бахметеву; она ему была кузина; я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас сходство...»

«Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали... Остаюсь покорный внук М. Лермонтов» (Москва, апрель 1841 года).

Лермонтов всегда успокаивал бабушку, зная ее великую любовь к себе. Хорошо сказала об этой любви Белла Ахмадулина: «Неисчислимая любовь к нему всех, кто был, есть и будет потом, — не больше той, одной, бабушкиной».

«Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись; он ужасно самолюбив...» Так писала Быховец.

Знал ли Лермонтов, что Мартынов глуп, что это — напыщенный болван? Понимал ли поэт, что опасно сближаться с глупцом, тем более — самолюбивым? Разумеется, тот, кто написал «Героя нашего времени», все знал и все понимал. Но, видимо, не до конца. По доброте своей мог ли он подумать, что Мартынов всерьез будет целиться в сердце — в самое сердце! — друга? Петр Бартенев, знавший Мартынова, писал: «...Н. С. Мартынов передавал, что незадолго до поединка Лермонтов ночевал у него на квартире, был добр, ласков и говорил ему, что приехал отвести с ним душу после пустой жизни, какая велась в Пятигорске».

Петр Мартынов писал, ссылаясь на своего знакомого поручика Куликовского: «Всякий раз, как появлялся поэт в публике, ему предшествовал шепот: «Лермонтов идет», и всё сторонилось, всё умолкало, всё прислушивалось к каждому его слову, к каждому звуку его речи». Поскольку все это сказано много лет спустя после гибели Лермонтова, нет ли здесь невольного преувеличения? Ведь имя Лермонтова, образ его в третьей четверти девятнадцатого века воспринимался иначе, чем в 1841 году. И это естественно, если только речь не идет о людях, подобных Белинскому, Ростопчиной или Боденштедту.

Меня интересует вот что: воспринимали ли в то время поэта так, как сообщает Куликовский, скажем, Мартынов, Васильчиков, Столыпин, Глебов, Трубецкой? Знали ли они того, другого Лермонтова, автора сборника стихов и «Героя нашего времени». Нет, не знали, иначе бы спасли его от смерти. Но ежели знали и не спасли — значит, убили. Значит, соучастники убийства. Может, это и слишком резко, но это так...

Константин Симонов пишет: «В смерти Лермонтова меня больше всего поражает то, что мы еще и сейчас, через 130 лет после нее, никак не можем с ней примириться». Это очень верно: примириться не можем.

Михаил Дудин в своем стихотворении не в состоянии удержаться от гнева. И это сто лет спустя! Он восклицает, говоря о дуэли: «Я вспомню это и застыну у гор и солнца на виду». «Ты жив еще, подлец Мартынов. Вставай к барьеру! Я иду!»

А нашелся ли в то время хотя бы один человек, который вызвал бы на дуэль убийцу Лермонтова? Увы, нет! Зато нашлись те, которые поносили. И кого же? Убитого поэта!..

«...Милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали...»

В пять часов пополудни или около того Лермонтов все еще был в Каррасе, что в семи верстах от Пятигорска. Он прощался с Быховец. После обеда. Это она пишет: «Уезжавши он целует несколько раз мою руку и говорит: «Cousine, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни...» Я еще над ним смеялась...»

Священник Эрастов был весьма определенного мнения о Лермонтове. Тот самый Эрастов, который отказался отпевать мертвого поэта. Тот самый Эрастов, который донес на протоиерея П. Александровского. А донес потому, что протоиерей проводил тело поэта до могилы.

И этот священник был, разумеется, не один. У него имелись единомышленники не только здесь, в Пятигорске, но и там, в Петербурге. На самом верху.

Эрастов рассказывал Э. Ганейзеру: «От него в Пятигорске никому прохода не было. Каверзник был, всем досаждал. Поэт, поэт!.. Мало что поэт. Эка штука! Всяк себя поэтом назовет, чтобы другим неприятности наносить!.. Видел, как его везли возле окон моих. Арба короткая... Ноги вперед висят, голова сзади болтается. Никто ему не сочувствовал».

А разве пророк может рассчитывать на сочувствие людей, подобных Эрастову и Чиляеву? Разве пророк не все предвидит? Не он ли писал о судьбе пророка? «Смотрите ж, дети, на него: как он угрюм, и худ, и бледен! Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его!»

И, кажется, это были последние слова поэта-пророка, сказанные им стихами на Кавказской земле.

...Черная туча заволокла полнеба. Она наступала все быстрее, стущая духоту. Наступала она неумолимо, скрывая солнце. Вместе с нею шли и ранние сумерки. Уже гулко громыхало.

Однако дождя еще не было.

Время подвигалось к шести. Лермонтов скакал на своем коне из Карраса к подножию Машука. Он заметно торопился.

«...Милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали...»

А случилось это в доме Верзилиных. В этом доме с матерью жили три молоденькие и премилые сестрицы. У них часто собирались молодые люди. В том числе ближайший их сосед Михаил Лермонтов. Явился сюда и этот, Мартынов.

Здесь и произошла известная ссора, ставшая роковой. Пустячный был повод к ней. Лермонтов что-то сострил, по своему обыкновению. Нарисовал в альбоме две-три карикатуры на Мартынова, что был при бакенбардах, усах и кинжале. Молодые люди посмеялись. Девицы хихикнули. А Мартынов нахохлился... Обиделся... Возможно, шутки были чуть позлее обычных... Думаю, что Белинский или тот же Лорер не обиделись бы.

Какие же имеются документы насчет этой ссоры у Верзилиных? Собственно, документы эти — письма, воспоминания, признания.

«Однажды на вечере у генеральши Верзилиной,— сообщает князь Васильчиков,— Лермонтов в присутствии дам отпустил какую-то новую шутку, более или менее острую, над Мартыновым. Что он сказал, мы не расслышали, знаю только, что, выходя из дому на улицу, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом по-французски: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах...»

Из этого ясно одно: Мартынов не любил шуток — обычный удел людей недалеких!

Быховец уточняет, что это были за шутки Лермонтова: «Он назвал при дамах M-r le Poignard u Sanvag'ом». Что значит по-русски: г-н Кинжал и Дикарь.

Сам Мартынов, отвечая на вопросы суда, писал: «Остроты, колкости, насмешки на мой счет... Просил его перестать, и хотя он не обещал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне, в свою очередь, смеяться над ним, он действительно перестал на несколько дней...»

Вот, по существу, и все. Неужели Лермонтов не видел и не понимал, с кем имеет дело?!

Лермонтов привез с собою в Пятигорск двух крепостных людей: конюха Ивана Вертюкова и Ивана Соколова — камердинера. Оба, разумеется, из Тархан. А прислуживал поэту Христофор Саникидзе.

Держал поэт двух лошадей. Говорят, были они великолепны. Мартынов передает со слов Саникидзе, что «Михаил Юрьевич был человек весьма веселого нрава... С прислугой был необыкновенно добр, ласков и снисходителен, а старого камердинера своего любил как родного...» Вот еще любопытная деталь: «Саникидзе говорит между прочим, что Лермонтов умел играть на флейте и забавлялся этой игрой изредка... Много говорить он не любил. Обыкновенным времяпрепровождением у него было ходить по комнате из угла в угол и курить трубку с длинным чубуком. Писал он более по ночам, или рано утром, но писал и урывками днем, присядет к столу, попишет и уйдет. Писал он всегда в кабинете, но писал, случалось, и за чаем на балконе, где проводил иногда целые часы, слушая пение птичек».

Еще одна подробность: «главный лекарь», титулярный советник Барклай де Толли признал Лермонтова и Столыпина больными и «подлежащими лечению минеральными ваннами».

«...Милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали...»

Мартынов — в своих ответах суду: «Я первый вызвал его. На другой день описанного мною происшествия Глебов и Васильчиков пришли ко мне и всеми силами старались меня уговорить, чтобы я взял назад свой вызов». Мартынов упрямылся. Полагает, что у Лермонтова нет и тени сожаления о случившемся.

А что делали в это время Столыпин-Монго, Трубецкой, Васильчиков и Глебов? Есть свидетельство, что секунданты употребили все средства примирить поссорившихся. И Лермонтов был согласен. Однако Мартынов не соглашался...

И дуэль была решена. Все разворачивалось по намеченному сценарию: «...Его убийца хладнокровно навел удар... спасенья нет: пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет!» Неужели Лермонтов писал свою биографию даже в этих своих стихах?

Условия дуэли жесткие: пистолеты «кухенрейтеры» — крупного калибра и дальнобойные. Расстояние между барьерами — пятнадцать шагов. От барьеров в каждую сторону — еще по десять шагов. От крайних этих точек, то есть с расстояния тридцати пяти шагов, — сходиться. Офи-

циальные секунданты: Глебов и Васильчиков. Имена Столыпина и Трубецкого, присутствовавших на дуэли, не назывались на официальном следствии, дабы оградить их от «неприятности». Вот соответствующее место из воспоминаний Васильчикова: «Столыпин и Глебов уехали в Пятигорск, чтобы распорядиться перевозкой тела, а меня с Трубецким оставили при убийстве».

Когда противники сходились — дождь уже шел и «мешал» Мартынову целиться. Бетлинг рассказывает со слов Мартынова: «Мартынов удивился, почему не стреляет Лермонтов...»

Нет, не мог стрелять Лермонтов. Не мог поэт стать убийцей. В отличие от некоего Мартынова: этот целился долго-долго, весьма тщательно. Уж очень, очень хотелось ему убить этого Лермонтова. Убить во что бы то ни стало. Уложить на месте. Выместить свою звериную злобу...

А эти? Эти четверо? Пусть все они были моложе Лермонтова, но ведь несмышленищами не были. Васильчиков, например, несмотря на свои двадцать два года, приехал на Кавказ, чтобы ревизовать военные организации. Убийца был старше его на три года. Остальные же примерно в этом же возрасте. Самому старшему из всех — Лермонтову — не исполнилось и двадцати семи...

Александр Блок писал: «В минуту команды «сходись» Лермонтов остался неподвижен, взвел курок и поднял пистолет дулом вверх. Лицо его было спокойное, почти веселое». Истинно сказано: «И пришедши на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место, дали ему пить укуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить...»

Дождь все усиливался. Лермонтов стоял правым боком к противнику. Геройски. А убийца тщательно целил. Никак не хотелось ему промахнуться.

И не промахнулся...

«...Милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали...»

Нет, Смерть уж стоит на склоне Машука. И судьба поэта решена. Прав, прав Омар Хайям: «Бог нашей драмой коротает вечность: сам сочиняет, ставит и глядит». Он уже сочинил сценарий и ничего в нем не пожелал изменить. До бабушкиных ли ему печалей?..

Александр Кривицкий как бы переносится в тот несчастный день 15 июля 1841 года. Он пишет: «Узкая, продолговатая поляна, окаймленная тогда кустарником, а теперь зеленой хвоей деревьев, наполнилась негромким говором, отрывочным восклицанием шестерых, совсем еще молодых мужчин. Темно-зеленое форменное сукно казалось черным в надвинувшихся тенях, — над головой клубились мемориальные тучи. Тускло отсвечивало золото погон. Их было здесь шестеро: дуэлянты, два секунданта, два свидетеля. Шестеро участников и свидетелей великой драмы русской жизни».

Да, так было...

Его тело перевезли домой поздно вечером. Извозчики не желали ехать в «такую даль» и в «такую грозу». По тем же причинам не могли раздобыть лекаря, чтобы оказать помощь тому, кто лежал на траве под Машуком, чья голова покоилась на коленях Столыпина...

Потом положили на диван. Позже перенесли на стол. Рана была смертельной: пуля пробил печень, легкие, сердце. Хорошо целил Мартынов!

Поэт лежал на столе. Художник Роберт Шведе «снял» портрет покойного. Но рядом не оказалось Эккермана, который мог бы сказать о Лермонтове: «Совершенный человек лежал предо мною во всей своей красоте, и, восхищенный, я на мгновение позабыл, что бессмертный дух уже покинул эту оболочку. Я положил свою руку на его сердце — оно не билось...»

Эрастов отказался отпевать. Уговорили Александровского. С трудом удалось пригласить военный оркестр.

Мартынов сидел под арестом, и его выпускали гулять только вечером. (Потом он уедет в Киев. Там ему положат церковное покаяние. А уж после, проезжая как-то мимо Тархан, навестит могилу Лермонтова...)

На третий день после дуэли, то есть 17 июля, Лермонтова погребут на Пятигорском кладбище. Его проводят в последний путь товарищи по военной службе.

Санкидзе сожжет окровавленный сюртук. Писари составят опись имущества поэта — оно сплошь походное, даже — «складной самовар».

Через год, весной, его тело перевезут в Тарханы. Это будет его последний путь на север.

А бабушка? Она найдет в себе силы, чтобы погладить свинцовый гроб... И тихо спросит:

— Здесь? Мишенька?

Она еще дышит, сердце бьется, но она уже мертва. Разве может жить Елизавета Алексеевна без Миши?

Так закончится его земная жизнь. И начнется великая жизнь поэта в веках.

«...Милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали...»



Заповедь

Когда проходят облака,
Расправив крылья надо мною,
А в поле — ропот лозняка
За августовскою межою;
Когда стоишь, а в поле — шум,
Такой протяжный и глубокий,
Что всё как будто наобум
В каком-то движется потоке:
Земля в плоду и труд в поту,
И дальний домик со скворечней,
А ты стоишь, как на плоту,
Пред этим гребнем бесконечным,
Когда вот так — за валом вал —
Ты поплывешь в своей триреме
Туда, туда — за тот причал,
Где ты — не ты,

НИКОЛАЙ ТРЯПКИН

КРИНИЦА

где правит Время, —
Тогда, поэт... Ну, что ж тогда?
Тогда пойми сигнал природы,
Что в мире бродят холода —
И вот в твои стучатся годы.
И ты отбрось любую ложь,
Доверься вещему призыву
И в дальний вслушайся галдеж
Грачей, что падают на жниву.
И пусть вот так — земля в плоду,
Жнецы поют, и всё — прекрасно,
А ты стоишь, как на плоту,
Пред чем-то
грозным и всевластным, —
И ты совсем уж — не такой
И не в своей привычной роли...

А впрочем — с новой бороздой
Не запоздай в озимом поле.
И пусть прокличут журавли
И приобщат твое сознание
И к трезвой мудрости земли,
И к древним зовам мирозданья
И строй, поэт, покрепче дом,
Пускай и грубо, но отменно:
Ударит час, как тяжкий лом,
В твои завьюженные стены!
(Старик Мороз! Он так лукав!
Пусть у него добрейший нрав, —
Но только там, где печь и Елка,
А вот — сними посты с застав —
И он покажет зубы волка!)
И не жалея, что пыль во рту,
А не медок весны цветочной, —
Жизнь перешла за ту черту,
Где слышен голос вьюг полночных;
И пусть проходят облака,
И журавли прокличут где-то,
И глубже ропот лозняка

Перед последним вздохом лета.
Прими — и сердца не тревожь,
И не смежай так плотно веки,
И засевай такую рожь,
Чтоб кровь играла в человеке!
И чтоб твой зимний камелек
С тобой охотно балагурил,
А ты бы сказки плел, браток,
А не ворчал бы — старый дурень!

Песня о пустых небоскребах

Над Темзой и Ла-Маншем,
В каком-то мираже,
Восходят небоскребы —
Этаж на этаже,
Восходят небоскребы —
Железо да стекло.
А крыши и карнизы
Грозой заволокло.

У каменных подножий —
Весь город и река,
И молча небоскребы
Зарылись в облака.
И в тех домах великих —
Пустыня там и тут:
И кошки там не скачут,
И люди не живут.

Земля грохочет в бубны
На стогнах биржевых.
А сверху небоскребы,
И дьяволы на них.
Земля грохочет в бубны,
Глашатаи кричат,
А сверху небоскребы,
Как идола, молчат.

И смотрят небоскребы
На дальний перевал:
Хозяин, эй, хозяин!
Куда ж ты запропал?
Хозяин, эй, хозяин!
Зачем ты нас построил
И запер на замки?

А бубны так и пляшут,
Гремят со всех сторон.
Хозяин, эй, хозяин!
Какой ты видишь сон?..
И грохают циклопы,
Хронометры стучат.
А сверху небоскребы,

Как идола, молчат.

У каменных подножий —
Ни древа, ни цветка.
И молча небоскребы
Зарылись в облака.
И всё кругом над полем —
Железо да стекло.
А крыши и карнизы
Грозой заволокло.

История

Что за ночки, братцы, в январе!
Ай да сторож!
Ай да люли-люшеньки!
Он проснулся нынче на заре
Да в своей сторожке,
у конюшенки.

Захрапел вчера он под хмельком,
Ничего не видел интересного, —
Завалился прямо-тки с ружьем
У того приемничка воскресного.

А была здесь вьюга-захолонь,
А потом — луна, такая белая!
И всю играла здесь гармонь,
И плясала девок стая целая.

Ах ты, сторож! Козья борода!
Ты и сам услышишь у завалинок:
Здесь была такая чехарда —
Только снег
взвивался из-под валенок!

Ничего ты, братец, не узрел,
Заваясь под шубою косматою...
Только ты не сам ведь захмелел —
Подпоили девки бесноватые.

А луна всходила на бугор,
Из снегов устроив бутафорию...
Ах ты, Павлыч! Старый мухомор!
Что ж ты, брат,
прошляпил всю историю?

А ведь тут скрипели денники,
Ржали кони, звякая цепочками,
У коней сновали пареньки,
Хлопотали девки над возочками.

Замыкали в кольцах удила,
Запрягали сивок...
Ох, предатели!..
И всю ночь катилось полсела
Со своим веселым председателем...

А теперь... Вставай-ка поскорей,
Убирай муру свою вечернюю,
Да пойдем, посмотрим на коней,
Что в саях промчали всю губернию.

Только — чур! — заране говорю:
Рысачки на месте,
 в полной целости.
И не плачь ты, братец, на зарю
И не рви шапчонку в озверелости:

Ни кнутов не пропили, ни шлей!
Только вот какая, брат,
Загривинка:
У двора — ни санок, ни дровней,
Только снег с мякиною да ивинка.

Подожди, папаша, не грозись,
Даже плюнь на эту штуку вздорную,
Ты на горку выйди, поднимись,
Посмотри-ка в трубочку подозрною:

Там во поле, поле, у зайчат,
Из-под снега свежего, сыпучего
Десять пар оглобелек торчат,
А над ними — с огорода чучело.

Это всё — девчонки под конец:
Запряглись, лахудры,
 да и — во поле!..
Плюнь, отец. Просватаем, отец.
Женихов отыщем — в Севастополе.

• • •

Не сердись на меня, молодица,
Что я глух на заклички твои.
Не повысохнет наша криница,
Не порвется ушко у бадьи.

Закрываюсь я в горнице скудной,
Пропадаю в далеком лугу.
Затомил меня голос подспудный,
Отвязаться никак не могу.

Не стучись ты ко мне, соколица,
Не носи зеленое вино:
Огневая полночная птица
Прилетает ко мне под окно.

И садится на ветку у тына,
И пером обжигает мой сад.
И боюсь я, что свянет крушина
И что весь пропадет виноград.

Дай сыскать мне такую приметку —
И поставить надежный силок..
И ту птаху посадим мы в клетку
И подвесим под свой потолок.

И тогда в моей горнице мгlistой
Загорится, как солнце, окно,
И под радугой, вечно цветистой,
Будем пить золотое вино.

И смешается быль с небылицей,
И все годы вернутся назад.
И споет нам заморская птица
Про далекий златой Вертоград.

• • •

А пока не отрешился
Ни от солнца, ни от рек, —
Слышишь — в поле раскатился
Грохот огненных телег?

Что за прыткие пегашки?
Что за громкая свирель?
То в малиновой рубашке
Скачет заново Апрель.

То ли внуки, то ли детки?
То ли гривы, то ли дым?
То ли дуги-самоцветки?
То ли радуги над ним?

Через кудри, через плечи!
Через камни, через рвы!..
Только ты, браток, не вешай
Загрустившей головы.

К черту старость и лежанку!
К черту зимнюю кудель!
Забирай свою тальянку
Да за нами — под капель.

Будем прыгать и ругаться,
Задирать повыше хвост,
А задумал отлежаться —
Убирайся на погост!

И покойся в той перине,
И газуй там, старый кот!
И не бог тебя поднимет —
Экскаватор зачерпнет!

А пока не отрешился
Ни от солнца, ни от рек, —
Слышишь — в поле раскатился
Грохот огненных телег?

Начало событий, о которых пойдет речь, относится к семидесятому году. Секретарь Наро-Фоминского райкома партии Дмитрий Васильевич Заикин рассказывал мне о том, какие за последнее время в совхозах появились механизированные фермы, мастерские, выросли совхозные поселки, я слушала его рассеянно, — кого нынче удивишь новостройкой! Дмитрий Васильевич это заметил и, как бы вспомнив о чем-то, произнес:

— Вот, скоро еще одну стройку начнем!

Это потом я поняла, что он приберег ее напоследок, как сюрприз, а тогда скорее из вежливости поинтересовалась:

— Какое-нибудь предприятие?

— Почти предприятие, но совершенно иного типа. Вы слышали что-нибудь об откормочных комплексах?

— Да, кое-что...

— Это индустриальное производство свинины. Новейшая технология. Как только запустим комплекс, москвичи буквально, заметьте, не в переносном смысле, начнут по конвейеру получать свинину. А это и буженина, и карбонат, и разные колбасы, и отбивные. Вы любите отбивные с косточкой?

Время было обеденное. Я представила праздничный стол и на нем, покрытом белоснежной крахмальной скатертью, дулевский фарфор тарелок и ароматные, сочные, зажаренные с косточкой отбивные, обложенные хрустящим картофелем, зеленью, овощами, выращенными в новом совхозе-гиганте, совхозе-автомате «Московском», который радует москвичей длинными, словно сабли, огурцами. Они появляются в марте, задолго до того, как созреют на грядках пупырчатые, ароматные нежинские огурчики, и этим своим ранним появлением особенно дороги москвичам.

— А что же это за технология? — право, стыдно признаться, но интерес мой вырос.

Дмитрий Васильевич, однако, не торопился с ответом. Он заметил, что часто над нашими мыслями тяготеет инерция, и все новое не сразу укореняется в сознании людей, которых держит в плену многовековой опыт стихийно сложившегося откормочного процесса, когда после ранних опоросов подросшего боровка или свинку сажали в хлевушок, лили ему в корыто все, что оставалось от хозяйских харчей. Неприхотливая животина всегда приносила немалую пользу, давала дешевое, вкусное мясо, сало, кожу, щетину.

— В колхозах и совхозах по существу было то же самое, только в больших масштабах. А у нас пойдет все по-иному. Правда, пока это эксперимент! Масштабы его таковы: не время от времени, а каждый день с конвейера будет сходить до трехсот свиной. И в каждой более ста килограммов. Вы представляете, что это значит?

На праздничном столе мне теперь уже виделись не только нежные отбивные, но все многообразие блюд, которые человечество научилось изготавливать из свинины. И уж, вероятно, не только ими будет отмечен праздник изобилия. Придет ли время, когда люди будут избавлены от постоянной за-

ВЕРА ШАПОШНИКОВА

КУЗНЕЦОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

ХРОНИКА

Очерк
и публицистика

боты о хлебе насущном, часто поглощающей все их силы, и смогут еще больше времени отдавать науке, искусству, развитию своих дарований, спорту, дружескому общению, путешествиям? Гармония общества и человека. Не об этом ли мечтали тысячи поколений?

Комплекс, о котором рассказывал секретарь, был одной из ступенек к этому времени. Не сам он, конечно. В процессе движения истории это слишком малая величина. Но принцип... Промышленное предприятие, изготовляющее живую продукцию.

Тут уж я, разумеется, высказала желание познакомиться с комплексом, но Дмитрий Васильевич сказал, что ехать туда пока еще рано, там только развертываются работы, завозятся материалы.

— Годика через два, пожалуйста, милости просим. Тогда кое-что увидите,— пригласил он и посоветовал пока поехать по району, что я и выполнила, направившись в единственный колхоз «Новый мир» с центральной усадьбой в деревне Шустиково.

Но хроника как бы уже началась, я записала нашу беседу и с тех пор стала следить по газетам за стройкой в совхозе Кузнецовском. Заметки о ней появлялись довольно часто, но были они информационными и короткими. В некоторых рассматривались даже принципы откормочных комплексов, их начали сооружать около крупных промышленных городов, а о Кузнецовском — все вскользь. Когда в «Правде» появилась большая статья Е. Григорьева и А. Карамышева «Конвейер мяса и молока» и фотография, свидетельствующая, что в Кузнецовском дело заметно продвинулось, я решила, что можно ехать.

Сомнения

Серенький мартовский денек. Небо низкое, ветер знойкий, сыро, и снег осел. На его затвердевшую, ольпывшую настом поверхность вылезла накопившаяся за зиму копоть. Все вокруг кажется неуютным, неряшливым.

Покинув на станции Ожигово поезд, я по тропке, подсказанной мне прохожим, иду в Кузнецовский, озадаченная только что услышанным в поезде разговором. Он несколько изменил мое приподнятое настроение, заставил задуматься, насторожиться, вспомнить слово секретаря райкома о том, что все новое, непривычное не сразу завоевывает умы и сердца людей...

В вагоне напротив меня сидели два пассажира. Они, как только заняли места, начали о чем-то возбужденно переговариваться, а потом один замолчал и все слушал, не выражая своего отношения к словам собеседника.

Я сначала не обратила на них никакого внимания и смотрела в окно, где в сыром, мгlistом воздухе словно таяли сахарные стволы молодых берез. Было зябко, читать не хотелось, и я невольно заинтересовалась разговором соседей.

— Да, прогресс не остановишь... — В го-

лосе говорившего мне послышался оттенок неприязни, свойственный некоторым немолодым, старинного склада людям, всю жизнь свою связанным с природой и словно личное несчастье переживающим любое, даже разумное вмешательство в ее стихийные процессы. Молчание, задумчивый, пристальный взгляд в пространство, которыми сопровождалась эта короткая фраза, свидетельствовали о сомнениях, которые одолевали этого пожилого человека. — Теперь в холстах не ходят, даже ситец и тот носить не хотят, что подорожнее требуют. Хорошая мебель, модное платье, различные бытовые машины — это нынче нужно деревне. А кто это делает? Город!

На продубленном, коричневом лице этого человека особенно выделялись глаза, искренистые, чистые, но какие-то озабоченные, неспокойные, словно он, выставив на суд свои суждения, ожидал, что ему возразят, будут спорить, судить-рядить, опровергать его мнение. И он вопросительно и опасливо взглядывал на соседа, но в то же время как бы искал в нем какой-то поддержки.

Я невольно, с возникшей симпатией, стала вслушиваться в его слова, когда тот, не дождавшись от своего соседа ответа, заговорил снова:

— Откормочный комплекс... Технология... Автоматизация... Механизация... — Он как бы взвешивал эти понятия, а также идущие вместе с ними экономические и социальные процессы, меняющие само лицо нашего общества.

И вдруг опять с тревогой, с тою же напряженностью вернулся к тому, что, по-видимому, его особенно волновало, но чему он, в силу каких-то причин, или не находил объяснения, или относился отрицательно.

— Ты только не забывай об одном. Свинья, она, хоть и свинья, но не автомат, а живой организм. Как можно не считаться с ее биологией? Нынче случается, что изобретатель, увлекаясь техникой, совершенно забывает о биологии живых организмов. Природа отплатит. Помянешь меня, отплатит...

Теперь я с жадностью ловила каждое его слово, а он замолчал, усталый в окно, где среди берез появились ели и сосны. И хотя их хвоя была зелена, свежа, серое небо нависало низко, будто хотело прижать, придавить к земле резвую торопливую электричку. А она все выскальзывала, уходя от опасности. В сердце шевелилось беспокойство, наваянное опасениями сидящего рядом человека, усиленное хмуростью ранней весенней поры, когда назревает, но еще не определилась, перемена погоды. Знаешь ведь, что за этими ненастными, серыми днями будет бурное таяние снегов, время веселых весенних ливней, которые смоят копоть и грязь, и все зацветет, распустится благоухая. И электричку это серое небо не придавит к земле. А все равно поддаешься тревожному настроению и ждешь какой-то до времени таящейся опасности — что это? Атавизм? Первобытный страх перед непознанными явлениями природы? Биология! Сколько о ней было споров.

Сосед пожилого человека молча поерзал на месте и неопределенно, как мне показалось, насмешливо хмыкнул.

— А? Что ты сказал? — встрепенулся пожилой.

— Да нет, ничего, я... Биология, конечно, деликатная штука.

Он и соглашался, и что-то не договаривал. Хоть был он и молод, но показался мне каким-то бесцветным, равнодушным, что ли. А его уклончивый ответ вызвал даже досаду. Ни да ни нет. А что ж по существу? Доводы пассажира очень важны. Особенно важны они мне казались потому, что разговор-то касался того, что меня занимало, ради чего я пустилась в путь... Видно недаром сложили пословицу: «На ловца и зверь бежит». Какая волна прибила меня к этому купе, бросила рядом с людьми, которые говорят о том же, что повлекло и меня в эту поездку — о новом откормочном комплексе, который строился на базе совхоза Кузнецовский?

Но, как я сказала, аспект, точка зрения на производство живой продукции промышленным способом были для меня совершенно новы. Ни секретарь райкома, ни авторы информации не упоминали об этой самой распроклятой и божественной биологии — науке, вскрывающей закономерности жизни одушевленных существ, а, следовательно, и поведения самих существ в новых условиях.

Не трудно догадаться, с каким нетерпением я ждала продолжения разговора, все еще не решаясь включиться в него.

Пожилого пассажира будто что подстегнуло.

— Ну хоть бы морозы. Как вдарят градусов эдак под тридцать — и очистные трубы потрескаются, и полы в помещениях промерзнут. Цемент, Ты знаешь, что такое каменный пол?

Он бросил быстрый взгляд на своего собеседника, словно пытался определить, знакомо ли ему свойство камня мертвеным холодом входить в живой организм. Молодой человек утвердительно кивнул, но спутник, видимо, не удовлетворившись этим, начал подробно растолковывать.

— Дерево, на него ляжешь, вроде как холодно. А потом все теплей, теплей. Изнутри греет. Солнечный жар отдает. А камень, наоборот, жар вытягивает. Ты никогда деревянного пола не бойся...

— Да ты поставь сюда деревянный, они его сложут за месяц. Леса не наготовишь. К тому же грязь. А этот чистый и с подогревом, — возразил его сосед.

Они начали обсуждать свойства нового пола, в состав которого кроме цемента входят битый кирпич и керамзит — полые глиняные шарики. Затрагивали другие вопросы, из которых я поняла, что спутники мои — ветврачи. Боясь, что они уйдут от самого главного, решила нарушить приличия — задать вопрос, имеют ли сами эти люди отношение к Кузнецовскому и как все же будет протекать биологический процесс в новых условиях так называемого безвыгульного содержания огромного количества животных? Но в это время поезд подошел к Апрелевке, собеседники заторопились к выходу, оставив мне на память свои сомнения.

Я ехала еще минут двадцать и все вре-

мя думала об их разговоре. И когда шла по тропе к Кузнецовскому через лес, тоже думала о нем же. Да, этих вопросов никто еще не затрагивал, говорили, главным образом, о стройке, о стоимости свинины, которая выйдет с конвейера. Нужно поподробнее расспросить специалистов. Не может же быть, чтобы этого не учли...

На стройке

Тропка из лесу вынырнула на Киевское шоссе, и сразу в моем настроении произошла перемена. Все вокруг посветлело. И не то чтобы изменилась погода, — было все так же сыро и знойко, но я перестала это замечать. Широкое полотно шоссе уже освободилось от снега, машины со свистом неслись по асфальту, торопясь, обгоняя друг друга. Почти все они поворачивали налево, на такое же широкое ответвление, по обочинам которого стояли столбы, держащие каждый в ладошке овальные лампы дневного света. Далеко впереди кружил строительный кран, таская корзиночки с кирпичом. Когда же дорога расширилась, превратившись в широкую строительную площадку, тревоги мои исчезли совсем.

Вначале я почувствовала некоторую растерянность, невозможность сразу охватить, осмыслить то, что здесь происходило. Когда строится завод, то видишь, что это — завод, корпуса цехов высокие или приземистые, в зависимости от назначения. Даже если строится химическое предприятие с его сложным переплетением труб, емкостями газгольдеров и различных других помещений, все равно, это нечто целое и компактное. На площадке, перед которой я стояла и которую даже взглядом окинуть оказалось не так-то просто, высилось много различных и разнотипных построек. Одни из них мне показались законченными, другие находились в стадии сооружения.

Березы и сосны, окружавшие площадку, отпрянули и стояли строгие, настороженные. На взъерошенной, ископанной, исполосованной колеями земле, зияющей котлованами, рвами, вздувшейся насыпями, буграми, разворачивались грузовики-самосвалы, те самые, что с такой торопливостью мчались по шоссе. Освободившись от грузов, они, облегченно тарыхтя и подскакивая на выбоинах, уносились обратно за новой порцией кирпичей и необходимых строительству материалов. Громяхая широкими гусеницами, грузно ползали тракторы, рычали бульдозеры, разравнивая площадку, с голодным скрежетом впивались в глину ковши экскаваторов. Красная кирпичная труба котельной, направив к облакам свое мощное жерло, курилась струйками светлого дыма, который таял в воздухе.

Именно здесь, среди суеты, среди нагромождения стройматериалов и арматуры, рокота машин, делового звучания человеческих голосов, я, пожалуй, наиболее отчетливо, образно почувствовала не только масштабы наших сегодняшних дел, но и то,

как они, эти самые дела, записанные в программе пятилетнего соиздания, материализуются, обретают реальность. Лозунг — красивые буквы на сером цементе плит комбикормового завода — подводил итог всему, что происходило на площадке:

РЕШЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА ПАРТИИ В ЖИЗНЬ!

Так строился под Москвой индустриальный откормочный комплекс. Принципиально новая для деревни форма хозяйства. Я сказала: «Для деревни», — и сразу задумалась. О какой же деревне можно здесь говорить? Конечно уж не о той, соломеннокрышей с ее многовековым патриархальным существованием, с поэтическими покосами, прославляющими радость непосредственной связи с природой, сладостным земляничным запахом сохнувших трав, с теплым и сытным духом хлева, утренним выгоном скотины на пастбище под призывно поющий рожок пастуха, с песнями разудалыми и клянущими тяжкую долю, темную, скудную, многострадальную жизнь.

Все это теперь уже прошлое, а я еще его помню... Рязанское детство. Хлевушок во дворе, где выкармливали боровка Гришку. Братя возили на салазках картофельные очистки из госпиталя, где работал в то время отец. Вспухшие, покрасневшие мамины руки, заботы ее, как утеплить хлевушок. На нашей окраинной Рогожинской улице в каждом, пожалуй, дворе был такой хлевушок, и его обладатели возились с помоями, с навозом, ездили за бардой на окраину города, где на яру стояла церковь Бориса и Глеба, а под крутояром дымил винокурный заводик.

А тут не хлевушки, а длинные низкие помещения с частоколом вентиляционных труб на ребристых крышах — жилище десятков тысяч свиней. Индустриальный город из хлевушка не прокормишь. А такому гиганту, как Москва, нужен не один такой откормочный комплекс, а по меньшей мере десяток различных, чтобы промышленным способом в избытке производить яйца, молоко, свинину, телятину.

Да, это вполне естественно, что всякое новое дело сопровождается раздумьями, встречает много сомнений и даже протестов. И то, что на пути комплексов у многих возник, как нынче называют, психологический барьер — закономерно. Закин был прав — люди не сразу могут осмыслить, свыкнуться с новым, иным трудовым процессом, рожденным техническим прогрессом, не сразу могут создать его поэтический образ, сложить легенду, стихотворение, песнь... Нет, не просто преодолеть этот психологический барьер.

Снова сомнения

С начальником строительного участка Сергеем Федоровичем Прошиным мы вошли в один из свинарников, названный на иностранный манер — пиг-балья. Строители только что закончили это сооружение, пред-

назначенное для содержания ослабленных поросят. Среди семейства из десяти — двенадцати поросят всегда есть такие, которые послабее. В обычных условиях, отнесенные сильными от материнского молока, они худеют и гибнут. А тут их сразу же переводят в особое, специально для этого приспособленное помещение, где устанавливают за ними особый уход.

От длинного, в четверть километра, светлого коридора, отгороженные небоюшимся стеклом, шли боксы, к кормушкам подведены трубы кормопровода. Системы для отопления, вентиляции, отсасывания газов, решетки, под которые с наклонного пола стекает навоз, — все было готово для приема этих ослабленных поросят. Предстояла полнейшая дезинфекция помещения.

Прошин, молодой человек, как, впрочем, почти все работающие на комплексе специалисты, шел, горделиво поглядывая по сторонам, статный, спортивный, в голубом, под цвет глаз нейлоновом свитере и объяснял мне, как хорошо утепленные стены свинарников, гигиеничны, подогреваемые полы из цемента и керамзита, как прочны, легки перекрытия крыши стального гофра и удобен в употреблении новый, заменяющий штукатурку фольгоизол, он придает долговечность сооружению и сохраняет его от коррозии.

По всему было видно, что ему нравится это помещение, нравится, что он участвует в его сооружении. Видимо, и сама новизна дела импонировала его сильной натуре, требующей дела по плечу.

— Такую махину отгрохали! — он хлопал рукой по стене.

Две тетки-уборщицы, сидевшие на опрокинутых ящиках, прислушивались к нашему разговору. И когда Прошин начал нахваливать, как хорошо будет поросатам в этом новом помещении, одна из них осклабилась и крикнула зло:

— Ты слушай его, он тебе и не то напоеет. Намедни одна опоросилась, все оказались шальные. Носились как угорелые. А сколько подохло?

Прошин смуглился от неожиданности и стал неловко оправдываться:

— Отходы идут по норме!

Тетка осклабилась еще больше, подмигнула, махнула рукой, показывая куда-то.

— Вон там, в мешках эта норма. За свинарником. — И вдруг лицо ее стало неприятным, глаза, как буравчики, впились в Прошина.

— Ты, тетка, темная, смотришь назад. — Он начал ее увещавать, объяснять мне, что при любых условиях происходит падеж, стараясь замять конфузный разговор. — Ну хоть мешок, хоть два. Да от какого количества. Здесь тысячи их, животных-то.

— Да знамо уж, мы не ученые. А слушь, тебя посади в такую клетку, ни поразмяться, ни воздухом подышать. Ты каторжный, да? У ей и пища на пользу не будет.

Прошин уже овладел собой. Уверенность снова вернулась к нему, и убежденно, оставляя без внимания ядовитые теткинны замечания, продолжал объяснения:

— Пока не все отлажено, есть неуда-

чи, но мы их поборем. Наладим так, что все будет делать машина. Добьемся! Время придет...

— Слава богу, не доведется дожить, — перекрестилась горластая тетка и снова задиристо крикнула: — Слуш, а ты, небось, сало-то пойдешь покупать на базар? — И не дожидаясь ответа, встала, взялась за тряпку и начала с усердием протирать стеклянную стену, всем видом своим выказывая, что она не намерена даже слушать объяснения Прошина. Ее товарка равнодушно внимала спору, глядя не то на Прошина, не то куда-то в пространство. Ей было, по-видимому, все равно, как будут выращивать порослят и куда она пойдет покупать сало.

Мы дошли до конца коридора, я оглянулась, она все еще сидела на ящике, явно не торопясь перегружаться работой. «А ведь она пострашнее горластой, — подумалось мне. — У той болит душа, страх перед неизвестным, новым, что нарушает привычные нормы жизни. А эта ко всему равнодушна...»

— Многие так считают, особенно, кто привык по старинке, — сказал начальник участка, когда мы покинули помещение. — А молодежь работает с интересом.

— Вы не ответили ей, Сергей Федорович, насчет сала, — сказала я. — Какое будет вкуснее?

— Да кто ж его знает, дело новое. И кроме того, здесь не салом, а мясом будут сдавать.

На финишной прямой

Еще один из таких же серых и знойких мартовских дней. На стройке встретились секретарь московского обкома партии и руководители подрядных организаций. В строительстве комплекса их участвует более тридцати — монтажники, землестроители, электрики, транспортники, связисты... Присутствовали не все, а те, которые выполняют важнейшие первоочередные работы.

С утра на строительную площадку начали прибывать машины с представителями этих самых подрядных организаций. Приезжающие, не заходя в помещение, отправлялись на объекты, разговаривали с прорабами, проверяя, как идут порученные им работы, готовясь к обстоятельному, требовательному разговору с секретарем обкома, который, как некогда сказал мне Дмитрий Васильевич Заикин, не выпускает стройку из поля пристального и требовательного внимания.

С начальником производственного отдела Владимиром Васильевичем Безкоровайным мы стоим на крыльце, ожидая приезда секретаря обкома. На стройке царит обычное оживление, шум, грохот, скрежет железа. Сегодня здесь особенно много молодежи — комсомольцев, принимающих активное участие в работах. Девушки в синих халатах и ярких, пышно начесанных беретах убирают территорию и весело переговариваются.

— Комсомольцы здорово нам помогают. Вся область прислала отряды, каждый рай-

он. Работают хорошо, как говорят, не считаясь со временем. Вот девчата субботник устроили. — Безкоровайный провожает взглядом раздумяившуюся, стройную девушку, которая с ведерком и тряпками направляется к длинным постройкам свинарников.

— Лена, идем стекла мыть, — зовет она подругу. Та, опираясь на грабли, стоит отдыхая.

— Приду, — откликается Лена. — Сейчас тут закончу уборку и приду.

Она снова принимается сгребать мусор. Две другие подружки подходят с носилками и уносят мусор за дом, туда, где горит костер. Я уже знаю трудовую биографию Безкоровайного. Десять лет назад он окончил Одесский строительный институт, получил назначение в Астрахань и работал в рыбном хозяйстве. В семидесятом году его перевели сюда, под Москву, на строительство комплекса.

— Когда я приехал, тут чистая площадка была и один человек — начальник ПМК-29. — Он шурит синие пронзительные глаза, смотрит вокруг, словно взглядом сгоняет отсюда всю технику, материалы, постройки, оставляя голый площадку, окруженную березняком с клинышком сосняка. Этап за этапом он возвращает на нее все то, что, накапливаясь постепенно, и образовало современный пейзаж.

— Рабочие стали прибывать, главным образом, из Наро-Фоминска. Жили в вагончиках, на стройке всегда живут сначала в вагончиках. Потом контору построили, получили проектно-сметную документацию, тут закурилось быстрее. Проекты новые, технология самого строительства новая, многие материалы тоже применяем впервые, а сроки сжатые. Иной раз берешься за дело и даже не представляешь в деталях, что из него получится. В общем виде представляешь. Но это еще не все...

— Значит, получилось... — Я смотрю на лозунг-обязательство: «Сдадим 2-ю очередь к 1.XII.72 г.»

Безкоровайный удовлетворенно заулыбался, обрадовался.

— Сил положили много, но первую очередь сдали вовремя. Десять свинарников. Котельная на газе работает. Тринадцать километров тянули линию. А сейчас идет отладка очистных сооружений. Теперь без них не обходится ни одна стройка, ни одно предприятие, где отходы могут загрязнить естественную среду. Тоже, заметьте, новое дело. Проекты приходится совершенствовать на ходу, к местным условиям приспособлять...

Вдали на дороге показалась вереница машин.

— Никак приехали... — Безкоровайный шагнул с низенького, в одну ступеньку крыльца, глядя из-под руки на машины, и, убедившись, что это машины обкома, заторопился в контору за графиками, которые могут потребоваться приезжим.

Машины сразу прошли к административному корпусу, стоящему в центре между длинными рядами свинарников. Он был выше их и, как флагман, выдвинувшись вперед, делил ряды помещений на две части —

репродукционные, уже действующие — слева, и откормочные, еще не готовые — справа. В правых монтировали кормопроводы и вентиляционные трубы, устанавливали решетки для смыва навоза. Под решетками находились коллекторы, по которым навоз поступал в очистные сооружения.

Обо всем этом я узнала после того, как, преодолев примерно километровое расстояние, добралась до административного корпуса и попала как раз вовремя.

Высокий, с широким размахом плеч человек в серой барашковой папахе рассказывал о системе очистки. Работы велись под его руководством. Сложные вещи он объяснял с удивительной простотой, что выдавало его глубокие и обширные знания, точность пространственного инженерного мышления. Это был инженер Журавлев. Из его объяснений я поняла механику самого процесса и то, что дело движется к завершению.

— Добились почти полной стерильности очищаемых вод, — говорил инженер, — хотите посмотреть?

— Да, обязательно, — сказал секретарь обкома.

Инженер Журавлев повел всех к одному из корпусов. В открытую дверь пахнуло резким летучим запахом аммиака, пара, которым было наполнено помещение. В большом, вращающемся с бешеной скоростью барабане навоз разделялся на твердые части и жидкость. По трубам твердые его части поступали в соседний корпус, просторный, высокий. Во всю длину его протянулся другой барабан, лежащий на прочных кирпичных опорах. Он тоже вращался медленно и со скрежетом. Там, внутри, лопаточки и горячий воздух продвигали, сушили навоз, превращая в брикеты для удобрения.

Жидкая часть отходов по трубам попала еще в одно помещение, где в огромном бассейне, как пропеллеры, крутились аэротенты. Вспененная, взбитая лопастями вода разлеталась шипящими веерами и обогачалась кислородом. Из бассейна вода стекала в круглый резервуар-отстойник, где медленно совершала круговые движения рейка, снимающая с поверхности пену. Двое рабочих в защитных ветровках, облокотясь о поручни, окружающие резервуар, слушали объяснения инженера но, судя по скукающему выражению их лиц, принцип работы этого автоматического устройства им был хорошо знаком.

Затем все ходили по территории, осматривали иловый отстойник со шибенкой, дренажные устройства, колодцы. Секретарь обкома всем интересовался, расспрашивал, делал замечания.

— Мы на финишной прямой, — говорил он, слегка окая. — Я большого секрета не выдам, если скажу, что внимание к стройке все возрастает. Комплекс имеет значение не только для Наро-Фоминского района, не только для Москвы, но для всей страны. Это эксперимент большого масштаба.

Он смотрел на бегущую по шибенке родниково-чистую воду и, удовлетворенно кивая головой, говорил:

— Очистные сооружения нам особенно важны. Нужно как следует отладить систе-

му очистки. Это одна из первостепенных задач.

Ветер хлестал и пронизывал. Под ногами оседало расплывающееся глиняное месиво. Небо опустилось еще ниже и дышало промозглой сыростью. Представители подрядных организаций, выполнявшие заказ обкома партии, поживались, но секретарь обкома словно не замечал ни холода, ни ветра. Он придирчиво все проверял и просил растолковывать ему в деталях существо изменений проекта.

Сложны отношения многочисленных, работающих совместно организаций. Сколько нужно усилий для того, чтобы они действовали согласованно. Вот хотя бы в этом важнейшем объекте комплекса, именуемом очистными сооружениями, участвует более десяти организаций. Сегодня они встретились здесь, чтобы определить, как наилучшим образом объединить им усилия, выявить, а значит, и устранить все, что мешает. Работа проделана колоссальная, трудно даже представить сейчас ее сложность, объем.

— Как вы думаете, сколько под этим пятачком уложено труб? — обратился ко мне инженер Журавлев. Я смотрю на него снизу вверх, в светлых глазах его играет веселая улыбка, папаха с небрежным заломом чуть сдвинута, открывая широкий и мощный лоб. Что-то в нем самом такое широкое, сильное, чкаловское. «Ну нет, не поддамся на шутку», — думаю я и говорю, прикинув размеры площадки:

— Наверно, семь-восемь километров.

— Двадцать восемь!

Он произносит это небрежно, как бы между прочим, шаяя меня, и, не давая возможности выразить удивление, широко шагает туда, где секретарь обкома разговаривает с прорабом Оргсельмонтажа Еленой Николаевной Медведевой.

Я придвигаюсь, чтобы послушать, о чем они говорят. Стоят они на возвышении, в центре того самого пятачка, площадью не более квадратного километра, под которым скрыта строгая, точно рассчитанная путаница труб и колодцев. Вокруг настороженно застыли березы.

— Что выгоднее, строить дополнительные пруды или организовать замкнутый водоворот? — доносится до меня голос секретаря. Он в раздумье смотрит вокруг на белые свечки берез и произносит с чувством: — Артезианская вода дорога. Беречь ее нужно. Природу беречь...

Горький называл народ источником всех не только материальных, но и духовных ценностей, первым по времени, гениальности творчества философом и поэтом, создавшим все великие земные поэмы и трагедии.

В дни своего детства, руководимый инстинктом самосохранения, в восторге, страхе и удивлении перед природой, с которой борется голыми руками, человек создает религию, и она заключает в себе все его знания, стихийные глубокие чувства, богатые формами и оттенками. Нынче отношения человека с природой переходят в новую фазу. Не ожидая милостей от природы, люди сами берут их, смело вмешиваются в жизнь. Но

все чаще сегодня звучат слова о том, что природе нужно беречь. Знаменательна фраза секретаря областного комитета партии.

— Вот скоро закончим работы, а летом засадим эту площадку кустарником и цветами,— мечтательно произносит Медведева.

— Все территории озеленим,— подтверждает директор совхоза Кузнецовский Валентин Петрович Мосолов.

— Ну хорошо, хорошо. Заканчивайте скорее. Лето не за горами. А сейчас поехали, поговорим.

И все снова тронулись к машинам. На площадке осталась одна лишь Медведева со своими делами, заботами, отражавшимися на ее симпатичном лице...

На совещании, начавшемся после осмотра объектов, говорили о более четкой стыковке подрядных организаций, о совершенствовании газификации всех объектов, отметили, что Кузнецовскому пока еще не хватает электроэнергии и что дисциплина, как говорится, хромает. Возникло множество разнообразных и разнозначных вопросов, рожденных в повседневной жизни этой новой экспериментальной стройки. Все было озбочено, и каждый считал, что его дела всего важнее для окончания стройки и пуска конвейера, для которого в Наро-Фоминске уже достраивается большой мясоперерабатывающий комбинат, а рядом с железной дорогой — холодильник.

Прикрыв глаза, я зримо представила всю нашу огромную страну, охваченную пылом созидания. Растут уникальные предприятия. Прокладываются новые трассы. Люди вот так же спорят, ссорятся, обвиняют друг друга в медлительности. Но все их усилия направлены к одному — как сделать лучше, быстрее. И уже прорисовываются очертания нового, еще вчера казавшегося почти фантастическим. Направленные партийной программой усилия миллионов приносят свои плоды. На повестку дня выходит важнейший вопрос — слаженного и наиболее простого управления всем сложным хозяйством страны.

Громкий спор, перепалки строителей и эксплуатационников, этих двух хозяев в одном государстве, возвращают меня к событиям дня. Но я утерjala нить развития отношений; так во всем нынче: чуть отстанешь — и уже выбыла из колеи. Начиная рассматривать схемы комплексов, переписываю в блокнот рационы, разработанные учеными, проникающими в тайны живого организма. На плакате это названо рецептом кормления поросят от пятнадцати до сорока дней.

Привожу его без обозначения количественной нормы: сухое молоко, рыбная мука, дрожжи, поджаренная соевая мука, обезвоженная люцерна, мука луценого и поджаренного ячменя, животные жиры, сахарозы, карбонат и фосфат кальция, двузамещенный хлористый натрий и еще несколько компонентов, обеспечивающих правильный рост молодняка.

Тут я ловлю себя на том, что от строительных проблем перешла к проблемам эксплуатации комплекса, к той самой новой технологии откорма, которая позволит снаб-

жать крупные индустриальные города дешевым высококачественным продуктом, при этом в изобилии.

Вспомнилось кем-то брошенное в споре замечание, что в совхозах, где выкармливают свиней городскими очистками, мясо намного дешевле, возникла перед глазами тетка из пиг-балья. У нее за плечами собственный опыт, и она не признает ничего иного, всей этой новой системы выращивания свиней.

— Животному нужно внимание. Погладить его, поговорить, выгнать погулять... Без этого ему еда в рост не пойдет. Тебя посади в клетку, ты каторжный, да?

Она была неколебима в своей убежденности. Она как бы олицетворяла собой инерцию опыта, цепкую, древнюю инерцию мышления — силу, с которой столкнутся люди, пришедшие на первопуток.

Строители — племя подвижное. Они создадут предприятие и подарят тем, кто будет работать на нем. Кто они, эти люди? Я спросила своего соседа, кто занимается технологией производства. Он показал на сидящего в президиуме круглолобого, черноглазого человека, глядящего как бы исподлобья, упрямо. Это был главный технолог комплекса — Владимир Михайлович Семенов,

Заботы главного технолога

Он объяснял все так:

— Принцип технологии заключается в непрерывном движении и откорме. Ежедневно сорок четыре свинки проходят искусственное осеменение. Из одного помещения их переводят в другое на тридцать два дня. Затем холостые снова проходят осеменение, а супоросных помещают в особые стойла. За два дня до опороса их переводят в стерильные помещения — до тридцати трех свинок ежедневно производят на свет по десяти — двенадцати поросят. Слабых...

— Пиг-балья? — подсажала я.

Семенов кивнул, сказав, что двадцать шесть дней поросят держат возле матери, потом отнимают и перегоняют дальше, на определенные, соответствующие их возрасту режимы, меняя рационы кормов, пока не доведут до определенных кондиций — сто с лишним килограммов. Сдают ежедневно триста с лишним животных. Мясная свинина. То есть пока еще не сдают. Пока идет наполнение помещений. В них будет всего сто восемь тысяч свиней.

— Здорово и просто,— заметила я.

— Так кажется,— Семенов внимательно посмотрел и продолжал объяснять: — Снаружи посмотреть на наши свинарники — неподвижность, покой. Глухие ряды помещений. Но в них непрерывное движение, четко разработанный цикл. Малейшая задержка, и все нарушается. Вы представляете эту машину, работающую как часы. Сотни вопросов, а опыта нет. Вся технология разрабо-

тана итальянцами. Но там не жалеют людей. Рабочий отдает все силы. Затем его могут выбросить на улицу и взять другого. Такая система для нас неприемлема, поэтому многое приходится перестраивать. Трудно, но это самое интересное из того, чем мне приходилось заниматься.

— А вы давно работаете в животноводстве? — спросила я.

— Да уж порядочно. В шестидесятом окончил зоотехнический факультет Тимирязевки, работал на целине, здесь в Подмосковье. На комплекс направили в начале 71-го года. Его создавали на базе совхоза. Культура животноводства в нем была низка, в яловых каждый год оставалась чуть ли не половина кузнецовского стада.

...Когда возник разговор о комплексе, Семенов сразу поверил в новое дело. Ему, молодому специалисту, предстояла на первых порах ответственная задача: создать для комплекса племенное стадо, которое ляжет в основу еще неведомого хозяйства.

В то время, когда секретарь райкома Д. В. Заикин рассказывал мне о будущем комплексе, когда на площадку только еще завозили строительные материалы, Семенов и его коллеги, все молодые, все с верой в новое дело, томящей, зовущей неизведанностью, размахом, ездил по лучшим племенным свиноводческим хозяйствам страны, смотрели, исследовали, отбирали особей для элитного стада. Но прежде чем водворить этих особей на постоянное место жительства — тут уже не скажешь в свиноводство — тут уже не скажешь в свиноводство, а тем более в хлевушек — животных опять исследовали, испытывали их реакцию на ТБЦ, на бруцеллез и другие болезни. Им делали прививки от рожи, чумы-ауэзки, а уж потом переводили в корпуса, строительство которых к тому времени было закончено. Вначале были летние лагеря.

Это был очень трудный момент — первое испытание. Механизмы еще не отлажены. Вентиляция барахлит. Все приходилось делать вручную — и смывать навоз, и корма раздавать. Но животные чувствовали себя нормально. Лучше, чем в летних лагерях. На каменных полях, о которых так много было споров, они не простужались, не чахли.

Тут я и вспомнила о разговоре попутчиков и рассказала о нем Семенову.

— Вот-вот! — воскликнул он. — Сами мы тоже сомневались, а теперь убедились. Лучше нашего пола пока еще никакого нет. Чисто, гигиенично, не говорю уж о прочности, а что до холода, так у него постоянный подогрев. Не этого мы боимся.

— А чего же? — заинтересовалась я.

Я долго сидела, ожидая ответа. Владимир Михайлович нахмурился, посмотрел изпод века куда-то в пространство. Он все еще как бы нащупывал что-то, пока еще в чем-то сомневался.

Почему же молчал Семенов? Только что он уверял меня, что сама идея не вызывает сомнения. Но путь к ее окончательному осуществлению... Может ли он сейчас, в начале пути с уверенностью сказать, чего же именно нужно бояться? И на совещании секретарь обкома сказал: «Наш Кузнецовский комплекс — эксперимент, который важен не

только для области, но и для всей страны». Это усиливает ответственность.

Я жду ответа. Не тороплю.

И возвратившись из мысленных своих путешествий по кругу еще не решенных проблем, Владимир Михайлович произносит:

— С кормами у нас еще трудно...

Я вспомнила о таблице, в которой указаны компоненты этих кормов для поросят. Немало нужно хлопот, чтобы их приготовить. Ведь не на сотню, а на сотню тысяч!

Интересуюсь:

— Для взрослых такой же рацион?

— Учите, что наши животные на безвыгульном содержании. Все, что животные добывают сами, роясь в земле, нам приходится компенсировать.

Семенов перечислял, какие витамины, аминокислоты (десять кислот), антибиотики входят в состав кормов. Точен и научно рассчитан их баланс. Стерильность. Чистота. Ритмичность, работа по графику: все как на производстве.

Но тетка, работавшая в пиг-балье, говорила между прочим о взаимном процессе по формуле «человек и животное». Высоко она ставила интерес человека, у которого с хлевушком связано и благополучие, и радость застолья, и иные немаловажные соображения. Все они вызывают особое напряжение ожидания, каждодневное наблюдение за ростом, привычками, характером животного, известного рода привязанность к нему. Короче говоря — личное творчество в процессе выращивания животного.

Комплекс предусматривает иную формулу: «человек — машина — животное». Где же тут элементы личного творчества, когда на каждого оператора — так нынче называют свиноводов — приходится тысяча восьмисот голов.

Но разве все, что делает хотя бы Семенов, сложное, новое, это не творчество? Поиск пути к наилучшему разрешению всемирно важной проблемы. Он живет, волнуется, отдает ей внутреннее горение. Он счастлив той полнотой ощущений, которые неизменно сопутствуют творческому труду.

Но это сейчас пока все в новинку. А когда решится...

— А разве когда-нибудь все решится? Вы поговорите с операторами, с зоотехниками. Они точнее ответят, как нужно расшифровать формулу «человек — машина — животное». И пропадают ли элементы личного творчества...

Будние заботы

Время от времени к административному корпусу подходит автобус. Он привозит из поселка операторов, слесарей, осеменаторов, электриков, ветврачей — тех, кто заступает на смену.

У проходной, ведущей в галерею, которая соединяет все постройки и делает их единым комплексом, за маленьким столиком с телефоном бдительно охраняет вход Александр Николаевич Феоктистов, бывший

фронтовик, вышедший по здоровью на пенсию. Но те, кто приезжает на смену, свободно проходят мимо него, и я смотрю на них с завистью. Для меня, постороннего человека, вход закрыт. Где-то там внутри все проверенные врачами, допущенные к работе на комплексе люди оставляют в специальных комнатах одежду и, пройдя дезинфекцию, облачаются в совершенно стерильное рабочее платье.

Те, кто закончил смену, в том же автобусе едут в поселок, где уже стоят корпуса городского типа, с городскими удобствами, где своя больница, школа, ресторан, магазины.

Деревни, мимо которых идет автобус, выглядят неустойчиво, неуютно, словно они качнулись и потекли к поселку, рассчитанному на восемь тысяч жителей и унаследованному от прошлого одно только имя — Кузнецовский.

В субботний день на стройплощадке покой. Застыли краны, будто сон их сморил на ходу. Экскаваторы уронили на землю ковши, а машины куда-то исчезли, схлынули, их совсем не видно. Работают только несколько комсомольских бригад. Между корпусами я замечаю трех девушек. Возвращшись на лестницы, они, старательные и прилежные, протирают стекла. Нескольким ребятам что-то мастерят в помещениях второй очереди комплекса, так называемой откормочной его части.

Дело на площадке заметно продвинулось вперед. Еще выше поднялся корпус завода комбикормов, возле него появилось еще одно здание — администрация лабораторий. Пять красных башен стали определяющим элементом силуэта комплекса. Глаз охватывает все пространство, вплоть до деревни Сотниково, отпрянувшей, боязливо прижавшейся к лесу, — она доживает последние месяцы и, вероятно, скоро перельется в поселок, исчезнет, как многие другие селения Подмосковья.

В административном корпусе раскрыты огромные, во всю стену, окна с радужными стеклами. В них врывается равномерно настойчивый гул вентиляционной установки, нагнетающей в помещения свежий воздух. Кабинеты директора комплекса Валентина Петровича Мосолова, главных инженера и зоотехника, зал заседаний с раздвижной стеной тоже пусты. Сверкают покрытый лаком паркет и ступени современной с просветами лестницы. Здесь сразу все делается добротным и комфортабельно.

В одной из дальних комнат второго этажа, где расположены эти кабинеты и зал заседаний, находится диспетчерская комплекса. Диспетчер — худенькая и нервная Эльвира Синицына держит в своих тонких и чутких руках все нити, связывающие отдельные, дальние и ближние участки. Она соединяет, разыскивает, передает распоряжения, говорит по селектору. Любопытный это прибор. В кабинете Семенова у окна маленький, похожий на магнитофон аппарат с клавишами на пульте. Семенов — его в любой день можно застать на комплексе — склонившись над столом вместе с таким же молодым, как он сам, инженером

Гриненко, рассматривает чертеж чугунной решетки, которой думают заменить менее прочную решетку железобетонную, через которую в проводящие трубы стекает навоз. Они обсуждают достоинства усовершенствования, — в процессе стройки приходится многое приспособлять к местным условиям, исправлять на ходу.

Вдруг раздается оглушительный треск, похожий на звук электрического разряда, и какой-то рев врывается в комнату. Он заполняет ее, давит на барабанные перепонки, я почему-то закрываю глаза и тут узнаю резковатый, со срывами голос Эльвиры Синицыной.

— Владимир Михалыч, у вас нет там машины в аптеку сгонять? Ветеринары прививки делают. Им не хватило ауззки.

Семенов поднимает голову и, не трогаясь с места, не повышая голоса, прогнозирует:

— Как же так? Щигорец ведь сказал, что должно на весь свинарник хватить.

— Две коробки пришлось заменить...

— Где он теперь, главный врач? Ты разыщи, Эльвира.

— Может, он на участке Косинцева. Как его там найдешь?

И хотя она уже обращается не к Семенову, а к кому-то еще, что находится, может быть, за километр от кабинета Семенова, но слышимость прежняя.

— Юр, Щигорец не у вас?.. А где он... Куда ушел? На всякий случай, если заглянет, пусть позвонит Владимир Михалычу.

И к Семенову:

— А как же быть с ауззкой? Прививки нельзя прерывать.

— Да вот машины нет. Щигорец на своей ветеринарке куда-то уехал...

— Ладно... Буду сейчас искать...

Эльвира с треском выключает селектор. Владимир Михайлович опускает голову и снова обсуждает чертеж с Гриненко, сотрудником НИМЖА, опорный пункт которого открыт в Кузнецовском. Просчеты проекта, которые выявляются в процессе эксплуатации, легче учитывать и исправлять на месте.

В это время в коридоре раздалась гулкие, торопливые шаги, дверь энергично открылась, на пороге остановился сам главный ветеринарный врач Николай Щигорец, которого только что разыскивала Эльвира.

— Вот хорошо! — воскликнул Семенов. — Ты на машине?

— А что случилось? — Щигорец насто- рожился, юношеская округлость щек будто спала, нос, небольшой, аккуратный, обострился, и беспокойство метнулось в глазах.

— Надо за ауззкой в аптеку сгонять, — успокоил Семенов, — у них двух коробок не хватило.

— А, хорошо...

Лицо Николая Ефимовича снова стало веселым и энергичным.

Пора затянувшейся инфантильности у нас пошла на убыль. Особенно это заметно на комплексе. У руководства здесь в основном молодежь. Специалисты все с высшим образованием. Все начинают заново, учатся и растут вместе с комплексом.

Сколько лет может быть главному ветврачу? По виду не больше тридцати. Походка упругая, слегка пританцовывает.

— Где тут надо включать-то? — он подошел к селектору.

— Вторую слева нажми. — Семенов поставил на ватмане свой значок, свернул его и передал инженеру. — Ну что ж, попробуем, — сказал он напутственно, — по-моему, это будет гигиеничней, прочней.

Отправив машину, Щигорец опустил на стул отдыхая.

— Ты ждешь кого? — спросил он Семенова.

— Директор хотел заглянуть. Поедем участки смотреть.

И повернувшись ко мне, пояснил:

— Люди у нас приезжие большей частью. В поселке живут. Для них отводим участки картошку сажать. Когда наладят торговлю, тогда, может быть, и откажутся от огородов, а нынче пока без-хозяйства трудно... На рынке не купишь...

В это время снова захрипело, затрещало в аппарате.

— Что, Николай Ефимыч ушел? — спрашивала Эльвира.

— А что случилось? — Щигорец вопросительно вскинул голову.

— На третий участок нужно идти. Там что-то со свинкой случилось.

Участок имелся в виду уже не огородный, а производственный.

Главврач быстро встал и направился к двери. Улыбка сбежала с его лица, и по тому, как оно опять обострилось, была видна реактивность этого живущего в постоянных заботах и хлопотах человека...

В «святилище»

Неожиданно мои чаяния сбылись. В совхоз приехали из Белоруссии руководящие работники Министерства сельского хозяйства. Они самым подробным образом расспрашивали Семенова о том, что касалось работы комплекса, предполагая у себя использовать этот опыт. Познакомившись с экономическими выкладками и отчетами, они выразили естественное желание посмотреть, как себя чувствуют животные в новых условиях.

Вместе с делегацией и я перешагнула заветный порог проходной. В одной из комнат, оставив свою одежду, я обрядилась в защитного цвета брюки и куртку — от них пахло формалином, — волосы спрятала под платок, экипировку довершили резиновые сапоги, которые дважды омыла в двух ваннах с дезинфицирующей жидкостью, стоящих возле дверей в галерею. Облицованная керамической плиткой галерея, освещенная лампами дневного света, настолько длинна, что конца ее даже не видно. Двери справа и слева ведут в свинарники.

— Чтобы мне эти свинарники только лишь обойти, нужно не менее четверти суток, — говорит Семенов, глава делегации. И по тому, как он ритмично шагает, видно,

что у него уже сложилась эта особая экономно-стремительная манера ходьбы.

— Ходите каждый день? — интересуется гость.

— А как же иначе? Ходим и я, и главный врач. Следим за тем, как соблюдается технология, просматриваем поголовье, определяем кондицию. У операторов возникают вопросы. Мы их решаем на месте.

— А какие же вопросы? — интересуется гость.

— А разные, как реагируют животные на прививки, в каком они настроении, как едят, набирают вес. Которая свинка не способна к воспроизводству или вдруг заболела, осматриваем, выбраковываем ее, — объясняет главный технолог. — И все это с помощью операторов, — уточняет он. — Оператор — наш первый помощник. Работники, нужно сказать, у нас высокой квалификации. Преданы делу... Сюда, нам сюда...

Он открывает дверь, и мы попадаем в огромное, светлое помещение, все разгороженное на клетки-станки. И в каждой из них, оберегаемая со всех сторон, «зафиксированная» железными полыми трубками, лежит большая, ухоженная свинья, сытая, чистая, с блестящей щетиной.

Их здесь сотни, раскинувшихся в довольстве животных. Иная, поднявшись, склоняла к кормушке морду, ела и, потоптавшись, снова ложилась. Все эти матки были ограждены от возможных травм, от беспокойства. Они находятся в станках в течение всех тридцати двух дней, пока не определятся их состояние. Потом их отсюда переводят.

Мы входим в соседнее помещение, в нем нет индивидуальных клеток, а все оно поделено на отсеки. В каждом — одиннадцать — тринадцать свинок. Семенов ведет нас по высоким мосткам, я вижу огромную массу чистых и сытых животных.

— А кто же за ними ухаживает, кто моет, чистит, кормит всю эту массу животных? — Мы оглядываемся вокруг. Повсюду, куда ни кинешь взгляд, одни лишь белые спины животных. Вся эта масса шевелится, хрюкает, выражая полное жизненное довольство.

— Вот там, — Семенов показывает в дальний край помещения. — Видите эту девушку? Она и есть оператор. Она просматривает животных, выявляет больных, наблюдает за их развитием, аппетитом. А кормит их вот эта машина, через все помещение тянется кормопровод с особой тележкой, которой дается задание. Кому сколько нужно кормов, столько и отсыпает в кормушки.

Девушка записывает на грифельной доске какие-то показатели и переходит дальше.

Мы направляемся к малышам. Они появились на свет уже здесь, на комплексе, и пока находятся в специальных загончиках возле маток, отгороженных от потомства такими же трубами. Животное может лишь встать, поесть и опять развалиться, подставляя поросятам свое розовое брюхо. Они носятся вокруг матери в полной безопасности, что она, ненароком, может их прида-

вить, тычутся в брюхо рыльцами, энергично, бесцеремонно, поддевая его, устраиваются поудобнее, чавкают, снова отскакивают. Хвосты загнуты крендельками, рыльца задиристые, веселые.

— Мы так волновались, когда ждали первых опоросов. Много было всяческих опасений. Но развитие протекает нормально. Даже лучше, чем в обычных условиях.

Главный технолог ведет нас дальше. С мостков, приподнятых над загонами, видно все, что происходит в станках.

На нас, подняв любопытные мордочки, глядят сотни сбившихся в тесные стайки розовых поросят. В возрасте двадцати шести дней их отняли от матерей и поместили сюда, определив рацион, который способствует правильному развитию.

В каждом загончике — стайка. Они так и держатся вместе, дружные сверстники. Какие-то сигналы руководят их поведением. Они вдруг мгновенно чего-то пугаются, стайка срывается с места, как молния перелетает в другой конец своего отсека. И сразу же все помещение приходит в движение. Во всех отсеках срываются с места белые стайки, перебегают с места на место, плотно сгрудившись, смотрят с таким же любопытством, с одинаковым выражением, выставив вверх задорные мордочки с круглыми розовыми пятачками. Среди них не было ни угнетенных, ни издыхающих от чихотки на холодном камне. Пол был чист, и лишь характерный запах напоминал, что это — свинарник, хлевушок, но увеличенный тысячекратно.

Начинается откорм

А время все бежит, и для Юры Косинцева наступили горячие дни. Не только потому, что в разгаре лето, сухое и жаркое в этом году. Молодой специалист переживает, пожалуй, самое ответственное время с тех пор, когда он, выпускник Тимирязевской академии, получил направление в Кузнецовский совхоз. Косинцев приехал сюда, можно сказать, к самому началу начал, и поэтому опыт, который уже накоплен на комплексе — это и его опыт. Он может рассказать о каждом из этапов развития хозяйства.

Стройные сооружения комплекса, все девятнадцать свинарников, завод, кормокухни, постройки очистных сооружений, насосной станции, котельной и всех многочисленных служб выросли при нем. Когда Косинцев появился в Кузнецовском, здесь бушевал строительный хаос. Нынче представление о том, что было, можно получить, лишь побывав возле главной кормокухни, где все еще продолжают работы и комсомольцы трудятся вместе с рабочими. Они разгружают кирпич, носят наверх по железным крутым, как трапы, лестницам толстые белые плиты полистирола, будущие покрытия между этажами, состоящие из слоев металла, легкого, держащего тепло полистирола, гудрона и шифера.

Мы прошли по узенькой тропке между груд кирпичей, арматуры, досок, чанов с раствором цемента и поднимаемся с этажа на этаж. На каждом Юра задерживается, рассказывает, что будет внутри просторного зала, о бункерах-дозаторах и смесителях, чанах, элеваторах.

— Эх, когда только вырастет кормокухня, наша большая добрая мама! Я каждый день хожу сюда, смотрю, как движется дело, — и в голосе Юры ласковость, его «скорая» речь полна ожидания, напора. — На восемь-девять дней у нас будет запас кормов, на всякий непредвиденный случай.

И пока мы стоим в прохладном, пахнущем сыростью, цементом, кирпичом зале, через который проходят гигантские воронки, переходящие вниз в узкую трубу, а верхним раструбом протиснувшиеся в верхний этаж, Юра объясняет мне сложный расчет кормов, назначенных на разные сроки развития животных.

— В первый период, когда у свинושек, — он так и называет своих питомцев, — формируется и растет костяк, значительное место в составе кормов занимает кальций и фосфор. Сами корма, предназначенные для малышей, мы называем престартером. Потом свинушкам надо разработать желудок — в их пище преобладают мука, кукуруза, ячмень, а также десяток элементов, — он перечисляет их, — корм поросят от сорока трех до шестидесяти дней — называют стартер... От двух до трех с небольшим месяцев поросят готовят к откорму. Желудок у них объемистый, работает нормально. Теперь им даются жидкие корма, чтобы лучше, полнее усваивались. Дома так поросенка не выкормишь. Дома, что останется от стола, то в корыто. Микроэлементы он сам добывает, когда роет землю, травку ест. Травку и мы даем, только в виде муки. Измельченная и сразу же высушенная зеленая масса сохраняет свежесть, запах, как на лугу, когда только ее прихватит жар июльского солнца.

Он с таким вдохновением говорит об этих, казалось бы, прозаических вещах, что невольно вовлекает в круг своих интересов.

Но вот, наконец, мы поднимаемся на последний этаж кормокухни, и отсюда как на ладони открывается вся площадка комплекса — тридцать шесть гектаров со всеми ее сооружениями. Юра смотрит на все это так, будто видит впервые и прижавшуюся к лесу деревню Сотниково, и пыхтящий у станции Бекасово паровозик, и насосную станцию. Его синие, запятанные под выгоревшими ресницами глаза вспыхивают дерзко и весело до тех пор, пока взгляд не падает на свинарники откормочной части комплекса. Он становится озабоченным, беспоконным.

Еще недавно на них висели щиты с фамилиями строителей. Но нынче строители выполнили свои обещания и сдали эксплуатационникам помещения. Время приблизило другие события...

В конце ушедшего семьдесят первого года, всего девять месяцев назад, когда

только еще развертывалась стройка, Юрию Васильевичу Косинцеву, молодому специалисту, выпала честь принять участие в отборе лучших из лучших животных — той основы, на которой впоследствии выросла и заработала вся махина, ныне называемая откормочным комплексом.

Тогда, как и нынче, он крутился, увлекаемый водоворотом событий, охваченный нетерпением, острым чувством радости от того, что делает нечто новое, не изведенное доселе.

Косинцев ездил по стране, знакомясь с хозяйствами, тщательно отбирал и вез в Подмоскovie племенных животных, снова ехал, придирчиво изучал родословную «Драчуна», «Самсона» или какой-нибудь «Черной птички». Удовлетворившись природными данными, доставлял их в свой Кузнецовский. Так наполнялись летние лагеря. Что получится дальше? Люди, привыкшие к старому, одолевали его сомнениями, он, слушая их, разделяя тревоги, твердо верил, что делает нечто принципиально новое, и был охвачен ожиданием, жадной открытию, этим сильным чувством, заслонившим сомнения.

Он и сейчас охвачен этим горением, в дни, когда подошла пора подводить итоги первых успехов работы, когда выросшие в местных условиях здоровые, резвые поросята переводятся на откорм.

Юра Косинцев, краснодарский паренек, наделенный веселой энергией и острым ощущением всего того, что происходит в природе, с ранней юности проявил поразительные целеустремленность, упорство, связав свою трудовую жизнь с животноводством.

Родился он после войны в семье, где велись постоянные разговоры о научном разведении животных и уходе за ними. Его отец, две тетки получили зоотехническое образование и работали в крупных хозяйствах. Но, как это часто бывает, отец, испытав все трудности этой, хотя и любимой профессии, жалея сына, не раз говаривал:

— Ты, сынок, иди по нашей сельскохозяйственной линии, но лучше не в зоотехнику. У нас в Краснодарском крае хозяйства огромные, пространства большие. Смотри, трудно будет.

А Юра уже тогда знал, что жизнь его будет посвящена той благородной материи, которая сложной связью скреплена с человеком. Постоянно общаясь с животными, он полюбил их. В детской, горящей мечтаниями фантазии, сложившейся на природных станичных просторах, нередко возникал и бил копытом конь, чудесный, с лиловым мерцанием глаз, шелковистой шерстью и нервными, трепетными ноздрями.

В четырнадцать лет, уезжая в Армавир, в техникум, Юра думал, что будет работать с лошадьми. А вот, поди ж ты, стал изучать животных, с которыми в обывательской жизни связано столько неслестных прозвищ. Но бывает и на свинке золотая щетинка, и тому, кто любит ее, видится она в эдакой царской мантии.

В техникуме была одна из преподавательниц — Людмила Николаевна. Фамилия

женщины забылась, но осталась в душе глупая признательность за то, что сумела привить пылливому отроку любовь к его будущей профессии. Она обладала способностью увлечь, захватить учеников, раскрыть перед ними заветные тайны природы. Короче говоря, в 1965 году, проучившись четыре года в техникуме, Юра Косинцев был по убеждению и любви зоотехником-свиноводом. Наделенный жадной более углубленного постижения тайн своего дела, он, работая в крупном хозяйстве «Красногвардеец», поступил на заочное отделение Кубанского сельскохозяйственного института.

О масштабах и перспективности роста того многоотраслевого хозяйства можно судить хотя бы по тому, что в одной лишь комсомольской организации совхоза было более трехсот ребят и девчат. За живость характера, за доброжелательность, умение ладить с людьми Юру избрали секретарем комсомольской организации, — хоть и не долгий, но опыт работы с людьми оставил свой след в формировании юноши. Недолгий потому, что, не довольствуясь заочным общением со своими учителями — натура требовала активного повседневного обмена, общения, Косинцев, теряя год, поступает на очное отделение в Тимирязевку.

И тут та самая волна, которая гонит, выносит человека к взлелеянному душевным трепетом берегу, прибила его к аудитории, где он встретил живого, реального человека, автора книги, послужившей юноше компасом в избранной им профессии. Игорь Александрович Савич, профессор кафедры свиноводства, открыл для студента широкий мир вдохновения. Его лекции ждали, как выступлений поэта. Он завораживал, увлекался, и все буквально с открытым ртом ловили каждое слово профессора.

Великое счастье, когда о человеке говорят с такой благодарностью! В те первые годы учения в Тимирязевке и сдружились, охваченные одинаковым горением, три юноши, три будущих зоотехника — Василий Коленько, Владимир Власов и Юрий Косинцев — Юра, Володя и Вася, — три, ставших неразлучными, друга. Вместе в практике, вместе в аудитории, в общежитии, в библиотеке. В каникулы вместе выезжали на целину, одновременно защищали дипломы.

Когда профессора Савича попросили выделить для работы на комплексе толковых выпускников, он без малейшего колебания назвал их фамилии.

— Вот эти, лучшие, хотя хочу вам заметить, выпуск на редкость удачный, — профессор был счастлив: в жизнь уходили достойные, крепкие люди, с любовью к делу, ради этого стоило жить.

А трое были вознаграждены. За их горение, за прилежание в учении им всем на комплексе предоставили право самостоятельно начинать огромное дело. Что может быть для роста специалиста выше, благоприятнее, чем эта самостоятельность, право дерзать, вложить в любимое дело ту внутреннюю энергию, которую несет одаренный человек.

Власов Володя был назначен начальником первого участка комплекса, где, как говорят, корень, залог всего успеха. Здесь определяется будущность свиноматок... Я вспоминаю тех самых на тридцать два дня «зафиксированных» животных, будущих матерей. Еще неизвестно, дадут ли они потомство. Когда это выяснится, супоросные — будущие матери — свинки переходят под опеку Коленько.

После того как сначала медленно, но все убыстряясь, начало вращаться колесо комплекса, Юре достался третий участок — самый трудный и самый живой, где поросят выращивали сильными и здоровыми и готовили к последней стадии их пребывания в Кузнецовском — к откорму.

Сейчас, в летние дни, это время пришло — выросшее, окрепшее поголовье переводят на откорм. В те самые корпуса, которые в пасмурные мартовские дни были в самой начальной стадии готовности. Сегодня они ждут своих обитателей, а Юра Косинцев получил новое назначение. Начальник откорма. Другой первоуток. И эта забота одолевает его.

Осталось всего два дня до приема обитателей новых помещений, а в них еще не прошла дезинфекция, еще работают мастера-наладчики.

— Ну как, все нормально?

Владимир Алексеевич Гринь, чернявый, под челку подстриженный человек, в защитного цвета спецовке кивает:

— Нормально, Василий! Не беспокойся...

И докладывает, как работает кормопроход, вентиляция, гидросистема. Он закрывает дверцу, ведущую пока еще в пустое отделение секции с шершавым полом, автопоилками, железобетонными кормушками, где будут помещаться животные — шестьсот животных в каждой из секций.

— Откуда приехали?

— Из Красноярска я.

— А как же узнали про комплекс? — Мы идем с ним туда, где за дверью, у потолка, на опоры приподняты четыре железных бака с водой для смыва навоза. Он хочет показать мне, как происходит смыв. Нажал рычаг, вода забурлила и с шумом пошла под решетками, неся отходы в очистные сооружения.

— По телевизору увидели, — он выключает воду. — Жена пристала, поедом, да и все. Сначала я съездил один. Понравилось, я за ней. Она здесь тоже курсы прошла, теперь работает осеменатором. Квартиру дали. Устроились хорошо...

А Косинцев проверяет тележку распределения кормов. Кормление свинок запрограммировано.

— Вот эта тележка будет двигаться и в каждый отсек выдавать определенную норму кормов.

И снова он говорит о дезинфекторах. Они побывают последними в секциях, потом помещения закроют, и до приема. До водворения постоянных жильцов.

— У нас здесь стерильная чистота. Средства — санитарный день. Все моем, стираем

пыль. Два раза в месяц общая дезинфекция...

Возле административного корпуса он останавливает худощавого, светловолосого человека в репсовой куртке с вязаным воротником вокруг тонкой, как у подростка, шеи.

— Николай Николаич, подпишите, пожалуйста, — в голосе Косинцева появляются просительные нотки. — Вот уже и дезинфекцию сделали, а ключи не дают. Как быть? Мне нужно ведь все посмотреть, все проверить...

Николай Николаевич улыбается одними глазами, в его распоряжаемом, молодежеском лице мелькает что-то даже лукаво-бешашное. Как-то даже не верится, что он, Николай Николаевич Говядинов, главный инженер, что это он руководил всей стройкой, заводом, котельной, корпусами и службами. Он, кажется, не торопится расстаться с ключами.

— Да, да, хорошо, — рассеянно произносит Говядинов. — Кто там уже подписал? — Заглядывает в акты. Видимо, он не увидел в них того, что необходимо. Пока Юра листает кипу бумаг, Говядинов исчезает. Буквально испаряется. Ну только что здесь стоял, и вот уже нет его. Отказывать он не хочет, однако порядок есть порядок. Нужно, чтобы акт о приемке подписали сначала эксплуатационники, те, что принимают постройки, и выскажут затем свое мнение: хороши ли они, добротны, удобны в эксплуатации.

И Юра, прыгая через ступеньки, бежит наверх, в кабинет Шигорца, потом садится за руль свободного грузовика, гонит машину к директору комплекса Валентину Петровичу Мосолову. А тот, разумеется, не сидит на месте, дожидаясь его, ведь, у него заботы не только на комплексе. В совхозе, пожалуй, еще побольше. Совхоз продолжает развиваться и особенно интенсивно теперь, когда получил такую сильную, молодую опору.

— Юра гоняет! — философски заметила Эльвира, вышедшая подышать на крыльцо.

Мелькнули сосредоточенные Юрины глаза, вцепившиеся в руль загорелые руки, и вот над дорогой уже оседает шлейф пыли. А вскоре грузовик несется обратно мимо административного корпуса, в поселок — день субботний, кто-то и дома. А ждать нельзя, надвигается понедельник, совсем не тяжелый, а торжественный этапный день в развитии комплекса. Внизу уже подготовлены весы, тележки для перевозки животных в другую часть комплекса. На откорм.

Десять тысяч первых, выращенных на Кузнецовском свинок переходят на новую квартиру, в ведение Юрия Васильевича Косинцева.

Вот Косинцев, наконец, возвращается со всеми бумагами и подписями, и тут, как по мановению волшебного жезла, появляется Николай Николаевич Говядинов. Акт о готовности помещений подписан. Теперь все правила соблюдены. Итак, с начала июля месяца 1972 года начинается откорм.

Первые результаты

Результаты. Вот тут и пришло самое время познакомиться с директором совхоза. Вообще-то я с ним уже знакома. Встречалась не раз. Но все вскользь, на ходу, когда толком и двух слов сказать не успеешь. Он был буквально нарасхват. Большую часть времени то проводил в совхозе, на базе которого вырос комплекс, то принимал делегации — они сюда чуть ли не каждый день. И свои, и зарубежные — всем любопытно, как работает такое гигантское производство...

А тут мы заранее условились.

— Приезжайте, нам будут Красное знамя вручать, — позвал по телефону Валентин Петрович Мосолов...

Директорский кабинет обставлен современной темной мебелью. Полированная стенка. Несколько книг, безделушки. На длинный стол для заседаний тонким слоем легла пыль, несколько приглушив блеск темного лака. Сразу видно, что директор заглядывает сюда не часто. Он чаще всего пропадает, как здесь говорят, «у себя», то есть на территории старого хозяйства — обычного многоотраслевого подмосковного совхоза. То хозяйство, когда началась стройка комплекса, было из отсталых отсталым. Люди, оставшиеся после войны, устали и, как говорят, не тянули. Им нужно было помочь. И помогли. На комплексе все молодежь. Многие с высшим образованием. Сила! Главный инженер Помытко Павел Петрович. Он отвечает за устройство комплекса. На него, Валентин Петрович сам мне сказал об этом, можно смело положиться. Хороший специалист.

Трое зоотехников — Власов, Коленько, Косинцев — кстати, двое из них уже выдержали экзамен в заочную аспирантуру. Комплекс — прекрасная база для научной работы.

На всех участках работают высокой квалификации операторы, такие, как Дюльдина Евдокия Федоровна, Кирсанова Ольга Васильевна, хваткий и добросовестный Мишин Василий Федорович, окончивший курсы осеменаторов. Не перечислить всех специалистов высокого класса — слесарей, наладчиков, электриков, ветврачей. Энтузиастов, работа которых — творчество. Они выкармливают порученных им питомцев, следят за тем, как они развиваются, улавливая пытливый взглядом все происшествя, изменения в этом живом организме. Они контролируют вентиляцию, температуру, свет, то есть состояние микроклимата. А как сегодня поели питомцы? Был ли у них аппетит, как настроение? А если животное впало в апатию, тут же совет с ветврачом — на каждом участке свой врач. И когда говорят о них, то обязательно вспоминают имена Надежды Анатольевны Осиповой, работающей на третьем участке, и Мариюшину Зины. Зиной ее зовут потому, что она еще не вышла из комсомольского возраста.

Такие операторы, слесари, ветврачи — достойный пример для тех, кто приходит на комплекс, а среди них и швеи, и продавцы,

и часовых дел мастера. Люди, никогда не соприкасавшиеся с сельским трудом. В этом тоже особенность новой формы сельскохозяйственного производства.

Это крупнейшее не только в Московской области, но и в стране сельскохозяйственное предприятие, которому присвоили имя Пятидесятилетия СССР, стало как бы кузницей кадров для других предприятий...

Я мысленно возвращаюсь в тот знойкий мартовский день, в торопливую электричку, которая мчалась среди свежих зеленых сосен и елочек, серое небо ее как будто хотело прижать, придавить к земле. А она все выскальзывала, уходя от опасности, со скоростью, продиктованной ей современным прогрессом. За ненастными днями пришла пора благоухающего цветения, лето принесло свои плоды. Непознанное вошло в обиход человека и составляет теперь предмет его повседневных забот.

Но где же все-таки директор? Я выхожу в приемную и вижу Николая Ефимовича Щигорца. Вначале я даже его не узнала. Стал как-то солиднее, отпустил усы. Теперь в нем никак не заподозришь мятежного, остроглазого паренька, который когда-то мечтал быть летчиком-истребителем. Комплекс стал твердой его опорой, базой для творчества.

— Приду попозднее, проверим лечебный журнал.

Голос не громкий, но что-то в нем есть такое, чего невозможно послушаться. Природный руководитель.

— Ну как живете? — я рада встрече.

— Пока все идет нормально... Посмотрим, что будет дальше... — Тот же осторожный ответ. Не любит хвастаться. — Директора ожидает? Сейчас вернется. Его делегация из Москвы задержала. Гости у нас каждый день... — ровно, спокойно говорит. Не поймешь, осуждает или доволен. — Я только сейчас расстался с украинцами. Интересуются нашим опытом...

Директор вошел своей стремительной легкой походкой. Поздоровавшись, он сказал главному ветврачу:

— А я заходил к тебе. Пожалуйста, проведи собрание. — И мне: — Вот получаем Красное знамя. Как думаете, за что? — И не давая мне возможности ошибиться, сам объясняет: — За самый высокий по области урожай зерновых. В самом недавно отсталом совхозе. И лето какое было! Сущ. Кругом все горело. Как вам это покажется, а?

— Что же за чудо? — Мы проходим в «нежилой» кабинет.

— Чуда нет. Это комплекс помог. Мы воду из очистных на поля пускаем. В Пахру — ни-ни. Хотя кто-то недавно и написал из деревни Лужков, что пахринскую воду нынче скотина не пьет. Хотели узнать, почему не пьет, а Лужков-то даже в природе не существует. Забота о речке, конечно, благородное дело. Только зачем же так? Так вот, мы воду из очистных пустили на наши поля. Трава пошла, — директор показал на грудь. — Надой выросли. А злаковые, поверьте ли, четыре недели прошло, и в метелку пошли...

Я досаду про себя, что вот сейчас войдет делегация и нам опять не придется поговорить. В уме отбираю самое главное, о чем хотела спросить Мосолова. А спрашиваю совсем не о том. Очень свободно, уверенно держится этот молодой, элегантно одетый директор. И голос такой густой, хорошо поставлен. Уж не с кафедры ли какого-нибудь института? Ученый? Потомственный?

— Да нет,— Мосолов приглаживает черные гладкие волосы с зачесом назад.— Родом из Тамбова. Там есть глухая деревенька Глазок. К ней не было ни дорог, ни путей...

— Однако вы свой нашли...

— Не близкий путь! — коричневатые глаза смеются.— Средняя школа. Москва. Тимирязевка, зоотехнический факультет. Работал на племенных заводах. Потом — в министерстве. Тянуло к практическому делу. В Гвинею уехал, два года там изучал проблемы акклиматизации скота. А возвратился — направили в этот совхоз. Пугали меня, куда, мол, идешь! Ты знаешь, чем это может кончиться. Но только пугают, как правило, те, кто комплекса и в глаза не видел.— Директор протянул мне несколько сводок.— Вот тут все данные...

Я бегло взглянула на верхний листок, но тут же его отложила. Очень уж любопытно то, о чем говорит Мосолов.

— Новое дело хотим начинать. Телочек племенных выращивать и направлять их в молочные фермы области.

Он развивает мысль о том, как много выиграют хозяйства, когда им не нужно будет возиться с молодняком.

— Две с половиной тысячи будем скучать каждый год. И столько же возвращать в хозяйства, уже покрытых. Сегодня приехали делегаты из Пензы. У них положительный опыт. Семенов знакомит их с нашим хозяйством. Сейчас подойдут сюда...

Невольно возникла мысль: вот он как-то, тамбовский мужик, из бунинских мест, на что способен, когда приводят в действие его веками дремавшие запасы энергии.

— А трудности?

— Есть и сейчас... С кормами неважно. Качество еще ниже технологической нормы. Много клетчатки. А значит, затруднено перераживание, навоза больше, а это очистные сооружения. Честно сказать, больше всего с ними у нас забот. Теперь особые строгости...

— А разве не верно?

— Нет, верно. Особенно возле столицы...— сказал Мосолов и продолжал свою мысль: — Ритм надо отрегулировать более четко, чтобы сдавать по технологии через двести двадцать два дня, и весом свинка не менее ста двенадцати килограммов...

— А разве сейчас сдаете не так? — тут я взглянула в сводку.

— Сдаем-то мы так, но есть обстоятельства...

То, о чем сказал Мосолов, отражено в отчете. Там написано: «В первые годы ос-

воения мощностей главная задача комплекса — наращивать поголовье до проектных показателей. Только при полной загруженности всех помещений возможно отрегулировать микроклимат, наладить работу очистных сооружений и добиться проектных производственных показателей».

— Понимаю, понимаю... Значит, вы еще не достигли проектной мощности. Сколько же нужно еще поросят?

— Пятьдесят одну тысячу. Там говорится,— Мосолов показал на сводку, где действительно значилось: «Поголовье поросят по проекту 117500; фактически на 1 марта 1973 года — 66005; минус к проекту 51495 голов».

— Заметьте, что даже при этом мы получили от реализации мяса за прошлый год почти миллион рублей прибыли. Нынче доходы утроим, а в будущем семьдесят четвертом, как только достигнем проектной мощности, так будем семь с половиной миллионов получать при себестоимости девяносто рублей за центнер. Затраты окупятся за четыре года...— И он нахваливал мясо.— Белое и нежное.

Тут было самое время представить праздничный стол, фарфор тарелок и сочные, ароматные отбивные. Но вся продукция с комплекса поступает на подмосковные мясокомбинаты и, к сожалению, почти целиком идет на копчености.

Вскоре открылось торжественное собрание. Труженики совхоза заполнили зал заседаний. Мест не хватило, и люди, раздвинув стенку, стояли и в коридоре. Это была в основном молодежь. Сильный, здоровый, растущий не только качественно, но и количественно коллектив.

— Одних только школьников нынче больше тысячи,— вспомнила я слова директора.— А ребятишки по жилпоселку носят как горох. Не успеваешь работниц в декрет отпускать.

Он и жаловался, и радовался этому...

Переходящее знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС держала в руках невысокая, крепкая, красиво одетая женщина — начальница цеха растениеводства Светлана Арсентьевна Маврина.

— Даже не верится, что попало к нам это знамя,— говорила она.— Но раз уж попало, постараемся не выпустить...

— Да и мы бы, попали оно к нам, все силы положили, чтобы не выпустить,— сказала сидящая впереди меня женщина.

— Ты, Чибисова, и так все силы кладешь...— ответила ей соседка.

Чибисова... Чибисова... Где слышала эту фамилию? — мучилась я. Вспомнила только тогда, когда шла лесной дорожкой к знакомой станции Ожигово.

Чибисова В. В.— один из лучших операторов комплекса. Имя ее значилось на Доске почета, среди тех, кто идет впереди, прокладывая пути для наступающего нового.

НИКОЛАЙ ДОРИЗО

НОВЫЕ СТИХИ



Н. К. Доризо

Медаль рожденья моего...

Поэту Николаю Доризо исполняется пятьдесят лет. Редакция журнала «Москва», неизменным автором которого он является, поздравляет юбиляра, желает ему здоровья и новых творческих свершений.

Предлагаем читателям новые стихи Николая Доризо.

В Павловском районе на Кубани, где прошло мое детство, существует добрый обычай: каждому новорожденному вручается бронзовая медаль со строкой напутствия — «Расти достойным гражданином СССР». Я испытал подлинное волнение, когда совсем недавно меня удостоили этой медали. По удивительному совпадению мне вручили медаль в той самой комнате, где прошло мое детство. Сейчас в ней расположен загс.

Медалью этой награжден
В родной станице,
на Кубани,
Друзья мои, односельчане,
Я как бы вновь на свет рожден!
Медаль рожденья моего,—
То солнце,
первое на свете,
Вот здесь
увидел я его,
А вместе с ним —
просторы эти.
По деревцу,
по кирпичу,

По бревнам старого колѳдца
я детство
 давнее
 ищу,
Как будто вновь оно вернется.
Не малый путь был мною пройден
С неповторимых тех времен.

Жизнь не медаль,
 а высший орден,
Которым был я награжден!

Сны

I

Мне двадцать лет.
Гремит трехтонка.
Со мною
 в кузове
 девчонка.
Вокруг
 смертельная война.
Навстречу нам
Грохочут взрывы.
А я беспечный
 и счастливый...

И вдруг
 внезапно
 тишина.
И пенье птицы
 почему-то,
И почему-то
 в окнах
 утро...
И сна
 засвеченная пленка.
Засвеченная пленка сна.

2

Себе я снился молодым.
Проснулся
 и не шелохнулся.
Себе я снился молодым
И все не верил,
 что проснулся.
А может, это был не сон?
А то,
 что я проснулся,
 снится,
Мне снится утро,
Тихий звон
Дождя.
Кто может поручиться,
Что пробуждение
 не сон!



ЛЕОНИД КУДРЕВАТЫХ

МОИ СОВРЕМЕННОКИ

За полвека журналистско-литературной деятельности Леонид Кудреватых встречался, беседовал, подолгу бывал знаком и дружил с людьми самых различных профессий, возрастов.

Им написаны очерки о первых комсомольцах и генералах, о челюскинцах, папанинцах и выдающихся летчиках мирного времени, о писателях, журналистах и актерах, о рабочих и вожаках колхозной деревни, о рядовых солдатах и крупных военачальниках, о людях, с которыми жизненные тропы сводили писателя в разное время и в различных обстоятельствах.

Журнал «Москва» опубликовал его очерки «Конструктор В. Г. Грабин» — о генерал-полковнике, Герое Социалистического Труда, авторе многих систем советских пушек и «Народный Маршал» — о прославленном советском полководце К. К. Рокоссовском.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей очерки Леонида Кудреватых о его друзьях писателях и журналистах.

Макар Рыбаков

В августе 1960 года в редакции русской прозы издательства «Советский писатель» меня попросили прочитать романы «Пробуждение» и «Лихолетье», вышедшие в Калинин в 1958 и 1960 годах. Признаюсь, я брал книги для рецензирования с некоторым предубеждением. Имя Макара Рыбакова, автора книг, мне было неизвестно. В «Советском писателе» не часто переиздают произведения, ранее опубликованные на периферии. Живут у нас еще такие термины: «периферийный писатель» — это о литераторе, не пробившемся пока на всесоюзную или хотя бы всероссийскую трибуну.

С этим предубеждением я нес домой два томика произведений Макара Рыбакова, а затем и начал читать роман «Пробуждение».

Однако «Пробуждение» и «Лихолетье» я прочитал быстро и с удовольствием. Они были написаны скупой и афористично, с янтарной россыпью народных поговорок и пословиц. Прямая речь действующих в романе персонажей была самобытна, она выражала и характер персонажа и восприятие им окружающего мира.

Необычна судьба героя рома-

на — Макара. В ней как будто не было ничего особенного, она — сколок судеб миллионов ребятишек из бедняцких семей предреволюционного прошлого. Тем не менее она волновала, затрагивала. События, развивающиеся на страницах романов, охватывают период с конца прошлого века до Октябрьских дней 1917 года. Они происходят и в деревне, и в городе Кимры, и в Москве — на обувной фабрике Хапилова, и в армии, воюющей на фронтах первой мировой войны.

В центре повествования романов — семья Рыбаковых, их дети — Макар и его сестра Зина. Картины безутешной бедняцкой жизни выписаны ярко. Вся семья Рыбаковых в батраках, живет впроголодь. Макара выгнали из начальной школы.

Социальные мотивы — основа романов. Интересы людей, подобных Рыбаковым и помещице Костолярхине с ее окружением, были непримиримы, раскрыты писателем во многих житейских столкновениях.

Автор постепенно вводит читателя в мир больших идей. К финалу романа «Лихолетье» многие представители из народа становятся активными участниками революционных событий, примыкают к большевикам.

Я дочитал оба романа, в памяти закрепились не только главные герои, но и персонажи, появляющиеся в эпизодах. Автор точными определениями или живыми штрихами написал образы урядника, попа, благочинного, управляющего имением. Выразительными показались мне и сатирически вылепленные характеры пьяницы и разбойника, обжоры и бездельника, деревенского глупца.

В романах показаны жизнь и быт мастеров сапожного дела, особенно подмастерьев, этих несчастных людей, своим поведением породивших народные поговорки: «пьян, как сапожник», «нализался в стельку».

Рецензия, которую я написал после прочтения романов Макара Рыбакова, была искренней, немного восторженной. «Романы М. Рыбакова — произведения незаурядные, имеют право быть переизданными в

«Советском писателе», — заключил я, добавив к этому выводу, что некоторые писатели, живущие в Москве, куда менее интересны и самобытны в своем творчестве, чем Макар Рыбаков, а выпускают книги то в одном, то в другом московском издательстве. Я выразил также уверенность, что романы Макара Рыбакова найдут путь к сердцу самого широкого круга читателей и встретят его одобрение.

В редакции мне сказали:

— Вы не одиноки в своей рекомендации. Борис Агапов, требовательный к слову, знакомившийся с романами Макара Рыбакова, тоже высоко оценил прочитанное.

Переиздание романов Макара Рыбакова вошло в план 1962 года, а в мае 1962 года я получил из города Кимры бандероль. Книга с дарственной надписью сопровождалась письмом:

«Сердечно благодарю Вас за Вашу рецензию для издательства «Советский писатель» на мои романы «Пробуждение» и «Лихолетье», которые сейчас находятся в производстве.

В знак благодарности посылаю Вам последний роман моей трилогии — «Бурелом».

От души желаю Вам бодрствовать и творить.

М. Рыбаков».

«Бурелом» издан тоже в Калининине. Прочитав его, я еще раз убедился, что на всесоюзную писательскую трибуну выходит новый, самобытный писатель.

В романе «Бурелом» нарисовано обширное полотно послереволюционных социальных преобразований, проходивших в острых классовых столкновениях. В новом романе, как и в двух первых, та же чеканность письма. Встречались и стилевые огрехи, и сюжетные флюсы, но при доброжелательном совете рецензента и редактора книги это легко исправилось.

В начале 1963 года в телефонной трубке я услышал высокий баритон:

— Здравствуйте! С вами говорит Макар Андреевич Рыбаков. Я очень хотел бы вас повидать...

Я тоже выразил желание встретиться с Рыбаковым и через час поднимался в лифте на девятый этаж гостиницы «Москва», мысленно рисуя облик писателя из города Кимры. Он мне представлялся то довольно дряхлым, сухопарым интеллигентом с пергаментной кожей на лице, в длиннополом пиджаке, застегнутом на все пуговицы, то бородатым мужиком, несущим на себе отпечаток жизни старой лесной деревушки. Встречал же меня среднего роста, крупноголовый и высоколобый, довольно бравый крепыш, с густой, немного вьющейся седой шевелюрой и молодецки подстриженными усами. На нем была рубашка-косоворотка с вышивкой русского орнамента на воротнике, крученый пояс и поверх пиджак из добротного бостона. Рукопожатие порывистое, крепкое.

Макар Андреевич знакомит меня с гостями. За столом я заинтересованно слежу за Рыбаковым. Он смачно опустошает рюмку, легко закусывает и продолжает начатый до моего прихода разговор о своей новой книге, в которой действует драмодел — прохвост, пытавшийся попервоначально соавторствовать с молодым литератором, а позднее крадущий почти окончательно написанную пьесу.

— А вы еще и пьесы писали? — спрашиваю я Макара Андреевича.

— Начал я, правда, с рассказов. Первый рассказ «В бане» написал, когда мне было уже тридцать семь лет, — повернулся ко мне Рыбаков. — Напечатала рассказ «Тверская правда». Потом в драматургию ударился. Писал пьесы для клубной самодеятельности. Две пьески вышли книжками в издательстве «Федерация». Одну из них, «Зайчина», даже премировали. Был такой конкурс, организованный по инициативе Алексея Максимовича Горького Московским областным отделом народного образования на лучшую пьесу клубного характера. Горький прочитал «Зайчину» и похвально отозвался о ней.

— Вам приходилось видаться с Алексеем Максимовичем? — заинтересовался я.

— Да, в 1932 году.

— Сколько же вам было лет?

— Уже сорок два.

— Значит, сейчас вам за семьдесят?

— Получается так — семьдесят третий пошел. Рассказом о встрече с Алексеем Максимовичем Горьким я заключаю свой новый, уже четвертый, роман «Первопуток». Недавно его закончил начерно.

Узнав, что автор привез с собой рукопись романа, мы единодушно попросили прочитать эту, последнюю главу. Мне очень хотелось послушать, как читает этот молодой духом семидесятидвухлетний крепыш. Еще раз предупредив, что написанное им только черновик, Макар Андреевич начал медленно, с короткими паузами, читать, отделяя одно предложение от другого:

«Алексей Максимович провел нас в свой рабочий кабинет, где я увидел возле окна большой письменный стол, покрытый голубой бумагой. На нем стояла массивная стеклянная чернильница, возле которой три отточенных карандаша и ученическая ручка с пером. На краю стола — стопка рукописей, наверху моя пьеса — «Зайчина».

Прежде, чем предложить нам сесть, он, пожимая руки, поздравил нас с успехом (на беседе были приглашены авторы премированных пьес. — Л. К.). А когда мы разместились, достал из кармана брюк серебряный портсигар, предложил угощаться нам и закурил сам.

Из всех только я отказался взять папиросу.

Горький облокотился на угол стола, придерживая рукой левый висок, чуть прищурился и спросил меня:

— Товарищ Сапожник, разве вы не курите?

— Алексей Максимович, — ответил я, — с малолетства не научился, а теперь, думаю, поздновато. Уже за сорок перевалило.

— И не учитесь, Не советую.

Польза от этого невелика. Я сам несколько раз кончал, а вот никак...

Он поднялся и приоткрыл дверь в прихожую, что-то сказал той женщине, которая встретила нас. Докурив папиросу, воткнул ее в стеклянную пепельницу, обратился ко мне:

— Макар Сапожник — это фамилия?

— Нет, Алексей Максимович, это псевдоним, а фамилия моя Рыбаков. Сам я из Кимр, основная профессия сапожник, вот я и...»

Тут Макар Андреевич, оторвавшись от рукописи, спросил, не устали ли мы слушать?

— Может быть, пропустим по одной? — предложил он.

Мы попросили продолжать чтение. Предупредив, что будет читать с небольшими купюрами, Макар Андреевич продолжал:

«Угощая нас, Горький долго говорил о значении советской драматургии для народа, вскользь упомянул свою знаменитую пьесу «Егор Булычев», которая шла в то время в театре им. Вахтангова. Затем коснулся целей, которые преследовал московский конкурс, после чего решил остановиться на каждой пьесе в отдельности. Взяв мою «Зайчину» и глядя на первую страницу, подумав, сказал:

— Так-так, Макар Сапожник. А по-моему, напрасно вы взяли себе такой псевдоним. Рыбаков — чисто русская фамилия, а Сапожник? Не оригинально. Я бы на вашем месте никогда не поменял. Он, извинившись перед сидящими, что задерживает их, продолжал: — Товарищ Сапожник, а что вас заставило взяться за перо в таком возрасте?

— Алексей Максимович, вы толкнули меня на этот путь.

Мой ответ его немного удивил, он чуть придвинулся ко мне и проговорил:

— Я? Мы с вами, кажется, ни разу не встречались. И если бы вы не получили премии, возможно, и не увиделись бы. Вы меня заинтересовали. — Обратившись к сидящим, продолжал: — Самоучка, кимряк-сапожник и вдруг написал неплохую пьесу. Вы были хозяином или батраком?

Я коротко рассказал о своей тяжелой жизни...»

Извинившись, что прерываю чтение, я спросил Макара Андреевича:

— А что вы делали до того, как узнали о премии за пьесу и были приглашены к Горькому на беседу?

— Жил в Москве у приятеля. Был холодным сапожником, работал на рынке. Одновременно учился на курсах драматургов при Всесоюзной драматической академии. — Макар Андреевич положил рукопись на столик у кровати. — Главное я прочитал, — сказал он. — Алексей Максимович меня спросил, учусь ли, и посоветовал: «Учитесь и пишите». И еще спросил меня, почему в пьесе я показываю скорняков Ивановской области, а не своих кимряков. О них, об эксплуатации кимряков, мол, упоминал и Владимир Ильич в книге «Развитие капитализма в России». Да, это была встреча, перевернувшая всю мою жизнь. Раньше, прочитав много книг Горького, я дал перед портретом Алексея Максимовича клятву писать до самой смерти. Но после беседы с ним понял: одной клятвы мало. Нужны знания, литературные навыки, мастерство.

Макар Андреевич заинтересовал меня необыкновенно. Его рассказ я, как и другие сидевшие за столом, слушал с особым вниманием.

— После беседы с Алексеем Максимовичем я много лет ничего не писал. Нынче мои драматические опыты у меня самого вызывают только улыбку. В литературном отношении они были беспомощны. Зрителей привлекали необычность среды и профессий действующих лиц, своеобразие их лексики. Жизнь моя была трудная, но необыкновенно богатая впечатлениями и характерами. Бедняк из бедняков. Подмастерье. Рабочий в сапожной мастерской. Участник двух войн и трех революций. После установления у нас в Кимрах Советской власти — уездный комиссар земледелия, председатель первой в уезде сельхозкоммуны. Образование я получил самоучкой. Уже взрослым, много познавшим человеком экстерном сдал экзамены за среднюю школу и стал преподавателем. Так что жиз-

ненного материала для рассказов, повестей и романов у меня было предостаточно. После беседы с Горьким я понял, что прежде чем начинать писать что-то серьезное и большое, нужно учиться и учиться. Еще в 1935 году меня приняли кандидатом в члены Союза писателей. А в сорок шесть лет я поступил на заочное отделение Литературного института имени А. М. Горького. Как видите, учиться никогда не поздно.

— А трилогию вы стали писать после окончания Литературного института? — спросил кто-то из нас.

— Куда там,— с горечью ответил Макар Андреевич.— Началась война. Разве я, старый солдат, мог усидеть дома. Фашисты подходили к моим родным землям! Демобилизовали меня раньше, чем прозвучали победные залпы, в то время мне перевалило за пятьдесят. Вначале был инструктором районного сельхозотдела, потом ушел в преподаватели. А трилогию писал всю свою жизнь,— смеется Макар Андреевич.— Сначала — как прототип главного персонажа. Потом мысленно: чеканились характеры героев, рисовались картины природы, различные эпизоды, развивался сюжет. За письменный стол я сел только в пятидесятых годах и с той поры, вот уже более десяти лет, занят этим захватившим меня делом. «Пробуждение» вышло в свет, когда мне стукнуло шестьдесят семь лет. В том же 1958 году меня перевели из кандидатов в члены Союза писателей.

— Совсем молодой писатель! — воскликнул я.

— Выходит, так,— улыбнулся Макар Андреевич.

Кто-то сразу предложил тост за молодого писателя Макара Рыбакова. Выпили мы стоя, пожелав литератору долгих лет жизни и новых талантливых книг. Когда сели, Макар Андреевич заговорил снова:

— Задумки есть — о нынешней молодежи написать, о людях, много знающих, энергичных, ни перед кем не сгибающих спины. Но, прежде всего, нужно закончить «Первопутки». Этим романом я как бы закан-

чиваю автобиографическую серию. Автобиографическую — условно. В изданных романах действуют и вымышленные, но типичные для эпохи персонажи, и Макар Рыбаков, хотя он, конечно, далеко не я. Становление новой личности, вышедшей из рядов трудового народа, — вот что я хотел показать в трилогии. Удалось ли это — не знаю. Судить вам...

Мы засиделись далеко за полночь. Я был рад, что судьба свела меня с таким человеком. А Макар Андреевич в дарственной надписи на только что вышедшем в «Советском писателе» однотомнике, содержащем романы «Пробуждение» и «Лихолетье», начертал: «Пусть наша встреча навсегда останется в памяти».

Условившись встречаться при каждом удобном случае, мы изредка разговаривали по телефону. В предпраздничные дни обменивались поздравительными открытками. В декабре 1965 года Макар Андреевич писал мне: «Я звонил вам, но мне сказали, что вы в больнице. Последнее время слышал, что вы стали чувствовать себя лучше, чему я сердечно рад. Не теряю надежды встретиться с вами, особенно в день моего семидесятилетия 8 июня 1966 года».

Когда Макар Андреевич писал эти строки, я работал над рецензией теперь уже на всю трилогию, рекомендуя переиздание книги в «Советском писателе».

На семидесятипятителетний юбилей Макара Андреевича, который отмечался в Калининском местном отделении Союза писателей и областной библиотекой имени А. М. Горького, я приехать не смог: еще давали себя знать последствия тяжелой болезни.

В ноябре 1967 года я с радостью поздравил Макара Андреевича с правительственной наградой. В канун пятидесятилетия Октябрьской революции он был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Макар Андреевич немедленно откликнулся телефонным звонком, он приглашал меня в Кимры. Я опять не смог поехать.

Макар Андреевич был настойчив. В январе 1968 года он снова мне пишет: «Если здоровье позволит, приезжайте летом к нам, в Кимры, ведь всего три часа на автобусе. Искушаетесь в Волге, которая от моего гнезда в ста метрах».

Но опять же, увы...

В апреле 1969 года «Правда» опубликовала мою небольшую статью «Его университеты» на трилогию Макара Рыбакова. Я оценивал трилогию как широкое, масштабное, художественное полотно о переломной эпохе в жизни России, как полотно, написанное мастером, знающим силу русского слова, умеющим пользоваться им точно.

Несколько дней я лелеял надежду услышать в телефонной трубке высокий баритон Макара Андреевича. Он откликнулся письмом: «Ваша статья, напечатанная в «Правде», меня очень порадовала, я получил поздравления из Калинина, Ярославля, Владимира. Но сам газету с Вашей статьей достать не могу. Будьте добры, пришлите мне ее».

Статья о трилогии Макара Рыбакова была напечатана в вечернем — идущим за пределы Москвы — издании «Правды», а жители города Кимры получают ночное — московское издание, из которого рецензию вытеснили срочные официальные материалы. Газету со статьей я, конечно, послал Макару Андреевичу.

Минуло немногим более года. Однажды в «Литературной России» я увидел в траурной рамке «Слово прощания», написанное Петром Дудочкиным:

«На восьмидесятом году умер Макар Андреевич Рыбаков».

Он любил вторую половину июня, когда природа дарит самые большие дни в году. В эту пору можно долго-долго писать без огня, сперва в скромном своем кабинетике с одним окошком, выходящим на тихую по утрам и бойкую днем улицу Орджоникидзе, а потом в выращенном своими руками садике, где так хорошо чувствовался волглый ветерок речушки Кимрки, впадающей поблизости отсюда в Волгу.

Ему нравился этот ветерок, и речка, напоминающая, что его писательское творчество, как и Волгу маленький приток, питает большую советскую литературу.

Почти никогда не хворавший, считавший себя все время в большом литературном походе, по воле судьбы он заболел в один из таких самых длинных дней — 17 июня, а 1 июля скончался».

Так закончил свой жизненный путь самородок из народа, человек редкостной писательской судьбы.

Петр Белявский

В тридцатые годы нынешнего века среди писателей и журналистов было немало имен, в какой-то мере связанных с подвигами, освещенными героической славой. Одни плавали в Арктике на ледоколе, впоследствии стиснутом и раздавленном льдами. Другие принимали участие в экспедициях то по спасению людей, потерпевших аварию во льдах, то по снятию со льдины папанинцев. Третьи участвовали в специальных перелетах по европейским столицам; включались в экипажи автомобильных пробегов по пескам Каракумов; встречали участников всех этих экспедиций, а затем сопровождали их в торжественных поездках по стране. Наравне с именами героев сенсационно-героических событий читатели газет и журналов запоминали и имена людей, в какой-то мере причастных к этим событиям, — они писали об этих событиях, славили мужество советских людей. Позднее на прилавках книжных магазинов появились хорошо оформленные, богато иллюстрированные книги, в которых были собраны корреспонденции, зарисовки и очерки, публиковавшиеся ранее в периодике. Такие книги немедленно раскупались, они становились библиографической редкостью.

Я мог бы назвать не один десяток столичных писателей и журналистов той поры настолько популяр-

ных, что даже простое личное знакомство с ними у нас, провинциальных газетчиков, рождало чувство собственной исключительности.

Петр Белявский — очеркист «Известий» в те годы не участвовал ни в каких экспедициях и перелетах, никого не спасал, словом, не был причастен ни к одному сенсационно-героическому событию. И тем не менее его имя было уважаемо постоянными читателями «Известий». Петр Белявский печатал в «Известиях» неторопливые по манере изложения события, но интересные деталями и человеческими характеристиками очерки о деревне, о борьбе нового с тем, что формировалось веками, но отжило, одряхлело, о людях, которые перестраивают жизнь села на новый лад.

В пятидесятые и шестидесятые годы среди литераторов-«деревенщиков» на передний край вышли публицисты-проблематисты. Что ни очерк, то проблема, решением которой впору заниматься всем инстанциям — от колхозного бригадира до Совета Министров союзного правительства. Но в тридцатые годы, пожалуй, самым главным для очеркиста был рассказ о новом. Мастерство литератора проявлялось в умении увидеть это новое и повествовать о нем так, чтобы оно было показано наглядно, захватывало воображение читателя, вызывало желание ему подражать. Петр Белявский умел и видеть, и убедительно и образно писать о виденном. Еще с той далекой поры в моей памяти живут очерки «День», «Вчера, сегодня, завтра», «Семья дедушки Головина», «Сельские интересы», «Ступеньки роста». В очерках «Надежда Персиянцева», «Анна Фролова», «Паша Ангелина» Белявский славил замечательных тружениц-колхозниц, справедливо названных «великой силой».

Гимн новому, пустившему ростки на бескрайних просторах страны и уже дающему обильные плоды в материальной, социальной и моральной сферах, — таков пафос написанного Белявским. Писать о происходящем вокруг не сухо и протокольно строго, а осмысливая про-

исходящее, искать в конкретном явлении свои закономерности, всматриваться в те направления в жизни, когда случай перерастает в событие, становится общепризнанным — всем этим примечательна творческая манера Петра Белявского. Документальные очерки Петра Белявского были написаны художественно, поэтому и воспринимались читателями как рассказы.

Читая очерки Петра Белявского, можно было познать жизнь довоенной колхозной деревни во всей ее многогранности, с радостями и печалью. Публиковавшиеся, как правило, газетными «подвалами», к сожалению, не часто, произведения Белявского читались с интересом, я как журналист многому у него учился. Позднее моя заочная приязнь переросла в долголетнюю дружбу с Белявским.

Познакомились мы с Петром Ивановичем в 1939 году, вскоре после того, как я стал корреспондентом «Известий» по Горьковской области. На совещании корреспондентов, которое состоялось летом того же года, участвовали и выступали именитые известинские очеркисты Евгений Кригер, Татьяна Тэсс, Илья Бачелис, Константин Тараданкин. Петр Иванович сидел в уголке и молча наблюдал за происходящим. В перерыве кто-то спросил его:

— Петр Иванович, почему вы не скажете своего слова? Интересно бы вас послушать...

— Не речист я, — застенчиво ответил Белявский. — Да и выступать не люблю...

Мне даже подумалось: «Играет в молчуна». Но вскоре всякие сомнения об игре отпали. Петр Иванович по характеру был человеком немногословным. Старый известинец Владимир Барыкин, с которым я как-то затеял разговор о Белявском, сказал:

— О, Петр Иванович у нас непробиваемый! Я его знаю еще по «Рабочей Москве», где он печатался в первой половине тридцатых годов. Он да Иван Рябов. Рябов теперь в «Правде», а Белявский у нас, в «Известиях», но по-прежне-

му — друзья! Московская область в то время занимала огромную территорию. В нее входило несколько нынешних соседних областей. По-сылаем мы их в командировки в разные районы, одного на юг, другого на север. А едут они непременно вместе. Вначале побывают в районах Рябова, а потом перекочевывают в районы Белявского. Каждый пишет о своем и по-своему. Но путешествуют вместе. Иван Рябов объяснял это так: «Ездить с Петром Ивановичем — одно удовольствие. Спокойно, уютно и надежно. Он легко входит в житейский ритм деревни. Беседуя со стариком или молодайкой, с боевым напористым парнем или с любителем повольтынить, отмахнуться от работы, с лодырем, Петр Иванович обязательно затронет у собеседника душевную струну. Он быстро становится своим человеком в любой крестьянской семье. Даже на короткую побывку он устраивался основательно. И как-то сразу умел все увидеть, разузнать, добраться до конца, а потом и выдать на-гора яркую картину деревенской жизни».

Так работал Петр Иванович и в «Известиях». Командировку куда-нибудь «во глубинку России» просил обязательно на месяц, не меньше. Объяснял: «Присмотреться надо, с людьми поговорить». Отправляя его, только просим: приедете на место, сразу же сообщите свой адрес. Вдруг будут новые задания. «Непременно», — ответит Петр Иванович. А мы свое: первый очерк ждем дней через десять. «А как же, — скажет Петр Иванович. — Непременно». Пройдет полмесяца, дней двадцать, от Белявского ни слова, даже не знаем, где он «приземлился». Шлем телеграмму в обком партии, в райком. Ответ, как правило, такой: «Заходил. Уехал в колхоз. В какой — не сообщил». Проходит еще полмесяца. Сияющий, всегда чисто выбритый, благодушный Петр Иванович приходит в редакцию. Мы к нему сурово:

— Где вы были-то?

— В районах, в колхозах, — скажет он, присаживаясь.

— А почему на телеграмму, что

мы послали в райком на ваше имя, вы не изволили даже ответить?..

— Я никакой телеграммы не получал.

— Очерк принесли?

— Я еще не начинал писать...

Проходит дней пять. Петра Ивановича приглашает редактор газеты Селих.

— Петр Иванович!.. — В голосе редактора металл. — Месяц с лишним вы были в командировке. Уже неделя прошла, как вернулись в Москву. А очерка вашего в редакции еще нет.

— Яков Григорьевич! Я пишу. Напишу и принесу. Вы знаете, пишу я медленно. — Скажет все это так застенчиво, что сразу обезоруживает Селиха.

Пройдет еще несколько дней, и наконец Петр Иванович приносит в редакцию свой первый очерк о поездке. И, как правило, написан хорошо, взволнованно. Кусок жизни, показанный ярко, заинтересованно ко всему происходящему. Очерк сразу же идет в набор, ставится в текущий номер. Дня через три-четыре появляется новый очерк. Выступающие на редакционной летучке отзываются о них добрым словом, а редактор, заключая летучку, заметит: «На этой неделе украшением страниц нашей газеты были два выступления всеми нами уважаемого Петра Ивановича Белявского, настоящего мастера слова, глубоко знающего жизнь деревни и все сложные социальные процессы».

Забегая вперед, замечу, что после войны, когда Петр Иванович вернулся к деревенскому очерку, все происходило примерно так же, как было в 1939 году. Менялись главные редакторы газеты и редакторы сельскохозяйственного отдела. Не менялся только Петр Белявский. Каждый новый редактор неизменно проникался уважением к нелегкому, но очень нужному для газеты труду очеркиста.

В конце июля 1941 года я встретился с ним на войне, приехав на Западный фронт в качестве военно-

го корреспондента «Известий». Известинская бригада в составе Евгения Кригера, Павла Трошкина и Петра Белявского, повезла меня «на обстрел» в район восточнее Ярцева, где в те дни шли оборонительные бои.

Августовские вечера на Смоленщине — густые. Скоро стало темно и тихо, как может быть тихо в пяти-шести километрах от переднего края. Раздавался лишь далекий, как эхо, пулеметный перебор, басовитый голос пушек, уханье рвущихся снарядов и глухие одиночные винтовочные выстрелы. Мы улеглись под деревом и сразу же заснули. И вдруг убаюкивающая нервы тишина в прифронтовом лесу взорвалась. Все вокруг завизжало, загрохотало, задрожала земля. Не сталкиваясь ранее ни с чем подобным, я попервоначалу оказался безвластным над собой. Меня трясло, как в лихорадке. Я понимал, что это нехорошо, что товарищи, лежащие рядом со мной, могут подумать, что я трус, что паникую, и куда, мол, такому хлюпику рядиться в тогу военного корреспондента. Но угрызения совести не помогали. Павел Трошкин лег на меня и накрепко прижал к земле. Но меня по-прежнему трясло. Наконец до сознания дошел спокойный голос Петра Ивановича: «Не приставайте к нему. У него это происходит в первый фронтвой день. С другими это случается через месяц или чуть позже. Каждый по-своему проходит этот солдатский путь. А потом и он будет, как все обстрелянные, спокойным, внешне равнодушным к огневой какофонии».

Ребята лежали рядом со мной. «Юнкеры» повесили над лесом фонари на парашютах и ходили вокруг каруселью, изрыгая бомбы. Бомбежка продолжалась минут сорок. Но еще до ее окончания я как бы пришел в себя, сел, обхватив колени руками, боясь поднять голову, посмотреть на товарищей. Белявский хлопнул меня по спине:

— Ну, вот и все. Теперь и ты можешь поднимать солдат в атаку.

Я впервые рассказываю об этой ночи (за все минувшие годы никто

из фронтовых друзей не напомнил мне о ней). В ту ночь я проникся еще большим уважением к Петру Белявскому, уже как к человеку, как к бойцу. Все обитатели палаточного городка фронтвой газеты «Красноармейская правда», взявшей нас, корреспондентов центральной прессы, на постой и пищевое довольствие, подчеркивали свое уважительное отношение к Петру Ивановичу. И не потому, что по возрасту он был старше многих — его ровесниками были поэт Алексей Сурков и корреспондент ТАСС Филарет Жадаев.

Они, как и Белявский, прошли через первую империалистическую и гражданскую войны, Сурков — пулеметчиком, Жадаев — матросом. Были среди нас по воинскому званию и выше Петра Белявского: он носил только одну шпалу — старший политрук, а у некоторых было уже по три шпалы — старший батальонный комиссар. И тем не менее военная форма на Белявском, в отличие от всех, особенно от нас, впервые в жизни надевших ее, была как бы слита с ним, все пригнано точно по его невысокой плотной фигуре, даже еле заметное припадание на одну ногу почему-то показалось мне неким офицерским щегольством. Позднее мы не раз в часы бомбежек, артиллерийского и минометного обстрела наблюдали, как он, «не кланяясь пулям», двигался по ходам сообщений и окопам. Он всегда был спокоен, ровен, как будто все происходящее вокруг совсем не относилось к нему.

В конце 1941 года мы с Петром Ивановичем оказались на разных фронтах. Я с удовольствием читал по-прежнему печатавшиеся не часто его очерки о людях войны и знал, что каждое слово в них выверено, родилось в боевой обстановке. Белявский писал только об увиденном. Он никогда не обращался к политдонесениям и военным сводкам. Он жил с героями своих очерков там, где им полагалось жить и воевать. Поэтому-то его очерки и были наполнены горячим дыханием боя.

В годы войны мы встречались

редко, только тогда, когда случилось одновременно попасть на несколько дней в Москву. Зато после войны большую часть суток проводили вместе, конечно, кроме тех недель, когда находились в командировках. И запомнился он мне, пожалуй, самым молчаливым из всех моих многочисленных друзей и знакомых. Он любил слушать других, редко что-то рассказывал сам, тем более о себе, и никогда он не судачил о других. Если кто-то в его присутствии скажет недоброе об общем знакомом, Петр Иванович обязательно сердито заметит: «Чего ты нам говоришь? Ты ему скажи. Поносить человека за глаза — противно!» А то оборвет на полуслове: «Не сплетничай, не принижай этим другого и себя».

Белявский не отличался красноречием, почти никогда не выступал на собраниях. Когда его назначали критиком на редакционной летучке, он считал себя самым несчастным на земле человеком. Но к выступлению всегда готовился тщательно. Прочитанные им страницы недельного комплекта газеты бывали испещрены вопросительными и восклицательными знаками, бегло написанными на полях комментариями.

Для выступления на летучке обычно отводилось 15—20 минут, максимум полчаса. Петр Иванович не укладывался и в час. Особенно трудно ему было начать свою речь, он никак не мог, что называется, взять быка за рога. Первые фразы с томительными паузами между ними состояли примерно из таких словесных сочетаний:

— Ну, так вот... Значит, за минувшую неделю... Гм-гм. Гм-гм. Вот так... Кх! Ну, как бы это вам сказать? Вот, видите, значит... Да. Да... Значит, прежде всего о вчерашней передовой... Вот так...

И вдруг точно появлялось второе дыхание. Речь критика входила в спокойное русло, вода в котором время от времени вскипала и пенилась. Петр Иванович был беспощаден и прям в своих суждениях.

И по каждому выводу — примеры, доказательные пояснения, сок-

рушительные заключения. Кое-кто, встречая смешком начало выступления Белявского, теперь помалкивал, а кое-кто, пристыженный докладчиком, сидел, опустив глаза. Минут через сорок ведущий летучку спрашивал:

— Петр Иванович, у вас еще много?

— Я как раз на половине,— отвечал Белявский.

Присутствующие просили не прерывать докладчика, и Петр Иванович, в очередной раз смахнув пот с лица, в начале второго часа своей речи подходил к завершению критического обзора и заканчивал непременно так:

— Ну, так, вот так... Кх-кх...¹

В первой половине пятидесятых годов в коллективе известинцев состоялся творческий вечер, посвященный Петру Ивановичу Белявскому. Не помню, было ли это связано с какой-либо датой в жизни Белявского, да и не в этом суть. Меня попросили сделать вступительное слово. Меня обрадовало такое поручение, и я серьезно готовился к выступлению. За многие годы дружбы мы вместе съели не один килограмм соли и выпили не одну кварту крепких напитков. И все же я не все о нем знал. Спрашивать Петра Ивановича было бесполезно, он отмахнулся бы от вопросов, да еще выругал бы меня за приставание. Пришлось обратиться к документам.

Петр Иванович Белявский — сын приходского священника из села Васильевского, Гжатского уезда, Смоленской губернии, в 1915 году шестнадцатилетним пареньком ушел на фронт рядовым волонтером и участвовал во многих боях. После революции он возвратился домой в звании прапорщика.

Без колебаний определил он свое место в классовых боях. Уже в сентябре 1918 года он становится большевиком, членом Коммунистической партии. По должности молодой коммунист — учитель, а по всему складу жизни — боец. Не прошло и двух лет «мирной жизни» для Белявского, как он снова в армии, теперь уже в Красной. Внача-

ле командует коммунистическим батальоном, потом в 23 года 373-м полком 42-й стрелковой дивизии. Он водил полк против Мамонтова, Шкуро. Тяжелое огнестрельное ранение — перелом бедра — вынуждает его в январе 1921 года вернуться в родные края. Еще сильно давала о себе знать рана, а Петр Белявский уже секретарь волостной партиячейки. За этим лаконичным упоминанием в документе — каждодневный, напряженный, горячий, связанный с опасностями труд. Коммунистов в волости всего несколько человек. Выполнение государственных заданий, схватки с врагами революции — кулаками и дезертирами, устройство мирной жизни.

В 1922 году Петр Иванович Белявский редактирует юхновскую уездную газету «Путь коммуниста», через год — вяземскую уездную газету «Товарищ». Вскоре Белявский в губернском центре, он ответственный секретарь газеты «Смоленская деревня». Петр Иванович Белявский не только старый коммунист, но и старейшина цеха советских журналистов. И не администратор, а пишущий, творящий журналист. Первая его публикация в газете помечена 8 ноября 1918 года — он рассказал в ней о праздновании первой годовщины Октября в деревне.

Любопытный документ выдан Белявскому 27 сентября 1924 года: «Смоленская артель художественного слова «Арена» настоящим удостоверяет, что тов. Белявский Петр Иванович состоял членом артели с ноября 1923 года по сентябрь 1924 года, неоднократно публично выступал со своими произведениями и вел организационную работу, исполнял обязанности товарища председателя правления артели.

Председатель Смоленской артели художественного слова «Арена»

М. Исаковский.

Узнав об этом документе, я спросил Петра Ивановича, что это за артель. Он ответил:

— Баловство одно! Писал стихи, прозаические этюды.

Уже тогда, в 1924 году, Белявский приходит к выводу: нужно учиться! И осенью 1924 года он становится студентом Коммунистического института журналистики (КИЖа) и тут же зачисляется судебным репортером газеты «Правда».

За успехами студента-кижевца наблюдает Мария Ильинична Ульянова — секретарь «Правды». Она высоко оценивает литературные способности Белявского и в 1927 году, сразу же после окончания КИЖа, зачисляет его в штат «Правды» фельетонистом.

Комплекты газеты «Правда», «Рабочей Москвы», где Белявский работал до 1935 года, и, наконец, комплекты «Известий» — свидетельствуют о постоянном вторжении журналиста в жизнь, о его горячем сердце, растущем и крепнущем литературном мастерстве. Но это была лишь часть написанного Белявским. Его произведения печатались в журналах «Крокодил», «Даешь!», «Прожектор», «Огонек», «Смена», «Молодая гвардия», «Советский воин», «Наш современник», «Новый мир». Вышло несколько очерковых книг, принадлежащих перу Петра Ивановича. В марте 1948 года мастер художественного документального очерка Петр Иванович Белявский был принят в члены Союза советских писателей.

Мое сообщение о творческом пути Петра Ивановича на его вечере для многих известинцев, не только молодых, но и старых по стажу работы в редакции, оказалось в какой-то мере откровением. О Белявском знали мало — скромность была основой его характера.

Позднее в устных да и печатных выступлениях мне не раз приходилось упоминать о творчестве Петра Белявского. Художественный документальный очерк давно признан полноправным жанром советской литературы. И все же время от времени возникали и возникают дискуссии о природе и особенностях очеркового жанра. Они, эти дискуссии, подобно фейерверку, вспыхивают ярко, порой даже ослепительно, и быстро гаснут, потому

что зачастую бывают основаны или на недоразумении, или на кажущейся оригинальности взглядов или позиций.

Например, один из «скоропортящихся теоретиков» в статье «Расказ или очерк» на страницах «Литературной газеты» бил земные поклоны некоей «новой литературе», пришедшей якобы «взамен старой документальной». Автор статьи начисто отрицал документальный очерк как жанр художественной литературы и звал к рассказу, к новелле, к тому, чтобы достоинство литературного произведения определять прежде всего мерой фантазии автора, его «обобщениями».

Узость такой «позиции» доказывалась хотя бы тем, что история советской литературы знает десятки хороших книг, написанных очеркистами, стремящимися к документальной точности. Пример тому — все творчество журналиста и писателя — очеркиста Петра Белявского. Все написанное им — художественная летопись жизни колхозной деревни. Каждая строчка, каждая фамилия, каждый факт строго документальны — они и есть наша социалистическая действительность. Не случайно в исследованиях о колхозной деревне можно встретить ссылки на очерки Петра Белявского. А в дипломных работах филологов и журналистов, посвященных очерку и публицистике, говорится и о творчестве Петра Белявского.

Бытуют и такие суждения: газета живет один день. Значит, и произведение, написанное для газеты, умирает вместе с газетным листом. Какое снобистское заблуждение! Не только в библиотеках, но и на домашних книжных полках ныне стоят книги, в которых собраны произведения, впервые опубликованные в газете. У нас изменилась сама природа газетного жанра, благодаря высокой идейной и художественной требовательности к нему.

Иногда говорят так: одно дело газетный очерк, другое дело — журнальный, отдавая предпочтение, как явлению литературному, журнальному очерку. Но и эта кар-

та бита жизнью. Газеты публиковали и публикуют короткие по размеру и многолистные, с продолжением в нескольких номерах, произведения в нескольких номерах, произведения, в том числе и документальные очерки. А журналы тоже иногда публикуют немногословные, но выразительные по фактуре и яркие по форме небольшие очерки. Время покоряет хороший, идейно-боевой, художественно полноценный очерк, независимо от того, где он был впервые опубликован.

Доказательство тому хотя бы две последние книги Петра Белявского. «Простые люди» — издательство «Известия», 1950 год. В названии книги с предельной отчетливостью выражено ее содержание и творческий пафос писателя-очеркиста, певца трудовых и ратных подвигов простых советских людей. В том же издательстве в 1960 году вышел большой однотомник избранных очерков Петра Белявского «Вчера. Сегодня. Завтра». В разделах этой книги: «Очерки сельской жизни», «Женщины русских селений», «Ратный подвиг народа», «Возрождение», «На подьеме», «Колхозные университеты», «Обретенная родина» — собраны лучшие очерки — плод журналистского и писательского труда одного из мастеров очерково-документального жанра, человека простого и скромного, оставившего свой след в журналистике и литературе.

Измаил Уразов

Не помню, в каком году, но один номер журнала «Огонек» совершенно случайно вышел без кроссворда. Боже мой, как разгневались подписчики! Редакцию завалили письмами. Телефонные звонки несколько дней не смолкали во всех отделах. «Вы лишили нас лучших часов воскресного отдыха, когда мы всей семьей решали кроссворд. Объясните, что случилось?» — грозно спрашивали в телеграмме из Курска.

Человек привыкает к порядку, и если в нужную минуту он чего-то не

находит на привычном месте, он нередко теряет самообладание. Всегда в каждом номере еженедельного журнала «Огонек» был кроссворд, и вдруг его нет. Переполох! Читатели «Огонька» привыкли также к печатавшемуся, правда, далеко не в каждом номере, но на той же странице, что и кроссворд, раздельчику: «Почему мы так говорим?» Под заметками стояла подпись — И. Уразов. И тоже, если почему-либо в журнале долго не публиковался этот раздельчик, шли письма и телеграммы, звонил телефон: «Здоров ли Уразов?»

По этому самому раздельчику и я знал Уразова за много лет до прихода в «Огонек». Читая небольшие по размеру заметки о разных словах и понятиях, к примеру «банк», «где раки зимуют», «дотла», «заварить кашу», «курские соловьи», «мелкая сошка», «не вытанцовывается», «реветь белугой», «тихая сапа», «чеканить», «шут гороховый», — мы узнавали не только историю возникновения слова или понятия, но и многие малоизвестные факты из жизни народов и истории государства.

Люди моего поколения, читавшие «Огонек» в сороковые и пятидесятые годы, конечно, запомнили уразовский уголок в журнале. Для тех, кто в те годы не был читателем журнала, приведу пояснение хотя бы одного, случайно выхваченного мною понятия из более тысячи написанных за те годы Уразовым: «На широкую ногу».

Когда говорят: «Иметь сено в башмаках» — это значит быть богатым. В XIV веке была мода на длинную, большую обувь, иногда больше полуметра. Эта мода касалась только высших классов. Чем длиннее была обувь, тем знатнее и богаче считался человек. Чтобы можно было ходить в таких башмаках и сохранять их форму, их набивали сеном. Одно время носки даже загибали сверху, закручивали. От этой моды родились перешедшие к нам выражения: «Жить на большую ногу», «Жить на широкую ногу», «Жить богато».

Мне тогда думалось, что И. Ура-

зов — псевдоним многих ученых из числа составителей всем известных словарей. Можно представить и понять мое удивление, когда в первый день работы в редакции «Огонька» мне представили немолодого кареглазого человека в коричневом костюме, сшитом явно не по фигуре, и сказали:

— Заведующий отделом оформления Измаил Алиевич Уразов.

Протянув мне руку, Измаил Алиевич загадочно улыбнулся и сказал:

— Будем работать вместе...

На протяжении шести лет работы в «Огоньке» я усвоил особенность выражения лица Измаила Алиевича — почти всегда мягкая, загадочная улыбка.

Типография издательства «Правда», в котором выходит «Огонек», требовала от нас неукоснительного соблюдения графика сдачи рукописей в набор, вычитки гранок, представления макета полос и всего номера журнала.

Если оформители и технические редакторы — их у нас было несколько человек — старательно расклеивали макет каждой страницы журнала, при этом на их лицах было выражение тяжких раздумий, то Измаил Алиевич, когда оформленные номера журнала выпадало на его долю, к этому довольно-таки сложному занятию приступал не только в последний день допустимого срока, но в последний час. Он забирал гранки набора, рисунки, фотографии, уходил в свою комнату, казалось, с маху, кое-как, а между тем по заранее продуманной и мысленно сложившейся схеме все это прилепывал на макет страницы, указывая точные размеры, и с загадочно-обворожительной улыбкой приходил к главному редактору или ко мне и, положив макет на стол, говорил:

— Думаю, что так будет хорошо.

Почти никогда ни у кого не возникали сомнения или замечания к макету, составленному Уразовым.

Бывало и такое: то сам Измаил Алиевич, то руководимые им техреды нарушали график. Из типографии звонили мне или ответственно-

му секретарю редакции и грозно предупреждали: «Нет никакой гарантии, что журнал выйдет в свет в установленный срок!» В первый год работы в «Огоньке», возбужденный и возмущенный нарушением графика и угрозой типографии, я приглашал Уразова, готовый накричать на него, хотя он и был старше меня на десять лет. Но открывается дверь, в ее створе появляется фигура удивительно некомпактно одетого Измаила, с неприменной улыбкой и нежным вопросительным взглядом. Ну невозможно же кричать на такого человека. И все же я говорю:

— Измаил Алиевич! До каких пор!

Вскоре я понял, что и такие слова ни к чему. Даже без приглашения ко мне или к кому-то другому Измаил Алиевич сам пойдет в типографию, в цех, там все уладит, пусть это будет одна из последних минут, потом зайдет ко мне и укоряюще заметит:

— Я же вам говорил, что все будет в порядке.

Бывало и такое. Фотокорреспондент или художник, окончательно раздосадованный, придет ко мне:

— Измаил Алиевич потерял редкую фотографию.

Я — к Уразову в кабинет, опять готовый накричать на него. Комната, в которой работал Измаил Алиевич, походила на канцелярию, где только что был произведен обыск, — все папки, фотографии, рисунки, гранки, бумаги разбросаны на столах, на диване, на кресле, на стульях, на шкафу, и ничего еще не положено на место. Увидев меня с фотокорреспондентом или художником, Измаил Алиевич, конечно, улыбался, с укоризной смотрел на «жалобщика», совал руку в хаос бумаг то на шкафу, то на диване и, как маг-волшебник, извлекал оттуда именно ту фотографию или тот рисунок, о которых только что шла речь.

Эти внешние черты стиля не создают еще образа характера и бывают обманчивы. Измаил Алиевич принадлежал к тому типу людей, память которых подобна энциклопедическому словарю, в ней напрочно

сохранилось все единожды увиденное, услышанное, прочитанное. Эта удивительная кладовая — память служила Измаилу Алиевичу и для той тысячи с лишним блестяще написанных заметок о словах и понятиях, и для изысканной беседы на любую тему. Прочитывая гранки или синьки полос журнала, Измаил Алиевич десятки раз предупреждал нас от неточностей, ошибок и неверных толкований, особенно в исторической и искусствоведческой областях.

Требовательный вкус, широкие познания в истории живописи и рисунка позволяли Измаилу Алиевичу безапелляционно оценивать работу художников, сотрудничавших в журнале. Он заказывал рисунки к рассказам, повестям и отрывкам из романов, печатавшимся в «Огоньке». Художники с полуслова понимали «заказчика». В каждом номере «Огонька» репродуцировались до десяти картин художников разных стран и эпох. Долгие годы Измаил Алиевич имел почти решающее слово при отборе картин в музеях, в мастерских художников.

С 1947 года журнал «Огонек» стал многокрасочным, иллюстрированным еженедельником, печатавшимся способами глубокой, высокой и офсетной печати. В создании внешнего художественного лица «Огонька» Измаил Алиевич играл далеко не последнюю роль. Оценкой его заслуг было включение Уразова в пятидесятых годах в состав редколлегии журнала, членом которой он оставался до выхода на пенсию.

Запомнилась мне месячная поездка вместе с Измаилом Алиевичем в народную Польшу. С первой же минуты вступления на польскую землю Измаил Алиевич проникся сознанием высокой ответственности своей миссии. В музеях, в художественных салонах и в мастерских польских художников ему предстояло отобрать десятки картин для воспроизведения на страницах «Огонька». Оказалось, что Уразов хорошо знает не только произведения польских художников прошлых столетий, но и отлично осведомлен о направлениях и тончайших нюансах

современных школ среди живописцев Польши.

Измаил Алиевич легко вступал в разговор с любым художником, деятелем искусств, журналистом, писателем. Если его собеседник не знал русского языка (Уразов не говорил по-польски), то они начинали изъясняться на французском или английском языках, которыми Измаил Алиевич владел, что было для меня откровением. Иногда Уразов и его собеседник вдруг начинали разговаривать по-татарски. Как-то я спросил Измаила Алиевича:

— Почему этот поляк, не знающий русского языка, так блестяще изъясняется по-татарски?

— А он, как и я,— татарин,— с подчеркнутой торжественностью объяснил Уразов.— Так же, как и я, сын крестьянина Касимовского уезда Рязанской области — по родословной татарин, так, к примеру, и пан Новицкий — главный редактор журнала «Пшеязнь» («Дружба») родился и вырос под Варшавой, но по крови — он татарин. Я — русский татарин, он — польский татарин. В Польше полно татар! — категорично заключил Измаил Алиевич.

Вскорости я убедился, что почти в каждом городе и местечке, где мы бывали, Измаил Алиевич находил соплеменников. Всматриваясь в чье-то лицо или прислушиваясь к чьей-то речи, он вдруг произносил несколько фраз по-татарски, и, как правило, лицо человека, к которому присматривался Измаил Алиевич, расплывалось в улыбке и я терял своего напарника по поездке. Уразов несколько минут был поглощен разговором с новым собеседником на самые различные темы.

— Вы не удивляйтесь,— ответил на мои недоуменные вопросы Измаил Алиевич.— Татар много не только в Польше, они и в Болгарии, и в Венгрии, и во Франции.

По уверениям Уразова получалось, что значительная часть населения Европы где-то в отдаленном прошлом имеет татарское начало. В качестве доказательств своих умозаключений Измаил Алиевич сыпал

примерами из истории народов и государств.

Измаилу Алиевичу было всего шесть лет, когда умер его отец, крестьянин-бедняк. Мать вскорости вышла замуж. Отчим недолюбливал пасынка. Судьбой Измаила занялся его дядя, по понятиям того времени довольно состоятельный человек. При его материальном участии Уразов окончил Екатеринославскую классическую гимназию, в 1918 году — исторический факультет Харьковского университета. В возрасте пятнадцати лет, будучи еще гимназистом, он начал работать в газете «Екатеринославское утро», в Харькове студент Уразов сотрудничал в «Вестнике театра», писал стихи, печатал их в газетах и журналах и выпустил три книжки своих стихов.

— Незрелая игра в поэзию,— так в зрелые годы оценивал Измаил Алиевич свои поэтические «шалости юности».

В 1925 году Уразов переехал в Москву, многие годы отдал журналам «Советский экран», «Цирк и эстрада», «Всемирный турист», «Вокруг света», был их техническим редактором и ответственным секретарем, сыграв свою роль в становлении этих изданий и создании их внешнего облика.

В августе 1945 года Уразова пригласили работать в журнал «Огонек». Пятнадцать лет — до ухода на пенсию — он отдал этому изданию весь накопленный оформительский опыт, знания и страсть человека, связавшего свою жизнь с журналистикой с первых дней существования Советской власти.

Умер Измаил Алиевич в январе 1965 года, на шестьдесят девятом году жизненного пути. На память об этом человеке осталась у меня его книжка «Почему мы так говорим», изданная в библиотеке «Огонька» в 1956 году. Измаил Алиевич написал на обложке: «Вот Ваш крестник, дорогой Леонид Александрович! С уважением, любовью и признательностью. Измаил». Да, на даче у меня растет роза, подаренная мне Измаилом в том же, 1956 году.

ВИКТОР КОЧЕТКОВ

ОТЧИНА

• • •

Нет ничего прекрасней поля
Перед осеннею страдой,
Когда на нем, как выпот соли,
Туман белеет молодой.

Оно задумалось устало,
Колосья тяжкие клоня.
Морщинит истина простая
Чело задумчивого дня.

Нет ничего прекрасней луга,
Цветами вытканной земли,
Когда над ним — посланцы юга —
Кричат гортанно журавли.

За ним тускнеет даль излуки
И дремлют ясени в тиши.
И вдруг коснется боль разлуки
Сосредоточенной души.

Нет ничего прекрасней мира,
Где речка поле обвила,
Где так растерянно и мило
Бормочет старая ветла.

И этой вымокшей лодчонки,
Где ерш колотится о дно,
И этих тихих глаз мальчонки,
Весь день глядящего в окно.

• • •

Краски степного Заволжья скупы,
Прожелть толоки
да просинь болотца,
Тонким арканом верблюжьей тропы
Сдавлено узкое горло колодца.

Камень-валун приглянулся орлам, —
Дремлют, глаза воспаленные шуря.
Воздух горячий с песком пополам —
Где-то безумствует пыльная буря.

Прячется пес
под пастушеский зонт,
На пролетевшую птицу прогавкав,
Да испятнают на миг горизонт
Молниеносные тени сайгаков.

• • •

Нынче критики судят умно.
На филиппики не скупятся.
И ярлык подобрали давно
И словечко нашлось —
«русопятство».

Поэзия

И уже за идейный порок
Выдают в обличительном рвенье,
Коль, шагнув через отчий порог,
Запечалишься ты на мгновенье.

Коль над холмиком рыжей земли
Постоишь ты в березнике редком,
Где нелегкий покой обрели
Все твои несановные предки.

Поднимаемый модной волной,
Сорняки по журналишкам сея,
Снисходительно цедит иной:
«Залежалая ветошь... Расея».

Что я должен ему отвечать,
В прятки с правдой души не играя?
Или выгодней стало молчать
О любви к деревенскому краю?

К милой отчине нежность забыть?
Да ведь я без нее немею.
Как же буду я дальних любить,
Если ближних любить, не сумею.

Край мой, край, луговой ветровей,
Тихий свет над озерною стыней,
Ты всегда для твоих сыновей
Остаешься нетленной святыней.

• • •

Поэзия...

Чем она держится?
И что в ней уток и основа?
Молчаньем Печоры и Керженца
Воспитано русское слово.

И прежде чем слово то скажется,
Душа его долго лелеет,
Сто раз принахмурятся пажити,
Сто раз облака просветлеют.

Сердца благодарные трогая,
Хранит это слово до срока
Тревожную пристальность Гоголя
И горькую искренность Блока.

ТОБОЛЬСКАЯ СКАЗКА

Два года тому назад мне привелось побывать в Тобольске. Времени было немного, одна неделя, но все же его хватило, чтобы кроме древностей и вообще достопримечательностей этого старинного, на высоком берегу Иртыша стоящего города познаться и со многими людьми. Тогда-то я и встретился впервые с художником Владимиром Игловиковым. Я сказал тогда Игорю Антропову, работнику местной газеты:

— Что же это, все Иртыш да стерлядка, белокаменный кремль да деревянные тротуары. Нет ли интересного человека? Поэта, мыслителя, философа какого-нибудь? Или ну хоть оригинала?

— Чем для вас может быть интересен человек в первую очередь?

— Чем и для всех. Чтобы был самостоятельно мыслящим, по-своему видел мир, а главное, чтобы был он ищущим, а не катящимся по ровной дорожке.

— Есть тут у нас один художник...

Мы подошли к домику деревянному, как и большинство домов в Тобольске. Одноэтажный, осевший на один угол, начинающий вращаться в землю, он, этот дом, не обещал ничего другого, кроме какого-нибудь старичка с краеведческим и топонимическим уклоном, а если художника... Не мог я представить себе, что пройдя, сильно наклонившись, в тобольский домик, увижу явление искусства оригинальное и самобытное.

Художник, прежде всего, оказался не старичком-краеведом, а молодым человеком, и когда он начал ставить перед нами одну картину за другой (он работает преимущественно темперой по картону), то поскакали перед глазами ритмичные кони, расцвели необыкновенные, прекрасные, словно человеческие лица, подсолнухи, а среди них — прекрасные, словно цветы, человеческие лица. Не огород какой-нибудь, а так, что вся плоскость картины плотно заполнена огромными, слегка стилизованными солнышками подсолнухов и среди них-то человеческие лица, так сказать вкомпонованные в композицию из цветов и составляющие с ними как бы

орнаментальное целое. Я не поверил своим глазам. А тут уже возникла яркая, неоглядная, так что уместилась на полотне, я думаю, не сорок ли километров вдоль и вширь, тайга, и опять кони и велосипедисты (ради движения и ритма), крепкотелье, обнаженные и целомудренные сибирские девчонки («чалдоночки») с дождями длинных расчесываемых волос. Опять ритм, ритм и ритм — живописная музыка. И березы, и цветы, и ситцы, и все это своеобразно, неожиданно, как открытие.

Говорят, человек, слепой от рождения, если вдруг обретает зрение, то видит мир ярче и первозданнее, чем люди, привыкшие глядеть на него каждый день. Может быть, он видит сначала только главное в мире: главные краски, главные линии, главные ритмы. Он не может, конечно, не видеть и всех подробностей, коль скоро у него есть глаза, но подробности странным образом не фиксируются сознанием и как бы не существуют, хотя и находятся тут же перед глазами. Увидеть главное на основании подробностей — вот, пожалуй, первое, что стремится делать этот художник.

Был и Тобольск. Несколько Тобольсков — и зимний, и летний, и как будто вот именно выписанный во всех подробностях и все-таки обобщенный Тобольск, увиденный собирательным глазом художника.

Иногда досадно становится за художников, вернее, за судьбу их картин, за слишком сложный их путь к людям. Правда, что крупное произведение живописи со временем становится известным, как всем известны полотна Сурикова, Левитана, Рериха, Корина, остальных прославленных живописцев. Иногда даже слишком известным, как, например, шишкинское «Утро в лесу» (пресловутые «Мишки»).

В то время как написал молодой поэт стихотворение, отнес его в газету — и вот оно уже становится достоянием миллионов читателей.

Да, я знаю, бывают выставки. Но отбирают на выставку из всего богатства художника две-три работы, иногда одну только из них выставляют — и то хорошо! Получить же персональную выставку — это бывает чуть не раз в жизни. А что потом?

Несколько раз в жизни мне было очень досадно, что интересная живопись стоит в количестве десятков картин где-нибудь в тесном помещении, и никто ее не видит.

Не знаю, как у кого, но у меня, когда я попадаю в какое-нибудь красивое место, всегда возникает чувство сожаления, что я один люблю земной красотой. Хотелось бы иметь, как бы это сказать... совосприимчивых. Я убедился, что такое чувство возникает при соприкосновении с подлинной красотой.

Такое чувство у меня было и в тобольском домике, и теперь в подмосковном городке, где живет художник Владимир Игловилов, когда я смотрю его живопись.

Конечно, он еще в начале пути и в большую живопись, и к нам, к зрителям. Много еще неустоявшегося, случайного обречено отшелушиться и отпасть. Путь предстоит нелегкий. Тем более — доброго пути!

НИКОЛАЙ РОДИЧЕВ

«БЕСКОНЕЧНО ПИСАЛ БЫ МОСКВУ...»

У художника, по сравнению с музыкантом, ученым, литератором, тоже творящими по вдохновению и не знающими меры своему труду, есть одно, пусть небольшое преимущество. Однажды, когда настанет его «судный день», он может собрать лучшие свои творения под одной крышей, выставить в одном зале и отчитаться в содеянном.

Настал такой день и для Константина Ивановича Самойлова. И был он особенно волнующим и торжественным: Самойлов выставлялся впервые.

Для меня знакомство с художником началось с картины «Осень в старых Мытищах». Я увидел парк на городской окраине, исход лета. По обилию света, рассеянного в ветвях берез и кленов, по листве, еще не опавшей, но обреченной на близкий листопад, чувствуется: лето было изнурительным, жарким. Отдаленное дыхание зноя угадывается и в поблекших крышах редких домов, в обвисших ветвях деревьев. На стволах берез темные рубцы, трещины... Но и в этой картине увядания природы нашлось место борьбе за жизнь. На небольшом клочке земли, как бы сбереженном от зноя материнскими руками берез, ярко зеленеют молодые побеги.

Акварель эта висела сразу напротив входа в зал дома на Ярцевской 4, что у метро «Молодежная», где была выставка.

Акварель — излюбленный материал художника, ее нежные, праздничной свежести и прозрачности краски мы видим и в сюжетной композиции, и в натюрморте, и в портрете. Впрочем, автор предупреждает, что он не портретист. В его работах чувствуется некая робость перед изображением человека. Даже в таком, непривычно для Самойлова обжитом, населенном произведении, как «В Абрамцево», люди представлены в отдалении: перрон, деревянное здание вокзальчика, небольшие группы посетителей...

С упоением работает К. И. Самойлов над темой Москвы. Это она, белокаменная, пригласила к себе в первые послевоенные

годы начинающего художника, выпускника ремесленного училища, позвала поближе к музейным святыням и к настоящим живым мастерам кисти. Работая слесарем, Костя Самойлов посещал юношескую студию во дворе Московского планетария. Там обратил на него внимание И. И. Темкин, который и подготовил паренька к поступлению в Строгановское училище.

Горячую любовь сохранил художник к своим учителям, поделившись с ним секретами мастерства. Слова преподавателя Строгановского училища Василия Петровича Комарденкова: «Вы — акварелист, это ваше призвание...» Константин Иванович запомнил на всю жизнь, как благословение наставника.

Лучшие свои слова изумления и восторга адресует К. И. Самойлов Москве. И лучшие краски. «Бесконечно писал бы Москву...» — признается художник. Среди выставленных работ большинство посвящено родной столице: два варианта городского пейзажа «У метро «Молодежная»; кусочек города с видом на подземный переход на улице Новослободской; «У метро «Юго-Западная». Они раскрывают восприятие художником новизны в старых кварталах и обновление окраин столицы.

Столичную новь художник пишет с увлечением. Ему по душе широта проспектов, размах градостроительства в новых районах Москвы и простор, свойственный, как он говорит, душе, натуре русского человека. Обращается Самойлов и к жанру — например, запомнилась его работа «В книжном магазине».

Константин Иванович мечтает создать серию работ, рассказывающих о зеленой зоне столицы. Замысел этот имеет свое название: «Остановки Москвы»... Сделана уже часть задуманного: «В Абрамцево», «В Тропарево», несколько полотен о Мытищах, в том числе зимний пейзаж с двумя фигурами — бабушки и внука, вышедших в предвечерье на прогулку. Что касается самой Москвы, здесь акварелист не знает предела своим планам. В самое последнее время появились две новые работы, изображающие современный центр: вид на площадь Маркса, застройка нового квартала на Калининском проспекте. А вот еще несколько новых работ художника: «У Малого театра», «Сквер у старого Арбата», «Дом на Кировской», «Музей Революции СССР», «В зоологическом музее»...

Первая выставка стала поворотом в судьбе К. И. Самойлова: он был рекомендован в члены Союза художников.

Пожелаем же успехов Константину Ивановичу Самойлову, кочегару котельной одного из мытищинских ЖЭКов, — ставшему профессиональным художником.

Работы В. Игловикова и К. Самойлова — на вклейке журнала.

**И. ОБОДОВСКАЯ,
М. ДЕМЕНТЬЕВ**

СЕСТРЫ ГОНЧАРОВЫ И ИХ ПИСЬМА

**ПО НЕИЗВЕСТНЫМ
ЭПИСТОЛЯРНЫМ МАТЕРИАЛАМ**

История семьи Гончаровых тесно связана со старинным городом Калугой. Еще в конце XVII в. в числе калужских посадских людей значились «горшешники» Гончаровы, торговавшие гончарными изделиями; отсюда, по-видимому, происходит и их фамилия.

Потомок этих горшешников, Афанасий Абрамович Гончаров, с молодых лет проявивший незаурядную энергию в коммерческих делах, нажил огромное состояние. Недалеко от Калуги он имел полотняный завод и бумажную фабрику. Петр I, создававший в те времена русский флот, широко покровительствовал Гончарову, вел с ним переписку, присылал ему мастеров из-за границы. Парусное полотно гончаровских фабрик имело большой спрос не только на родине, но и за рубежом; бумага его считалась лучшей в России.

К концу своей жизни Афанасий Гончаров владел многими фабриками, заводами и поместьями стоимостью в несколько миллионов рублей. «Полотняный Завод» под Калугой он превратил в майорат, т. е. владение, которое не могло быть ни продано, ни заложено и во главе которого должен был стоять старший в роде; ему надлежало распределять доходы среди остальных членов семьи.

Внуку Афанасия Абрамовича, Афанасию Николаевичу, Екатерина II пожаловала дворянство. Но Афанасий Гончаров — внук, несомненно названный в честь деда, но никак на него не походивший, вел разгульную жизнь и за несколько десятков лет своего «хозяйничанья» сумел прожить почти все состояние. При нем «Полотняный Завод» становится роскошным местопребыванием новоиспеченного дворянина. Разбивается огромный парк, дом богато отделяется внутри. Бесконечные пиры и празднества следуют один за другим. Все доходы с предприятий проживаются, имения продаются и закладываются. Однако предусмотрительность деда помешала ему спустить и «Полотняный Завод». После смерти Афанасия Николаевича его потомкам досталось «в наследство» полтора миллиона долгу...

Единственный сын Афанасия Николаевича и его жены Надежды Платоновны — Николай Афанасьевич получил по тем временам прекрасное образование. Красавец собою, он обладал незаурядными способностями: писал стихи, превосходно играл на скрипке и виолончели. Унаследовал он от прадеда и его энергию и деловитость.

В 1804 году Николай Афанасьевич поступил в Петербурге на службу в Коллегию иностранных дел, а в 1807 году женился на Наталье Ивановне Загряжской, славившейся

Публикуемые письма найдены авторами в архиве Гончаровых в Центральном Государственном архиве древних актов. Они адресованы старшему брату Д. Н. Гончарову. Ответные его письма пока не обнаружены. Все приводимые в статье письма и выдержки из писем Е. Н., А. Н. и Н. И. Гончаровых публикуются впервые (ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, ед. хр. 3252), за исключением случаев особо оговариваемых. Письма в подлиннике на французском языке. Перевод И. М. Ободовской. Слова и фразы, данные курсивом, — в подлиннике по-русски. Орфография сохранена.

ся своей красотой в петербургском высшем свете. Но вскоре он перевелся на службу в Москву. Вероятно, это было вызвано необходимостью быть поближе к «Полотняному Заводу». К тому времени давно начавшийся разлад между родителями достиг своей решающей фазы. Надежда Платоновна, долго пытавшаяся сдерживать сумасбродства своего супруга, в конце концов не выдержала, рассталась с ним и поселилась в Москве.

После разрыва с женой Афанасий Николаевич уехал надолго за границу, оставив сыну доверенность на управление всеми предприятиями. Молодой и энергичный Николай Афанасьевич сумел за несколько лет значительно поправить расстроенные отцом дела. Но тут грянула война 1812 года, и старик Гончаров поспешно вернулся на родину. Вскоре он отстранил от управления заводами своего сына с тем, чтобы бесконтрольно прожирать остатки своего состояния.

В 1814 году у Николая Афанасьевича начали проявляться первые признаки душевной болезни, не оставившей его потом уже до конца жизни. К тому времени в семье молодых Гончаровых было шестеро детей: три сына — Дмитрий, Иван и Сергей, и три дочери — Екатерина, Александра и Наталья. Младшей из них суждено было впоследствии стать женой великого русского поэта А. С. Пушкина.

Наталье Ивановне в 1814 году было всего 29 лет. На плечи молодой женщины легла вся тяжесть забот о большом муже и воспитании детей. Нет сомнения, что горе наложило отпечаток на ее характер: она ожесточилась. Суровая и властная, неуравновешенная и несдержанная — такой рисуется нам она по письмам и воспоминаниям современников. Она получала от Афанасия Николаевича достаточные средства на содержание семьи, но расходовала их безрасчетно. Однако, вероятно по настоянию деда и отца, на воспитание детей денег не жалея.

До сих пор было принято считать, что сестры Гончаровы получили очень скромное домашнее образование. Но изучение их ученических тетрадей, хранящихся в ЦГАДА, и писем дает теперь возможность сказать, что образование сестры получили по тем временам значительно выше среднего уровня. Они подробно изучали историю (русскую и всеобщую), литературу, географию, мифологию и т. д., хорошо владели немецким языком, знали английский. Нечего и говорить о французском языке: письма свидетельствуют об их прекрасном знании этого языка, они пишут на нем свободно, вполне литературно.

Время шло, и дети выросли. Младшая Наталья раньше всех упорхнула из гнезда. Поступили в Петербурге на военную службу братья Иван и Сергей. Окончивший Московский университет старший сын Дмитрий служил в министерстве иностранных дел. Дома остались только Екатерина и Александр.

Александр — 20. По понятиям того времени они были уже «засидевшиеся» в девицах невесты, во всяком случае — старшая. В 1831 году за Александром Николаевым посватался было калужский помещик Александр Юрьевич Поливанов, но в дело вмешалась Наталья Ивановна. Что она имела против Поливанова — неизвестно, но, во всяком случае, именно она расстроила свадьбу.

После отъезда Натальи Николаевны с Пушкиным весной 1831 года в Петербург сестер отправили на лето на «Полотняный Завод», и там они остались надолго, на целых три года...

Трудно понять отношение семьи к этим девушкам. Почему их поселили у деда в деревне? Вероятнее всего предположить, что таково было желание матери. По свидетельствам современников, в эти годы Наталья Ивановна сильно опустилась, стала пить, дочери стеснялись ее. Она переселилась в свое любимое поместье Ярополец¹, где, уединившись в полуразрушенном дворце, жила в свое удовольствие. «...Маменька имеет намерение вернуться в середине августа, — сообщает Екатерина Дмитрию Николаевичу в 1832 году, — но конечно я не очень уверена, что это так будет: как только она очутится в Яропольце, она не может оттуда вырваться, это настоящая пропасть для нее». Изредка Наталья Ивановна наезжала в Москву и на «Полотняный Завод». Отношения ее с дочерьми были далеко не родственными, об этом свидетельствует их переписка.

11 августа 1832 г. Александра Николаевна пишет старшему брату в Петербург:

«Вот настоящий брат!

Скажи пожалуйста от моего имени, дорогой Митинька, господам твоим братьям потому что я не считаю их больше своими братьями, что стыдно забывать если не родственников, то уж по крайней мере своих старых знакомых. Эти молодые люди там веселятся, а что касается нас, они видно говорят бог с ними; чтобы не употреблять более лестное выражение, скажу: черт с ними.

Ну, хватит; прочти им эти строки, и если опять они не произведут впечатления, тогда... я не знаю, что я сделаю, выпрыгну в окно, вот!

Скажи мне, дорогой Митинька, неужели в самом деле ничего не делают для нас? Любезный дедушка предполагает заставить нас провести вторую зиму здесь? Он как нельзя более мил. Уверяет, что у него нет денег; что-ж, это святой дух дает ему их чтобы посылать сюда подарки своей красоте и сопливой Груше: шали, шубы и бог знает что еще, а что касается нас, то когда он истратит 160 рублей, можно подумать, что он разорился.—

Ну, я сегодня что-то очень зла, все время ворчу.— Благодарю тебя, дорогой друг, за выраженные тобою пожелания; тебе следовало бы умолчать о доброте, блеске и свежести, эти качества уже не свойственны нашему возрасту; я совсем старая, удалилась от света и хочу отныне думать только о спа-

Когда Наталья Николаевна вышла замуж за Пушкина, Екатерине было 22 года,

¹ Родовое поместье Загряжских в Волоколамском уезде Московской губернии, доставшееся Н. И. Гончаровой по наследству в 1823 г.

сени души; ах, право, уже пора, достаточно я делала глупостей в юности, и может у меня впереди очень мало времени, чтобы искупить свою вину.

Право, я говорю вздор сегодня. Ты мне пишешь, дорогой друг, что когда я езжу на *Ласточке* я умираю ее галоп; совсем напротив, посмотрел бы ты на нас с моей дорогой сестрицей, когда мы мчимся наперегонки кто скорей сломает шею. Однако, по правде говоря, милая ласточка как только помчитса, так уж трудно ее остановить; и все же мы довольно хорошо выходим из положения.

Как часто вспоминаем мы наши прошлые кавалькады; количество участников уменьшилось наполовину, и притом на самую приятную половину. Как хотела бы я знать свою судьбу: если бы ты мог, дорогой друг, прислать мне по почте какую-нибудь старую колдунью, я была бы тебе очень признательна, потому что если мне предстоит остаться старой девой и быть заживо похороненной здесь, я в конце концов получу такое отвращение к жизни, что тогда лучше умереть.

Прощай, любезный братец, ты меня вероятно примешь за озорницу судя по этой моей болтовне, но, право, я еще не дошла до совершенства. Итак прощай, целую тебя, твой искренний друг и сестра.

А. Г.»

В этом письме обращает на себя внимание намек на какой-то проступок, совершенный Александрой Николаевной в юности. Она еще раз возвращается к этому в письме от января 1837 года, говоря, что лучше совершить несколько сумасбродств в молодости, чтобы избежать их позднее. О какой вине пишет она? Не этим ли объясняется, что сестер заперли на «Заводе», словно опасаясь чего-то? Мы можем только высказывать различные догадки и предположения, но, вероятно, это обстоятельство наложило свой отпечаток на формирование характера Александры Николаевны в дальнейшем.

Письмо это очень ярко рисует нам обстановку, окружавшую девушек на «Заводе». Дед растрчивает последние деньги на любовниц, отказывая в самом необходимом своим внукам. Предоставленные самим себе, «брошенные на волю божию», по выражению Александры Николаевны, сестры ведут скучную, однообразную жизнь в глуши. Их занятиями были вышиванье, чтение книг, музыка и верховая езда.

На «Полотняном Заводе» были конный завод и манеж. Именно здесь сестры научились великолепно ездить верхом и потом, в Петербурге, приводили этим в восхищение великосветское общество. Они, несомненно, много читали. В доме была большая старинная библиотека, которая пополнялась и новыми изданиями. Александра Николаевна много занималась музыкой.

Но годы шли, и, вполне естественно, мысли об уходящей молодости не давали покоя брошенной семьей девушкам. По тем временам для них был единственный выход устроить свою жизнь — замужество. Но в глухой деревне сестры имели мало шансов сделать подходящую партию.

В сентябре 1832 года умер дед Афанасий Николаевич. Старший его внук Дмитрий Николаевич был назначен опекуном над большим отцом и стал во главе гончаровского майората.

Казалось бы, смерть самодура-деда и приход «к власти» Дмитрия Николаевича, судя по письмам сестер хорошо к ним относившегося, должны были изменить их участь. Однако этого не произошло. И в 1833 и в 1834 году они по-прежнему живут на «Заводе».

Сестры, несомненно, жаловались на свою судьбу в письмах к Наталье Николаевне, и их печальное положение на «Заводе», вероятно, обсуждалось в доме Пушкиных. Еще в 1833 году намечалась поездка Натальи Николаевны к сестрам, но после тяжелых родов она долго не могла поправиться, и поездка не состоялась. Предполагалось также, что старшая из сестер — Екатерина приедет в Петербург; об этом мы узнаем из письма Пушкина к жене от 21 октября 1833 года. Однако и это намерение не было осуществлено.

Но в 1834 году Наталья Николаевна с детьми приехала на все лето на «Полотняный Завод». Пушкин остался один в Петербурге. Ему предстояла напряженная работа: он готовил к изданию «Историю Пугачева», работал над архивом Петра I. Кроме того, ему пришлось хлопотать по залогом отцовского имения в Нижегородской губернии. В письмах его к жене за время их четырехмесячной разлуки мы постоянно встречаем сообщения о ходе всех этих дел.

На приезд младшей сестры Екатерина и Александра возлагали большие надежды. Отчаявшись в поддержке со стороны матери и старшего брата, они решили просить помощи у Натальи Николаевны и петербургской тетки Екатерины Ивановны Загряжской, богатой и влиятельной при дворе старой фрейлины.

Пушкин был против переезда сестер к ним в Петербург. Об этом свидетельствуют его письма к жене.

«11 июня 1834 г. Петербург.

...Охота тебе думать о помещении сестер во дворец. Во-первых вероятно откажут; а во-вторых коли и возьмут, то подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому Петербургу. Ты слишком хороша, мой ангел, чтобы пускаться в просительницы... Мой совет тебе и сестрам быть подале от двора; в нем толку мало. Вы же не богаты. На тетку нельзя вам всем навалиться»¹.

Еще откровеннее Пушкин высказывает-ся в другом письме.

«14 июля 1834 г. Петербург.

...Теперь поговорим о деле. Если ты в самом деле вздумала сестер своих сюда привезти, то у Оливье² оставаться нам невозможно: места нет. Но обеих ли ты сестер к себе берешь? эй, женка! смотри... Мое мнение: семья должна быть одна, под одной

¹ Здесь и далее письма и выдержки из писем А. С. Пушкина приводятся из полного собрания сочинений изд. Академия наук СССР 1937—1949 гг. в XVI томах.

² Домовладелец, у которого Пушкины снимали квартиру.

кровлей: муж, жена, дети покамест малы; родители, когда уже престарелы. А то хлопот не наберешься, и семейственного спокойствия не будет. Впрочем об этом еще поговорим».

В конце августа 1834 года и Пушкин приехал на «Полотняный Завод», где пробыл две недели. Вероятно, здесь на семейном совете было решено окончательно, что сестры едут в Петербург. Положение девушек было так печально, а взаимоотношения с матерью так тяжелы, что Пушкины не смогли им отказать.

В первых числах сентября Пушкины и Гончаровы выехали в Москву. 9 сентября Пушкин был еще в Москве, а 13-го мы уже находим его в Болдино¹. Его призывали туда дела по отцовскому имени, но главное — он надеялся там писать. Однако беспокойство за жену (Пушкин волновался, как она доедет, как устроится на новой квартире с сестрами), вероятно, мешало ему работать, и он поспешил вернуться в Петербург.

Из Москвы Наталья Николаевна ездила ненадолго в Ярополец.

Наталья Ивановна была против переезда сестер в Петербург. Этим можно объяснить, что Екатерина и Александра не поехали в Ярополец проститься с матерью. Наталья Ивановна была очень недовольна и высказала это Пушкину. «...Она ему наговорила бог знает что о нас», — писала 16 октября Екатерина Николаевна брату.

25 сентября Наталья Николаевна с детьми и сестры Гончаровы выехали в Петербург. Дата их отъезда устанавливается записями в расходной книге по московскому дому: 24 сентября были куплены разные продукты, 25-го — хлеб в дорогу. После этого числа прекращаются какие-либо расходы на семью Н. Н. Пушкиной и «барышень».

Дмитрий Николаевич проважал сестер до Петербурга. Об этом свидетельствуют его записные книжки, в которых отмечены дорожные расходы. Подтверждается это и одним из писем Натальи Ивановны.

Надо полагать, 29 или 30 сентября Екатерина Николаевна и Александра Николаевна приехали в столицу, полные самых радужных надежд. Так началась совместная жизнь Пушкиных и Гончаровых.

Они поселились в новой квартире, снятой Пушкиным в доме Баташева на Гагаринской набережной.

Приведем письмо Екатерины Николаевны, очевидно, первое, посланное брату после приезда в Петербург.

«Петербург. 16 октября 1834 г.

Повинную голову не секут, не рубят, и так надеюсь на великодушное прощенье от всепочтеннейшего братца. Ах, лень прекрасная вещь, не правда ли? Вообрази, что уже более недели мы собираемся писать тебе и откладываем со дня на день; но сегодня я призвала на помощь все свое величайшее мужество и отправлю всю корреспонденцию, так как, честное слово, когда я за это принимаюсь, все идет прекрасно.

Что же я тебе расскажу? Надо ли начать с самой большой городской новости? Пусть будет так. Итак, я должна сказать, что в ночь с 14 на 15 нас имели нахальство разбудить среди самых покойных и сладостных снов пушечными выстрелами, чтобы заставить нас разделить радость по поводу счастливого разрешения от бремени великой княгини¹, которая произвела на свет еще одно бесполезное украшение гостиных, я подразумеваю дочь Анну; вероятно это чрезвычайно обрадовало великого князя². А теперь надо тебе сказать, что из всех твоих любезных сестриц наименее ленивая твоя нижайшая и покорнейшая слуга; поэтому мадам Пушкина, которая шлет тебе тысячу и один поцелуй, возложила на меня передать тебе следующие поручения:

1) написать Андрееву³ выслать нам как можно скорее ящик с нашими бальными платьями, оставшийся в московском доме, который мы поручили ему отправить; 2) прислать нам варенья, которое вероятно пошлют из Ильницына⁴ клубника или земляника, спроси у Фифины⁵; 3) прислать нам к новому году коляску, перекрасив ее в очень темный массака с черной бронзой и обив малиновым шелком; 4) вышеупомянутая мадам Пушкина просит тебя быть снисходительным и оплатить либречю, потому что твои бедные сестрички не смогут этого сделать, так как у них денег в обрез до января. Шутки в сторону, мы немного поистратились и у нас остается очень мало денег, мы их бережем на какие-нибудь непредвиденные расходы. Видишь ли, мы очень экономны и тяжело вздыхаем, расставаясь с каждой копеей; и если ты соблаговолишь разрешить, дражайший предмет нашей любви, то Таша⁶ тебе пошлет счет. А теперь вот мадемуазель Александрина⁷ пришла меня просить тебя поцеловать и передать, что она тебе напишет с первой почтой, или со второй, или третьей, то-есть когда у нее будет что-нибудь очень интересное тебе сообщить. Господин Жан⁸ уверяет, что у него лежит начатое к тебе письмо, и что он отошлет его с первой почтой, но между нами говоря я думаю, что он врет; сейчас он занят тем, что бречит на фортепьяно. Он почти все время у нас и ездит в Царское⁹ только когда за ним присылают, и тотчас же возвращается когда освободится. Пушкин приехал позавчера в 10 часов утра, он нам сообщил все новости о вас; он был у матери, она ему наговорила бог знает что о нас, и вдобавок утверждает, что это мы подговорили Ташу, чтобы она не возила к ней своего сына когда Таша последний раз

¹ Великая княгиня — жена Михаила Павловича.

² Великий князь — Михаил Павлович, брат Николая I.

³ Андреев — доверенное лицо Д. Н. Гончарова в Москве.

⁴ Ильницыно — одно из поместий Гончаровых.

⁵ Федосья — экономка Гончаровых на «Полотняном Заводе».

⁶ Пушкина Наталья Николаевна.

⁷ Гончарова Александра Николаевна.

⁸ Гончаров Иван Николаевич.

⁹ Царское Село — летняя резиденция императорской фамилии под Петербургом (теперь г. Пушкин). В Царском Селе стоял гусарский полк, в котором служил в чине поручика И. Н. Гончаров.

¹ Болдино — родовое поместье Пушкиных в Нижегородской губернии.

заезжала к матери; мы так и знали, что это будет еще одна вина, которую она нам припишет. Мы были два раза во французском театре и один раз в немецком, на вечере у *Натали Кирилловны*¹, где мы ужасно скучали, и на рауте у графини Фикельмон², где нас представили некоторым особам из общества, а несколько молодых людей просили быть представленными нам, следственно мы надеемся, что это будут кавалеры для первого бала. Мы делаем множество визитов, что нас не очень то забавляет, а *на нас смотрят как на белых медведей* — что это за сестры мадам Пушкиной, так как именно так графиня Фикельмон представила нас на своем рауте некоторым дамам. Тетушка³ очень добра к нам и уже подарила каждой из нас по два вечерних платья и еще нам подарит два; она говорит, что определила известную сумму для нас. Это очень любезно с ее стороны, конечно, так как право если бы она не пришла нам на помощь, нам было бы невозможно растянуть наши деньги на сколько нужно. Прощай, целую тебя от души, и сестры так же. Дети здоровы, Таша снова взяла прежнюю няньку.

В письме обращает на себя внимание сообщение о возвращении Пушкина в Петербург, оно позволяет точно установить эту дату: 14 октября. По дороге он заезжал к Наталье Ивановне в Ярополец. В письме к жене, отправленном в конце сентября из Болдина, поэт писал, что предполагает на обратном пути пробывать у тещи, но заезжал ли он к ней — до сих пор не было известно. Теперь можно считать установленным, что Пушкин был в Яропольце в первой половине октября 1834 года, по-видимому, 9 или 10 октября. Это новые данные к летописи жизни Пушкина.

Поэт пробыл в Яропольце только один день. Наталья Ивановна сообщила Дмитрию Николаевичу 23 октября того же года: «...Я еще не писала тебе о приезде Пушкина ко мне, потому что он приехал уже после моего последнего письма, посланного тебе. Он пробыл у меня один день, я ему очень обязана за внимание».

Цель поездки Пушкина нам неизвестна. Очевидно, она была вызвана какими-то деловыми и семейными соображениями; вероятно всего предположить, что это было связано с переездом сестер Гончаровых в Петербург.

В этом же письме новым и очень интересным является сообщение Натальи Ивановны о ее визите вместе с Пушкиным к соседям по Яропольцу — Чернышевым⁴. Об

¹ Загряжская Наталья Кирилловна (1747—1837) — тетка Н. И. Гончаровой.

² Фикельмон Дарья Федоровна (1804—1863) — жена австрийского посла в Петербурге. Внучка фельдмаршала Кутузова; дочь Е. М. Хитрово.

³ Загряжская Екатерина Ивановна (1779—1842) — сестра Н. И. Гончаровой. С 1808 г. фрейлиня императорского двора.

⁴ Имение Чернышевых, также называвшееся Ярополец, находилось всего в полукилометре от усадьбы Н. И. Гончаровой. Единственный сын Чернышевых — Захар Григорьевич — был участником декабрьского восстания 1825 года. Одна из дочерей — Александра Григорьевна — была замужем за Никитой Муравьевым. Захар Чернышев и Никита Муравьев были осуждены на каторжные работы. Как известно, А. Г. Муравьева последовала за мужем в Сибирь.

этом также мы узнаем впервые. В те годы Дмитрий Николаевич настойчиво сватался к младшей дочери Чернышевых Надежде. На первое свое предложение он получил отказ, но это его не обескуражило, и он продолжал добиваться руки прекрасной графини, возможно, не без расчета на солидное приданое.

Наталья Ивановна пишет:

«...При проезде Пушкина через Ярополец, мы с ним вместе были у Чернышевых, всё с тем же добрым намерением продвигать твое дело, но не решились ничего сказать по этому поводу».

По-видимому, Наталья Ивановна надеялась, что родство Гончаровых с прославленным поэтом повлияет на решение «молодой особы».

С переездом Екатерины и Александры в Петербург общение семей Пушкиных и Гончаровых несомненно стало более тесным. Братья Иван и Сергей, служившие под Петербургом, часто гостили у сестер. Письма Гончаровых говорят о том, что Пушкин принимал участие в деловых хлопотах Дмитрия Николаевича, который постоянно вел нескончаемые судебные процессы, помогал ему через своих влиятельных друзей.

Старая фрейлина Екатерина Ивановна Загряжская, родная сестра Натальи Ивановны, покровительствовала всем трем сестрам. В семье Пушкиных Загряжская играла заметную роль. Она часто бывала у них, помогала своим племянницам материально. Екатерина Ивановна, не имея своей семьи, была очень привязана к Наталье Николаевне, считала ее как бы своей дочерью. Видимо, хорошо относилась она также к Екатерине и Александре. Пушкина она любила; о ее добром к нему отношении он неоднократно упоминает в письмах к жене. В свою очередь и поэт платил ей привязанностью и уважением.

Первые шаги сестер в столице не были радостными. Великосветское общество встретило их несомненно очень сдержанно. Провинциальные девушки были там действительно «белыми медведями», как пишет Екатерина Николаевна. Их принимали только ради их сестры, мадам Пушкиной. И хотя Александра Николаевна и пишет брату в конце ноября 1834 года: «Мне кажется, нас не так уж плохо принимают в свете», — это не совсем верно.

Несмотря на советы Пушкина быть подалше от двора, тетушка Загряжская, которая, вероятно, начала хлопотать задолго до приезда сестер, добилась пожалования старшей племянницы фрейлиной к императрице. Назначение состоялось очень быстро, 6 декабря. К этому числу — дню именин Николая I — обычно приурочивались разные награждения и назначения. Екатерина Николаевна пишет брату:

«8 декабря 1834.

Разрешите мне, сударь и любезный брат, поздравить вас с новой фрейлиной, мадемуазель Катрин де Гончаров; ваша очаровательная сестра получила шифр¹ 6-го после обедни, которую она слушала на

¹ Шифр — вензель императрицы, который фрейлины прикалывали к придворному платью.

хорах придворной церкви, куда ходила чтобы иметь возможность полюбоваться прекрасной мадам Пушкиной, которая в своем придворном платье была великолепно, ослепительной красоты. Невозможно встретить кого-либо прекраснее, чем эта любезная дама, которая, я полагаю, и вам не совсем чужая. Итак, 6-го вечером, как раз во время бала, я была представлена их величествам в кабинете императрицы. Они были со мной как нельзя более доброжелательны, а я так оробела, что нашла церемонию представления довольно длинной из-за множества вопросов, которыми меня засыпали с самой большой доброжелательностью. Несколько минут спустя после того, как вошла императрица, пришел император. Он взял меня за руку и наговорил мне много самых лестных слов, и в конце концов сказал, что каждый раз, когда я буду в каком-нибудь затруднении в свете, мне стоит только поднять глаза, чтобы увидеть дружественное лицо, которое мне прежде всего улыбнется, и увидит меня всегда с удовольствием. Я полагаю, что это любезно, поэтому я была право очень смущена благосклонностью их величеств. Как только император и императрица вышли из кабинета, статс-дама¹ велела мне следовать за ней, чтобы присоединиться к другим фрейлинам, и вот в свите их величеств я появилась на балу. Бал был в высшей степени блистательным и я вернулась очень усталая, а прекрасная Натали была совершенно измучена², хотя и танцевала всего два французских танца. Но надо тебе сказать, что она очень послушна и очень благоразумна, потому что танцы ей запрещены. Она танцевала полонез с императором; он, как всегда, был очень любезен с ней, хотя и немного вымыл ей голову из-за мужа, который сказался больным, чтобы не надевать мундира. Император ей сказал, что он прекрасно понимает, в чем состоит его болезнь, и так как он в восхищении от того, что она с ними, тем более стыдно Пушкину не хотеть быть их гостем; впрочем красота мадам послужила громоотводом и пронесла грозу.

Теперь, когда мое дело начато, я должна узнать, куда и когда я должна переезжать во дворец, потому что мадам Загряжская³ просила, чтобы меня определили к императрице. Тетушка Екатерина дежурит сегодня, она хотела спросить у ее величества, какие у нее будут приказания в отношении меня. Я полагаю, что я уже достаточно распространялась о моей очаровательной особе и тебе надоел этот предмет.

Мы уже были на нескольких балах, и я признаюсь тебе, что Петербург начинает мне ужасно нравиться, я так счастлива, так спокойна, никогда я и не мечтала о таком счастье, поэтому я, право, не знаю, как я смогу когда-нибудь отблагодарить Ташу и ее мужа за все, что они делают для нас, один бог может их вознаградить за хорошее отношение к нам.

Тетушка так добра, что дарит мне придворное платье. Это для меня экономия в 1500—2000 рублей. Умоляю тебя не запаз-

дывать с деньгами, чтобы мы получили их к 1 января.

Пришли для детей *большую бутылку розовый воды*, а нам поскорее варенье».

Более чем благосклонный прием, оказанный императорской четой незнатной и бедной Гончаровой, вызывает удивление. Хотели ли они этим доставить удовольствие старой фрейлине Загряжской или первой красавице двора — Н. Н. Пушкиной, сказать трудно. Во всяком случае, салонные любезности императора выходят, как нам кажется, за рамки официального приема новой фрейлины. О том, какую роль играли многие фрейлины при дворе, — хорошо известно. Не потому ли, возможно под влиянием Пушкина, Екатерина Николаевна не поселилась во дворце, как предполагалось?

Но более всего обращает на себя внимание в этом письме разговор Николая I с Натальей Николаевной.

Пушкин избегал придворных балов, на которые он был вынужден являться в камер-юнкерском, столь ненавистном ему мундире. Накануне бала, 5 декабря 1834 года, поэт делает запись в своем дневнике:

«Завтра надобно будет явиться во дворец — у меня еще нет мундира. — Ни за что не поеду представляться с моими товарищами — камер-юнкерами — молокососами 18-летними. Царь рассердится — да что мне делать?»¹

6 декабря всегда торжественно праздновалось во дворце. Император был взбешен умышленной неявкой Пушкина и не постеснялся выговорить это Наталье Николаевне во время танца. Надо думать, Екатерина Николаевна написала брату об этом разговоре в смягченных тонах...

Через несколько дней Пушкин записывает в дневнике:

«Я все-таки не был 6-го во дворце — и рапортовался больным. За мною царь хотел прислать фельд-егеря или Арендта»².

Вероятно, это та часть разговора Николая I с Натальей Николаевной, о которой умолчала в письме к брату Екатерина. До сих пор не было известно, откуда Пушкин узнал о таком намерении царя; теперь можно предположить, что об этом рассказала ему жена.

Сестры возлагали большие надежды на назначение Екатерины фрейлиной, но эти ожидания не оправдались: их положение в великосветском обществе не улучшилось.

«Праздники у нас проходят довольно тихо, балов в этом году не так уж много», — пишет Екатерина Дмитрию Николаевичу. Сестры часто бывают в театрах, однако на балы их еще приглашают мало, но им, по видимому, не хочется говорить об этом брату.

«Нет ничего ужаснее, чем первая зима в Петербурге... потому что годы испытаний здесь длятся не одну зиму», — пишет Екатерина Николаевна, вспоминая осень 1835 года их первые шаги в столице.

¹ Дневник А. С. Пушкина (1833—1835 гг.). М.—П., Госиздат, 1923, стр. 62.

² Арендт — лейб-медик императора. Дневник, стр. 63.

¹ Дама из свиты императрицы.

² Н. Н. Пушкина была в это время беременна.

³ Н. К. Загряжская.

Жизнь сестер в Петербурге была несомненно полной противоположностью их жизни на «Заводе». Пушкины тепло относились к ним, и девушки отвечали им искренней признательностью.

«...Я простудилась и схватила лихорадку,— пишет Александра Николаевна брату 28 ноября 1834 года,— которая заставила меня пережить очень неприятные минуты, так как я была уверена, что все это кончится горячкой. Но, слава богу, все обошлось, мне только пришлось пролежать четыре или пять дней в постели и пропустить один бал и два спектакля, а это тоже не безделица. У меня были такие хорошие сиделки, что мне просто было невозможно умереть. В самом деле, как вспомнишь о том, как за нами ходили дома, постоянные нравоучительные наставления, которые нам читали когда нам случалось захворать, и как сама болезнь считалась божьим наказанием, я не могу не быть благодарной за то, как за мной ухаживали сестры и за заботы Пушкина. Мне, право, было совестно, я даже плакала от счастья, видя такое участие ко мне; я тем более оценила его, что не привыкла к этому дома».

В письме от 8 декабря 1834 года Екатерина Николаевна пишет:

«Я так счастлива, так спокойна, никогда я и не мечтала о таком счастье, поэтому я право не знаю как я смогу когда-нибудь отблагодарить Ташу и ее мужа за все что они делают для нас, один бог может их вознаграждать за хорошее отношение к нам».

Однако Пушкин был прав, когда говорил жене, что с приездом своячениц «семейственного спокойствия не будет». Родители Пушкина писали дочери О. С. Павлицевой 7 ноября 1834 года:

«...Наконец мы получили известие от Александра. Наташа опять беременна. Ее сестры вместе с нею и снимают прекрасный дом пополам с ними. Он говорит, что это устраивает его в отношении расходов, но несколько стесняет, так как он не любит отступать от своих привычек хозяина дома»¹.

Присутствие сестер несомненно осложнило семейную жизнь Пушкиных. В 1835 году у них было уже трое детей. К сестрам, а по существу в дом Пушкина, постоянно приезжали братья Иван и Сергей; визиты дам и девиц, знакомых Гончаровых,— все это лишало поэта необходимого покоя для литературной работы.

Между тем, росла семья, росли расходы, увеличивались долги. Материальное положение Пушкиных было очень тяжелым.

Наталя Николаевна, горячо любившая сестер, старалась устроить их судьбу — выдать их замуж. И те упреки в ее пристрастии к светским развлечениям, которыми ее осыпали и современники, и некоторые исследователи более поздних лет, вряд ли справедливы. Судя по письмам сестер Гончаровых, она часто вывозила их на балы, потому что им не с кем было выезжать, и иногда, возможно, в ущерб своему здоровью.

¹ «Литературное наследство», т. XVI—XVIII, стр. 790. «Пушкин в переписке родственников». Публикация В. Враской. В дальнейшем сокращено: Литературное наследство.

В письме от 1 ноября 1835 года Екатерина Николаевна жалуется брату:

«У нас в Петербурге предстоит блистательная зима, больше балов, чем когда-либо, все дни недели уже распределены, танцуют каждый день. Что касается нас, то мы выезжаем еще очень мало, так как наша покровительница Таша находится в самом жалком состоянии и мы не знаем, как со всем этим быть, авось как-нибудь сладится»¹.

В это время Наталя Николаевна была снова беременна; очевидно, первая половина беременности протекала тяжело и она не могла выезжать.

4 декабря 1835 года Екатерина Николаевна сообщает об этом гувернантке Нине, с которой сестры Гончаровы были очень дружны.

«...Надо тебе сообщить и некоторые наши новости. Прежде всего о самой большой и самой плохой: Таша уже три месяца как в положении. *Бедная, только что освободится и опять за то же принимается*»².

Письма сестер Гончаровых пестрят просьбами о деньгах. Назначенного им Дмитрием Николаевичем содержания не хватало, а главное — он высылал деньги очень неаккуратно, с большим запозданием; приходилось заниматься направо и налево. Сестры получали по 4 500 рублей в год. По тем временам это не много. На эти деньги они содержали прислугу, лошадей, вносили свою долю расходов за стол и квартиру, делали себе туалеты. А туалеты стоили дорого. Богатая тетюшка Загряжская много делала для своих племянниц; так, она подарила Екатерине Николаевне придворное платье, а оно стоило немалую сумму, около двух тысяч рублей.

Трудно понять, на что рассчитывали девушки Гончаровы, переезжая в Петербург. И здесь был прав Пушкин, говоря, что Наталя Николаевна не удастся выдать сестер замуж.

«...Ты пишешь мне, что думаешь выдать Катерину Николаевну за Хлюстина³, а Александру Николаевну за Убри⁴; ничему не бывать; оба влюблены в тебя; ты мешаешь сестрам, потому надобно быть твоим мужем, чтобы ухаживать за другими в твоём присутствии, моя красавица,— писал Пушкин Наталя Николаевне на «Полотняный Завод» летом 1834 г.

Мнения современников о внешности сестер противоречивы.

«Кто смотрит на посредственную живопись, если рядом Мадонна Рафаэля», — пишет о Екатерине Николаевне и Наталя Николаевна С. Н. Карамзина⁵. Но в другом письме она все же вынуждена признать: «...среди гостей были Пушкин с женой и Гончаровыми (все три ослепительные изя-

¹ М. Яшин. Пушкин и Гончаровы. Журнал «Звезда», 1964, № 8, стр. 180. Здесь в переводе И. М. Оболюсовой.

² Там же.

³ Хлюстин С. С. — сосед Гончаровых по «Полотняному Заводу».

⁴ Убри — знакомый Гончаровых по Калуге

⁵ Карамзина С. Н. — дочь историкографа Н. М. Карамзина.

ществом, красотой и невообразимыми талантами)»¹.

«Они красивы, эти невестки, но ничто в сравнении с Наташей»,— говорит сестра Пушкина, О. С. Павлицева².

Екатерина и Александра были похожи на младшую сестру, но меркли рядом с ее необыкновенной красотой. Но, вероятно, причиной неуспеха девушек являлась все же не внешность, а бедность: обе были бесприданницами. Их стремление во что бы то ни стало выйти замуж вполне естественно и понятно. Приятель Пушкина, сосед по Михайловскому, А. Н. Вульф писал о своей сестре Анне Николаевне:

«Жалобы ее на жизнь, которую она ведет, справедливы: положение девушек ее лег точно неприятно; существование ее ей кажется бесполезным,— она права. К несчастью, девушки у нас так воспитаны, что если они не выйдут замуж, то не знают они что из себя делать. Тягостно мыслящему существу прозябать бесполезно, без цели»³. Эти слова можно полностью отнести и к сестрам Гончаровым.

Весною 1835 года Наталья Николаевна родила сына Григория. Об этом сообщает брату Екатерина Николаевна.

«15 мая 1835 г.

Спешу сообщить тебе, дорогой Дмитрий, о благополучном разрешении от бремени Таши: это произошло вчера в 6 часов 37 минут вечера. Она очень страдала, но, слава богу, все прошло благополучно и сейчас она чувствует себя хорошо, насколько это позволяет ей ее состояние. Все ждут тебя на крестины, и Таша просит тебя назначить число когда ты будешь здесь, так как она тогда даст соответствующие распоряжения. Твой будущий крестник — красивый мальчик, названный Григорием. Пушкин, который 8 дней пробыл в Пскове, вернулся сегодня утром. Ради бога, не заставляй себя долго ждать, приезжай поскорее и напиши которого числа ты надеешься приехать. Пожалуйста, дорогой брат, пришли нам поскорее коляску. Таша умоляет тебя отправить ее из Москвы как только ты получишь это письмо, это бесчестно с твоей стороны, не сдерживать слова, ты нам ее обещал еще к пасхе, потом к 1 мая, а вот уже 15-ое, и я уверена, что ты даже и не подумал ее отправить. Прошу тебя постарайся привезти шаль, которую ты обещал Таше обменять на ее шаль; теперь она ей крайне нужна после родов, и я знаю, что это доставит ей большое удовольствие.

Ради бога, дорогой братец, приезжай скорее и особенно исполни точно мои поручения. Целую Ваничку от всего сердца и поздравляю его с днем рождения. Прощай, нежно целую тебя».

В этом письме Екатерина Николаевна сообщает о приезде и отъезде Пушкина. Это — дополнительные данные к летописи жизни Пушкина.

Отметим также, что Наталья Николаевна просит брата сообщить ей день его приезда, чтобы дать необходимые распоряжения. До сих пор во многих пушкиноведческих работах говорилось о том, что хозяйством в доме Пушкиных ведала Александра Николаевна. Ни в одном из писем сестер нет и намека на эту ее роль, тогда как в письмах Натальи Николаевны мы неоднократно встречаем свидетельства тому, что именно она распорядилась всем в доме. Еще раз это подтверждается и этим письмом.

Наступило лето 1835 года. Наталья Николаевна долго не могла оправиться после тяжелых родов. Пушкин снял дачу на Черной речке, недалеко от Петербурга.

Казалось бы, ради экономии сестрам следовало уехать на все лето на «Завод», куда их звал Дмитрий Николаевич. Но они едут на дачу вместе с Пушкиными. Александра Николаевна пишет:

(Петербург. Июнь 1835 г.)¹

«Дражайший и уважаемый братец!

Посылаю вам условие, заключенное вашим превосходительством, чтобы напомнить об обещании вами нам данным насчет лошадей, а также и посла², которому поручено их доставить. Ради бога не задерживай его и особенно чтобы его путешествие не было напрасным. Я полагаю, что он не застанет тебя на Заводе, тем не менее я посылаю тебе это письмо на случай, если он встретит тебя в дороге, чтобы ты дал ему письмо к твоим главным министрам, а они отправили с лошадьми и три дамских седла, муштуки, чепраки и проч. также и деньги на проезд. Таша велела сказать, что если вы ей не купили еще лошади, то не отделаетесь без Матильды³. Нет, не шутя, непременно обещание свое исполните. Прикажи непременно чтобы Трофима на Заводе не задерживали, пусть ему дадут два дня отдыха, это все что он просит, так как лето уже наступило; он сможет остаться подольше, когда вернется. Мы переезжаем на Черную речку, следственно лошади необходимы. Еще раз повторяю тебе от имени трех очаровательных сестер, ради бога не отказывайте нам и велите Трофима отправить с лошадьми без себя. Надеемся на ваше честное слово. Еще два мужских седла, одно для Пушкина, а другое похуже для Трофима.

(Четыре дня спустя. То, что будет дальше, это уже ответ на твое письмо, а начало было написано раньше).

Таша тебя очень благодарит за подарок и просит употребить 500 рублей на шаль, которую она тебя умоляет прислать ей как можно скорее. Спасибо, дорогой братец, за 500 рублей, которые мы только что получили, пожалуйста не задержи прислать нам остальные деньги; да если можно устройте нас с Носовым⁴ ради бога чтоб нам аккуратно 1 числа получать деньги; не поверите

¹ Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 гг. ИРЛИ, изд. АН СССР. М.—Л., 1960, стр. 108, 139. В дальнейшем сокращенно: Карамзины.

² Литературное наследство, стр. 794.

³ «Пушкин и его современники», вып. XXI—XXII. Петроград, 1915, стр. 312.

¹ Здесь и далее даты, взятые в скобки, определены нами.—И. О. и М. Д.

² Трофим — бейрейтор Гончаровых.

³ Верхояная лошадь Н. Н. Пушкиной.

⁴ Носов П. И.—комиссионер Д. Н. Гончарова в Петербурге. Выплачивал по распоряжению Д. Н. содержание сестрам и братьям Гончаровым.

как мы бьемся. Я понимаю, что тебе в твоём положении трудно в точный срок выплачивать нам содержание, но раз уж ты назначил деньги Носова для нас, тебе все равно, получим ли мы их 1-го или позднее, а для нас большая разница. *Пожалуйста, братец любезный, успокойте нас на этот счет; не сердитесь, что мы вам так надоедаем, нас самих теребют со всех сторон.* Твое письмо Мятлеву¹ было послано; но его нет в городе, он уехал за границу, так что нам его принесли обратно без результата. *Прощайте, Митинька не задержите нам Трофима и поскорее отправьте.*

Пушкин ради Христа просит, нет ли для него какой-нибудь клячи, он не претендует на что-либо хорошее; лишь бы пристойная была; как приятель он надеется на вас. Даже если лошади придут к нам к концу июля ничего, это будет самое хорошее время, жары будет меньше; мы все надеемся на вас.

Вообрази, какую штуку сыграла с нами мать. Эта несчастная шляпка, которую мы для нее заказали, помнишь?, так вот, она нашла ее слишком светлой и вернула нам с запиской к Таше, полной ярости. Но мы ничего не потеряли, так как Тетушка у нас ее купила; так что мать и не подозревает, что она еще оказала нам услугу. Но какое соотношение. Коляска прибыла благополучно и мы тебе за нее бесконечно благодарны; мы уже в ней катались, и хотя Тетушка находит ее отвратительной из-за рессор, мы к этому привыкли, так что все идет хорошо».

Как мы упоминали выше, на «Полотняном Заводе» был конный завод. У сестер были свои верховые лошади, которые вместе с берейтором Трофимом летом 1835 и 1836 годов посылались в Петербург. Из этого письма мы узнаем, что Пушкин просил Дмитрия Николаевича выслать лошадь и для него. Верховые прогулки были любимым развлечением поэта в Михайловском; вероятно, и на даче он много ездил, и один, и с женой и свояченицами. История со шляпкой для Натальи Ивановны отразилась и в письме Пушкина к теще, в котором он ее извещает о рождении внука.

«16 мая 1835 г. Петербург.

Имею счастье поздравить Вас со внуком Григорьем, и поручить его Вашему благорасположению. Наталья Николаевна родила его благополучно, но мучилась долее обыкновенного — и теперь не совсем в хорошем положении — хотя слава богу, опасности нет никакой. ...Вчера получен от Вас ящик с шляпою и с запискою, которую я жене не показал, чтоб ее не огорчить в ее положении. Кажется, она не удовлетворительно исполнила вашу комиссию, а по записке она могла бы заключить, что Вы на нее прогневались».

Наталья Ивановна, со свойственным ей эгоизмом, отправляя «полную ярости» записку Наталье Николаевне, не подумала о

том, что она может расстроить дочь. Пушкин деликатно указывает ей на это.

Итак, Пушкины и Гончаровы поселились на лето на даче под Петербургом. Недалеко от Черной речки, в Новой деревне, существовал тогда Завод искусственных минеральных вод. Для привлечения публики предприниматели построили там танцевальную площадку и курзал, где давались концерты. Сестры несомненно там бывали. Однако их письма этого периода полны тоски и разочарования: никто за ними не ухаживает. «...Пора, пора, а пора прошла, того и гляди поседеешь», — с грустью делится с братом своими мыслями Александра Николаевна. В иронических тонах пишет о своем времяпрепровождении на даче и Екатерина Николаевна.

Вот выдержки из ее письма этого периода.

«С. Петербург. 22 июля 1835 г.

По приезде Тропа¹, дорогой Дмитрий, ты легко можешь себе представить наше разочарование и наш священный гнев, не видя наших прекрасных скакунов², но после прочтения твоего письма тебе было даровано великодушное прощение, так как это было не по твоей вине.

...Спасибо за 900 рублей, что ты нам прислал с Тропом, они прибыли очень кстати, мы были совершенно без денег, а количество наших долгов только возросло, что нас приводит в совершенное отчаяние, ты знаешь что это такое более чем кто-либо другой: у тебя самого их выше головы.

Как идут твои дела, будет ли хоть когда-нибудь у тебя просветление, это несносно, я так хотела бы знать, что ты немного успокоился. Признаюсь откровенно, когда мы видим, что наши деньги задерживаются, мы начинаем тебя бранить, но это длится только минуту, так как мы тотчас же начинаем упрекать себя в неблагодарности и в конце концов говорим, что, конечно, если бы ты имел возможность, ты бы не заставлял нас так мучиться. Женись на какой-нибудь приличной и богатой особе, чтобы немного поправить свои дела.

Что еще сказать тебе о нас? Ты уже знаешь, что мы живем это лето на *Черной речке*, где мы очень приятно проводим время, но, конечно, не теперь ты стал бы хвалить меня за мои способности к рукоделию, потому что буквально я и не вспомню, сколько месяцев я не держала иголки в руках. Правда, зато я читаю все книги, какие только могу достать, а если ты меня спросишь, что же я делаю, когда мне нечего делать, я тебе прямо скажу, не краснея (так как я дошла до самой безстыдной лени) — ничего, решительно ничего. Я прогуливаюсь по саду или сижу на балконе и смотрю на прохожих. Хорошо это, как ты скажешь? Что касается до меня, я нахожу это чрезвычайно удобным. У меня множество женихов, каждый божий день мне делают предложения, но я еще так молода, что решительно не вижу необходимости торопиться, я могу еще повременить, не правда ли?

¹ Трофим, берейтор.

² Очевидно, Д. Н. прислал не тех лошадей, на которых обычно ездили сестры.

¹ Мятлев Иван Петрович (1796—1844) — поэт, автор шуточных и юмористических стихотворений. Был знаком с Пушкиным. Из письма Н. Н. Пушкиной от декабря 1834 г. известно, что Д. Н. Гончаров хотел купить у Мятлева мельницу, вероятно, в Калужской губернии

В мои годы рискованно выходить такой молодой замуж, у меня еще будет для этого время и через десять лет. У нас теперь каждую неделю балы на водах в *Новой деревне*. Это очень красиво. В первый раз мне там было очень весело, но вчера я прокляла все балы на свете и все, что с ними связано: за весь вечер я не сделала ни шагу, словом это был один из тех несчастных дней, когда клянeshь себе никогда не приходиться на бал из-за скуки, которую там испытала.

17 числа мы были в Стрельне¹, где мы переделались, чтобы отправиться к Демидову², который давал бал в двух верстах отсюда, в бывшем поместье графини Шаховской. Этот праздник, на который было истрчено 400 тысяч рублей, был самым неудавшимся; все, начиная со двора, там ужасно скучали, кавалеров не хватало, а это совершенно невероятная вещь в Петербурге, и потом, этого бедного Демидова так невероятно ограбили, один ужин стоил 40 тысяч, а был самый плохой, какой только можно себе представить; мороженое стоило 30 тысяч, а старые канделябры, которые тысячу лет валялись у Гамбса³ на чердаке, были куплены за 14 тысяч рублей. В общем, это ужас, что стоил этот праздник и как там было скучно».

По-видимому, в конце августа или в первых числах сентября Пушкины и Гончаровы вернулись в Петербург, а 7 сентября Пушкин уже уехал в Михайловское с намерением провести там три месяца. Однако на этот раз и любимая им осенняя пора не располагала к работе: не было нужного поэту душевного спокойствия. Мысли о семье, о тяжелом материальном положении не давали ему возможности работать. Болезнь матери вскоре вынудила его вернуться в Петербург. В письме от 1 ноября Екатерина Николаевна говорит, что зима для Пушкиных будет не легкой, сетует на легкомыслие Натальи Ивановны, не желающей им помочь, но пишет об этом мимоходом, она гораздо больше заинтересована предстоящей «блистательной зимой».

Зима 1835/36 гг. для сестер, которые уже «занили свое место в свете», по выражению Екатерины Николаевны, была более благоприятной, чем предыдущая: они чувствуют себя увереннее, свободнее. Два-три раза в неделю девушки танцуют на балах, катаются верхом в манеже, часто бывают на вечерах у Вяземских⁴ и Карамзиных — домах, наиболее близких семье Пушкиных. Эти интимные вечера, где собиралась петербургская интеллигенция и велись содержательные беседы о литературе и искусстве, обсуждались интересные события в России и Европе, сестры очень любили посещать, хотя бывавшие там и ухаживавшие за ними мужчины и «не годятся в мужья: либо молоды, либо стары», как пишет Александра Николаевна в начале ноября 1835 года.

По-видимому, в эту зиму начал настай-

чиво ухаживать за женой Пушкина приемный сын голландского посла барона Геккерна — кавалергард Жорж Дантес. Красавец-француз, приехавший в Россию делать карьеру, пользовался в петербургском свете большим успехом, особенно у дам. «Его считали украшением балов, он подкупал и своим остроумием», что импонировало и мужчинам.

Однако ухаживания Дантеса за Натальей Николаевной до лета 1836 года не выходили за рамки поклонения первой красавице столицы.

На лето Пушкины и Гончаровы снова сняли дачу вместе, но на этот раз на Каменном Острове.

В пушкинские времена Каменный Остров был местом отдыха петербургской знати. Парки, каналы, красивые дачи и дворцы придавали ему живописный вид.

На противоположном берегу Большой Невки в летних лагерях стоял кавалергардский полк. Сестры Гончаровы принимали участие в верховых прогулках с кавалергардами. Возможно, «молодой, красивый, дерзкий» Дантес посещал дачу Пушкина, делая вид, что ухаживает за Екатериной Николаевной.

По свидетельству современников, Екатерина была влюблена в Дантеса до безумия. Она, конечно, понимала, что он увлечен Натальей Николаевной, а она служит ему только ширмой, но в своем стремлении постоянно видеть его, вероятно, способствовала частым встречам Дантеса с сестрой. Надо полагать, именно поэтому в письме к брату за границу Александр Карамзин называет ее «сводней». Пользуясь относительной свободой на даче, сестры участвовали во многих увеселительных прогулках. Они были действительно прекрасными наездницами.

«...Наши лошади совершенно очаровательны, все ими любят, — пишет брату Екатерина Николаевна 14 июля 1836 года, — и когда мы пускаемся крупной рысью, все останавливаются и нами восхищаются, пока мы не скроемся из виду. Мы здесь слышим превосходными наездницами, словом, когда мы проезжаем верхом, со всех сторон и на всех языках, какие только можно себе представить, все восторгаются прекрасными amazонками».

Письма Екатерины Николаевны за летний период 1836 года совершенно не говорят об ее увлечении Дантесом. А между тем именно тогда они часто встречались на верховых прогулках, в летнем театре, у знакомых. Если бы это было обычное ухаживание, она, вероятно, поделилась бы этим с братом, но сложность обстановки заставляла ее молчать...

12 сентября Пушкины и Гончаровы вернулись с дачи и поселились в новой квартире на Мойке в доме княгини Волконской.

Нет сомнения, что в это время обстановка в семье Пушкиных была уже напряженной. Об этом свидетельствует известное письмо С. Н. Карамзиной от 19—20 сентября, описывающей свои именины, праздновавшиеся на даче в Царском Селе.

«...Среди гостей были Пушкин с женой

¹ Дачная местность под Петербургом.

² Демидов П. Н. — известный в то время богатый миллионер, имевший большие заводы на Урале.

³ Гамбс — владелец мебельного магазина в Петербурге.

⁴ Вяземский П. А. (1792—1878) — поэт и критик, один из ближайших друзей Пушкина.

и Гончаровыми (все три — ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями). ...В девять часов пришли соседи... так что получился настоящий бал, и очень веселый, если судить по лицам гостей, всех, за исключением Александра Пушкина, который всё время грустен, задумчив и чем-то озабочен. Он своей тоской и на меня тоску наводит. Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд с вызывающим тревогой вниманием останавливается лишь на его жене и Дантесе, который продолжает всё те же шуточки, что и прежде, — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издала бросает нежные взгляды на Натали»¹.

Всей трагичности переживаний Пушкина Карамзина не поняла. Она не видит ничего особенного в ухаживании Дантеса за Екатериной Гончаровой в то время, как он «бросает нежные взгляды на Натали», считая это обычным флиртом. Но в те времена такое настойчивое ухаживание молодого человека за девушкой могло означать, что или у него имеются серьезные намерения, или он имеет какое-то право на это...

1836 год был очень трудным годом для Пушкина. Тяжелое моральное состояние, запутанность материальных дел угнетали поэта; к тому же это усугублялось и переживаниями семейного порядка. Наглое поведение Дантеса, который, демонстративно ухаживая за Екатериной Гончаровой, «не сводил глаз» с Натали Николаевны, тревожило Пушкина. Не потому, что он не доверял своей жене, нет, он был в ней совершенно уверен, но его в высшей степени раздражало двусмысленное поведение Дантеса. Возможно, до Пушкина доходили какие-то сплетни, распространяемые его врагами. Он не мог допустить, чтобы имя его горячо любимой жены было каким-либо образом связано с именем проходимца-кавалергарда.

События нарастали день за днем. 4 ноября Пушкин получил по городской почте известный анонимный пасквиль, оскорбительный для его чести и чести его жены. Уверенный, что это дело рук Геккернов, в тот же день он послал вызов на дуэль Дантесу. По свидетельству современников, в этот же день Дантес сделал неофициальное предложение Екатерине Николаевне².

В свете всех этих событий исключительный интерес представляет письмо Екатерины Николаевны от 9 ноября.

Дмитрий и Екатерина Гончаровы были погодками и очень дружны с детства. Судя по письмам к брату, Екатерина Николаевна была с ним гораздо откровеннее, чем с сестрами; по-видимому, он был самым близким ей человеком в семье.

Не желая тревожить Дмитрия Николаевича своими печальными мыслями, стараясь владеть собою, Екатерина Николаевна начинает письмо с денежных и семейных дел, хотя и говорит, что ей «тоскливо до смерти». Но мысль о счастье недавно женившегося брата выводит ее из душевного равновесия, она не выдерживает, и из души вырывается крик отчаяния... Всего несколь-

ко строк, но они говорят о каких-то очень тяжелых переживаниях...

«Петербург, 9 ноября 1836 г.

Я сомневаюсь, что мое сегодняшнее письмо будет очень веселым, дорогой Дмитрий, так как я не только не нахожусь в веселом настроении, но наоборот, мне тоскливо до смерти, поэтому не ожидай, что тебе придется посмеяться над тем, что ты найдешь в этом письме. Я пишу тебе только для того чтобы поблагодарить за письмо, которое ты мне передал для Носова и в особенности попросить тебя прислать такое же к 1-му числу будущего месяца, так как я прошу тебя принять во внимание, что 6 декабря у нас день больших торжеств и я вследствие моего положения вынуждена поневоле сделать некоторые приготовления к этому дню и мне совершенно необходимо получить деньги как раз к 1-му числу, малейшее запоздание может мне причинить большое и неприятное затруднение...

Я счастлива узнать, дорогой друг, что ты по-прежнему доволен своей судьбой, дай бог чтобы это было всегда, а для меня, в тех горестях, которые небу было угодно мне ниспослать, истинное утешение знать, что ты по крайней мере счастлив; что же касается меня, то мое счастье уже безвозвратно утеряно, я слишком хорошо уверена, что оно и я никогда не встретимся на этой многострадальной земле, и единственная милость, которую я прошу у бога это положить конец жизни столь мало полезной, если не сказать больше, как моя. Счастье для всей моей семьи и смерть для меня — вот что мне нужно, вот о чем я беспрестанно умоляю всевышнего.

Впрочем, поговорим о другом, я не хочу чтобы тебе, спокойному и довольному, передалась моя черная меланхолия.

Скажи, скоро ли Сережа¹ придет сюда? Я вижу, что ты уже начал учить свою жену верховой езде, сможет ли она стать хорошей амазонкой, смелая ли она? Я тебе советую научить ее хорошенько ездить рысью, в этом весь секрет, и для женщины на лошади нет ничего красивее рыси.

Прощай, целую тебя. Мое письмо не очень интересно, но, право, голова не тем занята, у меня сплин... так что не сердись на меня. Думаешь ли ты приехать и когда? Целую Лизу² и тебя, и сестры также...»

Что привело Екатерину Николаевну к мысли о смерти, может быть, даже — о самоубийстве?

В пушкиноведении давно известна версия о том, что Екатерина Гончарова была в связи с Дантесом до его сватовства и даже якобы забеременела от него. Известный литературовед П. Е. Щеголев в своей книге «Дуэль и смерть Пушкина» опубликовал письмо Н. И. Гончаровой к Екатерине от 15 мая 1837 г., т. е. после выхода ее замуж за Дантеса.

Наталия Ивановна пишет дочери:

¹ Гончаров Сергей Николаевич — младший брат.

² Гончарова Елизавета Егоровна, урожд. княжна Назарова. Вышла замуж за Д. Н. в июле 1836 г.

«...Ты говоришь в последнем письме о твоей поездке в Париж; кому поручишь ты надзор за малюткой на время твоего отсутствия? Останется ли она в верных руках? Твоя разлука с ней должна быть тебе тягостна»¹.

Основываясь на этом письме, точнее — на этой дате, Л. Гроссман выдвинул версию о том, что дата рождения Матильды, старшей дочери Е. Н. Дантес-Геккерн, 19 октября 1837 г. — фиктивная, и что на самом деле она родилась в апреле 1837 г., следовательно, Екатерина Гончарова была в связи с Дантесом с лета 1836 г.²

Расхождение официальной даты рождения Матильды с предполагаемой по Л. Гроссману требовало более веского обоснования, чем дата письма Н. И. Гончаровой, которая, в конце концов, могла быть и ошибочной.

Но вернемся к этому же письму от 15 мая. В начале Наталья Ивановна пишет: «Дорогая Катя, я несколько промедлила с ответом на твое последнее письмо, в котором ты поздравляла меня с женитьбой Вани; та же причина помешала мне написать тебе раньше. Свадьба состоялась 27 числа прошлого месяца... Все твои сестры и братья приезжали к свадьбе».

Прежде всего, кажется совершенно невероятным, чтобы в апреле 1837 г., будучи в трауре и глубоко переживая гибель мужа, Наталья Николаевна поехала на свадьбу. Но это наше предположение, а нужны документы. Таким документом могла бы быть точно установленная дата свадьбы Ивана Николаевича Гончарова. Этими данными мы теперь располагаем.

После долгих и настойчивых поисков нам удалось найти в архиве Гончаровых три документа, неопровержимо устанавливающие год и дату бракосочетания Ивана Гончарова. Это, во-первых, письмо самого Ивана Николаевича из Яропольца, датированное 26 февраля 1838 г., в котором он сообщает Дмитрию Николаевичу, Наталье Николаевне и Александре Николаевне, жившим тогда на «Полотняном Заводе», о своей помолвке с княжной Марией Мещерской³.

Во-вторых, нами найдено письмо Натальи Ивановны, тоже из Яропольца, от 28 февраля 1838 г., в котором она пишет о женитьбе сына⁴. Несомненно Иван Николаевич приехал в Яропolec просить у матери благословения на брак, и оба письма были отправлены оттуда одновременно.

И, наконец, третьим документом является запись в бухгалтерской книге расходов семьи Гончаровых за 1838 год, в которой значится, что 11 апреля этого года И. Н. Гончарову было выдано на свадьбу 3000 рублей ассигнациями⁵.

Свадьба состоялась 27 апреля 1838 г., в Яропольце.

Таким образом, в свете этих новых материалов можно считать установленным, что

письмо Н. И. Гончаровой к дочери было написано 15 мая 1838 г. Что касается неправильной датировки его 1837 годом, то можно предположить, что или Наталья Ивановна ошиблась, или цифра восемь написана неясно, а надо сказать, что почерк у нее очень неразборчивый и иногда с трудом поддается расшифровке.

Следовательно, версия о том, что Е. Н. Гончарова была беременна до брака, отпадает.

Письмо Екатерины Николаевны от 9 ноября — несомненно реакция на вызов Пушкиным Дантеса на дуэль и последовавшие за этим события. Независимо от исхода дуэли, она считает, что ее брак с Дантесом невозможен: «мое счастье уже безвозвратно утеряно». Обращают на себя внимание слова: «Счастье для всей моей семьи и смерть для меня — вот что мне нужно»¹. Здесь каким-то образом связано счастье семьи с ее смертью, т. е. — если она умрет, это, очевидно, будет лучше для семьи. Как понимать слово «всей» семьи? Екатерина Николаевна, вероятно, сознательно употребила его; не включала ли она сюда и семью сестры, Натальи Николаевны? Чем можно объяснить ее отчаяние? Как бы оно ни было глубоко в тот момент, все же она могла предполагать, что когда-нибудь впоследствии она встретит другого человека, с которым сможет связать свою судьбу. Однако, очевидно, это было невозможно.

Невольно напрашивается мысль, не были отчасти прав Л. Гроссман: если Екатерина Гончарова и не была беременна до брака с Дантесом, возможно, все же она была в связи с ним? Не на это ли намекает в своем последнем письме Александра Николаевна, говоря, что, выйдя замуж, Екатерина «выиграла в отношении приличия»? Вспоминая о каких-то своих сумасбродных поступках, она приходит к выводу, что лучше их сделать в юности, чем позднее. Здесь это несомненно как-то связано с Екатериной, иначе зачем бы она стала говорить об этом?

Не в этом ли состояла та тайна, разглашения которой так боялись и Жуковский, и Загряжская, и Геккерны?

Приведем несколько выдержек из конспективных заметок Жуковского о событиях, предшествовавших дуэли.

«7 ноября. Я поутру в Загряжской. От нее к Геккерню... Открытия Геккерна... О любви сына к Екатерине... О предполагаемой свадьбе. Мысль все остановить — возвращение к Пушкину. «Les révélations»². Его бешенство»³.

Если предположить, что Геккерн «открыл» Жуковскому тайну связи Дантеса с Екатериной Гончаровой, а последний сообщил об этом ничего не подозревавшему Пушкину, становится понятной его реакция на это «откровение» — его бешенство.

И, наконец, в письме Александра Карамзина к брату от 13 (25) марта 1837 г. есть одна знаменательная фраза, относяща-

¹ П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Госиздат, 1928, изд. III, стр. 338, 339. В дальнейшем сокращено: Щеголев.

² Л. Гроссман. Женитьба Дантеса. Журнал «Красная Нива», 1929, № 24.

³ Оп. 1, ед. хр. 3139. Публикуется впервые.

⁴ Там же.

⁵ Оп. 1, ед. хр. 3138. Публикуется впервые.

¹ Подчеркнуто нами. — И. О. и М. Д.

² Révélations — откровения (франц.).

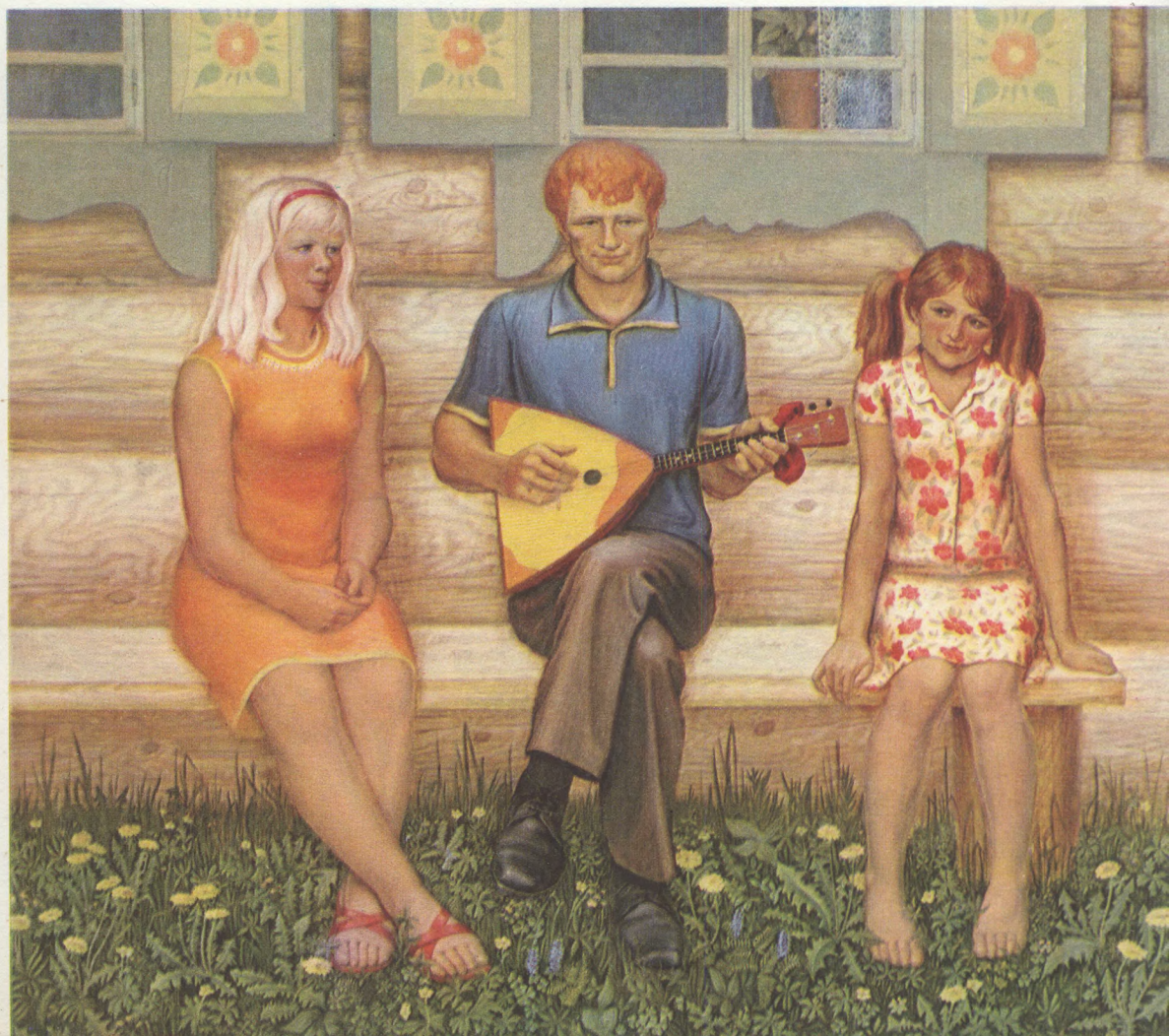
³ Щеголев, стр. 307.



Улица города Тобольска

ВЛАДИМИР ИГЛОВИКОВ

«Страдания»

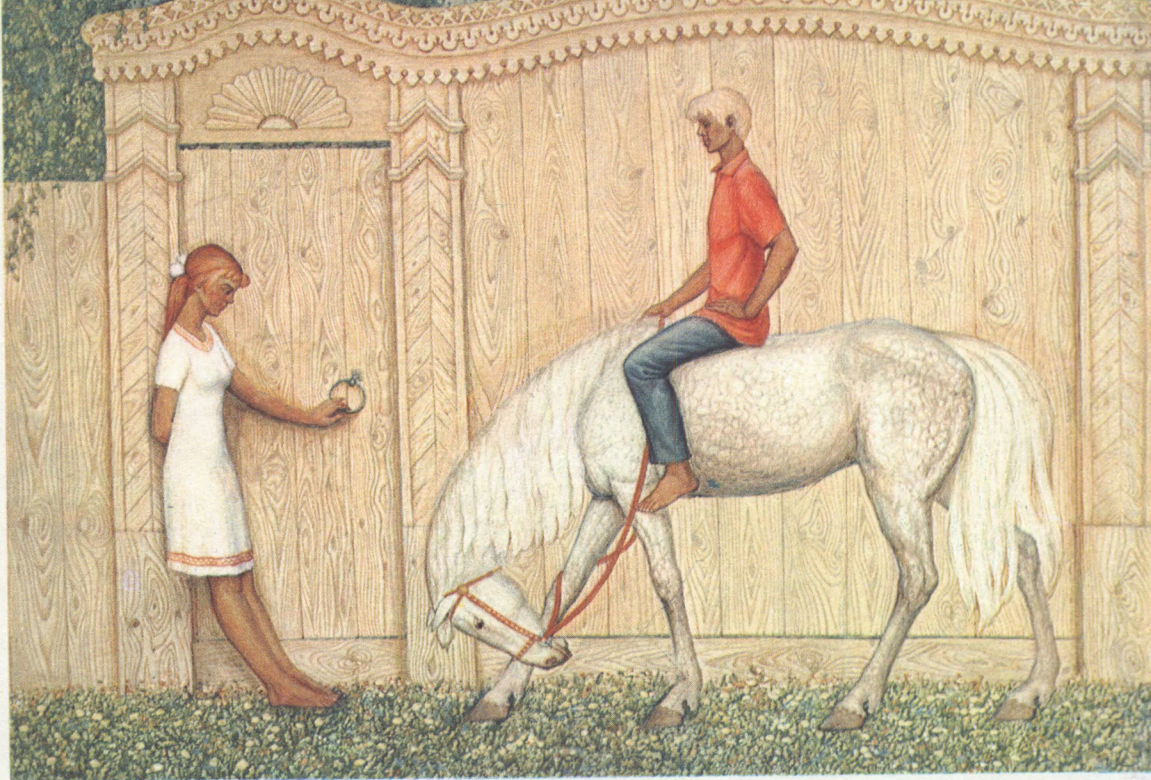




Тобольск зимний

Качели





Против молочных ворот

К празднику

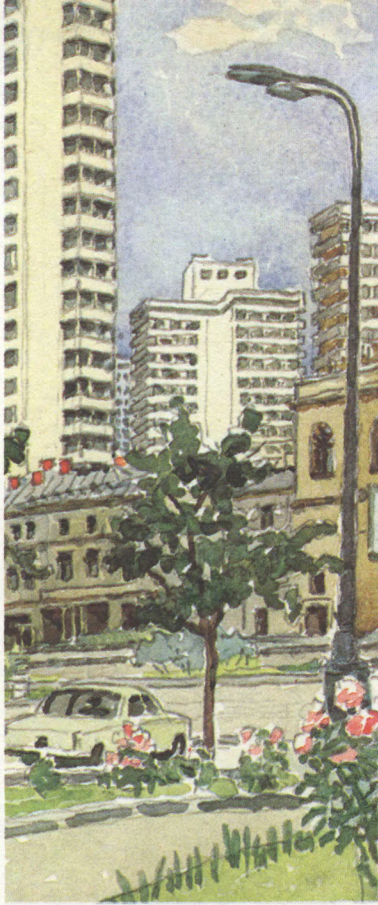




Ромашки

Березы





КОНСТАНТИН САМОЙЛОВ

Новослободская улица





Портрет матери



На Молодежной

Платформа Абрамцево





Интерьер музея. Серебро

яся к Екатерине Дантес-Геккерн:

«...та, которая так долго играла роль сводни, стала в свою очередь любовницей, а затем и супругой»¹.

Не подлежит сомнению, что письмо Екатерины Гончаровой свидетельствует также и о тяжелой, напряженной обстановке в доме Пушкина в эти дни. О пасквиле и предполагаемой дуэли несомненно узнали и Наталья Николаевна, и Екатерина, и Александр, и брат Иван, который был немедленно послан сестрами в Царское Село за Жуковским.

В этом же письме Екатерина Николаевна спрашивает брата: «Думаешь ли ты приехать и когда?» Неизвестно, предполагался ли приезд Дмитрия Николаевича раньше по каким-либо другим мотивам, или уже после 4 ноября ему было послано кем-либо из Гончаровых (вероятнее всего, Александрой Николаевной) сообщение о событиях с просьбой приехать. Надо думать, что письмо Екатерины, которое он должен был получить 12—13 числа, побудило его экстренно выехать в Петербург. В послужном списке Д. Н. Гончарова имеется запись о том, что ему был предоставлен отпуск с 14 ноября на 8 дней; однако в Архив он явился только 27 ноября².

Срочный выезд главы семьи Гончаровых в Петербург свидетельствует о том, насколько взволновало его письмо сестры.

Общеизвестно, какие усилия прилагали Жуковский, Загряжская и секунданты к тому, чтобы предотвратить дуэль. Но можно легко себе представить и те бурные переживания, которые волновали всех в доме Пушкина. Об этом почему-то в пушкиноведческой литературе ничего не говорится, а между тем не принимать их во внимание никак нельзя. Несомненно, и Наталья Николаевна, и все Гончаровы старались повлиять на Пушкина. Не умоляла ли его и сама Екатерина Николаевна отказаться от дуэли?

В свете всех этих предположений приведем письмо поэта к его секунданту графу В. А. Сологубу.

«Я не колеблюсь написать то, что могу заявить словесно. Я вызвал г-на Ж. Геккерн на дуэль и он принял вызов не входя ни в какие объяснения. И я же прошу теперь господ свидетелей этого дела сообразоваться считать этот вызов как бы не имевшим места, узнав из толков в обществе, что г-н Жорж Геккерн решил объявить о своем намерении жениться на мадемуазель Гончаровой после дуэли. У меня нет никаких оснований приписывать его решение соображениям недостойным благородного человека.

Прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом так, как вы сочтете уместным. Примите уверение в моем совершенном уважении.

А. Пушкин.
17 ноября 1836 г.»

¹ ...celle qui avait si longtemps joué le rôle d'entremetteuse, devint à son tour amante et épouse ensuite» (франц.).

Карамзины, стр. 190 и 309. Здесь в переводе И. М. Ободовской.

² Оп. I, ед. хр 2483. Публикуется впервые.

Обращает на себя внимание, что намерение Дантеса жениться на Е. Гончаровой является как бы главным мотивом отказа Пушкина от дуэли, тогда как в пасквиле наносилось оскорбление Пушкину и его жене.

П. Е. Щеголев писал по этому поводу: «Показать своим друзьям и знакомым Дантеса до нелепости смешным, заставить его под угрозой дуэли жениться на Е. Н. Гончаровой,— значило для Пушкина подорвать его репутацию в обществе»¹.

Но в свете новонайденных писем мы полагаем, что у Пушкина были куда более веские причины, нежели только желание сделать Дантеса смешным в глазах великосветского общества. Не случайно он пишет, что у него «нет никаких оснований приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека». Не означает ли этот намек, что всякий благородный человек должен жениться на девушке, с которой уже вступил в связь?

Итак, 17 ноября Пушкин послал Сологубу письмо с отказом от дуэли. Далее события последовали одно за другим с невероятной быстротой. В тот же день Дантес сделал официальное предложение через Е. И. Загряжскую. Очевидно, днем 17-го приехал и Д. Н. Гончаров. Вечером того же дня на бале у С. В. Салтыкова² было объявлено о помолвке Е. Н. Гончаровой с бароном Ж. Дантесом-Геккерном...

Сохранилась записка Е. И. Загряжской к Жуковскому:

«Слава богу, кажется все кончено. Женить и почтенной его Батюшка были у меня с предложением. К большому щастию за четверть часа пред ними приехал из Москвы старшей Гончаров и он объявил им Родительское согласие, и так, все концы в воду»³.

Все концы в воду... Эта загадочная фраза Загряжской до сих пор не расшифрована: какие концы — неизвестно, но они были! Нет ли и здесь связи с письмом Екатерины Николаевны от 9 ноября?..

В великосветском обществе известие о сватовстве Дантеса к Гончаровой вызвало большое удивление.

«Пушкин проиграет несколько пари,— пишет С. Н. Карамзина брату,— потому что он, изволите видеть, бился об заклад, что эта свадьба — один обман и никогда не состоится. Все это по-прежнему очень странно и необъяснимо; Дантес не мог почувствовать увлечения, и вид у него совсем не влюбленный. Катрин во всяком случае более счастлива, чем он»⁴.

Есть свидетельства, что Дантес пытался избежать женитьбы на Гончаровой и за две недели до своего сватовства к ней просил руки княжны Барятинской, но получил отказ. В дальнейшем обстоятельстве сложились так, что у него не было другого выхода: или дуэль, или женитьба.

Высказывавшееся ранее некоторыми

¹ Щеголев, стр. 108.

² Салтыков С. В.— известный петербургский богач, дававший балы по вторникам, на которых собиралось высшее петербургское общество.

³ Щеголев, стр. 315.

⁴ Карамзины, стр. 151.

пушкинистами предположение, что Николай I приказал Дантесу жениться, документально пока не подтверждается. Но несомненно, что все препятствия (подданство, различие вероисповеданий и т. д.) были быстро устранены, и жениху с невестой было дано высочайшее разрешение на брак.

Казалось бы, после официального объявления о помолвке все должно было стать на свои места и наступить разрядка. Но этого не произошло: положение продолжало оставаться напряженным.

Геккернов не принимали у Пушкиных. Екатерина Николаевна встречалась с женихом у Загряжской и у знакомых. Дантес разыгрывал влюбленного, по крайней мере в письмах к своей невесте. Но вряд ли Екатерина Николаевна обманывалась этими письмами. Как женщина не глупая и волевая, она умела владеть собой, и никто из посторонних не догадывался о том, что она думает и чувствует на самом деле.

Она «со смертельным нетерпением» ждет конца всей предсвадебной суматохи, считает оставшиеся дни и все же до конца не верит в реальность этой свадьбы, которая состоится, «если бог поможет». Чтобы придать своему бракосочетанию вид обычной, счастливой свадьбы, она настаивает на том, чтобы на ней присутствовали все члены ее семьи.

Здесь интересно отметить совершенно противоположное стремление Е. И. Загряжской, которая старалась, чтобы на свадьбе было как можно меньше приглашенных. Вот что об этом пишет С. Н. Карамзина:

«...Я присутствовала при одевании мадемуазель Гончаровой, но когда эти дамы сказали, что я еду вместе с ними в церковь, ее злая тетка Загряжская устроила мне сцену. Из самых лучших побуждений, как говорят, опасаясь излишнего любопытства, тетка излила на меня всю желчь, накопившуюся у нее за целую неделю от нескромных выражений участия; кажется, что в доме ее боятся, никто не поднял грлоса в мою пользу, чтобы по крайней мере сказать, что они сами меня пригласили!»¹

Столь резко выраженное Загряжской нежелание, чтобы С. Карамзина была в церкви на венчании, свидетельствует о том, что мы уже сказали. Тетушка не постеснялась переступить границы приличия: отношения Гончаровых с Карамзиной были таковы, что не пригласить ее на свадьбу было бы неучтиво.

Свадьба состоялась 10 января 1837 года. Венчание, ввиду различия вероисповеданий жениха и невесты, было совершено дважды: в римско-католической церкви св. Екатерины и в православном Исаакиевском соборе. На бракосочетании со стороны невесты присутствовали Наталья Николаевна, Александра Николаевна, Дмитрий и Иван Гончаровы. Пушкин на свадьбе не был, а Наталья Николаевна уехала сразу после венчания и не была на свадебном ужине.

Однако и совершившийся брак не улуч-

шил отношения обоих семейств; более того — они ухудшились.

После свадьбы Екатерина Николаевна не бывала в доме Пушкиных. Дантес, по свидетельству Данзаса¹, приезжал со свадебным визитом, но не был принят. Он снова возобновил свои дерзкие ухаживания за Натальей Николаевной.

Н. М. Смирнов, хороший знакомый Пушкина, дружески к нему относившийся, писал в своих воспоминаниях:

«Поведение Дантеса после свадьбы да-ло всем право думать, что он точно искал в браке не только возможность приблизиться к Пушкиной, но также предохранить себя от гнева ее мужа узами родства. Он не переставал волочиться за своей невесткой; он откинул даже всякую осторожность, и казалось иногда, что насмехается над ревностью непримирившегося с ним мужа. На балах он танцевал и любезничал с Натальей Николаевной, за ужином пил за ее здоровье, словом довел до того, что все снова стали говорить про его любовь. Барон же Геккерн стал явно помогать ему, как говорят, желая отменить Пушкину за неприятный ему брак Дантеса»².

Молодожены поселились в доме Голландского Посольства на Невском. Вот что пишет Екатерина Николаевна брату вскоре после свадьбы:

«19 января 1837 г.

Я начну свое письмо прежде всего с того, чтобы вас хорошенько побранить, еще раз повторить вам то, что вы и так уже очень хорошо знаете, а именно, что вы гадкие, скверные мальчишки. Честное слово, видано ли было когда-нибудь что-либо подобное, обмануть старшую сестру так бесцеремонно: уверять, что не уезжают, а несколько часов спустя — кучер погоняй! и господа мчатся по весь опор по большой дороге. Это бесечно и я не могу от вас скрыть, мои дорогие братья, что меня это страшно огорчило, вы могли бы все же проститься со мной. Но я должна разыгрывать роль великодушной женщины и простить вам вашу неучтивость, принимая во внимание те жертвы, которые вы мне принесли: один расставшись с женой, а другой не посчитавшись со своим плохим здоровьем. Вы приехали оба сюда на мою свадьбу, я еще раз искренне благодарна вам, и я в самом деле глубоко тронута и взволнована этим проявлением дружбы ко мне с вашей стороны. А теперь, милый Дмитрий, я с тобой поговорю, о делах; ты сказал Тетушке, а также Геккерну, что ты будешь мне выдавать через Носова 5000 в год. Я тебя умоляю, дорогой и добрый друг мой, дать ему распоряжение вручать мне непременно каждое первое число месяца положенную сумму; мы подсчитали, и если я не ошибаюсь, это 419 рублей в месяц, пожалуйста сдержи свое слово честного человека, каким ты являешься. Потому что, ты понимаешь, как мне было бы тяжело для моих личных расходов обращаться к Геккерну; хотя он и очень добр ко мне, но я была бы в отчая-

¹ Данзас К. К. — товарищ Пушкина по лицу; его секундант на дуэли в январе 1837 года.

² Щеголев, стр. 116.

¹ Карамзины, стр. 152.

нии быть ему в тягость, так как в конце концов мой муж только его приемный сын и ничего больше, и даже если бы он был его родным отцом, мне всегда было бы тягостно быть вынужденной обращаться к нему за деньгами для моих мелких расходов. Ты сам, дорогой Дмитрий, как деликатный человек, легко поймешь мою щепетильность и извинишь настойчивость моей просьбы. Вы уехали так стремительно, что я не смогла поговорить с тобою об этом, вот почему я вынуждена обратиться к тебе с просьбой письменно, совершенно уверенная, что как добрый брат и честный человек ты не нарушишь свое обязательство Геккерну. Я надеюсь, ваше путешествие было благополучным и что на здоровье Вани оно не отразилось.

Теперь поговорю с вами о себе, но не знаю право что сказать; говорить о моем счастье смешно, так как будучи замужем всего неделю, было бы странно, если бы это было иначе, и все же я только одной милости могу просить у неба — быть всегда такой счастливой, как теперь. Но я признаюсь откровенно, что это счастье меня пугает, оно не может долго длиться, я это чувствую, оно слишком велико для меня, которая никогда о нем не знала иначе как по наслышке, и эта мысль единственное что отвращает мою теперешнюю жизнь, потому что мой муж ангел, и Геккерн так добр ко мне, что я не знаю, как им отплатить за всю ту любовь и нежность, что они оба проявляют ко мне; сейчас, конечно, я самая счастливая женщина на земле. Прощайте, мой дорогие братья, пишите мне оба, я вас умоляю, и думайте иногда о вашей преданной сестре и друге.

Е. Геккерн.

Мой адрес: На Невском проспекте
дом г-на Влодек¹, Б. Е. Н. Г.»².

Письмо это необыкновенно ярко раскрывает подлинную обстановку, которая была в доме Дантес-Геккернов после свадьбы. Прежде всего нужно обратить внимание на внезапный отъезд братьев Гончаровых. Они пробыли в Петербурге всего четыре дня и уехали, даже не простившись с сестрой. Было ли это следствием нежелания Дмитрия Николаевича вести какие-либо дальнейшие переговоры по поводу денег? Или они хотели избежать свадебного обеда у Строгановых, который состоялся в день их отъезда? Но вряд ли только это могло повлиять на их решение. Надо полагать, здесь были гораздо более веские причины; какие-то очень серьезные обстоятельства, возможно связанные с самой Екатериной Николаевной, вынудили их так поступить. Следует отметить также, что они не нанесли визита и старой тетке Загряжской, здесь тоже, несомненно, есть какая-то связь.

Поступок братьев и обидел и взволновал Екатерину Николаевну, но она спешит примириться с ними, в особенности с Дмитрием, от которого зависела материально. А деньги начали играть важную роль с первых же шагов новобрачной в доме мужа, об этом очень красноречиво говорит ее

письмо. Предчувствие какой-то катастрофы, неуверенность в своем положении, боязнь потерять хотя бы видимость счастья и благополучия — вот что, по собственному ее признанию, отравляло ей жизнь. Не могла она не чувствовать всю ложь и фальшь внешне любезного отношения старика Геккерна, не могла не понимать, что брак с нею был насильно навязан Дантесу.

П. Е. Щеголев говорит: «Прямо не можешь себе и представить ту трагедию, которая разыгрывалась около баронессы Дантес-Геккерн и которой, кажется, только она одна в своей ревнивой влюбленности в мужа не хотела заметить или понять»¹.

В свете новых публикуемых материалов можно сказать, что это было не так. Неверие в свое счастье в будущем даже после свадьбы — это отголоски ее тяжелых переживаний.

Трудно сказать, что думала и чувствовала Екатерина Николаевна в этот короткий период времени с 10 по 27 января. Во всяком случае она несомненно должна была очень страдать от возобновившегося дерзкого ухаживания Дантеса за Натальей Николаевной. И не в смягченных ли тонах, чтобы не огорчать брата, Александра Николаевна пишет, что Екатерина «печальна иногда».

Играла ли Екатерина Геккерн какую-нибудь роль в преддвуальных событиях и какую именно?

Сохранились разорванные клочки чернового письма Пушкина к Геккерну от 26 января 1837 г. В них есть две неоконченные фразы: «...Вы играли вы трое такую роль... «и наконец господа Геккерн...» Неизвестно, в чем обвинял Пушкин Екатерину Геккерн, так как в окончательный текст письма он их не включил.

Знала ли Екатерина Николаевна о предстоящей дуэли? Вероятно — да. По свидетельству Д'Аршиака², она провожала Дантеса до саней, когда он уезжал на Черную речку на дуэль. Если это так, то на ее совет, что она не предупредила сестру.

Последнее письмо Александры Николаевны не имеет даты, но оно несомненно написано всего за несколько дней до дуэли, может быть даже за день-два. Письмо это очень важно и интересно как по своему содержанию, так и по тому, что оно позволяет нам по-новому судить об отношении самой Александры Николаевны ко всем переживаемым событиям.

Уезжая, Дмитрий Николаевич просил сестру писать ему; он, очевидно, не был спокоен, несмотря на то, что свадьба, казалось бы, положила конец всем драматическим переживаниям последних месяцев.

Но Александра Николаевна, хотя и выполняет его просьбу — пишет ему, — далеко не откровенна и умалчивает о многом, вернее — о главном. Письмо написано в смятении чувств; она пропускает две внутренних страницы листка не нечаянно, как она говорит, а потому, что мысли ее в беспорядке, она нервничает.

¹ Щеголев, стр. 115.

² Д'Аршиак — советник французского посольства в Петербурге; секундант Дантеса на дуэли с Пушкиным.

¹ Дом Влодека — там, где теперь Пассажа.

² Баронесса Е. Н. Геккерн.

(22—24 января 1837 г. Петербург).

«Я очень виновата перед тобой, дорогой брат Дмитрий; обещав тебе написать о том, что нового происходит в нашей милой столице, я не была аккуратна в исполнении этого обещания. Но, видишь ли, не было никакого достопримечательного события, ничего, о чем стоило бы упоминать, вот я и не писала. Теперь, однако, меня мучает совесть, вот почему я и принимаюсь за письмо, хотя и затрудняюсь, какие новости тебе сообщить».

Все кажется довольно спокойным. Жизнь молодых людей идет своим чередом, Катя у нас не бывает; она видится с Ташей у Тетушки и в свете. Что касается меня, то я иногда хожу к ней, я даже там один раз обедала, но признаюсь тебе откровенно, что я бываю там не без довольно тягостного чувства. Прежде всего я знаю, что это неприятно тому дому, где я живу, а во-вторых, мои отношения с дядей и племянником¹ не из близких; с обеих сторон смотрят друг на друга несколько косо, и это не очень-то побуждает меня часто ходить туда. Катя выиграла, я нахожу, в отношении приличия, она чувствует себя лучше в доме, чем в первые дни: более спокойна, но, мне кажется, скорее печальна иногда.

Она слишком умна, чтобы это показывать и слишком самолюбива тоже; поэтому она старается ввести меня в заблуждение, но у меня, я считаю, взгляд слишком проницательный, чтобы этого не заметить. В этом мне нельзя отказать, как уверяла меня всегда Маменька, и тут она была совершенно права, так как ничто от меня не скрется.

Надо также сказать тебе несколько слов о Тетушке. В день вашего отъезда был обед у Строгановых²; и вот она к нам приезжает совершенно вне себя, чуть ли не кричит о бесчестии; с большим трудом Таше удалось ее успокоить, она ничего не хотела слушать, говоря, что это непроситительно; вот ее собственные слова:

«Как два мальчика живут четыре дня в городе³, не могут на минутку забежать к тетке». Я слышала это из своей комнаты, т. к. скажу тебе между нами, когда я могу ее избежать, я это делаю так часто, как только возможно. Конец разговора я уже не помню, все что мне известно, это то, что вам здорово досталось. С того дня я не слышала, чтобы она о вас упоминала⁴.

(Не читай этих двух страниц, я их нечаянно пропустила и там может быть скрыты тайны, которые должны остаться под белой бумагой.)

Вот тебе сплетни: впрочем, стоит толь-

ко мне заговорить о моей доброй Тетушке, как все идет как по маслу.

Что касается остального, то что мне сказать? То, что происходит в этом подлом мире, мучает меня и наводит ужасную тоску. Я была бы так счастлива приехать отдохнуть на несколько месяцев в наш тихий дом в Заводе. Теперь у меня больше опыта, ум более спокойный и рассудительный, и я полагаю лучше совершить несколько сумасбродных поступков в юности, чтобы избежать их позднее; тогда с ними покончишь, получив урок, иногда несколько суровый, но это к лучшему.

Таша просит передать тебе, что твое поручение она исполнила (я подразумеваю покупку набойки)¹, но так как у ее горничной было много работы в последнее время, она не могла начать шить; она это делает непременно. Что касается иностранного журнала, то Таша рассчитывает подписаться на него сегодня.

Пушкин просит передать, что если ты можешь достать для него денег, ты окажешь ему большую услугу.

Итак, прощай дорогой и добрый братец, я уже не знаю, о чем больше писать, и поэтому кончаю до следующего раза, когда соберу побольше сплетен.

Нежно тебя целую и позволяю себе тоже в отношении моей невестки, которой прошу передать тысячу приветов. Скажи Ване, что я ему напишу завтра или послезавтра, мне надо немного привести в порядок свои мысли. А пока целую тебя крепко, крепко. Если Сережа у вас, поцелуй его также за меня».

К тому моменту, когда писалось это письмо, со дня свадьбы прошло уже, по-видимому, около двух недель. Несмотря на обещание, Александры Николаевны не так скоро собралась написать брату. На известную длительность периода указывают и слова: «я иногда хожу к ней».

Впервые из этого письма мы узнаем об отношении Александры Николаевны к Геккернам. «Я бываю там не без довольно тягостного чувства,— пишет она,— мои отношения с дядей и племянником не из близких».

Совершенно в другом свете рисуется нам и присутствие Александры Николаевны на обеде у Геккернов, в чем ее всегда упрекали. Базировалось это утверждение на письме ее мужа Густава Фризенгофа, который, якобы со слов самой Александры Николаевны, в 1887 году писал ее племяннице, дочери Натальи Николаевны от второго брака, А. П. Ланской-Араповой:

«Ваша тетка перед своим чрезвычайно быстрым отъездом на Завод после катастрофы была у четы Геккерн и обедала с ними. Отмечаю это обстоятельство, ибо оно, как мне кажется², указывает, что в семье и среди старых дам, которые постоянно находились там и держали совет, осуждение за трагическую развязку падало не на одного только Геккерна, но, несомненно, также и на усопшего»³.

¹ Набойка — сорт ткани.

² Подчеркнуто нами.— И. О. и М. Д.

³ Л. Гроссман Женитьба Дантеса. Журнал «Красная нива», 1929, № 24.

¹ Дядя — барон Л. Геккерн, племянник — Ж. Дантес.

² Строганов Г. А., граф (1770—1857) — двоюродный брат Н. И. Гончаровой. Был посаженным отцом на свадьбе Е. Н. Гончаровой. 14 января 1837 г. в честь молодых дал свадебный обед.

³ Из этого следует, что братья приехали в Петербург накануне или в день свадьбы, т. е. 9—10 января и уехали, по-видимому, утром 14 января.

⁴ Далее в подлиннике пропущены две внутренние страницы почтового листка. На обеих по середине в скобках написаны нижеследующие строчки.

До сих пор эти строки письма рассматривались как подтверждение того факта, что Александра Николаевна обедала у Геккернов после дуэли, а вторая часть отрывка как бы указывает на то, что и она находилась в числе осуждавших Пушкина. Однако, как мы видим из публикуемого письма, все это не соответствовало действительности: обед имел место, но до катastroфы, и Александра Николаевна не была на стороне Геккернов. В связи с этим возникает вопрос: чем объяснить неверное освещение фактов Фризенгофом?

Не исключено, что письмо написано от начала и до конца самим Фризенгофом. В нем определенно чувствуется нота враждебности к Пушкину; вряд ли Александра Николаевна стала бы писать о нем в таких тонах Араповой. Достаточно отметить, что слова «как мне кажется»... «осуждение за трагическую развязку падало... несомненно также и на усопшего», т. е. на Пушкина, исходят непосредственно от Фризенгофа, а не от Александры Николаевны.

Таким образом, можно считать установленным, что Александра Николаевна бывала иногда в доме Геккернов, но эти посещения были ей в тягость. Следует обратить внимание на тот факт, что свое нежелание бывать у сестры она прежде всего мотивирует опасением причинить неприятность Пушкину, в доме которого она жила. Очевидно, она изредка посещала Екатерину Николаевну в силу родственных отношений и желания как-то морально поддержать ее, а из письма мы видим, что первые дни в доме мужа были для Екатерины Геккерн легкими. Она старается скрыть свои переживания от Александры Николаевны, опасаясь, очевидно, что они станут известны Пушкиным, а этого она не хочет больше всего...

Александра Николаевна конечно знала всю подноготную этой «невероятной» свадьбы, видела наглое поведение Дантеса и после 10 января; ее мучает «то, что происходит в этом подлом мире». Это знаменательные слова, свидетельствующие о ее отношении к событиям. Судя по этому письму и зная ее глубокую и искреннюю любовь к Наталье Николаевне, она несомненно была на стороне Пушкиных, но в тот момент не нашла в себе мужества решительно порвать с домом Геккернов. Вероятно, она надеялась, что со временем все уладится, возможно, пыталась что-нибудь сделать в этом отношении.

В письме есть одна короткая фраза: «Пушкин просит передать, что если ты мо-

жешь достать для него денег, ты окажешь ему большую услугу». Неизвестно, был ли об этом разговор у Пушкина с Дмитрием Николаевичем во время пребывания последнего в Петербурге, надо полагать, что вряд ли, так как Пушкин знал о больших непредвиденных расходах Гончаровых в связи со свадьбой Екатерины. И то обстоятельство, что он все же просит шуррина где-нибудь достать для него денег, свидетельствует о совершенно отчаянном положении денежных дел Пушкиных в эти дни.

Александра Николаевна умалчивает о том, что происходило в это время в доме Пушкиных, и о поведении Дантеса. Она несомненно понимала всю серьезность событий и впервые за эти годы вспомнила о «Полотняном Заводе», как о тихом пристанище, где ей хотелось бы укрыться от тяжелых переживаний...

После смерти поэта Наталья Николаевна вместе с Александрой Николаевной уехала на два года к брату на «Полотняный Завод».

Дантес был судим, разжалован в солдаты и выслан за границу. После его отъезда Екатерина Дантес-Геккерн не долго оставалась в России. Как бы ни любила она мужа, но в глубине души, возможно, чувствовала страшную вину его. И потому спешит она покинуть «проклятый Петербург», порвать окончательно с прошлым.

Перед отъездом Дмитрий Николаевич прислал ей письмо.

«...Итак, муж твой уехал и ты едешь за ним; в добрый путь, будь мужественна. Я не думаю, чтобы ты имела право жаловаться; для тебя трудно было бы желать лучшей развязки, чем возможность уехать вместе с человеком, который должен быть впрямь твоей поддержкой и защитником; будьте счастливы друг с другом, это смягчит вам боль некоторых тяжелых воспоминаний...»¹

В этом письме Дмитрий Николаевич прощался с сестрой навсегда. Он понимал, что возврата на родину ей нет. Но и там, далеко, она не будет счастлива, и там общественное мнение будет против них. И он оказался прав. Об этом свидетельствуют найденные нами письма Екатерины Геккерн из-за границы.

1 апреля 1837 года Е. Н. Дантес-Геккерн, увозя с собой «боль тяжелых воспоминаний», выехала за границу с тем, чтобы уже никогда не возвратиться в Россию.

¹ Щеголев, стр. 339.

Публикуемая статья И. Ободовской и М. Дементьева (фрагмент главы из книги «Вокруг Пушкина», готовящейся к печати издательством «Советская Россия» к 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина) имеет большую научную ценность и несомненно привлечет к себе внимание читателей.

Одной из замечательных черт нашей советской культуры является создание условий, при которых великие явления литера-

туры прошлого не только впервые стали доступными восприятию и наслаждению или действительно всего народа, но и впервые смогли предстать перед нами во всю свою величину. Особенно ярко проступает это в отношении Пушкина. Еще не так давно изучение его жизни и творчества было предметом исследований сравнительно небольшого числа специалистов. Сейчас величайшая любовь к Пушкину, стремление, как можно

больше узнать о нем, понять в нем и в его творчестве, далеко вышли за эти пределы. К пушкиноведению в той или иной мере приобщились самые широкие круги советских людей.

Живой пример тому — авторы данной статьи. Не будучи по началу «цеховыми» пушкинистами, они проделали в течение ряда лет огромную, исключительную трудоемкую работу по разбору и изучению обширнейшего семейного архива Гончаровых. И работа эта, выполненная на высоком профессиональном уровне, принесла чрезвычайно плодотворные результаты. В 1970 г. ими было обнаружено и опубликовано совершенно дотоле не известное письмо самого Пушкина («редчайшая находка» — как было совершенно точно охарактеризовано это в печати) к брату жены, Д. Н. Гончарову; полгода спустя шесть писем к нему же самой Наталии Николаевны, эпистолярное наследие которой до сих пор остается очень мало известным. Дальнейшие разыскания принесли новые плоды: еще несколько писем к Д. Н. Гончарову Наталии Николаевны и письма ее сестер, Екатерины Николаевны и Александры Николаевны, которые с конца сентября 1834 г. жили в Петербурге в доме поэта. Письма носят бытовой, семейный характер. Но значение их гораздо шире.

После возвращения поэта из ссылки осенью 1826 г. пошли толки и пересуды о якобы измене его своему прежнему вольнолюбиво и своим друзьям-декабристам. В 30-е годы после женитьбы Пушкина и возросшей близости его ко двору и свету толки эти среди враждебных ему или близоруких современников стали еще более усиливаться, отозвавшись и в позднейшей мемуарной литературе и в опиравшихся на нее трудах некоторых биографов поэта и исследователей его творчества.

Пушкин, действительно, во многом изменился. Он и сам несколько не отрицал этого. 26 декабря 1836 г. в глубоко искреннем письме к соседке по Михайловскому П. А. Осиповой, крепкая дружба с которой завязалась в годы его ссылки, говоря о десятилетии, протекавшем со времени восстания декабристов, он добавлял: «Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с моих собственных мнений, моего положения и проч. и проч.» (подлинник на французском языке). «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют», — писал он же в своей, запрещенной цензурой статье о Радищеве, говоря об эволюции его «образа мыслей», в известной степени аналогичной — и здесь, типологически, «вслед Радищеву» — его собственной эволюции, к сожалению, до сих пор недостаточно полно и объективно изученной и потому односторонне (у некоторых современных зарубежных авторов прямо искаженно-уродливо) истолковываемой в трудах о нем.

Между тем при всех своих переменам в одном и главном, тоже подобно Радищеву, Пушкин оставался неизменным. В столь угнетавшие поэта годы кишиневской ссылки он мог с полным правом ска-

зать о себе: «Но не унижил ввек изменой беззаконной ни гордой совести, ни лиры непреклонной», — и с таким же правом за полгода с небольшим до смерти повторить, что не «гнул» «для власти, для ливреи... ни совести, ни помыслов, ни шеи». И, действительно, в период торжествующей не только правительственной, но и общественной реакции Пушкин никогда не вставал на ее сторону. Наоборот, всем своим делом поэта, до конца дней славившего в ее «железный век» свободу и призывавшего «милость к падшим», всей своей деятельностью литератора, воинствующего противостоля ей, страстно и непримиримо с ней боролся. Совсем в преддверии того же десятилетия декабрьского восстания он нанес убийственный удар по одному из основных столпов реакции, ее главному «идеологу» — министру народного просвещения и президенту Академии наук — графу Уварову, показав его в стихотворении «На выздоровление Лукулла» как бесчестного и «низкого скупца», «пройдоху» (его собственные слова), бессовестного стяжателя и казнокрада. В печати стихотворение было снабжено — для цензуры — маскирующим подзаголовком «Подражание латинскому», но портрет оказался настолько точен, что все тотчас же узнали его подлинник.

Всё это вызвало бешеную ненависть к поэту со стороны влиятельной придворно-светской клики, которую еще в 1830 г. он выставил на позорные в стихотворном памфлете «Моя родословная».

Сломить дух Пушкина, согнуть его шею и гордую совесть, перестроить непреклонную лиру они не могли. И они нанесли свой рассчитанно смертельный удар по «душе поэта», душе гения — инструменту особой тонкости и чувствительности («Он был богов оргян живой, но с кровью в жилах... знойной кровью», — скажет о нем Тютчев), нанесли так и там, где она оказалась наименее защищенной, — по его домашнему очагу, по его, с таким трудом завоеванному и так бережно охраняемому семейному счастью. Этим врагам, можно почти с уверенностью сказать, была известна ярость Пушкина, когда в 1834 г. он узнал, что письма его к жене вскрываются на почте и доводятся до сведения самого царя, проникшего таким «скверным и бесчестным образом» в личную жизнь поэта: «Никто не должен знать, что может происходить между нами; никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни», — с гневом и горечью писал он жене.

И вот, два года спустя, начиная с гнусного диплома, забрасывавшего грязью честь не только жены Пушкина, но и его самого, столь презираемая и ненавидимая им придворно-светская «чернь», которую он еще в 1828 году бичевал в стихотворении «Поэт и толпа», ворвалась в его «спальню»: «тайна семейственной жизни» стала предметом сплетен, толков и пересудов во всех аристократических салонах «свинского Петербурга» и даже тех людей, которые были близки Пушкину, числились в его «друзьях». Дьявольски задуманная затея с дипломом, имевшая целью подлыми намеками, в нем содержащимися, отвлечь внимание Пушкина

от дерзких ухаживаний Дантеса за Натальей Николаевной, натравить «африканца»-поэта на царя и тем самым погубить,— не удалась. Пушкин, сразу же догадавшись о причастности к этой затее «четыре» Геккернов (Дантеса и, в особенности, усыновившего его голландского посла, находившегося с ним совсем не в «родительских» отношениях), вызвал на дуэль «сына». Дантес во избежание угрозы не столько дуэли, сколько разоблачений, которые могли стать роковыми и для него, и особенно для его «отца», вынужден был жениться на старшей и не блиставшей красотой двадцатисемилетней (по понятиям того времени, давно уже «старой деве») сестре Натальи Николаевны, Екатерине, в надежде, что, вступив в родственные отношения с поэтом, побудит его взять вызов обратно, и всё дело с дипломом будет замято. Пушкин отказался от вызова, но отнюдь не от разоблачения гнусной роли «отца». «С сыном уже покончено,— сказал он своему секунданту...— Вы мне теперь старичка подавайте». Столь же озлобившиеся, сколь и беспокоенные Геккерны, несомненно поощряемые их высокопоставленными покровителями, стали еще больше сгущать вокруг Пушкина атмосферу лжи и клеветы, стремясь комыями грязи забросать уже не только жену поэта, а и весь его семейный быт. По светским гостиним поползли слухи о беззаконной, приравнявшейся тогда к кровосмешению интимной связи Пушкина с его свояченицей — второй сестрой жены, Александрой Николаевной.

Разобраться во всем этом мутном потоке сплетен и пересудов, злоречия и клеветы, отделить истину от лжи, слухи и домыслы от действительных фактов до сих пор не удалось. Несмотря на находки и опубликование многих новых и важных материалов в многочисленных и порой весьма ценных работах о дуэли и смерти Пушкина, правда и неправда по-прежнему сплетены между собой в некий туго перекрученный клубок. Большая заслуга авторов данной статьи в том, что благодаря их архивным находкам они сумели добиться здесь известных, пусть еще частичных — в рамках поставленной темы — успехов.

В публикуемых письмах сестер Гончаровых имеется довольно много упоминаний о Пушкине. На первый взгляд они не очень значительны. Но Пушкин стал таким крупнейшим явлением нашей исторической жизни, такой частью нашего духовного мира, что всякая новая деталь его биографии драгоценна. Мало того, в данном случае даже эти попутные упоминания очень существенны, рисуя теплые отношения, сложившиеся между членами «большой» пушкинской семьи, в которую прочно вошли в эту пору и обе сестры Натальи Николаевны. При этом лишний раз проступают обаятельные черты — высокое благородство, «лелеющая душу гуманность» (слова Белинского) натуры Пушкина, не только поэта, но и человека.

Вообще, опираясь на свои архивные разыскания и обнаруженные новые материалы, авторы, вместо поруганного, облепленного грязью семейного быта последних лет

жизни поэта, дают возможность по-новому увидеть действительную картину некоторых сторон его. По-новому дают они взглянуть и на личность каждой из сестер Гончаровых. Взамен заштамповавшихся представлений о них, вкорененных в сознание многих некоторыми биографами Пушкина, и, в особенности, авторами ряда беллетристических произведений (романов, пьес), перед нами предстают теперь живые человеческие лица, с которых смыты, как односторонне идеализирующие (в отношении Александры), так односторонне обличительные (в отношении Екатерины), краски. Удалось авторам доказать и ошибочность одного из домыслов, тоже уходящего своими корнями в почву сплетен и пересудов светских современников поэта. Выдающийся пушкинист и известный историк П. Е. Щеголев в своей капитальной, построенной на многочисленных новых материалах, им найденных, монографии «Дуэль и смерть Пушкина» опубликовал письмо матери — Натальи Ивановны Гончаровой к Екатерине Николаевне, на котором стоит дата: 15 мая 1837 г. В нем речь идет о рожившемся у дочери ребенке. Между тем прошло всего четыре месяца после выхода ее замуж за Дантеса. Под несомненным влиянием тоже распространившихся в «свете» толков о том, что Екатерина Гончарова еще за несколько месяцев до предложения Дантеса стала его любовницей, Щеголев, в данном случае без свойственной ему надлежащей критической проверки «документа», сделал сенсационный вывод, что Екатерина Николаевна уже тогда забеременела от Дантеса. Эту нелегкую критическую проверку произвели авторы статьи, и им удалось с абсолютной точностью установить, что Наталья Ивановна попросту описалась в дате — вместо 1838-го года, когда письмо на самом деле было написано, поставила 1837-ой. Сенсационное «открытие» оказалось снятым, ибо никакой «документальной» основы оно не имело.

К версии о том, что Екатерина Николаевна была любовницей Дантеса, поскольку прямых доказательств ни «за», ни «против» этого нет, авторы отнеслись с большим доверием и даже привели некоторые косвенные данные, словно бы ее подтверждающие. А между тем, имея в виду всё мною сказанное, вполне возможно, и едва ли не более вероятно, другое. Распустил же Геккерн-«отец», чтобы как-то объяснить неожиданную, многим показавшуюся «невероятной» женитьбу «сына» на Екатерине, слухи, что тот принес себя в жертву, дабы «спасти честь» беззаветно любимой им жены поэта. Параллельно этому сам «сын» мог распустить слухи о своем, предшествующем женитьбе, романе с Екатериной. Да, он по некоторому легкомыслию пошел навстречу влюбленной в него девушке, но, как подобает «благороднейшему человеку», каким он слыл среди своих многочисленных светских поклонников и поклонниц, решил покрыть девичий грех законным браком. Версии о связи Пушкина с Александрой Гончаровой авторы в данной статье не касаются. Однако в одной из своих посмертно опубликованных работ о Пушкине «Александрина» Анна

Ахматова выдвинула очень убедительно обосновываемое ею предположение, что источником сплетен об этой связи, являвшихся составной частью клеветнической кампании против Пушкина и крайне выгодных для Геккернов, также были они сами.

П. Е. Щеголев, в силу ряда причин (об этом — в моей статье «Проблемы построения научной биографии Пушкина», «Литературное наследство», кн. 16—18, М., 1934), считал нужным, как сразу же он предупреждает в предисловии, «коснуться» из совокупности самых разнообразных «обстоятельств», обусловивших гибель поэта (в числе их — «отношение его к императору, к правительству, к высшему обществу»), «только семейственных отношений Пушкина как главной причины рокового столкновения». А отсюда он неизбежно пошел по пути вторжения в «тайну жизни семейственной», то есть как раз по тому пути, который избрали враги поэта, именно на этом и строившие свои расчеты. Однако как историк он не мог не почувствовать крайней односторонности такого подхода и во втором издании своей монографии, имевшей шумный успех, сообщает, что готовит новое исследование, цель которого — переход от непосредственного повода к действительным причинам, «разъяснение многих других и весьма важных обстоятельств, приведших жизнь Пушкина к безвременному концу». К сожалению, выполнить это он не успел. Правда, в третьем, вышедшем уже после Октябрьской революции издании появилась новонаписанная и очень важная глава «Анонимный пасквиль и враги Пушкина», в которой была впервые раскрыта его подлинная направленность. Но она была дана в качестве своего рода дополняющего приложения; во всем же остальном труд оставался в пределах всё той же «семейной драмы», в которую только в качестве еще одного персонажа вводилась (опять-таки произвольно, по подсказу врагов Пушкина) фигура Николая I. Это в основном определило направление и почти всех дальнейших исследований. Между тем только выход за уз-

кие рамки «семейных обстоятельств», действительно явившихся «ближайшим» поводом к трагическому исходу, а отнюдь не главной его причиной, сосредоточение исследования последнего внимания именно на этих главных причинах (о них вкратце сказано мною выше) может дать в руки исследователя необходимый ориентир, помочь ему очистить последние месяцы жизни поэта от той мути и тины, которыми старались намеренно загрязнить, опутать смертельные враги Пушкина.

Анна Ахматова, тоже работавшая многие годы над исследованием о гибели поэта, также стремилась не только выйти за пределы его «семейной трагедии», но даже сделать данную тему «запретной» (этим — писала она — «мы несомненно исполнили бы волю поэта») и обратиться к выяснению подлинных причин роковой катастрофы. Однако и она осуществить это не успела. А в сохранившихся и только посмертно опубликованных фрагментах ее замысла она, исходя из естественного желания устранить грубую и злую неправду, которой обросла эта семейная трагедия, по сути дела, полностью продолжала оставаться в рамках ее. Вместе с тем исполненная глубочайшего преклонения перед Пушкиным и страстной ненависти к погубившим, как считала, поэта Наталии Николаевне и ее сестрам, она не только крайне односторонне, но и явно пристрастно дала их характеристику и оценку. Авторитет Анны Ахматовой как большого поэта, свойственный ей художнический темперамент, мастерство изложения не могут не оказать соответствующего влияния на читателя. Тем своевременнее и важнее публиковать данную статью, основанную, как уже сказано, на фактических материалах и написанную пером ученых-архивистов, поставивших своей целью дать их интерпретацию, возможно более точную, наиболее близкую к правде жизни и правде истории.

Д. БЛАГОЙ,
член-корреспондент АН СССР

**ГРИГОРИЙ
КОНОВАЛОВ**

ИСПОЛНЕН ДОЛГ

**К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В. Я. ШИШКОВА**



В. Я. Шишков

Жизнь человека по своей значимости для него самого и общества имеет два временных измерения: время малое, биологическое (рождение — смерть), и время большое, которым мерится то, что оставил он после себя. И чем больше содейл он в свой век, тем, стало быть, мощнее было его дарование. Всестороннее родство со своим народом, с народной судьбою наиболее полно выявляет его самобытность и обеспечивает влияние на общество. Чем бесхитростнее и глубже вера в жизнь, тем глубже раскрывается перед ним бытие в своем вечном развитии. Любовь — дар ясно-видения; лукавство же есть лишь умная улыбка опоздавшего родиться. И приходится тогда подручными средствами, не поняв жизни, конструировать свои структуры, распадающиеся на глазах.

Где уж нам, грешным, объяснить, почему это происходит, если критик, провидец, временами теряется.

Почему разные сроки вызревания таланта тоже для нас тайна? Мы только видим, что один рано раскрывается во всем объеме своей творческой предопределенности, другой не вдруг находит себя.

Вячеслав Шишков вплотную занялся литературной деятельностью лишь лет под сорок, если не считать ранних мимолетных опытов. Два десятка лет работал в Сибири по исследованию водных путей на ее могучих реках — Обь, Енисей, Лена, возглавлял работы по техническому исследованию Чуйского тракта на Алтае.

Донимали его болотная сырость, гнус, строгие зимы, когда на лету мерли птицы, падая, как листья с деревьев. Напрочно отложились в душе сибирские люди, вроде Фильки Шкворня, Прохора Громова да Анфисы.

«За свое двадцатилетнее пребывание в Сибири я вплотную столкнулся с ее природой и людьми во всем их любопытном и богатом разнообразии... Каторжники, сахалинцы, бродяги, варнаки, шпана, крепкие, кражистые сибиряки-крестьяне, новоселы из России, политическая и уголовная ссылка, кержаки, скопцы, инородцы, — во многих из них я пристально вглядывался и образ их сложил в общую копилку памяти», — писал Шишков в автобиографических заметках.

Долго бродили в нем соки жизни, зато вылились в «Угрюм-реку», выдержавшую резкие подвижки строптивой эпохи. Деятельный характер, рабочая хватка (знал сле-

сарное, кузнечное, столярное, инженерное дело), глубокое знание жизни придали его писательской руке крепость, а глазу — устойчивую историческую и психологическую зоркость. Причины живучести его книг — в самом таланте, беспромахно сориентированном на народ в его развитии, в его душевном размахе, в крутом созревании характеров по законам революционного времени.

На одних весах измеряет история человека — полное исполнение своего долга. Что ж из того, что у солдата не прорезывается генеральский басок? Это не мешает ему закрывать вражескую амбразуру своей грудью.

Если бы Шишков не писал, а только работал инженером, то и тогда не был бы забыт потомками с цепкой памятью. Но судьба велела ему работать за двоих — строить и писать. Он был двужилен, и потому делал все хорошо, на совесть.

Природа, видно, имеет свою память, свои наметки, не разгаданные нами. Бесталанность куцеглаза, во все времена призывает в свидетели своей нужности так называемую «необходимость» своего немудрого рукоделия. Унывать она не собирается, потому что всегда были и будут простачки с одноклеточным эстетическим вкусом, азакхлеб читающие сочинения, упрощенно прикинувшиеся романами, повестями, драмами и поэмами. Природа не рискует остаться один на один с гениями, то ли из опасения заскучать, то ли по нехватке строительного материала, из которого лепятся самобытные личности. К тому же жизнь неполна без душеспасительных сочинений. Ведь всякое открытие (вроде шолоховского и леоновского или научного) изумляет и озадачивает распахнутыми безднами духа. Вот тут-то и появляются расторопные спасители-сочинители, призванные заботиться о нас: как бы мы умственно не надорвались. Закидывают те бездны духа многоотными саманными кирпичами. Начитаешься такой благодати, спишь спокойно, преисполненный сознанием, что благодетели наши отвели, казалось бы, неминуемую беду.

В. Шишков раскрывал глубины многосложных характеров в запутанных обстоятельствах. И его родство с Ф. Достоевским кажется неизбежным. Как разузнать, какой процент случайности в том, что Достоевский побывал в Сибири каторжником, а Шишков — строителем? Сибирь заселила его душу образами людей самобытных — от потомков суриковских казаков до одержимых промышленников и ссыльных.

Влияние творчества В. Шишкова на писателей-сибиряков глубокое и плодотворное, прежде всего, метким народным словом, навыком ладно кроить и крепко шить характеры, вычертить сложный сюжет.

И как герои его книг живут в нашем сознании во всем своем живом противоречии, так и нынешнее молодое поколение продолжает в Сибири дело своих отцов. А на земле сибирской неутесненно могут жить и работать в услужение многие миллионы советских людей. Один философствующий германец где-то в начале века, подсмотрев закат Европы, предсказывал возникновение русско-сибирской цивилизации. Не будем судить пророков за ориентировочные наметки, к тому же высказанные без должного оптимизма. Богатство Сибири осваивают все народы Державы, и там складывается немаловажный очаг русской нации в ее новом коммунистическом качестве. В. Шишков жил и писал со все более усиливающейся верою в будущность Сибири.

Писатель глубокого исторического мышления с неизбежностью пришел к важнейшей исторической теме — пугачевское движение. Большой период национальной истории воссоздан художником широко, всеохватно, движение пугачевское рассмотрено им в самом зародыше и прослежено почти до конца в его развитии. Верность правде, духу народному позволили матерому таланту крупно взять эпоху, воссоздав жизнь людей всесторонне, с войнами, бытом, борьбой, нравами, радостями и трагедиями. Да, это историческое повествование несомненно является народной драмой высокого напряжения. «Лишь бы кончить «Пугачева», а там на отдых в вечность можно. Кончу и с народом буду в расчете: все, к чему был призван, посылно завершил», — писал Шишков в 1943 году, незадолго до кончины своей.

Как видно, что бы ни говорили некоторые поэты о своей гордой независимости от общества, все-таки сладостно им сознание своей пользы народу. Да и в гордости-то своей живет поэт народом и для народа, безошибочно избравшего его своим светочем.

В поучение нам жил в душе В. Шишкова дух неподкупных летописцев Руси, и потому уместно закончить малое слово это словами пушкинского Пимена: «Исполнен долг, завещанный от бога мне, грешному...».



М. ЛАПШИН

СИЛА И ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

О ТВОРЧЕСТВЕ
ГЕОРГИЯ РАДОВА

Литературная
критика

В свое время на страницах «Правды» Борис Полевой рассказал, как в одном из сел Сосновоборского района Пензенской области на собрании колхозного актива вместо доклада о социалистическом отношении к труду был прочитан рассказ Георгия Радова «На быстрине и бережком», вызвавший бурную реакцию присутствовавших. С тех пор местных лодырей, симулянтов и болтунов по прозвищу одного из персонажей очерка называют Дудками. А людей, вкладывающих душу в работу, по имени другого героя произведения зовут Кондаковыми. Так и говорят: «Ну, этот у нас Кондаков, работающий парень и с головой».

Завидна судьба писателя, способного играть роль «возмутителя спокойствия», умеющего будить мысли и чувства людей.

Успеху рассказа «На быстрине и бережком», как, кстати, и других произведений Радова, способствует доскональное знание автором колхозной жизни.

Георгий Радов, москвич по рождению, с детства рос в кубанской станице, в семье учительницы. Это была как раз та станица, о которой в конце двадцатых годов писал свои очерки Владимир Ставский,— старинная казачья станица, один из центров ожесточенных классовых схваток.

Постоянное общение с людьми колхозного села, дружба с безвременно погибшим от руки врага председателем артели Лаврентием Гречкой (однофамилец одного из любимых писателем литературных героев) навсегда определили творческие интересы Радова. И хотя позже, в конце сороковых годов, его судьба сложилась так, что пришлось пройти и заводской путь (от ученика токаря до начальника цеха машиностроительного завода) и первые рассказы посвятить жизни рабочих, однако деревенская тема стала главной. На ней и «развернулось» творчество писателя.

Уже в первых произведениях Г. Радова отчетливо проявилась присущая ему черта: пристальное, неотступное внимание ко всему тому свежему, что повседневно рождалось в жизни. Новые формы труда и быта, рост культуры, изменения в сознании и психологии людей постоянно интересовали и волновали писателя. Со свойственной ему наблюдательностью он видел необычное в привычном и примелькавшемся, серьезное — в смешном, большое — в малом. Радов сумел показать борьбу нового со старым, подметить и утвердить развивающееся, развенчать и осмеять то, что обречено на отмирание.

Почти всем произведениям Радова, независимо от времени создания, свойственно чувство современности в самом широком смысле этого слова. В его очерках и рассказах оперативно и остро, без сглаживания углов, раскрываются злободневные жизненные проблемы. Иногда вопросы, поднимаемые в них, не новы (мы их можем найти в книгах В. Овечкина, В. Тендрякова, А. Калинина, Г. Троепольского, Е. Дороша, С. Антонова, М. Жестева и других писателей), но зато в каждом очерке и рассказе Радова видна своя «походка», своя линия отбора жизненных явлений, свое поэтическое видение мира.

Будучи долгое время специальным кор-

респондентом «Огонька», Радов много ездил по светской стране и многое сумел увидеть и постичь. Это позволило ему отобрать для своих произведений такие факты и обстоятельства, в которых важнейшие проблемы нашего движения вперед проявляются с особой заостренностью. При этом писатель обнаружил умение сочетать приемы публицистики с беллетристическими приемами, что приближает его очерки к рассказам и повестям.

Затрагивая в своих произведениях наиболее важные вопросы современности, Радов, естественно, не на каждый дает конкретные и определенные ответы. Порой он как бы выносит поднятые проблемы на общее обсуждение, и это само по себе вызывает активную реакцию, будит ответную мысль читателей. Очень часто автор предлагает и свои, иногда спорные, решения. Разумеется, ошибки в данном случае неизбежны. Ведь когда проходит время и можно оглянуться и рассудить, «что и как», многое становится виднее и понятнее. Но как трудно, когда писатель, находясь на жизненной быстрице, да еще временами коварной, вместе с героями ищет ответы на сложнейшие вопросы. Тут, конечно, в чем-то можно и ошибиться.

Поднимая в своих очерках и рассказах многочисленные хозяйственно-политические вопросы, писатель никогда не забывает об основной задаче художественной литературы — человековедении. Произведения Радова рождают глубокие раздумья о том, во имя чего живут и как работают люди.

Многие очерки и рассказы Радова воинственно направлены против любителей «легкого варианта жизни»: нытиков, малOVERов, подхалимов, карьеристов, бюрократов, мешан, лодырей — всех тех, кто живет «без цвета и запаха», с кем «еще в обороне жить можно, а для наступления не годятся».

Насколько писатель не любит «плутающих по тылам жизни и работающих на пределе исправности «мудрецов», настолько же уважает и прославляет людей «горячего дела, живущих всегда броском вперед».

Наиболее показателен в этом отношении рассказ «На быстрине и бережком», построенный на контрастных характеристиках. В рассказе два отца и два сына — Дудкины и Кондаковы. Старший — Дудкин, или, как его прозвали колхозники, просто Дудка, будучи долгое время председателем колхоза, никогда не утруждал себя заботой об урожаях, надеясь на материальную помощь соседних колхозов и государства. Так прожил Дудка двадцать лет, не дав колхозу ничего: «ни построек, ни капитала». И недаром соседи отзываются о нем с явной неприязнью: «Мы броском, а он ползком. Мы вплавь, а он бережком. Мы всем фронтом вперед, а он по-заячи: скидбк туда, скидбк сюда».

Этой же житейской «мудрости» — бережком — придерживается и Дудка-сын. У него «сто курсов за плечами», и все для того, чтобы легче находить в жизни теплые местечки, занимать «какие ни есть самые безответственные должности». Работает Дудка-младший всегда «на пределе исправности», лишь бы «нагоняна не отхватить».

Когда же замечает, что к нему начинают предъявлять требования, перебирается «в другую систему».

«Книшкотоматель» Дудка боится людей и ведет себя так, чтоб люди боялись его. Он никогда не похвалит, не поддержит, а наоборот, «осадит», «накрутит хвоста». Он лишен основного качества руководителя — умения работать с людьми, растить их, учиться у них.

В противоположность отцу и сыну Дудкиным отец и сын Кондаковы — люди другого склада. В их облике нет ничего эффектного, бросающегося в глаза. Но именно такие, влюбленные в свое дело энтузиасты умеют воодушевить коллектив.

«Кондаков-отец и Кондаков-сын. До чего же они не похожи! И по внешности и по характеру... Отец — зоркий, дошотный в отыскании пружин, движущих поступками людей. Терпеть не может любителей легкого варианта жизни и обличает их яростно; для них у него припасены словечки: «тактик», «хитромудрый...». Сын же — мужчина, кажется, откровенного добродушия. Когда Василий Тихонович отделяет какого-нибудь «тактика», который получил от жизни на рубль, а норовит отдать на гривенник, сын нетерпеливо мнет подбородок и того и жди, что скажет: «А не довольно ли, папаша, перемывать чужие косточки. Посмотрите, какая кругом благодать! До «тактиков» ли нам с вами? Пускай живут!».

Очень хорошо написана в рассказе финальная сцена встречи отца-Кондакова с Дудкиным-сыном. Сначала они испытывают друг друга вежливостью. Но вот нервы «ядовитого старика» сдали, и он бросает в лицо «тактика» слова, которые надолго остаются в памяти читателя.

Рассказ не кончается «исцелением» отрицательных персонажей, как это, к сожалению, бывает в произведениях, написанных по схеме: был плохой — стал хороший. Дудкины не торопятся отдавать людям долги и по-прежнему «шагают бережком». «Только ли Дудки вышагивали бережком?» — спрашивает автор в конце рассказа, заставляя каждого читателя внимательно посмотреть кругом.

Радов создает несколько типов Дудкиных. Среди них — братья Пенкины («Злодейтрава»), Василий Дубоносов («Камень на дороге»), Корней Слепченко («Звезды»), Катерина Петровна («Прасковья Лихачева»), Захар Лещев («Чекмарев») и другие. При всем кажущемся несходстве Ерофея Дудкина и Дмитрия Пенкина, Василия Дубоносова и Корнея Слепченко у них много общего, они не умеют «смотреть дальше своего носа», работают с оглядкой на прошлое, избегают нового.

В очерках и рассказах Г. Радова сила сатирического обличения основана на громадной вере в резервы колхозного производства. У него плохое никогда не заслоняет хорошее. Недостатки сельской жизни, правда, вскрываемые писателем, отнюдь не умаляют и не чернят наших достижений. Обличая пороки, Радов утверждает победу нового над старым, передового над косным.

Особое значение в творческой практике

Радова-очеркиста имеет проблема типизации отрицательных явлений. В свое время защитники пресловутой «теории» бесконфликтности многое сделали, чтобы опорочить стремление очеркистов изображать жизнь во всех ее противоречиях. Некоторые из авторов этой «теории» дошли до утверждения, что жанр очерка якобы вообще исключает возможность показа отрицательных явлений. Признавая за очерком право лишь на изображение положительного, они сужали границы жанра, лишали его действительности. В подслащенных очерковых произведениях фигурировали идеальные новаторы, знатные хлеборобы, самоотверженные ученые, которые все могли сделать и которым все было ничем.

Г. Радов, вслед за В. Овечкиным, А. Калининим, Г. Тропольским, «восстановил» утраченное по вине некоторых горе-теоретиков право очерка на типизацию отрицательного, показав, какими возможностями располагает этот жанр в борьбе с недостатками в нашей жизни.

Верный традициям русской советской литературы, традициям М. Горького, Радов видит высшее назначение человека в трудовой деятельности. Ему хорошо удаются образы людей-творцов, у которых есть и широта кругозора, и смелость мечты, и любопытство ко всему земному.

Таков герой одного из самых привлекательных рассказов Радова «Шеф» — Никанор Иванович Сериков. Этот беспокойный человек не может идти не по «быстрине». Монтер завода паровых двигателей, специалист, имеющий золотые руки, он никому не дает спуска. Начальство командует Серикова на должность разъездного шефа-электрика, убирая подальше от заводских дел. Ездит неутомимый «шеф» по колхозам и, «как всегда, лезет не в свой огород».

И снова руководству завода от него «морочка». Из районов, в которых побывал Никанор Иванович, поступают слезные письма-жалобы от «пострадавших». Один из них, Серега Постников, проработавший двенадцать лет председателем колхоза и «снятый с должности по причине вмешательства постороннего командировочного», пишет: «Товарищ директор! Я бы не стал вам жаловаться на гр. Серикова, но у нас получилось основное разногласие на политической почве. Гр. Сериков в вечерние часы стал ходить по бригадам и по квартирам граждан и рассказывать про хорошие колхозы... говоря: «Вот как живут в хороших колхозах, а вы живете плохо, и все потому, что... неспособное правление и устарел председатель». Но гр. Сериков! Я не против критики, но это же несправедливость в ваших словах! Что значит «живете плохо»?.. Разве это плохо, когда люди получили на трудодень по 1870 гр. зерновых культур и 2320 гр. картофеля и 86 коп. деньгами? Это достижение по сравнению с минувшими годами. И зачем расстраивать людей? Я как руководитель обязан объяснять людям, что мы живем сходственно, то есть обеспечены продуктами питания. Но гр. Сериков протестует и говорит: «Ты оппортунист и утешитель. Надо злить людей и дразнить их хорошей

жизнью». Но разве это политические слова: «злить» и «дразнить»? Я против этого. Я... все время держу людей в хорошем настроении, то есть в спокойствии».

По этому документу легко представить, как развернулся критический талант Серикова во время командировок. В незамысловатом письме «утешителя» Сереги столько горькой правды, столько достоверных фактов, что по-настоящему чувствуешь всю подлинную сложность жизни и лучше понимаешь причины наших недостатков в сельском хозяйстве.

«Градобойных» коммунистов, людей с железной волей и крылатой мечтой, подобно Никанору Серикову, в очерках и рассказах Радова много. Это Антон Челомбитько и Трофим Лиходед, Василий Пустовойт и Виталий Степанов, Прасковья Лихачева и Лидия Тамаровская, Павел Столяров и Алексей Колесник, Кузьма-укрепитель и Григорий Чекмарев. Автор старается подметить у каждого из них главное, определяющее, исходя из чего читатели могли бы представить и весь облик этих людей. Возникает такое чувство, будто некоторых из его героев вы уже встречали в жизни, только писатель сумел рассказать о многом, не замеченном прежде в их внешности, характерах, действиях.

Читая очерки и рассказы «Челомбитько и Лиходед», «Теща», «Прасковья Лихачева», «Кузьма-укрепитель», «Наследница», «Чекмарев», нельзя не почувствовать органической связи мировоззрения Радова, энергии его души с мыслями и характером показанных в этих произведениях главных героев.

Говорят, что перо пишет плохо, если в чернильницу не добавить несколько капель собственной крови. Мудрость этого изречения становится особенно заметной, когда читаешь последние, итоговые книги Радова «Гречка в сферах» (1967) и «Кого люблю...» (1971).

Это не просто книги собранных под одну обложку очерков и рассказов, а на редкость цельные вещи, обладающие своим оригинальным обликом. Они заставляют о многом задуматься, из них узнаешь немало нового. Впечатление после их прочтения таково, словно поговорил с наблюдательным и умным другом.

У Радова в этих книгах отчетливо видно стремление уйти от шаблонов в построении очерков, избежать предренности финала. Его персонажи не выступают показательными эталонами всевозможных добродетелей или недостатков. Они — живые люди, и в процессе жизни и работы ошибаются и сомневаются. Предельно обнажая их ошибки и заблуждения, писатель показывает плодотворное влияние на каждого из них великой силы народного мнения, тех больших перемен, которые происходят в жизни деревни.

Сложное и глубокое чувство вызывают персонажи очерка «Гречка в сферах», произведения глубокого по его психологической трактовке.

Тема этого очерка родилась в результате устойчивого интереса писателя к сов-

ременной колхозной действительности, к важнейшим изменениям, которые в ней происходят. Он повествует о той борьбе за перестройку сельского хозяйства и всего стиля руководства, которую предприняла партия в последние годы, о тех конфликтах, которые возникают в этой борьбе, о той перековке характеров, которой она сопровождается.

В центре очерка — образ председателя передового колхоза Антона Гречки. Характер Гречки сложен, сложно и наше отношение к нему.

Во всем самобытен этот необыкновенно типичный председатель. Он трудолюбив, размашист и ловок. Колхоз, возглавляемый им, богат: несколько миллионов годового дохода, консервный завод, Дворец культуры, хлебозавод, общественная баня, бесплатное молоко, хлеб, фруктовый сад.

«— Я знаешь, чего хочу? — говорит Антон своему брату. — Я хочу, чтобы еще при моей службе наша станция коммунизма нюхнула. И нюхнет, не будь я Антон Гречка!»

Какими же путями хочет достигнуть Гречка коммунизма?

Прежде всего теми, которые были предоставлены ему решениями по вопросам сельского хозяйства, начиная с сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 года.

До этого времени Гречка о коммунизме лишь «помышлял» — строить его «не было никакой возможности».

Вспомним, как в то время герой очерков В. Овечкина «Районные будни» секретарь райкома Борзов дважды самовольно облагал налогом передовые артели и добросовестно работающих колхозников, ставя тем самым их в менее выгодное положение по сравнению с теми колхозами и колхозниками, которые плохо заботились об укреплении своего общественного хозяйства. И так до 1953 года было всюду, в том числе и в районе, в котором расположен колхоз Гречки.

Но с тех пор многое изменилось. Сейчас более справедливый и более демократичный — погектарный принцип исчисления сельскохозяйственной продукции. Однако и в этом прогрессивном методе, как показывает Радов, есть свои плюсы и свои минусы. О них хорошо говорит, обращаясь к Антону Гречке, его старший брат Степан Прокофьевич:

«...Были обязательные поставки, продукцию у тебя забирали почти подчистую, и МТС тебе и пахала и сеяла опять же за натуроплату: рубль не играл особой роли. А зараз-то рубль в ход и пошел! Ты не сдаешь продукт, а продаешь! Вот оно и pokazалось, неравноправие между колхозами! Ты при полном благоприятствии условий миллионничаешь, а другой со своими подзолами что ни день, то дальше от тебя отстает. А люди? Наш тракторист вспашет гектар, и ваш вспашет такой же гектар, а что они получат? Ваш-то больше получит! За что ему привилегия? За то, что он в таком месте живет, где томаты раньше поспевают? Премия за выбор местожительства? Или, допустим, в тех теплых местах, где и хлопок, и чай, и лимоны рождаются, — там-то до четырех рублей платят на трудодень! А там, где

один хлеб и картошку сажат, еле по рублю выходит в хороших колхозах. За что же такое неравноправие?»

И в самом деле, «за что такое неравноправие»? Но об этом задумывается Степан Прокофьевич, или Гречка-Степной, как зовут его в отличие от подгородного Антона Гречки. Задумывается Степан Прокофьевич потому, что председательствует он в станции Рубежной, которая лежит посреди безводной степи, вдали от городов и надежных путей сообщения. Об этом задумываются и многие другие председатели колхозов с бедными подзолистыми почвами, особенно в северных и центральных районах Европейской части Советского Союза. Что касается Антона Гречки, то новая система налогообложения его вполне устраивает. Более того, Камчатку. Посылает и наживает на этом доходы. Не для себя, конечно, а для «своей» станции, для «своего» колхоза.

Но «дифференциальная рента» за местожительство — это только одна статья Гречкиных доходов. Другая, не менее важная, — своеобразная реализация колхозной продукции, или, как говорит про это сам Гречка, — «сфера обращения». Все излишки сельскохозяйственной продукции он реализует не в своем районе. Гречка ведет торговлю в союзном масштабе, посылая помидоры в Воркуту, капусту — в Никель, семечки — на Камчатку. Посылает и наживает на этом дополнительные миллионы.

Разворотлив и оборотист Антон Гречка. Не упускает ни малейшей возможности для пополнения колхозной кассы. Он даже первый оценил достоинства местного, тербушинского рака. Оценил, и вот уже пять лет к услаждению любителей поставляет варенных по особому рецепту раков в городские пивные, торгует ими в ларьках. Добывают ему раков станичные мальчишки. Чтобы не избаловать пацанов, Гречка платит им по пятаку за десяток, сам выручает за тот же десяток полтинник, а когда его стыдят, всплескивает руками: «Здравствуйте, я ваш кум! Это я обижаю детишек? Я? Да я же им тут водную станцию выстрою на рачьи гроши».

И выстроит, как выстроил в свое время клуб, стадион, больницу. Выстроит, несмотря на то что в районе плохо и с цементом, и с шифером, и с гвоздями. Достанет Антон Гречка; пару выговоров получит, но достанет! Не справа, так слева. А что же ему остается делать, если на месте нет правых стройматериалов?

Радов не ищет искусственных решений, не стремится ни к мгновенному перевоспитанию героя, ни к решительному развенчанию его. Он ведет борьбу не с Гречкой, а за Гречку. Ведет борьбу, надеясь, что советское общество, законодательные органы нашей страны внесут неизбежную поправку и в распределение доходов между колхозами, испытывающими влияние своего рода «дифференциальной ренты», и в дозволенные пока торговые способы реализации сельскохозяйственной продукции.

Изображая Гречку, автор всем ходом повествования доказывает необходимость повышения требований как к руководителям районных, областных и центральных орга-

низаций, так и к методам руководства колхозами.

Очерк «Гречка в сферах» написан с великодушным знанием многих нюансов устной речи. Герои говорят крепко проперченным, просоленным южным солнцем языком. Они щедро сыплют образными сравнениями, украинизмами. Только при хорошем знании людей, их жизни могла появиться такая речь, и такое верное описание быта, и такая психологическая глубокая лепка характеров.

Автор вложил в этот очерк не только то, что он увидел и подслушал в жизни, что пережил, передумал, но и свой пафос, свою веру, убежденность, свое умение увлекать и убеждать читателя.

Проблемы, поднятые Радовым в этом очерке, настолько жизненны и важны, что они далеко выходят за границы «одного подгородного района». Антон Гречка, Семен Шурдаков, Павел Дербентьев стали для многих читателей художественным воплощением различных типов колхозных руководителей шестидесятых годов, которые в той или иной мере несут зародыши новых конфликтов, поставленных на очередь дальнейшим развитием страны и ростом нашего сельского хозяйства.

Сама специфика жанра очерка-рассказа требует краткости изложения. А известно: чем короче писать, тем труднее. Это, в свою очередь, налагает дополнительные обязательства на автора в точном отборе всех художественных средств. Радов в своих книгах стремится не только к конкретности изображения, но и к простоте и экономности изобразительных приемов. Люди, вещи, события, пейзажи в его произведениях всегда хорошо обдуманы, зримо, имеют отчетливую сущность, краски, запахи.

Искусство индивидуализации в очерке очень сложно. Особенности жанра требуют писательской сосредоточенности исключительно на фактах и явлениях действительности. В очерке, как ни в каком другом жанре, должны быть найдены и отобраны точные слова, характерные обороты речи, емкие фразы. Очеркист, если он действительно хочет достичь большой индивидуализации персонажей, должен правильно передать звук и тембр голоса каждого из говорящих. Это требует большой, напряженной работы.

Детальное знакомство с творческой лабораторией Радова позволяет сделать вывод, что он не чурается этой работы, умело воссоздает речь персонажей и тем самым добивается усиления их эмоционального воздействия на читателя.

Языковое мастерство Радова очень самобытно. Все разнообразие живой разговорной речи, особенно колхозников, писатель воплощает с завидной полнотой и точностью. Язык в очерках и рассказах, особенно при

передаче прямой речи, полон особых оттенков, значения, красочности.

Самой распространенной речевой формой очерков и рассказов Радова является диалог. Иногда он прерывается рассказом-отступлением одного из участников беседы или сменяется «внутренним монологом», но в том и в другом случае стиль повествования почти никогда не теряет страстного напряжения.

Несмотря на то что писатель часто сознательно налагает на язык персонажей «большую публицистическую нагрузку», речь их от этого не теряет своеобразия. Автор широко использует добродушную, порой остроумную шутку, меткий народный оборот речи.

Недавно один из литераторов, характеризуя Радова, сказал, что тот берется за перо не потому, что об этом надо написать, а потому, что об этом нельзя не писать. И в этом, как ни парадоксально, не только сила, но и слабость творчества Радова. Сила — в пафосе партийного подхода к действительности, в правдивой постановке острых вопросов современности. Слабость — в нетерпеливости, дидактичности, эскизности. Особенно это заметно в таких очерках-рассказах, как «Целинная история», «Темп и разумные люди».

У Радова сформировался свой творческий почерк. Его больше всего интересует общественная деятельность человека, мир его мыслей. При этом личная сторона жизни героев часто оказывается вне основной линии сюжетного развития. Это оправдывается законами индивидуальной писательской тактики, против которых нет необходимости возражать. Но если уж писатель сам начинает «нарушать» собственные ему пределы видения и воссоздания действительности и «вторгаться» в интимный мир героев, то хотелось бы, чтобы в будущих произведениях он делал это психологически тоньше и убедительнее, чем, например, получилось у него в рассказе «Воскресный сюжет».

Как указывалось, Радов своевременно умеет подмечать то, что выдвигается в порядок дня жизни. И это хорошо. Хуже, что в своем похвальном стремлении добиться быстрого разрешения различных актуальных задач и «выкорчевать зло», он иногда начинает повторяться. И тогда то, что было откровением в одном произведении, выглядит уже вариацией в другом и, конечно, разочаровывает в третьем.

Искусство не терпит повторов. Нет необходимости повторяться и Радову. Читатели не забывают его очерков и рассказов. Эти произведения, которые, как казалось некоторым кабинетным критикам, написаны лишь на злобу дня, продолжают жить полнокровной жизнью по прошествии не только месяцев, но и лет, хотя на многие поставленные в них вопросы уже давно получен ответ.

АЛ. МИХАЙЛОВ

ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ ХАРАКТЕРА

О СТИХАХ
ВАЛЕНТИНА СИДОРОВА

Валентин Сидоров не в свой срок начал писать стихи. Ему бы начинать во второй половине шестидесятых, а он, по возрасту, попал на крутую волну пятидесятых и, подхваченный ею, несколько лет носился по бурному морю поэзии без руля и без ветрил, производя на свет ординарную стихотворную продукцию. Поэт в нем обозначился к середине шестидесятых, когда Сидоров понял, что он играет не свойственную ему роль, напрягая голосовые связки в стремлении обратить на себя сочувственное внимание публики.

Тогда Сидоров довольно решительно, и, конечно, с потерями, стал менять тематику и эстетические принципы стиха. Произошло это не механически, не разом, но в душе его, откликнувшейся на зов времени, случился настоящий переворот, человек угадал, а потом, видимо, и понял, что атмосфера времени изменилась и вместе с нею изменились духовные запросы общества.

В первых книжках Сидорова («Дом моего детства», «Испытание любовью») почти нет каких-либо существенных особенностей той поэтической индивидуальности, которая проявилась позднее, они просто несамостоятельны. Конечно, молодому поэту нельзя отказать в искренности, его, как и других поэтических сверстников, в это время волнует идея добра и справедливости, нравственной чистоты и бескорыстия. «Пусть властвует над нами чистота, пусть бескорыстие нашим сердцем движет»,— восклицает он.

Подобных лозунгов и деклараций в то время было много. Самые ходовые — или, может быть, расхожие? — глаголы в стихах пятидесятых годов: *люблю и ненавижу, хочу и не хочу*. Довольно их и на страницах книжек Сидорова, как, впрочем, и других внешних примет тогдашней молодой поэзии. Причем нагляднее сказались не сильные, а слабые ее стороны — декларативность, риторика, стилистическая и стиховая расхлябанность, эстрадная крикливость. Ради того, чтобы привлечь к себе внимание, он готов стать чуть ли не ярмарочным зазывалой: «Слушайте, слушайте слово «Арбат»!» Он изощряется в придумывании парадоксальных и бьющих на внешний эффект строк: «Не смейте не верить в бессмертье!» «Когда я умру, обнаружится, что был я и вправду талантлив»... «Мы сжигаем прошлое нашей земли». «Нами решается, нами: бессмертен или нет человек» и т. д. и т. п.

Это назойливое интересничанье было вызвано острым соперничеством на эстраде, на той символической эстраде, куда поднялась поэзия в пятидесятые годы. О собственной гениальности говорили не стесняясь, эгоцентризм был в моде («Предчувствие болдинской осени опять лихорадит меня», «Я полон предчувствием нового слова»). И надо было ни в чем не отставать от моды, чтобы держаться на поверхности. Для этого предпринимались нервные усилия взбудорить стих через внешнюю экспрессию поэтического образа, заострить его фельетонным сюжетом, «перекричать» своих коллег.

Мечась где-то между Маяковским и Евушенко, споря с последним и не в силах преодолеть его влияние, одновременно огля-



В. М. Сидоров

диваясь на Вас. Федорова («Хлопский дух не вышибешь веками...») и на В. Бокова («На реке Потудань»), Сидоров все же оказывается в русле господствующей стиховой традиции. Он рифмует: священнодействовать — облагодетельствовать; повседневностью — безмятежностью; препираются — упираются; мужество — мучиться и т. д.

Словом, молодой поэт на пути самутверждения пользовался теми же средствами, что и его сверстники. Позднее, приняв новую эстетическую веру, он поспешит сделать категорический вывод: «А победили не новаторы. А ведь когда-то — боже мой! — слова дымились словно кратеры над обалдевшей толпой».

Если смотреть объективно, то молодому поэту, каким был Сидоров в пятидесятых годах, трудно было не поддаться влиянию господствующей тенденции поэтического развития. Таково было время. Эстрадная поэзия возникла не по прихоти одного или нескольких поэтов с хорошо поставленными голосами, она, как могла, отвечала на потребности времени, откликалась на актуальные проблемы общественного развития. И недостатки этой поэзии, хорошо видные сейчас, были продолжением ее достоинств. Страсть, запальчивость и торопливость, желание дать ответ на все самые глупие вопросы, которые в изобилии ставила перед обществом действительность пятидесятых годов, нередко приводили к поверхностности, от которой страдала поэзия.

Но горячка схлынула, подошло время вечерних раздумий, основательной аналитичности, даже некоторого успокоения. И тогда на поэтической арене появились новые имена. Все вдруг заговорили о Владимире Соколове. А ведь он был и прежде, но — со сво-

им тихим голосом и неброской манерой письма — как-то не вписывался в общую атмосферу. Соколова почти не замечали. Ко второй половине шестидесятых наступило его время. Тогда же яркой кометой сверкнул в поэзии Николай Рубцов. Основательнее и увереннее заговорили о Василии Федорове. В поэтическую орбиту вошли и другие поэты, которые прежде оставались в тени, и среди них — Валентин Сидоров.

Да, очень не похож сегодняшний Сидоров на того Сидорова, каким он начинал и довольно долго еще оставался в начале шестидесятых годов. Как почти все его сверстники, он не миновал в начале пути военной темы. Военное детство для молодого поколения пятидесятых годов было той глубоко личной темой, которую оно устанавливало связь и перекликалось с творчеством поэтов-фронтовиков. Опять-таки первым начал с нее В. Соколов, а уж за ним и все остальные. Если для поэтов фронтовой плеяды трагический и героический опыт второй мировой войны уже не мог заслониться никакими другими важными событиями, и по сей день служит мерою человеческого и творческого поведения, то для их младших коллег впечатления детских и отроческих лет, опаленных смертоносным дыханием войны, стали первым актом становления гражданского и творческого самосознания.

Можно взять почти любого поэта из этой плеяды — В. Цыбина или Г. Горбовского, В. Гордейчева или В. Сорокина, Р. Казакову или Е. Севтушова, посмотреть собранные вместе стихи и убедиться, что те из них, которые навеяны впечатлениями и переживаниями военных лет, как правило, серьезны, глубоки, полны драматизма.

Таковы же и «военные» стихи Сидорова. Среди фельетонно-публицистических вариаций этих лет они выделяются самостоятельностью, ибо отражают *единичный* опыт, *свою* судьбу, хотя и неотделимую от судьбы народной. Общая судьба поколения отразилась в миллионах конкретных судеб маленьких, но рано повзрослевших детей, и поэзия 50—60-х годов в изобилии представила нам стихи о героической драме военного детства. «Мир для нас открывался не сказкой, а штыком и солдатскою скаткой», — скажет Сидоров, и не о себе, а о поколении, опираясь на свой опыт и опыт поколения, крепко держа в памяти картины отступления наших войск и эвакуации («Горькой пылью пылили войска, на восток уходили войска. Уходили и мы на восток по дорогам, уставшим от ног»).

Во второй в общем-то слабой книжке «Испытание любовью» Сидоров заметно преобразуется, соприкоснувшись по теме со стройкой, с рабочим коллективом («Белгородская тетрадь»). И хотя в целом эту вещь нельзя назвать самостоятельной, но тяготение к естественности и простоте уже заметно. Наступает некоторое успокоение, передышка. Они были, очевидно, необходимы, чтобы без суеты и спешки оглядеться вокруг, поразмыслить о жизни и о поэзии.

Поначалу опять-таки не обходится без деклараций и общих слов («Мы открываем с каждым днем Россию...», «Россию, знаю,

постигать рискованно...» и даже: «В ее глазах (России.— А. М.) есть что-то от раскольников...» В поэтическом воображении брезжат символы. Поэт наслаждается тишиной («Меня врачует нынче тишина...»), миром и спокойствием, устойчивым деревенским бытом. У него еще прорывается временами этакая эстрадная лихость («Да здравствует домашняя еда, да здравствует домашний распорядок...»). Но господствующим становится другое чувство: «Мне торопиться некуда. Бреду ленивым шагом. Спят мои желанья». Поэт «свободен от страстей», он боится только одного — как бы вновь его не потянуло «к прокурённым и грязным коридорам и одержимым спорам об искусстве».

Так что же это такое — духовная летаргия? Скорее всего это внутренняя полемика с собою прежним, поэт кидается в крайности, ища свое место в духовной жизни общества, он хочет начать с исходности, обрести почву под ногами. И ищет ее, конечно же, в деревне. Антиурбанистические мотивы («Небоскребы») тоже объясняются порывом к исходности, желанием, чтоб «был средь камней и железа хотя бы наемк на простор, чтоб пахло травой и деревней...» Жажда компенсации за городской плен у Сидорова, как и некоторых других его поэтических сверстников, оборачивается нелюбовью к городу с его геометрическими формами и бездушной цивилизацией.

Наивен этот расслабленный и хилый антиурбанизм во второй половине XX столетия, когда техническая революция буквально на глазах преобразует мир! Происходит он от искреннего желания защитить человеческую исходность, но диалектика общественного развития понимается односторонне. И любопытно, что пафос защиты человека от роботизации, защиты его естества сближает «деревенских» поэтов и такого ярко выраженного урбаниста, как А. Вознесенский.

Е. Евтушенко поставил диагноз болезни, которая мешала ему глубже, полнее, объемнее выразить время, он назвал ее — поверхностность. Но разве эта болезнь не присуща была многим другим представителям того поколения? Разве был от нее свободен Сидоров? Поверхностность как следствие молодого энтузиазма и торопливости в поэзии 50-х годов имеет свое объяснение, но дело не в этом. И критика подметила эту болезнь, и сами поэты, став зреее, сумели ощутить ее. И вот тогда начинаются поиски критериев истины и того осязаемого, на котором проверяется совесть. Для поэтов, близких к деревне, этим осязком чаще всего оказывался отчий дом, родной очаг. Сидоров прямо признается: «...Как нигде, я здесь боюсь солгать. Хоть в чем-нибудь. Хотя бы в самом малом».

Образ малой родины, родного очага у Сидорова с годами трансформируется, это уже не деревня, это — «мой город», маленький провинциальный городок, где — к радости поэта — «Россия еще уездная жива!» Он видит и преобразование городка, видит, как «дымятся трубы заводские, в бетон закована трава...» И все-таки уездная Россия дает себя знать «и в том, что яблоневым цветом

пахнет в раскрытое окно, и в том, что, сокрушая камень, растут цветы и лопухи; вступая в спор с грузовиками, горланят лихо петухи...» Сидоров выделяет в пейзаже городка приметы сельской жизни, так что трансформация образа коснулась внешности, но не существа.

Передышка от эстрадного бума пошла на пользу Сидорову, она изменила творческое поведение. Лобовые атаки фельетонно-публицистического свойства не принесли успеха в постижении некоторых сложных вопросов внутреннего бытия человека, а именно к ним-то и проявляет интерес Сидоров на этом переходном этапе творческой жизни. «О мирозданье бьется человек. Он весь во власти поисков и странствий», — говорит поэт и, наблюдая человека изнутри, оставляет его наедине с временем и пространством.

Однако от такого противостояния в атмосфере образуется холодок одиночества. Эмоциональную компенсацию лирический герой хочет получить в стихах о любви. В пятидесятых годах стихи эстрадного свойства не обошли и этой темы.

В одном из более поздних стихотворений о любви у Сидорова промелькнет не случайная обмолвка: «Не с той строки я песню свою начал...» Может быть, поэт имел в виду только любовную песню? Или песню вообще, в более расширительном понимании? И то и другое в духе самокритической тенденции последних лет. Но в любовной лирике Сидорова все-таки есть несколько запоминающихся стихотворений («А я не знал, а я не ведал...», «Единственный короткий поцелуй...», «Последних слов некая тайна...» «Жизнь вечерет понемногу...»), и в них заметны элементы эмоциональной и эстетической переходности.

Валентин Сидоров не застрял на перекрестке литературной перепалки, в которой он принимал участие, не увлекся эстетическими декларациями и программированием настолько, чтобы забыть о самой поэзии. Он попытался подойти к этой теме изнутри, сверяя ее с живою действительностью, ища вдохновение в непосредственном соприкосновении с нею:

Опять с Москвою я в разлуке.
Луны и снега колдовство.
И снова город Семилуки,
Столица сердца моего.

И вновь чернеющие кручи,
Дыханье зябкое реки.
И снова семь донских излучий
В мои вторгаются стихи.

И вновь напомнил мне, напомнил
Глухой заснеженный вокзал:
— Чего-то ты еще не понял,
Чего-то ты не досказал.

Теперь адрес установлен окончательно. Исчезла утилитарная терминология из стихов о поэзии, и выше ее предназначение видится тоже иначе: «Поэзия! Ты испокон веков угадываешь бога в человеке». Сказано высокопарно, но через это надо было пройти, чтобы преодолеть некоторые элементарные представления. И когда Сидоров призывает: «Читайте Тютчева, поэты...», — то стихи дают ответ, почему именно его: «В нем

есть предчувствие ответа, а это больше, чем ответ».

Серьезно и как будто основательно вызрело убеждение в необычайной трудности поэтического творчества, вот почему ответственность за печатное слово, за поэтическую строку возводится в принцип («Каждый раз предо мною тупик вырастает стеною глухою, и робею я, как ученик, каждый раз перед новой строкою»).

Все это важные черты переходного периода в поэтическом развитии Сидорова. Новое качество достигалось в результате осознания *своих* возможностей, *своей* темы. Главной, стержневой идеей и творческой целью поэта на этом этапе стало познание России. Сначала через природу, потом через историю и современность в их сопряжении.

Поэт не спешит с широкими обобщениями, не суетится в серьезном деле. К поэтическим обобщениям Сидоров идет от конкретных исторических сюжетов, таких как «Стихи о Петре», «Шел князь на князя...», «И вновь отступление пели...», «Стихи о Петербурге». Особо пристального внимания Сидорова удостоился Иван Первый — Калита, ему он посвятил большое стихотворение, попытался дать всестороннюю оценку личности и деятельности миролюбивейшего русского князя, его социальный портрет. В стихотворном жанре это вообще вряд ли возможно. Во всяком случае, Сидоров не доказал обратного. Но он продемонстрировал аналитический подход к оценке деятельности исторической личности и к самой истории на довольно обширном материале.

В ряде стихотворений диалектическое понимание истории служит компасом к верным поэтическим обобщениям. Например, в стихотворении «Шел князь на князя...»: «Каким платили горем и позором мы за раздоры мелкие свои!» — восклицает поэт, и в местоимении «мы» сокрыт важный смысл: Россия, родина дорогá поэту со всею своей трагической и великой историей, он принимает на себя это наследство, но не бездумно, а со всеми уроками, преподанными жизнью. Сидорову обязательно надо было пройти самостоятельный путь познания России прошлого, явственно, предметно увидеть Русь в ее величии и «в нищете, в грехах, в грязи...»

Теперь уже в его стихах видно понимание взаимной обусловленности и сцепления исторических событий, они не выглядят комментарием или иллюстрацией к работам историков и самостоятельны уже потому, что неожиданна группировка событий, свобода сближения времен, стихи живописны и точны в подробностях чисто поэтического свойства. Я бы особо выделил стихотворение «И вновь отступление пели...» — о нарвском сражении русских со шведами, о той «конфузии» (как точно легло это старинное слово в контекст стиха!), что «предтечей победы... была». И так бывало еще не однажды, говорит нам поэт, не однажды мы оставляли последний реду́т. Главный же поэтический вывод состоит в том, что и в эти «горькие дни и года» мы знали: «Последняя битва — за нами».

Эмоциональная первооснова доверия,

которое устанавливается между поэтом и читателем, — в опыте. Для стихов исторического плана опыт тоже необходим, но это не столько биографический, сколько чисто внутренний опыт, умение заново пережить события прошлого, почувствовать их в двух временных измерениях — соответствующем событию и сегодняшнему. Только тогда можно попытаться устанавливать связь с будущим, прогнозировать его, «не уповая на бессмертье, ему служить лишь одному».

В связи времен — связь традиций. Сидоров не вспоминает и не пишет о прошлом просто так, ради любопытства или дилетантского честолюбия, его экскурсы в русскую историю имеют побудительные мотивы в современности, связаны с нею.

Идея связи времен и связи традиций выражена в довольно своеобразном сюжете стихотворения «Туманом зыбким город тает...» Его трудно разложить на цитаты, но лирический сюжет, упрощая, можно свести к ясно выраженной мысли: поэту дороги и необходимы Петербург, Петроград и Ленинград — великий город с его прошлым и настоящим, историей и сегодняшним днем. За несколько условной формой стихотворения угадывается его более широкий смысл — концепция исторического развития.

Теперь уже и картины природы обретают такие подробности, вызывают такие ассоциации, которые складываются в более или менее конкретный облик родины, России. Но для этого надо собрать вместе стихотворения «Маячит смутная ветла...», «Меняют очертанья вещи...», «Русь», «Ах, как пахнет некошеним летом!..», «И вот она — твоя деревня...», «Немыслима Россия без снегов...», «Обледенела ракета...», «Разрезав надвое кустарник...» Когда читаешь их одно за другим, то ищешь и находишь в себе те же или близкие ощущения:

Немыслима Россия без снегов,
Голубовато меж берез сквоящихся,
Без тишины, без этих облаков,
Над головою медленно скользящих.

А татарник, поблекший от жары и медленно колеблющий свои колючие шары, воспринимается как образ-символ:

С неукротимой отвагой
Над порыжевшею травой,
Над рыхлой кромкою оврага
Он изогнулся тетивой.

Ах, боже мой, какая малость! —
Кривая тень. Сухой реней.
Но это все, что нам осталось
От дикой вольности степей.

Чем ближе к зрелости, тем труднее дается поэту постижение природы. Раньше пейзаж писался свободнее — и оттого, что живы еще были детские ощущения от восприятия природы, и по молодости все в ее мире казалось простым и доступным. Теперь же, прислушиваясь к шороху деревьев, пытаясь разгадать их «смутный» и «немой» язык, поэт признается: «В звенящей тишине простора (ох, уж эта «звенящая тишина», кто только обходится без нее и в стихах и в прозе! — А. М.) постичь не в силах слух и взгляд: что означает этот шорох? что эти блики говорят?» Да и детские ощущения, их достоверность подвергаются сомнению:

«А в детстве — или мне казалось — я знал все знаки волшебства...» Теперь, в минуты острого недовольства собой, ему кажется, он вообще не в силах уловить и передать краски природы, что все пишется слишком условно и приблизительно. «И сколько б я оттенков цвета не сыпал щедрою рукой, — а снег не тот, а снет не этот, а снег совсем, совсем другой!» И все же велико желание проникнуть в тайну природы, и ради этого поэт готов отрешиться от всех мирских забот и треволений, объявляя себя *только путником*, идущим по земле с прутиком в руке.

Такая позиция уязвима сама по себе. Влияет она и на содержание и тональность пейзажных стихов. *Просто* любование и наслаждение природой у Сидорова несколько подзатянулось, пейзаж стал каким-то сонным, статичным, он вызывает в памяти «слово, нынче забытое, нега». Природа может внушить состояние покоя, умиротворенности, благодушия, *неги*. Плохо человеку, если оно станет господствующим состоянием. Сидоров позднее вспомнит об этом и трезво посмотрит на вещи, скажет: «Хоть раз в году, но надо, надо отбросить все дела свои. Да осенит тебя прохлада! Да оглушат тебя ручьи!»

Приметы индустриального пейзажа тоже встречаются изредка у Сидорова, в одном из стихотворений «стремительная телебашня буравит тьму и облака». Но предпочтение и в этих случаях отдается природе, деревьям, они, а не телебашня, «соединяют с небом синим всего надежной и верней».

Наблюдательность Сидорова тяготеет к временной связи, к временным ассоциациям. Но пускаясь в плавание по бурному морю китайской философии, он примеривает бороду патриарха, демонстрируя в высшей степени модное раннее постарение (обычно первые его признаки обнаруживают поэты и — особенно! — поэтессы в 18—20 лет): «Уже в лицо дохнула старость, последний близится рубеж...» Или в венке сонетов «Светлая осень»: «Не возвращайся, молодость, ко мне. С тобой прощаюсь, молодость, навеки». В этой связи мне вспомнилось стихотворение А. Гатова, который после своего семидесятилетия высказал желание прожить долго, «слагая жизни гимн благоговейный», причем так, чтобы «не узнали по стихотворенью, кто автор — старый или молодой». Пожалуй, для поэта позиция Гатова предпочтительнее. Настроиваясь на волну лирики Тютчева, Сидоров порою не может преодолеть обаяние элегических мотивов, вызванных трагическими обстоятельствами жизни поэта уже в преклонном возрасте.

Не связан ли с ранним постарением мотив продолжения жизни, опровержения предела, который после Сельвинского в нашей лирике, кажется, прозвучал впервые у Сидорова. Он не строит, по примеру старшего собрата, никакой рационалистической схемы, не выдвигает никакой научной гипотезы, он весь во власти эмоций: «Я стою на слиянии рек, ощущаю я клеточкой каждой: не однажды живет человек, не однажды».

Порыв этот эмоционален и искренен, и,

пожалуй, не надо его связывать с кокетливыми стихами о старости и «последнем рубеже», но, кроме интуиции, интуитивного протеста против небытия, хотелось бы ощутить еще и твердое жизненное основание, тогда цитированный рефрен прозвучал бы сильнее, весомее.

Отрекшись от рационалистических стихов, усвоив взгляд на поэзию как на волшебство, Сидоров иногда преувеличивает роль интуиции («А нам и самим неизвестно, откуда все это и как и что заключается в тесных, корявых, неточных строках»). И в то же время не может отказаться от прямых дидактических выводов, то ли учитывая собственный опыт, то ли умом постигая диалектику отношений искусства и действительности. Я имею в виду стихотворение «Поэту», написанное в императивной форме, в духе знаменитого брюсовского послания «Юному поэту». «И не страшись того, что гений в тебе не смог еще созреть. Страшись упущенных мгновений, страшись, что можешь не успеть». Сидоров призывает поэта дарить людям радость, не огорчаться мелочами, не мнить себя пророком и «центром бытия» и жить сознанием, что «ток высокий идет сейчас через тебя». Правильные в общем мысли высказаны довольно резонерски и не без выперзости. Зато поэт восславил «десятью музу» — музу молчания, противопоставляя ее «суете и мелкой страсти».

Так противоречиво складывается линия творческого поведения поэта и его взгляды на поэзию, на искусство. Но тенденция развития обозначается отчетливо. Приверженность к традиционной поэтике Сидоров закрепляет венком сонетов «Светлая осень». Не только сама форма, но и содержание, осенние мотивы, как полагает поэт, традиционны для сонета. Такое же внутреннее задание имеет и ироническое обращение к критике (разве можно о критике без иронии!): «Мой критик в смятах изощрен и прыток (?), но верю я: несовременный лад моих стихов простит мне все же критик».

Не помню, чтобы критика кого-то бранила за «несовременную» форму сонета, сонеты писали и И. Сельвинский, и А. Тарковский, и М. Дудин, и другие наши поэты. Дело не в форме. Сонет и венок сонетов могут оказаться более современными, чем публицистическое стихотворение. Все дело в органичности, в точном ощущении единства формы и содержания. «Светлая осень» мне показалась слишком традиционной в том смысле, что она повторяет знакомые мотивы, но не из-за формы сонета как жанра.

Примечательным итогом идейно-нравственных и эстетических исканий на рубеже 60-х и 70-х годов для Сидорова стала лирическая поэма «Урочный час» («Огонек», № 32, 1972), написанная октавами. Почему поэт избрал основательно забытую форму восьмистишной строфы с четким ямбическим размером? Я не вижу необходимости доискиваться причин этого обращения к старинной форме, так как понимаю, чувствую, что канонические октавы с шестистопной поступью ямба оказались «удобными» для неторопливого и серьезного размышления о времени и о себе. Право же, имея в виду

Валентина Сидорова, его нынешнюю, уже утвердившуюся в стихах склонность к самоуглублению, взгляду на себя как бы со стороны и в то же время изнутри, его тяготение к эстетике классического стиха, — теперь уже кажется, что иначе и нельзя было написать об этом, поэтика «Урочного часа» не вступает в противоречие с его содержанием, темой, философией.

Сюжет начинается с дороги («А «газик» начинает свой разбег и разрыхляет затвердевший снег»). Воистину так, как сказал Твардовский:

Пусть трезвый опыт не перечит,
Что нам дорога — лучший быт.
Она трясет и бьет, а — лечит.
И старит нас, а — молодит.

Ведь это он начал «За далью — даль» с дороги, убедившись на собственном опыте, что значит перемена мест для творческого поведения поэта. Первые же октавы заставляют внимательно следить за мыслью поэта, за его нелегким «самоанализом дотошным», за тем, как он прощается с прошлым. Нет, нет, это не посыпание главы пеплом, это не хула тому прошлому, увлечению которым поэт отдал большую дань. Это ощущение рубежа, отрезка пути и сознание необходимости преодолеть инерцию движения в одном направлении, это трудное признание: «И вкось и вкривь бегут мои мгновенья. Я, призрачность прошедшего храня, идущий день куда-то отодвинул и в нем живу, увы, наполовину». В диалектике поиска нового направления и более смелого, более решительного творческого жвигания в современность проясняется и уточняется взгляд на прошлое. Никогда прежде Сидоров не писал так о современности, о настоящем, что «только в нем стремительная лавиной несетса вечность, убивая страх. И только в нем, молчащем иль ревушем, минувший день смыкается с грядущим».

И вот, наконец, болевая, дискуссионная тема последнего десятилетия, деревенская тема. В хоре, который пел осанну старой патриархальной деревне, голос Сидорова не выделялся, но поэт пел в нем по убеждению. Сейчас он с обезоруживающей искренностью пишет:

Ты мне всегда казалась неизменной,
Как неизменны небо и трава.
Обязана ты быть несомременной,
Ты лишь несомременностью жива,—
И этой мыслью, мыслью сокровенной,
Я все свои пронизывал слова.
И никакого не было мне дела,
Чего сама ты, собственно, хотела.

С каким упорством я свой тратил пыл
На поученье и на повторенье.
Я был предельно искренним. Я был
Напористым порой до одуренья.
Но не деревню — я боюсь — любил,
Себя любил на фоне той деревни,
Себя и видел в зеркале стихов
На фоне заповедных облаков.

Такая правда нелегко дается. И самое удивительное заключается в том, что именно она оказалась не по душе А. Ланщикову, который процитировал следующее за этим восьмистишие («Литературная газета»,

№ 35, 1971) с гневным пафосом обличения. Такие стихи вне контекста можно интерпретировать как угодно, но зачем же пользоваться запрещенным приемом?.. Зачем же подставлять ножку поэту на столь трудном и ответственном повороте его творческой судьбы?..

Подивиться пришлось еще раз, когда вольная интерпретация поэмы Сидорова А. Ланщиковым вызвала похвалу В. Кожина («Литературная газета», № 38, 1971). Благочестиво рассуждая о «переломе» в поэзии и в критике, предавая анафеме групповщину, В. Кожин ставит в пример А. Ланщикова, который критически говорил «о бессодержательности октав В. Сидорова». Действительно — «перелом»: два критика, которые совсем недавно считали Сидорова своим кумиром, с ним связывали надежды на будущее поэзии, теперь, не утруждая себя хотя бы элементарными доводами, полностью игнорируя содержание нового его произведения, имеющего принципиальный характер, объявляют это произведение «бессодержательным»!..

Вероятно, Валентину Сидорову предстоит трудная проверка и характера, и принципов отношения к предмету поэзии, к самой поэзии. Событ ли его с пути подобная критика, нет ли, ведь в исповеди он оказался беспощадным к себе: «...был смешон я в рвении напрасном, когда вперед, не ведая преград, я шел с лицом, повернутым назад». Половину, примерно, поэмы «Урочный час» занимает чрезвычайно существенный для Сидорова и, я думаю, для современной поэзии вообще, ретроспективный анализ недавних тематических предпочтений. В нем есть заострения, Сидоров усугубляет свои заблуждения, видимо скрывая под личным местом именем отнюдь не только личный опыт. В своем разборе я пытался показать, что и деревенская тема, и в особенности историческая осваивались поэтом с разной степенью глубины, но в общем обогатили его творческий опыт. Острое недовольство собою дает основание надеяться и ждать от поэта стихов и поэм иного звучания, иного поэтического качества, об этом он говорит в конце «Урочного часа», говорит с некоторой долей самоиронии, считая, что неловко же на полном серьезе выдавать «всяческие авансы. Дескать, все я понимаю теперь сам, но... дайте срок, не попускайте меня — ведь «надобно помедлить на прощанье перед большим, решительным рывком. И ни к чему здесь, согласитесь, спешка...»

Поэма «Урочный час» заслуживает специального подробного разбора, тут есть о чем и подискутировать, и оценить серьезное размышление о современности, о своеобразии нынешнего века, проследить, как меняет оттенки сквозной, поэтически значительный образ снега, рассмотреть в контексте поэмы эпизод с журналистом и лесником и т. д. Но я ограничусь теми короткими замечаниями о самом главном, которые мне дают право поставить точку в этой статье о Валентине Сидорове с надеждой на новые встречи.

О величии духа русского

Д. Балашов. *Марфа-посадница. Роман. М. Изд-во «Советская Россия». 1972. 432 стр. Цена 95 коп.*

Скажем сразу: новая книга Д. Балашова — явление незаурядное в современной нашей литературной жизни. Нет никаких сомнений в том, что книге этой суждена долгая жизнь — и у читателей, и у критиков. Ее будут часто спрашивать в библиотеках, к ее анализу не раз возвратятся специалисты, хотя суждения их вряд ли совпадут.

Прежде всего перед нами превосходная русская проза. Поразительна смелость автора касаться самых глубинных, трагических и напряженных страстей, будь то в человеческих характерах или в социальных столкновениях. Радости бытия, самые мирские и обыденные, смерть и ужасы неправых войн, сложные извивы людской души, кипение противоборств — все это выписано автором с истинно художественной глубиной. Не постылая авторская дидактика (се хороший, а се плохой), нет, перед нами горячее, осязаемое изображение жизни со всеми ее противоречиями и контрастами.

«Марфа-посадница» — исторический роман в классическом жанровом определении. Строгий и точный хронологический адрес (Новгородская республика на закате своего существования в 1470—1478 годах). Перед нами не просто книга «из жизни XV века», а размышления о судьбах родины и народа на крутых переломах истории.

Историческое повествование Д. Балашова представляется весьма своевременным и актуальным.

В целом Д. Балашов удачно продолжает традицию русского и советского исторического романа в ее центральном, стволо-

вом развитии. Мы говорим «в целом», ибо к автору есть претензии, о чем в своем месте.

Основное идейное содержание романа — нелегкая цена каждого общественного шага вперед, тяжкая плата за всякое поступательное движение. Верно, исторический путь России не был усыпан розами. Любой социальный и гражданский успех на этом пути стоил пота и крови, и подчас немалой. И теперь, оглядываясь назад, видно, как на этом пути развивался характер нашего народа, его твердость духа, необычайная стойкость и выносливость, суровая крепость перед трудностями и бедами.

Роман этот — о величии духа русского народа. Без позы, без звонких речей идут люди до конца в исполнении своего долга, как они понимают его. И здесь нет никакой умильной восторженности. Да, были и предательства, и измены, разброд и наветы, были! Но все это не затеняет образы великих предков наших, чьим наследством мы пользуемся.

Автор — талантливый литератор и прекрасный специалист, редкое сочетание. Он знает предмет так, как если бы родился в Новгороде вместе со своими героями. И он любит своих героев, хотя ни словом, ни намеком не говорит об этом напрямую, как повелось, к сожалению, ныне у некоторых. Но любовь не должна быть слепой, особенно любовь писателя. Даже если это сыновья любовь. И здесь самое время сказать о самом спорном, на наш взгляд, месте в позиции писателя.

Господин Великий Новгород оставил поразительно глубокий и красочный след в истории Руси. Это настолько явно, что можно не продолжать. Да, обаяние мятежного веча, удалого Садко, лихой и своенравной новгородской вольницы велико, недаром так много русских художников и мыслителей восхищались всем этим. Восхищается блистательным Новгородом и Д. Балашов. Городские пейзажи написаны сочно, они воспринимаются так, словно сам бродишь по гулкой бревенчатой мостовой, любуешься яркими нарядами горожанок, слушаешь гул веселого торгового дыхания смоляной запахи ладей, пришедших из-за моря.

Но... Автор художник глубокий, историк нелицеприятный. И вот среди удалых, веселых звуков переливчатой той мелодии то и дело слышишь вдруг иную, контрастную тему — мрачную, нервную, а порой и неприятную.

В красочном, истинно кустодиевском описании веселья новгородской аристократии уже на первых страницах романа читаем: «Миновала пора героических походов на «низ» и внешней, нарочитой грубизны. Юноши в Новгороде, подобно знатной молодежи в далекой Флоренции, стали завивать волосы, кудри свободно опускались до плеч, на широкие, откиннутые на спину цветные воротники. Лишь у стариков волосы по-прежнему лежали на спине, свитые в плотный жгут». Да, действительно, длинные завитые кудри для «героического похода» не очень-то...

Или вот невеселые и как-то уж очень настораживающие размышления новгородского посадника: «Третьеводни эта ссора с немцами, ночная беготня и пересылки перепуганных ганзейских купцов, когда казалась, что черные люди разнесут немецкий двор в щепы. Кто там виноват в драке — темный лес, а допусти он самосуд, и налаженный с таким трудом мир, а с ним и торговля опять рухнут, и это перед лицом московской грозы! Конечно, жаль этого ладейника, убитого немцем. Передают, и мастер был добрый. А на того рыжего детину из Любека, красноглазого, с воловьими ручищами, он не мог смотреть без отвращения. И уже приходили старосты от двух улиц, и от братства ладейников... Немцы откупились, конечно, дали виру, но по закону следовало бы судить преступника и посадить в железа, а то и казнить... Как это нелепо, что ради интересов градских приходится действовать против своего народа!»

Чи же это такие «интересы градские», раз они против собственного народа? Да полно, «градские» ли они?

Д. Балашов ясно, недвусмысленно показывает нам разброд и шатания в Новгороде, метания новгородской политики, увлечения ересями... И прав, прав старец Зосима, который однажды, «разомкнув уста, прошептал: — Глубоко вкоренился грех во граде сем!»

Да, далеко было тогдашней Москве до новгородского великолепия и убранства! И мостовых там нет, и Кремль так себе, и каменные соборы только-только начинали строиться, и ремесленники поплотше, и одежды победнее... Да, так, новгородские бояре выглядят куда как эффектнее, нежели присадистые московские воеводы, суровые и властные. Но что ж делать, историческая правда и справедливость оказалась именно на стороне этих вот не слишком-то обаятельных персонажей.

Москва, Московское государство стало центром, объединяющим и собирающим Русь. Без этого — гибель, распад, расхищение более сильными соседями. Ибо развитие русского народа и великой русской культуры могло продолжаться только в рамках единого, прочного и сильного государства. Цена за централизацию была заплачена громадная, слов нет. Но во имя чего? Ради сохранения самой сущности нации. И здесь нет цены, которую нельзя было бы заплатить, хотя неверно и близоруко было бы забывать об этой самой «цене».

Да, со щемящим сердцем, со слезами на глазах читаешь о тяготах новгородского разорения. Схлестнулись пути молодого русского государства со своеволием мятежного новгородского боярства, и пал Новгород, и увезли вечевой колокол по санной дороге в Москву. И то был перст судьбы, ибо случайностей в явлениях такого масштаба не бывает.

Народ гибнет, раздробляясь до состояния пыли, мельчая до стадии планктона, и разносится по миру ветрами и течениями. Велики и славны были Венеция и Генуя, правили полумиром, пока вся Европа была

столь же раздроблена, как и Италия. А потом? Потом — поле боя между сильными и молодыми национальными государствами (Испания, Франция, Австрия), захудалая окраина континента. Чем была, что оставила миру земля Данте и Рафаэля в XVII и XVIII веках?.. Не ту ли участь могло уготовить Руси своеволие Новгорода и иных вечевых республик? И добавим: ни татары, ни турки до Италии не доходили...

А судьба Ганзы, союза вольных немецких городов, торгового контрагента Новгорода? Чем стали славные некогда купеческие центры Бремен, Любек, Росток и иные к началу XIX века? Провинциальными захолустьями крошечных государств, и только. В свое время Наполеон кромсал эти карликовые державы, как хотел. Само национальное единство германского народа ставилось под угрозу.

Да, тяжела цена исторического роста, и здесь Д. Балашов совершенно прав. Но мыто ныне во всеоружии исторического опыта России, и даже на собственном отчасти опыте, разве мы все (и автор в том числе!) не понимаем, что значит (или может значить) провинциальное эгоистическое самовластие, безответственное и безоглядное своеволие и самоуправство? Думается, что следует настоженно относиться к историческим реминисценциям подобного рода. Думается, что в этом вопросе у уважаемого автора произошла некоторая девиация в общем правильном курсе.

Чего стоит хотя бы тот обращающий на себя внимание факт, что все до единого москвичи в романе, то есть люди, руками которых (худо ли, хорошо ли) осуществляется становление нашего великого государства, — все они злые, жадные, бесчестные, грубые, корыстные. Нет ни одного, кто из них вызывал бы хоть какую-нибудь симпатию у читателя. Даже Иван III и князь Холмский.

Когда автор сталкивает новгородских бояр с москвичами, тех самых бояр, которые готовы были отдаться под короля Казимира, объективность и мудрый историзм вдруг словно оставляют его. Вот сцена казни Дмитрия Борецкого и трех его товарищей. Написана эта жестокая сцена смело, горячо. Жаль молодых, красивых, смелых людей, бессмысленно гибнущих под топором московского палача, жаль. Но позвольте, о ком идет речь? О тех людях, которые готовы были растащить Русь в разные стороны и даже пытались это сделать! Хоть бы и сам Борецкий, ведь совсем недавно ему пожалован был Иваном высокий титул. Гонец, попавший прямо на пир к Борецким, громко объявил:

«Великий государь Московский, князь и господин Новгорода Великого, сею грамотою жалует тебя своим князьим боярином! Прими и служи честно и грозно, како достойт слуге великого князя Московского!»

«Служи честно и грозно»... А он кому служил? И разве трагический конец Дмитрия не обусловлен его же собственным выбором на перекрестке государственных судеб?

Или вот другая сцена. Знатный новгородский боярин Григорий Тучин (кстати, жених Олены Борецкой) пробирается из осажденного Новгорода навстречу московским войскам, чтобы спасти жизнь и казну переходом на сторону Ивана. «К ним подскочил разъезд. Жадные, ошупывающие глаза разгоряченных алчных людей забегали по Тучину.

— В службу великому князю! — строго промолвил он и увидел, как разочарованно вытянулись лица москвичей, рассчитывавших на поживу. Он испытал одновременно облегчение от того, что «это» произошло, и стыд за себя, смутное чувство предательства. («Но кому? Все торопятся сделать то же самое!»).

— Доложи государю! — потребовал Тучин.

— Великий государь тебя ишо то ли примет, то ли нет! — спесиво ответил московский дворянин и, отворотившись, громко выбил нос, отряхнув сопли с руки на мерзлую дорожку и обернувшись рукавом.

— За нами трогай! — кивнул от Тучину вполоборота и крикнул своим: — Трогай!

Григорий, дав знак дружине, поскакал следом, ощущая первые смутные сомнения: так ли просто окажется для него, Тучина, в нравственном смысле, служить в одном ряду с этими вот дворянами московскому самодержцу?»

Итак, Тучин — жергва. Ему, видите ли, «нравственно не просто» будет служить Москве... Кто же он, этот новгородский боярин? Не он ли за спиной вече сносился с Казимиром, участвовал в заговорах, сражался против московских войск на Шелони, не он ли отказался пойти в этой борьбе до конца, как это сделала, например, Марфа Борецкая? Да, он не сморкается пальцами, как тот москвич, у него надушенный платок, привезенный из Фландрии, он книголюб, знакомый и с чернокожищем. Но нравственный стержень не совьешь из фламандского полотна, коли его нет в натуре, этого самого стержня.

Да, прав, наверное, грубый тот московский дворянин, усомнившийся, примет ли нового слугу великий князь.

Но вот какова получается в романе итоговая характеристика Москвы, московской политики и людей, ее осуществлявших: «...московская законность покоится на силе и желании государства, ...законы не применяются, а изобретаются когда надо и какие надо, что законность по-московски в этом-то и заключается, и если применяются какие-то законоположения и устраиваются разбирательства, то только между своими и для своих, чтобы не передрались, не утопили один другого, что вернее всего здесь поговорка, что высший закон — власть государя, и только она безусловна, а чтобы уцелеть, нужно... уметь толковать и вкривь и впрямь, применительно к случаю, не лезть вперед, и уметь не иметь своего мнения».

Куда ж далее? Далее остается цитировать только печально известные сочинения де Кюстина...

По-видимому, в этом важнейшем идейном узле романа автор не смог вполне овладеть своим материалом, и тот вышел из авторского повиновения, и закапризничал, как Буратино, вырвавшийся из рук папы Карло. Это капризничание неуправляемого автором материала не может не огорчать.

Отметим теперь частности. Кое-где в романе ощущается некоторая рыхлость. Затянуты сцены приема гостей и застольных бесед у Марфы. Здесь очевидная перегруженность описаний, многословность диалогов и т. п., а кроме того есть и какие-то перепевы первого романа Д. Балашова «Господин Великий Новгород». Очень неясна и как-то ключковата вся сюжетная линия с попом Денисом; намеченная поначалу интересно, тема эта получает в дальнейшем сбивчивое описание и — главное! — неясную авторскую оценку. Ведь не надо забывать, что московская митрополия в описываемое время играла в целом положительную роль в формировании русского централизованного государства, а этот процесс безусловно являлся делом социально прогрессивным, — следовательно, новгородские ереси XIV—XV веков также шли вразрез с общим поступательным развитием Руси.

Теперь о языке. Д. Балашов имеет своеобразный стиль, присущий ему одному, факт, нечастый в современной литературе. Видно, что роман написан не только одаренным литератором, но и знатоком эпохи. Увы, этим комплиментом нельзя ограничиться. В новом своем произведении автор явно грешит стилизацией. Думается, что это в принципе неправильно, нельзя сводить великий русский язык на уровень диалекта, хоть и этнографически (и исторически!) точного. Явно нарочито употребляются «неколики» вместо «несколько», «чо» вместо «что», «етто» (это), «подь», «помавал головой», «седатый», «пото» (потому) и т. д. и т. д.

Текст прямо-таки перегружен терминами и выражениями, непонятными без пояснений: вымол, учан, насад, ферязь, вапа, взеть, корзно, упянский, пулетвенник и т. п. Автор и редакторы, очевидно, понимали, что такой словарь нуждается в пояснениях. И вот роман дополняется комментарием, объем которого сделал бы честь иному научному труду. Терминологические разъяснения сопровождают чуть ли не каждую вторую страницу; своеобразный рекорд здесь установлен на стр. 138, где дано ровно двадцать (!) пояснений к словам: харатья, стихарь, оксамит, обоярь и т. д.

И тем более неожиданно, что в тексте романа нет-нет да и высочит словечко или выражение из современной газеты: «режутся в шахматы», «сверхпреимущества» Феофила, дьяк Брадатый «ждал с докладом», «великокняжеские заседания», «по мере возрастания продовольственных трудностей», «обсудить насущные политические дела»... Увы, примеры такого рода было бы долго продолжать.

Мы очень строго и даже придирчиво разобрали талантливый роман Д. Балашова. Только такой мерой, в полной уверенности

в дальнейший благой рост автора, и следует судить истинно серьезную литературу.

С. СЕМАНОВ

Полярный характер

А. Введенский. В снегах крайнего юга. Ленинград. 1972. 383 стр. Цена 1 р. 05 к.

Уже двадцать пять лет прошло, а мне все вспоминается блеклое небо над стылой северной речкой, нудный дождь и оплывающие коричневой глиной берега котлована.

Мы, студенты Ленинградского университета, строили Михалевскую ГЭС. Стройка по нынешним масштабам — ерундовая, и каждый втайне мечтал о скорой работе в газете, хотя наш отчаянный оптимизм вряд ли разделяли в редакциях, совсем не ожидающих нас с немедленными командировками в Рио-Гранде или, на худой случай, на Северный полюс.

Примостившись в перерыве у желтеющего беззьяка, мы с Анатолием размышляли на тему «повезет» или «не повезет» и «как с последним бороться».

— Знаешь, — признался Введенский, — в годы войны я воевал на Севере. И, видимо, заболел своего рода «ностальгией». Тянет в приполярные края...

Давно стала студенческой историей песня о гудящих проводах «Михалевки», и немало помотала нас по свету судьба. Но когда я узнал, что корреспондент ленинградского отделения «Правды» Анатолий Введенский оказался на борту корабля Второй советской антарктической экспедиции, сразу в памяти — давний разговор у котлована, зубчатая синяя стена леса у горизонта, журналистская юность, верившая в удачу...

Она оказалась и суровее и прекраснее, обожженная лютот антарктической стужей та давняя мечта о дальних краях. То, что мы читали на страницах «Правды», как очерки и репортажи с легендарного материка, переплавилось в книгу, которая никого не оставит равнодушным, — «В снегах крайнего юга».

И хотя хронологически она четко очерчена: 19 ноября 1956 года — 18 февраля 1958-го, эти пятнадцать месяцев стали открытием для писателя необыкновенных характеров и судеб, развернутых в главных духовных «параметрах» эпохи и времени.

Об особом, отличном от людей других профессий, «полярном» характере написаны тома и тома. Анатолий Введенский попросту не смог бы написать такую книгу, если бы он оказался в Антарктике сторонним наблюдателем, если бы заботы, поиски, боль и счастье людей мужественной приполюсной вахты не стали его болью и его счастьем; душа открывается только «своим», и при

чтении книги «В снегах крайнего юга» невольно ловишь себя на мысли, что, собственно, автора в обычном понимании этого слова здесь нет. Есть один из равноправных и равноучаствующих в больших и малых делах экспедиции, получивший нравственное право и говорить от ее имени и давать оценки происходящему.

По всей своей внутренней сути книга Анатолия Введенского полемична по отношению к многочисленным еще бодряческим, а по существу поверхностным, жизнеописаниям, где, когда червь идет о небольших, надолго оторванных от Родины коллективах, фиксируются лишь внешние приметы явления: желание и энтузиазм. Я знаю отличного специалиста, у которого было и то и другое. Но его решительно, в силу вздорности характера, старались не брать в напарники по зимовкам. Более высока сегодня мера необходимости человека для людей. В этой мере едва ли не главное — то, насколько развито у тебя чувство коллективизма, способность и умение подчинить все и вся интересам дела, соответствие той нравственной атмосфере, в которой нетерпимы эгоизм, себялюбие, капризность, склонность, болезненная неуравновешенность, — то, что ученые называют психологической «совместимостью» или «несовместимостью» человека.

Эту высокую философию нравственной чистоты исповедует книга Анатолия Введенского.

Может быть, именно поэтому начальник Второй советской антарктической экспедиции, участником которой был А. Введенский, прославленный наш полярник, директор ордена Ленина Арктического и антарктического института, Герой Социалистического Труда А. Трешников, размышляя о книге «В снегах крайнего юга», анализировал не «послужной список», а именно человеческие свойства природы ее автора. Для А. Трешникова очевидно, что понятие «полярный характер» — совсем не теоретического свойства. Слишком многое зависит от него в тех жесточайших условиях, которые предлагает людям природа.

«Чем он притягивает к себе людей? — это раздумья А. Трешникова не только об Анатолии Введенском, но и о тех свойствах природы, без которых немислим истинный советский полярник. — Добротой. Ибо он обладает талантом доброты.

Чуткостью. Ибо он умеет видеть в людях в первую очередь хорошие черты и самому человеку показывает, чем тот хорош...

Партийностью. Ибо при самых сложных обстоятельствах он напоминал коммунистам об их партийном долге и без громких фраз и деклараций становился в ряд с теми, кому в данный момент было наиболее трудно.

К этому можно добавить: у него веселый характер, чувство юмора, без которого невозможно жить в суровых условиях, открытая душа...

Талант быть Человеком в Антарктике означал и талант быть писателем. Потому как что могла дать простая, даже восторженная фиксация увиденного!

Да, это было подвигом: Советский Союз

создал и береговую станцию в Антарктиде, и внутриконтинентальные — на Южном геомагнитном полюсе, и в районе Пóлюса недоступности. Слава научного городка Мирный обошла весь земной шар. Зимовка на станции Пионерская, удивительные научные походы по склонам ледяного купола затмевали пафос любой, самой вдохновенной поэмы. Станция. Восток вознеслась над уровнем моря на 3500 метров. «Здесь ближе к космосу, и морозы здесь космические, достигающие зимой минус 88,3°. Здесь самое холодное место на нашей планете — Полюс холода».

Я был на Краснознаменном Северном флоте, когда на одной из атомных подводных лодок ребята, прочитав книгу «В снегах крайнего юга», спорили:

— Говорят, что наша служба, как и работа полярников, — подвиг ежедневности, подвиг будней. А может ли быть «подвиг будней»? Мне думается, — горячился трюмный матрос, — что подвиг потому и называется подвигом, что выходит за грань обыденности, «будней». Он — взрыв, рывок духа. А жизнь не может состоять из «взрывов».

— Что же, по-твоему, это все равно — жить на Невском или Арбате, ездить в метро на работу и вечером наслаждаться телевизором, или, как в Антарктике, из месяца в месяц ходить под ураганными ветрами, которые валят людей с ног? И при этом «наслаждаться» служей под сто градусов ниже нуля. Или — как мы — месяцами не видя звезд, близких, никакой иной жизни, находиться под водой?! Улавливаешь разницу?

— Отличия, конечно, есть. Но вот посмотри, что пишет Михаил Глинка — он же на нашей лодке служил, теперь — писатель. Журнал «Аврора» с его повестью «Горизонт чист» лишь с неделей назад пришел на атомную. — Михаил не случайно вернулся к таким спорам — они давно прописаны на лодке: «...Мы сейчас все время говорим о том, — рассуждает в вести один из героев, — что существует повседневный подвиг. Как ни крути, а тут что-то брэнчит, фальшивит».

— Еще как! Что бы мы там ни говорили о том, что иные достижения мысли, труда и опыта могут быть приравнены к героизму, я не соглашусь. Героизм, подвиг — это превосходство духа человеческого над телом. Это испытание тела на муку, на гибель. И других испытаний, мне кажется, не может быть, если речь идет о героизме. Я бы даже сказал, что героизм — это смертельный конфликт между духом и заботой о собственном теле. И пока его нет — нет победы духа... Подвиг — это быть или не быть. Повседневность таких дилемм не ставит».

— В чем же здесь разногласия? — Боцман пожал плечами. — У полярников каждый день — «невозможность поступить иначе» и «превосходство духа человеческого над телом». Попробуй поработать на восьмидесятиградусном морозе. Это — не «испытания тела на муку, на гибель»?!

Вернувшись с Севера, я рассказал Анатолию об этом споре. Введенский задумался, потом тихо, вспоминая что-то свое, сказал:

— И все же прав был боцман, а не трюмный матрос. Полярники — я имею в виду настоящих полярников, а не людей, случайно попадающих в экспедиции, — люди особого склада. Если хочешь, героизм у них, хотя они и не любят и боятся этого слова, — можно сказать, профессиональное качество. И — неотъемлемое свойство характера. Мне посчастливилось дружить с Оскаром Кричаком. О нем в книге, ты знаешь, рассказывается. Вроде бы — чего ему нужно: известный ученый, талантливый. Сто раз проверил опытом свою теорию. Другой бы довольствовался сделанным, а он все же решил проверить сто первый раз и вновь отправился в Антарктику. И героически погиб. Потому что проверять теорию там — это совсем иное, чем делать то же самое в уютных кабинетах и лабораториях Москвы.

Что это? Подвиг? Кричаку ничего подобного и в голову не приходило. Да и не могло прийти. В нем неистребимо жила научная щепетильность ученого: сомневаешься хоть в ничтожнейшем — проверь. А насколько трудной и опасной будет такая проверка — это было для него «несущественным и не имеющим отношения к делу фактором».

Анатолий помрачнел:

— В Антарктиде немало обелисков. Они поставлены не в дни войны... Так что в дискуссиях о подвиге с таким «аргументом» не поспоришь. «Цена» такого «аргумента» — жизнь...

В книге «В снегах крайнего юга» эта полемика не обнажена. Но сам внутренний накал записей — «аргументация» крайне весомого порядка: «...Все мы в Мирном чувствовали себя словно на вулкане...»

Бесчисленные попытки принесли успех лишь одному из пилотов — Дмитриеву, который каким-то чудом сумел оторвать от коварного сыпучего наста свой Н-556...

Снова встала проблема — как забросить на «Комсомолку» 80—100 тонн горючего, без которого успех наших поездок становится невозможным...»

«Трудовые будни...» Хорошенькие «будни» — применительно к таким ситуациям кажется кощунственным само употребление этого слова: «Обидно, конечно, отступать. Но Антарктида — противник сложный, коварный и грозный. Противник, которого мы знаем, по словам покойного Берда, хуже, чем обращенную к нам сторону Луны».

На железную выдержку испытывает людей Антарктида: «Забарахлил мотор, нарушилась подача бензина. Пришлось ремонтировать самолет на морозе ниже 60°.

В результате бортмеханик Толя Межевых поморозил верхушки легких...»

Жестко хроника этих «будней», и здесь сами собой напрашивались в повествование слова, проникнутые пафосом и гордостью. Думается, Анатолий Введенский тонко почувствовал чужеродность высоких нот в рассказе о людях, начисто лишенных показной словесной эффективности. В книге преобладают тона приглушенно-спокойные. Здесь и заключена тайна огромного эмоционального воздействия книги на читателя: разительный контраст между тем, о чем повествуется, и принципиальной эмоциональной

отрешенностью рассказа. Самой писательской манерой своей А. Введенский выявляет скромность, презрение к показухе, мужество Трешникова и Равич, Пелевина и Малькова, Минькова и Дмитриева, Москаленко и Грязнова, Карпова и Озерова, Кулешова и Аверьянова — характеров необычно разных, но единых в главном — в гражданской, научной своей самоотреченности...

Книги выходят из жизни и возвращаются в жизнь. В формуле «литература и действительность» — тысячи составных и взаимосвязей, далеко не всегда видимых. Чудо творческого процесса превращает характеры, голоса, раздумья, понски знакомых нам людей в живую плоть образов, которые сходят со страниц книги и уже сами начинают существовать и действовать в потоке бытия, формируя миропонимание, взгляды, влияя на решения и поступки, вызывая на себя и любовь, и неприязнь, как

реальные люди, с которыми мы здороваемся, спорим, радуемся, делимся горем и спрашиваем совета в беде.

Так случилось и с героями книги Анатолия Введенского. Они полюбились нам, стали нашими друзьями — механики и профессора, летчики и радисты, водители и экспедиционники.

Открывая по утрам газеты, мы встречаем знакомые фамилии людей, которых ни возраст, ни вьюги, ни разлуки не смогли сделать «спокойными». Кто-то дрейфует в дальней Атлантике. Другой остался верен первой своей любви — Антарктиде. Третий изредка шлет радиogramмы с острова Врангеля. Для нас — это уже весточки от друзей, с которыми нас свела на дальних приполюсных тропках мужественная и светлая книга «В снегах крайнего юга».

Анатолий ЕЛКИН





Эпифанов

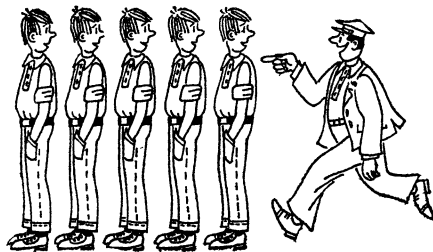
В это воскресное августовское утро Пушкинская блестела, как новенькая. Солнце старалось изо всех сил, и темные лужицы, оставленные поливальными машинами, исчезали прямо на глазах.

Настроение было отменное. Хотелось взять кого-нибудь за лацкан пиджака и поделиться с хорошим человеком переполнявшими тебя чувствами: живем ведь, а? Но улица была по-воскресному пустынна.

А душа настоятельно требовала общения. Я стал думать, что вот пройдет несколько минут и кто-нибудь да и попадетя навстречу. А потом стал размышлять, что неплохо бы увидеть себя в другом времени — на пятнадцать минут вперед! И на десять! И на пять! Представляете, самому оставаться в нашем времени, а себя видеть на две минуты впереди! На одну!

Я сосредоточился на этой мысли и перестал замечать, что творится вокруг. Даже почувствовал легкое головокружение. А когда оно прекратилось, увидел впереди себя пачочку совершенно одинаковых солидных людей в голубых ковбойках. Мои собственные копии вразвалку шли к Страстному бульвару с интервалом примерно в пятьдесят метров. Шли они в затылок, но в какой-то момент каждый нарушал строгую линию строя, подхо-

дил к дереву и, облокотясь на него, в неудобной позе завязывал шнурки на левом ботинке. Когда это проделал я сам, шедший во главе гражданин, которого я уже мысленно называл «направляющим», далеко впереди, у дверей магазина «Мебель», остановился перед газетным стендом и начал заинтересованно читать. Остальные медленно подтягивались. У «Мебели»



образовалось некое подобие очереди.

Завизжали тормоза, и из такси выскочил коренастый мужчина. Улыбаясь во весь рот, но с нескрываемой озабоченностью во взгляде, он прокричал:

— Чего ждем? За чем стоим?

— Кто стоит? — осведомился я.

— Да ты, милый ты мой, и эти наши современники-соплеменники! — захихикал он с фамильярным подмигиванием в сторону моих двойников и, не дав мне опомниться, затараторил:

— Хельги будут, да? Немецкие! Месяц за ними охочусь! Хельга нужна позарез! — тут он выразительно рубанул ладонью по шее, и выдохнул: — Уф! Через пять минут откроют...

Неожиданно для себя, перейдя с ним на «ты», я сказал:

— Да помилуй, приятель, как же откроют? Выходной ведь!

— Конец квартала? — предположил он.

— Семнадцатое число. Он задумался и вдруг загудел мне в ухо, встав на цыпочки:

— Запись на завтра, да? Не виляй, хитрюга, насквозь вижу.

— Понимаешь, друг, — решился я открыть ему правду, — это не очередь. Верней, она существует в нашем с тобой представлении. Ты можешь спокойно пройти сквозь нее и не почувствуешь...

— Таких толкни! — перебил он. — Здоровье, черти! Богатыри! Все, как ты, друг, — Жаботинские!

И тут он восхищенно прошептал:

— Дела! Это ж братья твои! Ей-ей, братаны!

— Да где ж это видано — столько братьев?!

Он быстро сосчитал:

— С тобой — шестнадцать лбов! Матушка-героиня! Знаменитая семья!

— Шестнадцать близнецов — не много ли?

Он сощурился и зацокал языком:

— Сводные? От разных отцов-матерей?

— Это близнецы-то — от разных?

Он снял шляпу, вытер лысину платком и впервые посмотрел на меня с глубоким недоумением.

— Понимаешь, — вкрадчиво сказал я, — это нам с тобой просто кажется.

Он не поверил.

Между тем «братья» по одному отходили от газеты.



— Слушай, клянусь тебе, это — парадокс времени! Расслоилось оно, усекаешь? Да ты фантастику читаешь современную? — заорал я.

— А то я не читаю! Да у меня ее целая полка — братья Стругацкие, Брэдбери...

— Ну, так понял?

— Понял, что ты — хмик! Конспиратор! А мне хельга — позарез! Честно, вы во сколько завтра собираетесь? К шести? И вся орава будет? Значит, к шести? Ей-богу, не успею! Я в Зюзине живу...

Я развел руками.

— Дружище, — запел он, — будь человеком! Запиши после себя! Семнадцатым! Епифанов моя фамилия! Запомни: Е-пи-фанов! Скажи: стоял, за сигаретами пошел, к семи явится!

И он ринулся к такси, крича:

— Спасибо! Другу поможет друг! Епифанов — не забудь! Семнадцатый!

Еще один двойничок мой неторопливо свернул за угол. Я стал заинтересованно читать газету.

Потом, когда я вышел на Страстной бульвар, шестнадцать абсолютно идентичных аспирантов МГУ сидели рядком на длинной скамье.

— Приветик! — сказал я первому. — Что новенького?

— Я встретил девушку, полумесяцем бровь! — отрапортовал он и тут же наядничал: — Только она мне улыбнулась, как являются вот эти, гуськом. Если уж третий лишний, что говорить о четвертом и пятом?! Первый сокрушенно хлопнул себя по коленке.

— А я нашел монету, двадцать пять шведских ёриков 1923 года, — похвастался Пятый.

— Молодец. Хвалю, — я поощрительно хлопнул его по плечу. — Спасибо! Общеизвестно, что я — зверский нумизмат!

— Не за что, — отвечал он, пряча монету в карман. — Я сам зверский нумизмат.

— Вон тот старичок на лавочке пригласил меня сыграть в шахматы. Я ему говорю, что любовь к этой древней игре убил во мне

мой лучший друг, кандидат в мастера Евгений Хлынов, а он даже рассердился. Знаем, кричит, этих сегодняшних кандидатов! Довоенный первокатегорник из него бы зеленую мартышку сделал! — показывая, как старичок размахивал руками, доложил Восьмой.

Первый оживился:

— Вон моя девушка идет, по соседней аллее!

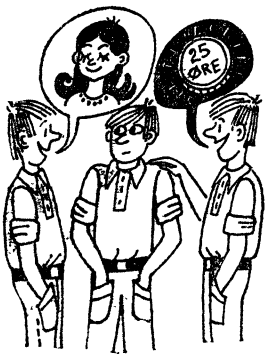
Тринадцатый сострил:

— Фея на метле...

Я спросил:

— С чего это ты, братец, так озлобился?

— А мне при переходе улицы на ногу наступили. Настроение испортилось.



— Так ты другим его не порть! — засопел Первый и стал придвигаться к Тринадцатому.

— Иди, наступай, — заулыбался тот. — Ка-ак дам — адреналинчик рассосется, строение улучшится!

— Братя! Родная кровь! — растащил я их, цитируя горьковского деда Каширина.

Собирался народ. Пора было кончать затянувшийся эксперимент.

Открыв глаза, я увидел, что снова один. Но не одинок: рядом сидела девушка, которую Первый без достаточных оснований считал своей.

— Продолжим разговор, — галантно сказал я. — Теперь уж нам никто не помешает.

Девушка удивленно посмотрела на меня, поднялась, покрутила указательным пальчиком возле правого виска и пошла прочь.

У соседней скамьи радостно закричал мальчик:

— Мамочка! Монетка!

Я пошел к выходу.

— Молодой человек! Не согласитесь ли — одну партийку? — предложил аккуратный старичок, показывая на стоящую перед ним доску с расставленными фигурами.

— Любовь к этой древней игре убил во мне мой лучший друг, кандидат в мастера Евгений Хлынов, — повторил я слова Восьмого, и старичок сердито замахал руками:

— Знаем, знаем этих сегодняшних кандидатов...

На улице я подумал: мираж все это! Сон неуловимый! И тем не менее загрустил. Собрался бы на четверть часа раньше — познакомился бы с чудесной девушкой! На десять минут раньше — нашел бы шведскую монетку! На две — ногу бы мне отдавили, черт возьми! Неужели воскресенье — день упущенных возможностей?

И опять заскрежетало на мостовой.

— Бродяга! — услышал я радостный голос, — не забыл Епифанова? А где твоя капелла «Думка»? Смотри, завтра не подкачай! Осуществлю мечту — за мной ресторан! Всё «меню» туда и обратно! Славик меня звать! В семь — железно!

Глаза его феерически сверкнули, и такси унеслось.

Вот, подумал я, кто своего бы не упустил. Вот, подумал я, кому парадоксы времени нипочем. Есть у него мечта — хельга — и сбывается она!

И вдруг под ложечкой у меня засосало и заняло. Постойте, а вдруг это не я, а он, силой своего вдохновения вызвал к жизни всех моих двойников и выстроил нас у магазина! Я вспомнил его взгляд — взгляд, в котором была Вера.

Я дал себе честное слово встать завтра пораньше, когда дворники дежурят у ворот, приехать на Пушкинскую и занять очередь Епифанову.

Славик, ты сам знаешь, что я не подкачаю. А то, что хельга непременно завтра «выбросят», — это же ясно как божий день!

Рис. В. ШКАРБАНА

ЕВГЕНИЙ ШАТЬКО



Наш холодильник вдруг взялся нагоять холод без передышки. Я позвонил в бюро ремонта и попросил прислать мастера.

— Пишу вас на послезавтра, — ответила девушка-диспетчер и добавила: — Если еще мастер выйдет.

Я, как человек бесцеремонный, стал уточнять:

— Все-таки ждать мне послезавтра?

Девушка-диспетчер обиделась:

— Ну, господи! Ждите на здоровье!

Я нагло продолжал свои расспросы.

— Нельзя ли уточнить часы прихода мастера?

— Ну, господи! С восьми до восемнадцати!

Я продолжал грубить:

— А вдруг, извините, мне потребуется выйти в магазин?

Прежде чем швырнуть трубку, она успела крикнуть:

— Оставьте ключ у соседей, если уж вы по магазинам шляетесь!

Послезавтра только к вечеру я оставил ключ соседям. А когда вернулся из магазина, на кухне сидел небритый мужчина в синем полупальто с рыжим воротником и задумчиво смотрел в окно. У его ног стоял потертый чемоданчик, на котором, видно, рублились в домино не один сезон.

— Что у вас? — спросил мастер и достал из чемоданчика гаечный ключ и батон.

— Холодильник не может остановиться.

Мастер достал из чемоданчика полкруга колбасы и сказал:

— Открой его, что ли...

— Может быть, хотите чаю? — спросил я и распахнул дверцу своей «Юрюзани».

— Потом... — туманно ответил мастер, заглянул в холодильник и пожегся. — Больно морозом несет... Закрывай его, что ли... И разворачивай.

Я развернул холодильник. Мастер с тоской уставился на его закусильную часть.

— Отвинтить, что ли, эти гайки? — спросил он не то себя, не то меня. — Чай-то поставил?

— Сию минуту.

— Один живешь? — поинтересовался мастер и достал соленый огурец.

— Не совсем... С семьей.

— А я, слышь, вообще-то развожусь, — вдруг сообщил мастер. — Сегодня вообще-то уже дома не обедал. Ну ее!

— Это кого?

— Марию. Машку.

— А может все гайки открутить? — предложил я.

— Может, — сказал он покладисто. — Валяй, крути.

Мастер подал мне ключ и стал нарезать колбасу.

— Кабы не дитя, — сказал он со вздохом. — Хучь и одно, а родное... Телевизор-то у тебя работает?

— Еще как!

— Я сейчас, — проговорил мастер и пошел в комнату к телевизору.

Скоро оттуда донесся волнующий стук шайбы о борт. Я отвинтил далеко не все гайки, а из холодильника выскочила какая-то пружина. Мастер высунул голову из комнаты.

— Слышь, неотразимый щелчок Мальцева. Эх, пробрёс! Слышь, заперли их у ворот! Иди, глянь, да брось ты с ним квыряться!

Я был увлечен борьбой со второй пружиной, но из дружеского расположения к мастеру пошел глянуть, кого заперли.

Когда матч окончился, мастер грустно сказал:

— Вот так отвлекесся, хоть про жену и развод забудешь. А вспомнишь — инструмент из рук падает.

Я бодро взялся за ключ, чтобы хоть как-то помочь человеку, и стал отвинчивать последнюю гайку.

— Ну, куда, куда, крутишь! — нервно закричал мастер. — Не крути по часовой!

— А как?

— Крути против!

— Да вы не расстраивайтесь. Я — ловкий. Я сейчас. — Успокоил я его. — Вы, главное, не отчаивайтесь. Может, еще помириться...

— Куда же ты против часовой стрелки крутишь!

— Хорошо, хорошо! Вы только крепитесь, не поддавайтесь... Может быть, она еще поймет вас, поймет — и оценит... Теперь пружину, так?

— Ничего, сойдет!

— Ну, вот — заканчиваю, последнюю гайку и... готово! Ха-ха! Работает! Вот спасибо вам!

— Ну, чего там, стараемся...

— Вот вам... Э-э-э...

— Ну, зачем? Давай без сдачи!

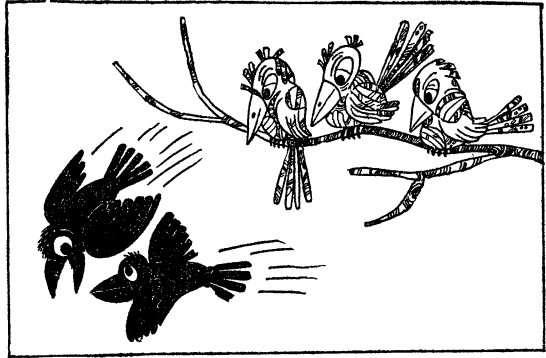
— Так вы не расстраивайтесь... Уж если решили разводиться — лучше сразу, раз — и готово!

— Раз!.. Я уж пятнадцатый год развожусь!

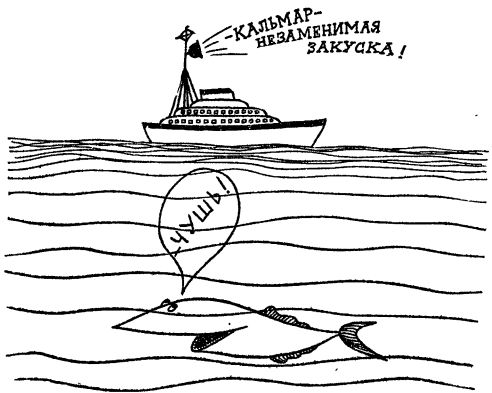
— Как же вы живете?

— Не живу — существую! Вот с работой совсем беда! Как за нее берусь — инструмент из рук падает! Очень переживаю!..

— В их обществе я чувствую себя белой вороной.



...



...

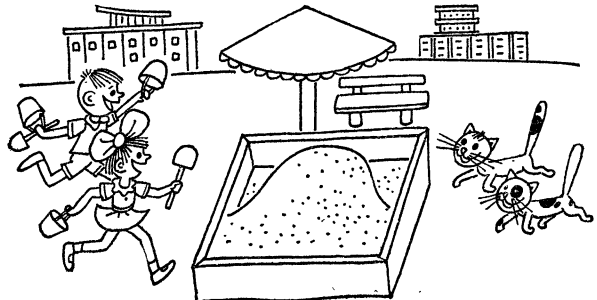


...

— Нет, для нас!
— Для нас!

Художник
В. ШКАРБАН

Наш 
вернисаж



СОДЕРЖАНИЕ

	МОСКВА СОВЕТСКАЯ	3
ПРОЗА	Георгий Гулиа. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА. Книга-роман	10
ПОЭЗИЯ	Николай Тряпкин. КРИНИЦА	142
	Николай Доризо. НОВЫЕ СТИХИ	160
	Виктор Кочетков. ОТЧИНА	177
ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА	Вера Шапошникова. КУЗНЕЦОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ	145
	Леонид Кудреватых. МОИ СОВРЕМЕНИКИ	162
ИСКУССТВО	Владимир Солоухин. ТОБОЛЬСКАЯ СКАЗКА.— Николай Родичев. «БЕСКОНЕЧНО ПИСАЛ БЫ МОСКВУ...»	179
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ	И. Ободовская, М. Дементьев. СЕСТРЫ ГОНЧАРОВЫ И ИХ ПИСЬМА (Послесловие Д. Благого)	181
	К 100-летию со дня рождения В. Я. Шишкова. Григорий Коновалов. ИСПОЛНЕН ДОЛГ	201
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	М. Лапшин. СИЛА И ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ	203
	Ал. Михайлов. ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ ХАРАКТЕРА	208
НАД СТРАНИЦАМИ КНИГИ	С. Семанов. О ВЕЛИЧИИ ДУХА РУССКОГО.— Анатолий Елкин. ПОЛЯРНЫЙ ХАРАКТЕР	214
САТИРА — ЮМОР	Олег Дмитриев. ЕПИФАНОВ.— Евгений Шатько. СТРУМЕНТ ИЗ РУК ПАДАЕТ...— НАШ ВЕРНИСАЖ. В. Шкарбан	220
ГАЛЕРЕЯ «МОСКВЫ»	Владимир Игловиков, Константин Самойлов	

Художественный редактор
Н. И. ЛОМАКО
Технический редактор
Л. Н. ПЕТРОВА

Корректоры: О. С. Карцева, Т. С. Панкратова

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16. Сдано в набор 17/VIII 1973 г. Подписано к печати 17/IX 1973 г. А02174. Формат бумаги 70×108^{1/16}. Тираж 274 000 экз. Печ. л. 14,0 = 19,6 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 22,514 + 4 вкл. = 23,291. Заказ № 2463. Цена 50 коп.

50 коп.

Индекс
73253.